ISSN 0130 – 6545

6. 1984

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бюро по продаже хлопка. 1873.

Цветные иллюстрации номера — работы французского художника Эдгара Дега

(К 150-летию со дня рождения)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

6 *июнь* *1984*

Содержание

АНДРЕ СТИЛЬ — Милый доктор *(Роман. Перевод с французского Н. Поповой)* 3

Д. Й. ОППЕРМАН — Стихи *(Перевод с африкаанс Е. Витковского. Вступление Аполлона Давидсона)* 65

ЮЛИУС БАЛЦО — Желто-восковое яблоко *(Повесть. Перевод со словацкого Л. Новогрудской)* 71

ВОЛЕ ШОЙИНКА — Аке, годы детства *(Повесть. Окончание. Перевод с английского Андрея Сергеева)* 113

Литературное наследие

АРТЮР РЕМБО — Пьяный корабль *(Перевод с французского и вступление Д. Самойлова)* 155

Критика

А. ЕРМОНСКИЙ — Воспитание историей *(Заметки о пяти польских романах)* 159

Стефан Цвейг — последние годы 166

ВОЛЬФГАНГ КИСЛИНГ — Путь в Петрополис *(Перевод с немецкого О. Бобровой. Вступление В. Девекина)* 168

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ — Шолохов о судьбе человека *(Перевод с сербскохорватского Ю. Брагина)* 174

Наши публикации

МАЙКЛ О'РИОРДАН — Вспоминая Брендана Биэна *(Перевод с английского Л. Володарской. Вступление А. Саруханян)* 177

Культура и современность

В. ИВАНОВ — Голливуд: развлекательная продукция или культурный империализм? 183

Н. МАТЯШ — Уроки прошлого и современная испанская литература 186

Наши интервью

ЭРАКЛИО СЕПЕДА *(Перевод с испанского Т. Коробкиной)* 189

Публицистика

НИКИТА ПОКРОВСКИЙ — Улица цветущих лестниц *(Три этюда на темы, имеющие отношение к философии)* 191

Документальная проза

МИРОСЛАВ ИВАНОВ — Покушение на Рейнхарда Гейдриха. Свидетельства, факты, документы *(Монтаж по книге. Окончание. Перевод с чешского В. Пархитько)* 205

Антирубрика

УИЛЬЯМ САРОЯН — Разве сегодня не тот самый день? *(Перевод с английского Евгении Шварц)* 224

ХОДФРИД БОМАНС — Рассказы *(Перевод с голландского Игоря Братуся)* 227

К нашим иллюстрациям

ЮРИЙ НАГИБИН — Эдгар Дега *(К 150-летию со дня рождения)* 231

Среди книг

Издано в СССР

В. СУХОРУКОВ — «Поднимаюсь по строчкам-ступеням...» *(Трудны сычуаньские тропы. Из китайской поэзии 50-х и 80-х годов)* ◆ СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Урок мастера *(Шервуд Андерсон. Избранное)* 233

Издано за рубежом

Т. ВОРСАНОВА — Проза Чикайи У Там Си *(Чикайя У Там Си. Тараканы. Медузы, или Морская крапива)* ◆ [illegible]О-БИНА — Возвращение Анны *(Мари-Клер Блэ. Вид[illegible])* ◆ И. ЛЕВИДОВА — Тема и вариации *(Дэвид [illegible] сын)* 237

Из месяца в месяц 24[illegible]

Авторы этого номера

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы французского художника ЭДГАРА ДЕГА «Звезда» (1878) и «Жокей» (1885).

© «Иностранная литература», 1984

АНДРЕ СТИЛЬ

Милый доктор

РОМАН

Перевод с французского Н. ПОПОВОЙ

Эта книга — роман. И если кто-то почувствует себя задетым, ему некого в этом винить, кроме себя,— автор здесь ни при чем. Избрав цель, к ней не поворачивают ся спиной и не спешат уйти в противоположную сторону: нелепо писать роман лишь ради того, чтобы уязвить одного человека.

I

Эта женщина несла тебе несчастье.

Ты вспоминаешь вашу первую встречу. Между вами — письменный стол. Преимущество, как всегда, на твоей стороне. И ты стараешься его удержать. Но что-то подсказывает тебе,— может быть, ты читаешь это в ее глазах,— что с ней будет не так легко, как с другими.

Ты слышал о ней. И слышал ее историю. Да и кто здесь ее не знает. Все говорят, что она вела себя очень самоотверженно, иначе ее муж вряд ли бы выпутался. К счастью, все только что благополучно закончилось. И вот она пришла к тебе. Что тут особенного, она выбрала тебя, как и остальные твои клиенты. У тебя хорошая репутация. Однако ее приход означает нечто большее. До сих пор она лечилась в поликлинике для железнодорожников. Но сейчас ей вздумалось обратиться к частному доктору; прямо она этого не говорит, но это и так ясно. Захотелось быть под постоянным наблюдением. Она из поколения, которое еще помнит деревенских врачей, принимавших больных не только у себя дома, но и готовых по первому зову отправиться к ним хоть днем, хоть ночью. На руках у таких врачей умирали и дед, и бабушка, и родители. Когда дело идет к пятидесяти, у людей возникает потребность, как в старое время, завести своего врача, спрятаться у него под крылом; они понимают, что с годами его услугами придется пользоваться все чаще.

Ей было среди кого выбирать, однако она выбрала тебя. Такой выбор льстит твоему самолюбию и увеличивает влияние на пациента, но инициатива во время первого разговора принадлежит ему.

Она выбрала также момент, когда дела у мужа пошли на лад. Ничего удивительного. Бывает, что сильное потрясение служит толчком для развития болезни, а случается и наоборот. Когда неприятностей выше головы, расслабляться попросту некогда, но едва вздохнешь с облегчением, как на тебя обрушивается новая напасть. Правда, она ничем не больна. Она сама так сказала. Обычные женские недомогания. Ей лишь хочется, чтобы ее успокоили.

И ты успокаиваешь:

— Мадам Давен...

Она улыбается. Ты не догадываешься почему. А ей вспомнился

© Éditions Grasset et Fasquelle, 1980.

день, когда ее муж Марсель, выходя из зала суда, с усмешкой сказал: «За всю жизнь меня не величали столько раз «мсье». «Мсье Давен», да еще с таким почтением...»

Если бы ты знал, что напомнил ей о суде, тебе бы вряд ли это понравилось.

— Мадам Давен, у многих женщин подобные явления начинаются гораздо раньше.

Звучит, как комплимент. Теперь ты тоже улыбаешься.

Ты знаешь ее историю, но просишь, чтобы она все рассказала сама — на всякий случай. И тут же зарабатываешь первое очко. Она говорит больше, чем ты ожидал. Больше, чем требуется. Авария, сошедший с рельсов поезд, арест Марселя, следствие, оправдательный приговор, но это бесконечное ожидание, целых три года... Друзей ей, что ли, не хватало, чтобы выговориться? Или она делилась с ними изо дня в день, а благодаря тебе может впервые, на одном дыхании, излить сразу все, что накопилось в душе? Но ведь ты и должен приносить успокоение?

Поскольку она говорит о себе так охотно, ты задаешь вопросы. Она рассказывает о давнем прошлом, но уже запинаясь, и признается в том, чего не знает никто: когда ей было чуть больше тридцати, она сделала аборт. У них была дочка, а ему хотелось еще и сына. Ей — нет. Он и дома-то почти не бывал, когда уж ему детьми заниматься. Ей помогла одна женщина, но, по правде сказать, она сделала все сама — без него, наперекор ему, наперекор всему миру. И обошлась без врача. На сей раз очко не в твою пользу.

— Это меня особенно беспокоит,— говорит она.— Я боюсь, а что, если...

Последнее время у нее чересчур обильные месячные. Она просто исходит кровью. Это ее пугает. Она всегда боялась крови. Даже своей собственной. Тогда, двадцать лет назад, она сказала соседке: «Флоранс, а если я вся истеку кровью, вся-вся, без остатка, и буду тут одна-одинешенька...»

Пятьдесят три года. И еще в полном соку. Ты не хотел бы, чтоб так одевалась твоя жена, но подобным образом здесь одеваются все работницы или бывшие работницы и жены рабочих; пожалуй, у нее даже побольше вкуса, чем у других, и выглядит она намного моложе своих лет. Собираясь на прием к врачу, она явно принарядилась. Тебе, сорокалетнему, она, конечно, в матери не годится, но все же ее возраст внушает некоторое почтение.

— Раздевайтесь,— говоришь ты.

— Совсем?

— Да, пожалуйста.

Повернувшись к тебе спиной, она послушно раздевается. Ты делаешь вид, что ищешь какую-то бумажку. Сейчас ты будешь ее осматривать, трогать руками, но пока вы оба стараетесь оттянуть этот момент.

Наконец, словно после минуты торжественного молчания, ты поднимаешься, обходишь стол и просишь ее выпрямиться. Живот слегка увеличен. Фиброма? А грудь? Нет, ничего. Ты просишь ее лечь. Она вздрагивает, коснувшись холодного прозрачного пластика, постеленного поверх белой простыни. Грудь она прикрывает руками. Надо проверить, нет ли геморроя. Ты натягиваешь перчатку и делаешь то, что положено в таких случаях. Проверяешь сзади. Меняешь перчатку. Спереди. Эта процедура давно уже стала тебе неприятна. А для нее она унизительна, как и для любой женщины. Ты выпрямляешься и начинаешь глубоко дышать, чтобы она последовала твоему примеру и почувствовала легкий аромат твоего мужского одеколона — лаванды. Указательным пальцем, едва касаясь, ты задумчиво водишь по ее груди и животу, чтобы она забыла недавнее унижение. Ты улыбаешься. Она — тоже.

Пока она одевается, ты отворачиваешься и достаешь из шкафа оранжевую папку.

Перед уходом она бросает взгляд в небольшое зеркало возле двери и слегка поправляет волосы.

— Я хоть все правильно застегнула? — смеется она немного натянуто.

Ты первый подаешь ей руку.

И не знаешь, придет ли она еще раз.

Ты нравишься. Причем знаешь это. И стараешься нравиться изо всех сил. Если не как мужчина, то как врач.

Прежде всего ты нравишься в этом качестве самому себе. И это главное.

Как ты выглядишь, тебе известно и без зеркала. То, которое висит слева, у двери, слишком далеко и не отвлекает внимания, когда по утрам, за пять минут до начала приема, ты садишься за стол. В отношениях с людьми, как в хорошем спектакле, важно предусмотреть каждую мелочь, но было бы слишком прекрасно, если бы все шло, как нам хочется. Жизнь — вот кто главный режиссер этого спектакля. Ты просто заметил, что уходя люди невольно ищут глазами зеркало. Как и она, они вынуждены раздеваться перед тобой, а затем одеваться. Не все решаются искать расческу, большинство лишь смущенно приглаживает волосы рукой. Они могут сделать это за дверью — там есть старое, во весь рост зеркало в потемневшей плетеной раме, такое уродливое, что его трудно не заметить. Даже при ярком свете в глубине этого зеркала лишь смутно отражаются вешалка, стойка для зонтов и полка для шляп. Кому нужно, могут зайти в туалет — по коридору направо. Таблички, как в больницах, нет, но постоянные клиенты знают. И все-таки перед уходом они не могут удержаться, чтобы не бросить украдкой взгляд в зеркало, словно опасаясь встретиться с кем-нибудь в коридоре. Вот ты и распорядился, чтобы возле двери повесили это зеркало — шириной всего в ладонь и сантиметров семьдесят в высоту. Ты, правда, не предусмотрел одного: любой человек, убедившись, что все у него более или менее в порядке, непременно заглянет себе в глаза. И ни разу ты не заметил в них радости. А поскольку ты провожаешь посетителей до выхода, в этот последний миг ты оказываешься в зеркале рядом с ними. Пожалуй, лучше его отсюда убрать.

Чай с лимоном допит, губы вытерты, и ты целуешь Ноэль в краешек лба, но никогда не распахиваешь сразу дверь в приемную, чтобы впустить первого... Тебе нужно побыть в кабинете несколько минут одному. Набрать воздуха перед тем, как нырнуть. Расставить все по местам. Подготовить сцену для спектакля.

Искусно выделанная голова кхмера в натуральную величину. Зернистая поверхность камня — совсем как живая. Тут-то и кроется загадка. Перед вами мертвый камень, однако в незрячих глазах вы читаете обращенный к вам вопрос. Рассказывая о своих болезнях или слушая тебя, многие не могут отвести глаз от этой головы. И глядя на изрытое оспинами каменное лицо, невольно думают о какой-нибудь кожной болезни, бородавках или проказе. Если же человек смотрит на эту вещицу иначе, как на произведение искусства, ты торопишься пояснить:

— Всего лишь копия, представьте себе. И стоит сущие пустяки.

Вместо пресс-папье у тебя небольшая керамическая плитка из Кордовы. Желто-зеленая с голубым. Рисунок наполовину стерт — видны только передние ноги, грива и длинная шея единорога. Ты мог бы смело утверждать, что нашел ее в руинах, если бы руины не были в том городе предметом повсеместной купли и продажи и витрины магазинов не ломились от подлинных и поддельных атрибутов стари-

ны. Эту плитку ты выбрал потому, что от нее действительно веет экзотикой и глубокой стариной, а не только потому, что на обороте сохранились следы цемента, которым она была приклеена к стене мечети аз Захира или дворика в еврейском квартале. Это тоже легко подделывается. Рассматривая выцветшие краски и остатки изображения, словно переносишься в прошлые века. И здесь незавершенность, полуистертость рисунка невольно приковывают внимание.

Рыбий скелет, словно вплавленный в большой плоский камень. На сей раз не подделка. Тоже твое приобретение, напоминающее о том глубокомыслии, с которым ты отдавался юношеским увлечениям и даже учебе. Вероятно, все эти предметы ты расположил здесь не только для того, чтобы слегка гипнотизировать больных, пока те дожидаются твоего приговора или выслушивают его. Поначалу они долго хранились в библиотеке. Но там они чересчур тревожили тебя. Будто не кто-то в отдельности, а целый мир добивался твоего диагноза.

Лет пять или шесть назад — то были не самые счастливые годы твоей жизни — на столе еще высились песочные часы: большой, без деревянной рамы стеклянный сосуд с голубым песком. Ты их переставил в гостиную. Для внутреннего пользования. Слишком жестоко было держать их перед глазами больных.

Слева от тебя, за спиной, на подоконнике — большой томный фикус с ярко-зелеными листьями. На левом углу стола — фиалка с одним огромным, бесстыдно распустившимся цветком.

Бумаг не слишком много. Здесь же, под рукой, очки. И, конечно, медицинский журнал, открытый на странице, которую целиком занимает красочная, иной раз даже выполненная с юмором реклама патентованных средств. Пусть знают, что ты следишь за научной литературой. Рядом — серебряная авторучка со снятым колпачком, сейчас она пригодится.

Теперь можно открыть дверь, раствориться в улыбке, впустить первого больного, взглядом сказать остальным, что всех узнал, и одновременно пересчитать их.

Оставшись наедине с тобой, человек должен избавиться от мучающей его тревоги и поверить, что только ты способен принести ему облегчение, помочь и спасти. Говорят, что в обращении ты прост и любезен. Бывает, ты первым опускаешься во вращающееся кресло а больной ждет, когда ему предложат сесть на единственный в кабинете стул. Бывает, сначала усадишь больного и, положив руку на его плечо — но это необязательно,— на секунду задержишься рядом с ним и уж затем сядешь сам. Оба приема хороши — все зависит от обстоятельств. Хромированный стул, выкрашенный белой и зеленой красками, не слишком гармонирует с остальной мебелью. Должно быть, он сохранился от тех же времен, что и зеркало в потемневшей плетеной раме — так называемый «растительный» стиль: тонкие, словно цветочные стебли, ножки и чересчур узкая и неудобная спинка, ее узор напоминает переплетения лианы или плюща.

На тебе костюм, купленный в магазине готового платья, но из самых дорогих. Однобортный, из шерстяной рогожки, твида или вельвета, поношенный или слегка потертый, главное — чтобы не с иголочки. И непременно галстук-бабочка. На руке — хронометр. Не для того, чтобы узнавать время, а чтобы считать пульс. Когда во время велосипедной прогулки ты щупаешь спустившую шину, тебя так и тянет по привычке взглянуть на хронометр. Часы — прямо перед тобой, но за спиной у больных, как раз над каталкой, на которую ты уложил Клару.

Первые минуты приема очень важны, хотя и не так, как последние. Впрочем, все одинаково важно.

Ты не куришь. На твоем столе даже нет пепельницы. И не было случая, чтобы к тебе осмелились войти с сигаретой.

Ты умеешь слушать. Это требует много времени. На прием уходит все утро до полудня, а то и на час больше. Ты знаешь, что не выйдешь отсюда, пока всех не примешь. Хочешь не хочешь дистанцию нужно пройти до конца. Открывая дверь, ты каждый раз подсчитываешь ожидающих. Вот этому следует уделить четверть часа. Он пытается объяснить тебе, что́ его беспокоит. С помощью рук. Больные всего мира жестикулируют, как итальянцы: ладонь показывает, где у него вздутие, тяжесть, боли, изжога; указательный палец сверлит то место, где мучают рези; четыре сложенных пальца гладят, режут, рвут тело; собранные вместе, они его щиплют, терзают, кусают, царапают. Наконец в ход идут сразу обе руки, чтобы передать удушье, стеснение в груди, затрудненное дыхание. Твои руки тоже не могут оставаться без дела. Повертев авторучку, ты начинаешь катать по стеклу одну из засохших семенных коробочек, подобранных в Сенегале на приморской дороге возле Дакара; самый старый овальный плод ты нашел в песке, которым занесло истертый множеством ног асфальт. Плод этот до того затвердел, что уже трудно определить, какого он происхождения. Есть у тебя и еще один, тоже твердый, как камень, но с плодоножкой, он явно упал с какого-то неизвестного тебе дерева. По виду — не отличишь от минерала... Теперь ты играешь очками. Ты пользуешься ими только при чтении или когда пишешь, хотя мог бы вполне обойтись и без них, это очки от солнца. Ты то надеваешь их, то снимаешь.

Наконец твоя очередь говорить. Это получается у тебя лучше всего. Ты складываешь очки и прячешь в левый карман. Но тут же вновь достаешь. Своего рода смена ворот, как в футболе. Ты объясняешь. Ты действительно объясняешь. Проще всего было бы спрятаться за научными терминами. Но нет, если твоим больным что-нибудь непонятно, ты терпеливо растолковываешь еще раз. Иногда жертвуешь даже рецептурным бланком и для большей наглядности рисуешь схему, а если требуется, то две или три. Привстаешь с кресла, а они — со стула, чтобы лучше видеть. И рассказываешь, как начинается, иногда совсем незаметно, болезнь, как бы она развивалась дальше и что неминуемо бы случилось, не стань вы с больным на ее пути. Чаще всего ты делаешь пояснения до того, как уложить его на каталку, чтобы ощупать, простукать, прослушать и измерить все, что требуется, с помощью фонендоскопа и тонометра.

Фонендоскоп используют тремя способами. Все три давно испробованы. Можно повесить его на шею и ежеминутно поправлять. Можно держать на столе, на самом видном месте, но так уже делают многие. А можно снимать его, прощаясь с больным, и надевать при появлении следующего... Ты же прячешь его на нижней полке передвижного столика и, к удивлению даже самых искушенных завсегдатаев врачебных кабинетов, эффектно достаешь оттуда в случае необходимости.

Там же хранится тонометр, который всякий раз приходится извлекать из футляра. При этом ты испытываешь странную неловкость. Ты так и не излечился от необъяснимой робости, которую неизменно чувствуешь, разворачивая эластичную черную ткань и обматывая ею обнаженную мужскую или женскую руку, а затем сжимая резиновую грушу. Один из тех редких случаев, когда присутствие мужчины или женщины в твоем кабинете еще способно тебя взволновать. И чудится, что стрелка, подрагивающая перед глазами на шкале, прежде всего отмечает твое собственное замешательство.

Это все малая аппаратура. Но есть инструменты и помельче. Лобное зеркало, расширители для носа, ушная воронка, шпатель для осмотра языка и глотки, сохранившиеся в память о твоем дебюте в качестве отоларинголога. Веселое занятие, ничего не скажешь. Откройте рот: «А-а-а» — и чуть ли не все кашляют тебе в лицо. А сколько крови при удалении миндалин! Ну ладно дети. Однажды тебе

пришлось делать эту операцию мужчине. Чуть ли не самое мучительное воспоминание твоей жизни. Ты уже не верил, что это когда-нибудь кончится. Наглухо застегнутый белый халат не спас ни рубашку, ни галстук: они были так забрызганы кровью, что ты не смог их больше носить. Вы сидели на стульях друг против друга, и было непонятно, то ли ты сжимаешь его коленями, то ли он тебя. Каждый раз, когда ты пускал в ход скальпель, из горла пациента вылетали сгустки крови и мокрота. Лобное зеркало потускнело, как фары в оттепель. От нетерпения рука у тебя несколько раз сорвалась, и ты не довел операцию до конца. Пришлось произвести ему потом гальванокаустику миндалин.

Есть и более солидная аппаратура. Продемонстрировав ее в действии, ты приобщаешь своих клиентов к чуду. Вот мать, уже немного успокоенная, подталкивает к тебе ребенка, а тот смотрит на тебя скорее лукаво, чем испуганно. Ему года три с половиной или четыре.

Час назад она позвонила в полной панике:

— Он говорит, что проглотил крючок.

— Ничего страшного. Сам выйдет. А вы уверены, что он действительно его проглотил?

— Крючок во всяком случае исчез. Знаете, крючок от карниза для занавесок. Он с ним играл.

Рентген.

— Смотрите!

Ты и сам доволен, что видишь его, уже в желудке. Мать истерически хохочет. Тревогу сменяет неестественное ликование, чуть ли не гордость. Надо же, перед ней внутренности собственного ребенка, которого она носила под сердцем.

— Понимаете, стенки желудка хоть и тонкие, но при этом достаточно эластичные. Особенно у детей. Такой крючок для них не опасен. Даже иголки. Они скользят вниз, как соломинки в струйке воды. Я знаю случай, когда вот так проскочила открытая английская булавка.

Два дня спустя она торжествующим тоном сообщает по телефону:

— Он вышел! Но если бы вы его видели!.. Был совершенно новехонький, а теперь весь ржавый! Как будто пролежал там десять лет. И это за три-то дня!

— А ребенок?

— Очень доволен. Доволен собой.

— Как бы он не вошел во вкус. Спрячьте подальше крючки и штопор!

Вот так ты их развлекаешь. Слывешь шутником и внушаешь доверие.

Под занавес — твой коронный номер. Демонстрация почерка. Рецептурный бланк. Внушительная серебряная ручка. История болезни — не более чем увертюра. Ты заполняешь ее из вежливости. И вот он, подлинный финал, как это бывает в музыке. Рука твоя взлетает. Рецепт — лишь повод. Тебе нужно показать себя, и ты показываешь. Ты делаешь это с таким блеском, что люди, не вчитываясь в то, что ты пишешь, восторженно следят за твоим пером. Исполненный вдохновения, ты выводишь первые слова и... Почерк у тебя, как и полагается, совершенно неразборчивый. Почерк — загадка. Впрочем, названия лекарств и способ их употребления можно прочитать и на упаковке. Таковы правила игры, незыблемая традиция и ритуал. Классическая латынь. Перо замерло в воздухе... Секундная пауза, как в старинном вальсе. И вот оно уже стремительно несется вниз, перелетая иногда и на оборотную сторону бланка. Выписываешь ты всегда много, даже чересчур много. Тебя считают серьезным, внимательным и вдумчивым врачом.

И в заключение, чтобы доставить удовольствие и себе, и особенно больным, ты размашисто подписываешься. Во всю ширину и до середины листка: *Роб. Менаж.* Твое имя известно, само по себе оно гарантирует высший класс. Доктор Менаж.

Оно напечатано и на бланке: д-р Робер Менаж.

Тебя часто видят в центре города. Когда ты пешком обходишь больных. Город невелик. Основная его часть — это и есть центр. И железнодорожный узел, где пересекаются линии Кале—Базель и Париж — Брюссель. Здесь вокзал и старый семафор, сложенный из красного кирпича, депо, сортировочная, ремонтная мастерская и поселок железнодорожников. Заводов и пригородов почти нет. Если как следует прислушаться или напрячь воображение, можно различить доносящийся издалека заводской шум. Заводы есть и в Берлемоне, но больше всего их в Мобёже и Валансьенне, на Северо-Востоке и Северо-Западе. Свет от мартеновских печей сюда, естественно, не доходит, но отзвуки заводской жизни все же докатываются вместе с грохотом поездов и платформ, груженных рельсами, балками, рулонами толя, арматурой, громадными железобетонными стержнями для плотин или глыбами для портов, литейными ваннами, заржавленными болванками, трубами диаметром в человеческий рост — при вибрации они ревут, точно огромные баржи на излучине реки. Во время войны, когда ты еще под стол пешком ходил, не заводы, а именно железнодорожные пути и поезда подвергались самым сильным бомбардировкам. Поезда по-прежнему сотрясают разросшийся городок, как грузовики, пересекающие осеннюю рощу, или ласково убаюкивают его негромким бормотаньем спальных вагонов и вагонов-ресторанов — «Коралловый» поезд и автомотрисы, экспрессы и скорые, прибытия которых ожидают в Москве или Стамбуле.

К северу от Валансьенна и Мобёжа, над Боринажем, Анзеном и закоптелым Дуэзи висит сплошное облако гари. Твой кабинет недалеко от вокзала, и оттуда до тебя доносятся отголоски бурлящей там жизни — суровой и притягательной.

Ты давно привык к этим местам, но не можешь забыть огромного Севера, ведь раньше он был совсем рядом — деревню твою, Жолимец, от него отделял лишь остров свежего воздуха — Мормальский лес. После войны отец у тебя работал в Трит-ле-Пуарье, потом в Юзиноре, где дослужился до мастера, но как будто не особенно этим гордился. Ты учился в коллеже в Кенуа. Никого из местных ты не помнишь детьми, школьниками, но вот уже двадцать лет живешь рядом с ними и среди них. Бок о бок с ними. Можно сказать, что перебраться сюда тебя заставил едва слышный, но настойчивый зов Юга. Чуть южней расположены Ле-Като, Ландреси, Авен и Трелон со своими прудами. Пожалуй, там еще теплей. Заграждения и лесные полосы защищают эти места от ветров. Больше всего солнца достается дачным домикам.

Может быть, из-за того, что ты любишь путешествовать и стараешься заразить этой страстью Ноэль, выбираясь вместе с ней на одну-две недели в безлюдные уголки мира, тебя не тянет навсегда покинуть родные края и не пугает перспектива закончить дни неподалеку от пруда Фоли, в двух шагах от Шиме, примечательного лишь тем, что там живут монахи и варят отличное пиво. По твоей теории, в которой, надо сказать, что-то есть, любая, даже самая крошечная страна придумывает себе свой юг. На юге Бельгии кажется солнечней и теплей, чем на севере Франции. На севере Испании холодней, нежели в Руссийоне. Стоит перевалить через Пиренеи, как из края мимозы и кипарисов ты словно попадаешь на берег Соммы, где всегда облачно и дождливо. А север Италии... Даже на юге Люксембурга, если приезжаешь из Лонгви, сразу возникает отпускное настроение.

То же можно сказать о любом департаменте. Жизнь заставляет людей сбиваться вместе — в столице или в родном краю. Однако те, кто может позволить себе жить в свое удовольствие, спускаются к югу до самой границы. Там и дома как-то красивее, и воздуха в них побольше. Живущие в садах грезят о Лазурном береге или экзотических островах. О бассейнах и теннисных кортах. Каждая лужа мечтает о своем паруснике.

Если больной живет далеко, ты едешь к нему в машине. В сером подержанном «ситроене». Не всем известно, что в гараже у тебя стоит красная «ланчия», которой ты пользуешься только по выходным и праздникам, когда отправляешься на Лазурный берег, в Париж или в Бельгию.

По вечерам ты часто прогуливаешься с женой по центральным улицам. Вы идете с ней под руку. Одну ее почти никогда не видят. При ней ты раскланиваешься более сдержанно. И реже доставляешь удовольствие людям, здороваясь за руку и проделывая эффектное танцевальное па в их сторону, похожее на красивый росчерк, которым завершаются твои рецепты. Однако люди, хоть немного знакомые с ней, утверждают, что она совсем не «деревяшка», а очень простая и держится даже естественнее, чем ты. И непонятно, почему она так редко показывается в городе: то ли ты ее прячешь, то ли есть какая-то другая причина.

А ведь на первый взгляд сколько женщин могло бы ей позавидовать. Единственная ее обязанность — отвечать на телефонные звонки и записывать больных на прием, когда тебя нет дома или ты занят. Старая служанка из местных ведет хозяйство, стряпает и делает все, что требуется по дому. Именно благодаря этой самой Софи, Софи Ваше, в городе знают, чем занимается твоя жена. Целыми днями она сочиняет какие-то сказки и истории. Ни одну из них никто не видел напечатанной под ее именем, тем не менее она ездит в библиотеки Валансьенна и Камбре и в поисках сюжетов роется там в старинных фолиантах. Она ездит туда одна на «ланчии», которую водит очень медленно. А под тобой — стоит тебе отъехать от дома — асфальт просто горит. Ты мчишься стрелой, и прохожие едва узнают тебя. После библиотек она заглядывает в магазины, где торгуют мебелью, светильниками, портьерами. По общему мнению, твой дом — просто чудо. У нее хороший вкус. Если бы ей вздумалось открыть антикварную лавку здесь или в другом месте, она обошлась бы и без твоих денег. Впрочем, скорее всего она в них никогда не нуждалась.

За вашим домом — просторная лужайка, обсаженная цветущим кустарником и огороженная высокой стеной. Сюда выходят ваши окна, по сути это и есть фасад дома, до самого верха увитый плющом. В углу лужайки колодец, который вы заново обложили камнем. Вода в нем не переводится круглый год. Все это она видит, когда поднимает глаза от работы, а в твоем кабинете единственное окно целиком закрашено, и ты никогда его не открываешь, потому что сосед, живущий напротив, имеет, как тебе кажется, слабость подглядывать. В отличие от тебя она почти не смеется, тем не менее все думают, что женились вы по любви. Правда, женаты вы уже давно и, как у всех, у вас могут быть свои неурядицы.

Люди, знающие, как ты начинал, рассказывают, что на краю деревни, у самой опушки леса стоял высокий кирпичный дом с фестонами из зеленой керамики над окнами, прекрасно сочетавшийся с окружающей зеленью, деревьями, пастбищами — в народе его прозвали замком... Дом выделялся и своей башней — квадратная веранда с немытыми стеклами в проржавевших рамах возвышалась над всем Мормалем. Старик любил здесь работать, и лишь изредка видели,

как он прогуливается по саду среди разросшихся и неухоженных роз или под дубами в грибную пору. Когда-то, задолго до того, как ты поступил в коллеж Кенуа, он преподавал там латынь, затем перебрался в Лилльский университет, а позже стал ездить туда всего два раза в неделю, лишь в эти дни его и видели на вокзале. Жена умерла, он вышел на пенсию, и у него осталась одна-единственная радость — дочь Ноэль, которую знали в деревне меньше, чем даже его самого. Девочку с ранних лет отдали в школу при монастыре, и люди не были уверены, приезжает ли она домой хотя бы на каникулы. Ноэль не вызывала у тебя интереса: миловидная, застенчивая и нежная, старше тебя на три года, да в ту пору и выше ростом,— она никак не подходила для твоих первых любовных похождений. Что же до старика, то лишь в глубокой провинции еще встречаются такие свободные от тщеславия люди. Раз в год, а то и реже он отправлял небольшую, но сверхнаучную статью в парижский журнал «Обзор исследований латинского языка». Этим и ограничивались его связи с миром. Остальное время он сочинял стихи на латыни. Дом был завален книгами — на латинском или о латинском. Книги громоздились повсюду, возвышаясь огромными грудами, которые были видны даже снаружи, сквозь стекла веранды. Целые дни старик писал в этой башне стихи, не рассчитывая, что когда-нибудь их прочтут. А может — поскольку взгляд его долгие годы был обращен в глубь веков,— он тешил себя безумной надеждой, в которой не признавался даже себе, что наступит день, когда прошлое оживет. До самого сердца тронули бы тогда сотворенные им хориямбы, ямбы и дифирамбы жителей новых Помпей и безобидных римлян в белых хитонах — римлян третьего тысячелетия.

В то время ты еще не знал, что станешь врачом. Ты тоже пописывал стишки. Правда, по-французски. Немного и без особого вдохновенья. Тем не менее однажды ты набрался смелости дернуть заячью лапку на калитке их сада. Удивительно, но звонка не последовало. Лишь слегка звякнула проволока, протянутая от калитки к дому. Однако слух у старика был, видимо, очень тонкий. Он тут же, в домашних шлепанцах, вышел из дома. Жил он совершенно один. Ни собаки, ни кошки. Ты оторвал его от чтения. Он не старался тебя подбодрить. Не стал рассказывать о своей жизни, но попросил рассказать о себе. Пригласил заходить еще. И ты заглядывал к нему раз в месяц, сам толком не зная зачем. Трудно было разобраться, к чему тебя тянет больше. К латыни и греческому? Но математика и физика давались легче. Однако увлечение латынью и греческим не заходило очень далеко. Учить слова, грамматику — нет, эта скучища не для тебя, писать изложения и делать переводы, рыться в греко-французском словаре Байи и латино-французском Гаффио — все это требовало слишком много усилий. Тебе больше нравилось порхать вокруг да около, знакомиться с отдельными любопытными эпизодами из мифологии, повседневной, но далекой жизни, захватывающе интересных биографий некоторых государственных деятелей или писателей. Точно так же занимался ты и французским. Грезил, читая кое-какие отрывки из литературных произведений, пытался сочинять стихи сам, но пренебрегал при этом правилами орфографии. Старик не сделал тебе ни единого замечания. Ты лгал ему, утверждая, что писательство — твое призвание. Но ты сам тогда в это верил. На самом же деле тебе хотелось любым способом отдалить время, когда придется зарабатывать на хлеб. Тебя манило все, что сулило легкую жизнь. Старик относился к тебе снисходительно. Накануне выпускного экзамена он попросил за тебя одного из своих ученых друзей. Никогда ты еще так не трусил. Друг, правда, сделал вид, что не принял во внимание это ходатайство, и нарочно погонял тебя как следует, прежде чем поставить совершенно незаслуженную тобою оценку — восемнадцать баллов из двадцати возможных. Диплом бакалав-

ра наконец в кармане, нужно решать, что делать дальше, и тогда ты задумываешь невозможное. Хочешь стать врачом. И опять твердишь старику о призвании. Собственно, у тебя их два, и ты опасаешься, как бы они не помешали друг другу. Старик успокаивает тебя словами Анри Мондора[1] о том, что медицинская деятельность может даже способствовать занятиям литературой. Ты не очень рассчитывал на его содействие, однако он принял твои дела близко к сердцу и в последующие три года еще не раз за тебя похлопочет. Потом его не станет.

Разумеется, это он познакомил тебя с Ноэль. По правде говоря, ты видел ее у него лишь однажды. Она жила уже в Лилле, будто готовила для тебя почву. Через год ей предстояло окончить филологический факультет, но диплом, который она защитит с блеском, ей так и не пригодился. Она снимала комнату и столовалась в семье подруги и предложила, если тебе это подходит, поселиться там же; условия были приличные, а плата — невысокая. Так вы стали соседями, а вскоре и не только соседями. Это был год любви. Затем ей пришлось возвратиться в Жолимец. Вы поженились — чтобы легче перенести разлуку. Целых два года. Только когда не стало отца, она переехала к тебе в Лилль. Из ваших двух комнат получилась небольшая квартирка, и ты уже начал кое-что зарабатывать. Ты никогда не хотел, чтобы работала она. Ты не сомневался, что возле тебя ей и так будет хорошо. А ты будешь трудиться за двоих — если она тебе поможет.

И вот она всегда рядом с тобой — днем и ночью, в этом просторном доме, являющем собой своеобразное продолжение твоего кабинета. Там твоя вотчина, твой полуют, там больше всего света. Ноэль же предпочитает полумрак и затененные лампы, в неярком свете которых даже драгоценности выглядят скромнее. Единственное место, где она отступила от своего правила,— это столовая: раз или два в неделю, по вечерам, вы принимаете здесь друзей, но когда над овальным мраморным столом вспыхивает хрустальная люстра, вы закрываете ставни. Внезапно жена становится разговорчивой даже больше, чем ты. Она блистает. Если гость тоже врач, вас еще кое-как спасают беседы на профессиональные темы. Но за пределами медицины, и ты должен это признать, она имеет свое мнение о многом таком, за чем ты давно уже не успеваешь следить и чего не можешь ни осмыслить, ни оценить по достоинству. Она прочитывает уйму книг. Однако то, что вы называете библиотекой, состоит в основном из медицинской литературы. По сути, книг в доме просто нет. Если другие дают книги лишь почитать, то она сразу же их раздаривает. Около сотни романов ежегодно проходит через твой дом и затем бесследно исчезает. В первую очередь — для тебя. Она же и спустя десять лет может подробно пересказать то, что пришлось ей по вкусу. Она никогда не перечитывает книг. Говорит, что в жизни ничто не повторяется. Каждое утро приносит новую росу. И драгоценна лишь первая свежесть.

Настоящая жизнь — не здесь. В поисках ее вы раз в год отправляетесь на месяц в Бразилию, на Антильские острова, в Норвегию или Канаду. А раз в неделю, чаще всего по субботам или воскресеньям, один или вместе с женой, ты уезжаешь в Кале, где у тебя яхта с девятиметровой мачтой, или едешь в какой-нибудь бельгийский городок. Позволяешь ли ты себе там больше, чем в Ольнуа, где ты у всех на виду и где каждый твой шаг становится предметом для сплетен? Во всяком случае, хоть ты и зарабатываешь гораздо больше, чем другие, свое благополучие ты не демонстрируешь. Твоя

[1] Анри Мондор (1885—1962) — французский хирург и писатель. *(Здесь и далее прим. перев.)*

скромность внушает уважение. Никто не осмелится упрекнуть тебя в том, что в будние дни ты предаешься безделью. Ты тоже имеешь право на свои радости в жизни, ты их заслужил.

Больше всего ты любишь просто ходить под парусом. Рыбная ловля в открытом море не приносит тебе ни малейшего удовольствия. Иногда ты пользуешься сетью для макрели, и случается, в нее попадают одна-две рыбины, но ты по полчаса не заглядываешь в сеть и только потом во время крутого поворота замечаешь, что упустил пойманную рыбу. Скорость при полной тишине — что может быть лучше? Ты не любишь держаться у берега, а выйдя из порта, сразу набираешь скорость и устремляешься вперед. Хлопанье паруса, четким светлым контуром уходящего ввысь, звучит нежной музыкой, белоснежное крыло склоняется под ветром или упруго опирается на него, рука, лежащая на штурвале, выравнивает яхту, оранжевая штормовка надувается, как бурдюк, а если ты в рубашке, то становишься похож на пивного бога. Плавая в одиночестве, с особой силой ощущаешь новообретенную свежесть, тело омывает ветер, и легкая счастливая дрожь пробирает тебя с головы до босых ступней. Сражаться с ветром ты не любишь. Ты предпочитаешь попутные ветры, несущие тебя, как птицу, которая, закрыв глаза и сложив крылья, опускается передохнуть на море, доверив себя волнам.

Ты все сделал, чтобы приобщить Ноэль к своим радостям. И она тоже старалась научиться делить их с тобой. Напрасные усилия. Вот уже десять лет, как она окончательно отказалась от морских прогулок. Море ее томит, сковывает и тревожит. Лишь ступив на сушу, она чувствует себя в безопасности и снова начинает улыбаться, хотя надежная пристань покачивается у нее под ногами, как диван под захмелевшим человеком. Теперь она дожидается тебя в городе или на пляже в часы, когда нет солнцепека, а иногда остается в Ольнуа. Если она провожает тебя до берега, вы, чтобы не разминуться на обратном пути, встречаетесь в одном из ресторанчиков, к которым пристрастились с тех пор, как у вас завелись деньги. Вы пользуетесь при этом всевозможными путеводителями и проспектами — классическим «Мишленом», новейшим «Го и Мийо», внушающим доверие справочником Национального совета по гастрономии, если только твой родной Север не выдают в них за пустыню, где не водится ничего съестного. «Мельники» или «Францисканцы» в Дюнкерке, «Амио» в Вимрё и Булони, «Дикарь» в Касселе, «Котелок» в Капингеме, «Терраса» в Дуэ, «Молочная» в Ламберсаре, «Щеголь», «Загадка», «Устричная», «Клуб» в Лилле, «Септентрион» в Марк-ан-Бароле, «Термы» в Сент-Амане, буфет в Валансьенне, да, да мсье, если вам этого недостаточно, можно вспомнить «Старую кузницу» в Вильнев-д'Аск или еще ближе — кафе «Великий святой Петр» и «Крюк» в Дурлере и Авене. И это, по-вашему, пустыня?

Ноэль вовсе не чревоугодница, однако она охотно составляет тебе компанию, и поскольку ты не эгоист, то щедро заказываешь ей легкие, не очень сытные, но редкие и изысканные блюда. Прежде чем выбрать что-то для себя, ты искусно составляешь меню для нее, называя это на свой манер «рецептом», и продумываешь все — от закусок до десерта. Как и твои пациенты, она считает, что ты рекомендуешь слишком много, и пробует только часть из того, что ты ей советуешь. Сам ты обожаешь угря и телятину. Тебе известно, где готовят угря в натуральном виде, с зеленью, «по рецепту мельничихи», под белым соусом, по-матросски, по-английски, по-домашнему и еще бог знает как, например по-венгерски с перцем и сметаной, ты знаешь, где его запекают с овощами, где подают с кресс-салатом, в тесте, фаршированным, заливным, запекают в кулебяке, в рулете и в пироге. Но ты предпочитаешь угря в натуральном виде. Что касается телятины, ты ее пробовал в этих местах с раками, с лапшой, со шпинатом, с гречкой, в грибном соусе, по-антверпенски, по-банкир-

ски, ее жарят здесь с помидорами, с зелеными бобами, по-мадридски, по-регентски, как любил Талейран и как готовят в Тулузе... а еще по-орлеански и á la Божанси, добавляет Ноэль... Суфле, соте по-немецки, по-маршальски, ты не боишься, что тебя упрекнут за грубый вкус, и жалуешь даже телятину, тушенную в виски, с трюфелями, в пиве. Ты не отказываешься и от кролика в винном соусе, и от утки, тоже тушенной в вине или с подливкой «соважон», которую едят ложкой, не пренебрегаешь «лукулловым языком», почками в соке можжевельника и всевозможными мясными и мучными блюдами, родина которых Фландрия. Тебя утешает мысль, что завтра ты посадишь несколько больных на диету. Вино ты выбираешь в зависимости от еды. Тебе нравится открывать новые сорта. Ты не выдаешь себя за тонкого знатока, но любишь экспериментировать. Уж лучше ошибаться, чем пить одно и то же. Ноэль заказывает только воду, утверждая, что вода бывает тридцати шести видов и для того, кто разбирается, далеко не все равно, какой водой запивать разные блюда. Наверняка она вычитала это у Роблеса или Турнье. После таких трапез машину на обратном пути чаще всего ведет она. Ты, как правило, засыпаешь, и время пролетает незаметно. И никогда она не бывает с тобой так нежна, как после твоего пробуждения.

Если она остается дома, ты тоже не скучаешь, потому что у тебя есть друзья, давние и недавние. Пятеро. И не все они живут в Кале. Когда же вы встречаетесь в Кале, то называете друг друга бородачами, хотя ни один из вас не носит бороды. Когда вы и вправду их носили, вам даже в голову не приходило величать себя так. Стоит кому-нибудь бросить ваш боевой клич: «Аи! Бородачи!» — как вы забываете, что вам уже стукнуло по сорок. Конечно, того времени, когда вам было по двадцать два—двадцать три, не вернуть, но вы впадаете в удивительное настроение, у которого, если быть точным, три стадии. Поначалу вы сегодняшними глазами с восхищением, нежностью, тревогой, ужасом, а то и недоумением разглядываете бывших студентов-медиков, шумно сотрясающих воздух и силящихся стряхнуть с себя скованность, городскую пыль и забыть о преждевременной близорукости, затем наступает то промежуточное состояние, которое примиряет две крайности. Начинается разминка, но гимнастические упражнения получаются далеко не всегда, особенно в присутствии жен, поэтому вы и не пытаетесь больше их делать. Когда с вами только две женщины, пробовать тоже безнадежно. Если одна, можно рискнуть, но важно, какая именно из трех. Однако стоит вам предаться излюбленным мужским забавам, как ваша безжалостная и насмешливая юность, которую так легко спугнуть, иронически взирает снизу вверх на ваше сегодняшнее преуспеяние: за свою небольшую яхту Бернар запросто выложил двести тысяч франков. Вы сами судите себя, ревностно и неумолимо. Самое прекрасное, что еще сохранилось у вас, это ваш боевой клич «Аи!», с давних пор распространенный на Севере, скорее даже в Па-де-Кале, откуда родом Франсуа. И этот клич не имеет ничего общего с тривиальным возгласом «Ай!», бытовавшим в старинных комедиях, нет, он звучит энергично и решительно: «Аи! Бородачи!»— и вы устремляетесь на абордаж собственных яхт. Если вы собираетесь все вместе и без жен, то кричите громко и хором. При женах «Аи» произносит кто-то один, да и то едва слышно, со вздохом, словно выполняя обязательную формальность в тот миг, когда вы уже оторвали одну ногу от мостков, чтобы ступить на яхту.

У Франсуа — катамаран, так что у вас всегда есть выбор. Если вас шестеро, вы идете к Бернару, потому что Ноэль соглашается плавать только на его яхте, хотя за всю прогулку она не сдвинется с места и будет лишь молча улыбаться. Если кто-нибудь желает поплавать в одиночку или доставить удовольствие жене, он звонит тебе в Ольнуа из Азбрука или Конде-сюр-л'Эско. У каждого есть ключи от всех трех

яхт. Единственное условие — предупреждать заранее. Втроем во время шторма вам лучше всего на катамаране.

Никто не узнал бы вас в эти часы, особенно пациенты. Стоит снять пиджак и галстук, как сразу ощущаешь себя свободней. А как только вы поднимаетесь на борт, то, еще не успев вымокнуть под моросящим дождем и хлебнуть других радостей моря, все сбрасываете с себя, оставаясь летом в одних плавках, в сандалиях, кедах или босиком, а зимой, осенью или весной облачаетесь в свитера, кожу, пластик и каучук самых невероятных фасонов и расцветок. Вам это нравится, вы выряжаетесь так нарочно. Этот карнавал вас радует. Достаточно сказать, что́ вы напяливаете на голову. Франсуа — красный шерстяной шлем, который служит ему то чалмой, то шарфом. Ты где-то раздобыл черную фетровую шляпу, по-видимому истоптанную сапогами прошедшей по ней армии, и когда начинает припекать, обмакиваешь ее в воду и вновь водружаешь на голову. Бернар надевает неведомым путем приобретенную кардинальскую шапочку — новой ты ее никогда не видел — или ядовито-желтую зюйдвестку, всегда туго завязанную под подбородком, у самого кадыка. Доктора!.. Если бы по волшебству вы могли мгновенно обрасти бородами, все трое стали бы походить на знаменитых мореходов — капитана Хэддока, Немо или Жана Барта. Высоко над головой трепещут паруса ваших грез, и жалобный крик чаек в холодном тумане заглушается скрипом мачт. Ожившая детская мечта. «Аи!..» Вы лихо минуете, едва не задев мола, узкий нормандский пролив, слышите посылаемые вам вдогонку проклятия рыболовов, и начинается большая потеха. Не столько по необходимости, сколько ради удовольствия. вы делаете крутые повороты, при которых вас швыряет от борта к борту, с носа на корму, и безумная чехарда длится часами. Эта яхта самая тяжеловесная, но зато и самая надежная. Она точно создана для вас. Забыты недельная суета и стерильные кабинеты, где царит мертвый штиль. Тело пронизывают ветры, ливни и фонтаны водяных брызг хлещут по лицу, как разгневанные родительницы. Вы чувствуете себя напроказившими мальчишками, с которых требуют ответа за содеянное. Но за что требовать с вас ответа? Разве другие столь же строги к самим себе? Море снова и снова идет в атаку, стремясь во что бы то ни стало уничтожить ваше суденышко. Все трещит, а вы кричите и хохочете в приступе буйного веселья и затаенного страха. И каждый надолго запомнит летнюю бурю, когда по шкале Бофорта шторм был десять баллов и вас ежеминутно окатывало волной, а вы — в мокрых плавках, голые тела переливаются при вспышках молнии или при свете изредка пробивающихся лучей солнца, мускулы, даже те, что под плавками, напряглись в пылу сражения,— а вы мечтали лишь о том, как бы вернуться на сушу, и вышедшая из повиновения яхта, словно призрак метавшаяся по морю, в конце концов сама вывела вас к берегу.

Никаких недоразумений между вами не бывает. Раза два вы плавали вместе неделю в открытом море или вдоль берегов Бельгии, где воды поспокойнее, и спали на узких койках, тесно прижавшись друг к другу, но ничего предосудительного не случилось. Если уж говорить начистоту, то, чему суждено было произойти, произошло между Франсуа и Бернаром еще в студенческую пору, когда они снимали комнату на двоих,— во всем виновата нищета. Они ведут себя так, словно забыли об этом или словно ничего и не было. И ты как будто об этом ничего не знаешь.

Навоевавшись с морем и непогодой, вы снова разъезжаетесь в разные стороны. В ресторан вас не тянет. Особенно тебя — ты ведь не самый сильный и храбрый из троих. Ноги слегка подкашиваются, знобит, но, несмотря на голод, хочется поскорей увидеться с близкими. Бернара и Франсуа помимо жен ждут и дети, поэтому если вы и задерживаетесь, чтобы вместе поужинать, то едите в тишине и мире.

В зависимости от настроения вы ненадолго заезжаете в кафе на окраине Кале или в Касселе, у развилки перед Азбруком.

В кафе вы пьете только пиво, причем темное.

Оно, как ничто другое, напоминает вам студенческие годы. Нет нужды перемигиваться или подталкивать друг друга, приговаривая: «А помнишь...» Темное пиво подходит мужчинам больше, чем светлое. Во время учебы в Лилле содержимое ваших кошельков позволяло заказывать пиво в таком количестве, что возникало горделивое сознание, будто выпито не так уж мало. Вы неизменно пили «Пельфорт», самое лучшее. И кроме того, вам нравилось, как звучит его название, от которого вас едва не бросало в сладкую дрожь, и опорожненные кружки вы нарочно выстраивали на столе крепостной стеной. С каждой минутой вы словно становились выше, шире в груди и плечах. Никто из вас не был фламандцем, но внезапно в вас просыпалась кровь древних, неведомых предков, которые, упрямо набычившись, были готовы идти на штурм любой крепости. Вы старались непременно побить прежний рекорд, и когда тела уже деревенели и наливались свинцом, а в ушах начинало звенеть, в благостном тумане чудилось, что вас подбадривают ярмарочные деревянные великаны: «Выше нос, ребята!» Известно, что от доброго солода чувствуешь себя переполненным, в то время как вино нагоняет сон, а от водки теряешь над собой власть. И вот пиво требует выхода, и вы, едва успев облегчиться и позабыв иной раз привести свой костюм в порядок, снова ищете писсуар, который найти все трудней, особенно ночью. Как-то зимним утром Бернар бросил странный вызов: все наружу, новая мода... И ты незамедлительно убедился, что у тебя меньше оснований для гордости, чем у твоих друзей. Сам Бернар мог с наполненным ведром разгуливать по комнате хоть целый день.

Ноэль не подозревала о ваших проделках. Как и твои сегодняшние пациенты. Подумать только, в какие руки мы подчас попадаем... В родные края ты вернулся немного насмешливым, но скромным и вполне благопристойным молодым человеком. Не менее скромным и благопристойным ты представал в Лилле и перед Ноэль, когда она приезжала с тобой повидаться. Лишь в бороде угадывался намек на художества, которым вы предавались в те годы. Но разве могла она вообразить, что вытворяет ваша братия, чтобы поддразнить обывателей, когда уже перепеты все известные песни: «Буржуа, как свиньи», «Амфитеатр», «Старый деревенский кюре»... Хотя ты и слыл среди друзей скромником, тебе ничего не стоило спустить штаны где придется: на улице, перед входом в кафе, около машины. А роль Франсуа заключалась в том, чтобы вымазать все, что было поблизости. Самым неистощимым на выдумки такого рода был у вас Бернар. Тут он любому мог дать сто очков вперед. Поев, он плевал в торт, чтобы уже никто не мог к нему притронуться. Однажды он украл в анатомичке палец от трупа и, прикрепив его пластырем между большим и указательным пальцами, небрежно совал всем под нос эту чудовищную шестерню, опираясь ею на прилавки, перила, столы, спинки кресел.

Всего через полгода, поселившись в Ольнуа, ты превратился в улыбающегося, сдержанного и чрезвычайно вежливого доктора Менажа. На первых порах тебе помог старый доктор Петийон. Ты купил у него кабинет, и он целый месяц делился с тобой опытом, после чего отбыл в дом для престарелых, расположенный неподалеку от Сен-Рафаэля, где ему было обещано место. Он все оставил тебе. Стиль, присущий зеркалу в потемневшей плетеной раме, господствовал не только в коридоре, но и во всем доме. Когда-то старик служил военным врачом в Индокитае и был такой же мрачный и нескладный, как и его мебель. Этот человек — мыслящий тростник, сказал ты как-то

Ноэль. Это он посоветовал оставить зеркало в коридоре, чтобы не отпугнуть привыкших к нему больных. Прочую мебель ты вскоре полностью заменил. В Ольнуа, где тебя не часто встретишь в кафе, ты пьешь только мятный «виттель» или минеральную воду с клубничным сиропом. Дома или в гостях у друзей, живущих в окрестностях, ты можешь пригубить виски и шампанское. Однако былая любовь к пиву не забыта. Для этого есть Бельгия. Там, в каком-нибудь городе подальше от дома, ты встречаешься с двумя другими приятелями, Ивом, преподавателем из Баве, у которого всегда наготове грубоватая шутка, и Марсьялем, скотоводом из Семери, иногда с Франсуа и реже с Бернаром. Заказываемые вами ракушки в ячменном соусе или телятина «гамбринус»— не более чем предлог, на самом деле вам хочется насладиться любимым напитком монахов-траппистов. Один Марсьяль, одетый по обыкновению в бархатный бежевый костюм и черные кожаные краги, предпочитает марки «Гез-ламбик» или «Мгновенная смерть». Остальные выбирают «Аббат-де-Лефф» или «Святой Сикст», а Луи ни на что не променяет свой «Гримберген». Ведете вы себя вполне пристойно. Две-три кружки, не больше, изредка четыре. Этого достаточно, чтобы пробудить воспоминания молодости. Когда вам стукнуло по тридцать, пришлось проститься с шалостями, которые вы в последнее время позволяли себе все реже. Впрочем, Марсьялю и Иву почти не довелось в них участвовать, но у каждого из них свои причуды. У вас хорошая мужская компания, время идет, разговор становится оживленней, иногда вы негромко поете, но больше всего вас объединяет любовь к пиву. Случается, что Бернар и Франсуа играют партию в кости.

Как правило, ты не идешь после пирушек к девочкам. В этом ты явно отстаешь от Ива и Марсьяля, которые отправляются обычно вместе — платит Марсьяль,— и даже от Бернара, редко нарушающего супружескую верность. Наибольшую пылкость ты проявлял в Лилле с Ноэль и еще с двумя малышками, которые заменяли тебе жену во время ее отсутствия. Затем возникла надежда, что врачебная практика откроет перед тобой неограниченные возможности. Однако ты быстро понял, что надо соблюдать осторожность. Никаких историй в городе, где живешь. Никаких «говорят». Нападать, только когда уверен в успехе. Еще лучше не нападать, а ждать нападения. И ждать пришлось совсем недолго. Кто бы мог подумать, что столько женщин, да еще каких, рады случаю позволить себе небольшое отклонение. Но заниматься любовью прямо здесь, когда за стеной ожидает не меньше десяти человек и совсем близко собственная жена... Тебе шептали: «В другом месте...» Никаких других мест. На бесстыдниц тебе везло куда больше, чем на красавиц. Вслушиваешься в каждый шорох. Сердце колотится не столько от желания, сколько от страха. К счастью, в кабинете нет двери в жилые комнаты. Ты все равно не решился бы держать ее на запоре. Что за радость предаваться этому второпях. В предвкушении удовольствия ты излишне медлителен, а потом чересчур поспешен. Сначала они тебя опережают, а затем, внезапно оказавшись покинутыми, от неожиданности цепенеют, в то время как ты уже озабочен тем, чтобы поскорее уничтожить все следы. Да, великолепным мужчиной тебя не назовешь. Тебе далеко до Бернара, чьи подвиги ты вспоминал, не только лежа в уютной постели. У твоих незнакомок, возможно, есть дома свой Бернар. Или хотя бы Франсуа. Ты не обязательно терял своих дам как пациенток, но только с одной это повторилось еще раза два. К твоему удовлетворению, у тебя хватило ума вовремя уразуметь, что в физиологическом и моральном смысле лучше избегать подобных соблазнов. В галантности и любезности, которыми ты по-прежнему одариваешь всех посетительниц, нет ничего наигранного, просто раньше ты тратил их с большим разбором, чем теперь. И твои пациентки первые рассказывают всем вокруг, как ты приветлив, благовоспитан и добро-

сердечен. Пусть каждая пребывает в уверенности, что именно к ней ты испытываешь тайное влечение, которое вынужден скрывать. И теперь, когда ты расточаешь свои улыбки бескорыстно и меньше опасаешься ловушек, ты можешь задержать женскую руку в своей чуть дольше, чем принято, погладить плечико, сжать локоток, колено — доверительно и успокаивающе, словно отец, близкий родственник или друг семьи. Теперь ты просишь раздеваться лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. У тебя сохранились приятные воспоминания о первой поре твоей врачебной практики, когда ты с наслаждением любовался обнаженным телом или касался его руками. Однако привычка и всевозможные уродства, которые тебе приходится созерцать, постепенно сделали свое дело. Нагота больше не волнует тебя, а гораздо чаще разочаровывает и даже обескураживает. Когда ты раз или два в год позволяешь себе маленькое приключение ь Брюсселе, Турне или Валансьенне, то платишь по самой высокой в этом районе таксе, чтобы обеспечить себе условия, которые бы не напоминали неудобства твоего кабинета, а затем, к удивлению партнерш, просишь их не раздеваться, во всяком случае не догола, или же погасить свет. Впрочем, последнее не в твоем вкусе, потому что так давно уже делает Ноэль, а стоит узнать тебя поближе, как сразу становится ясно, что жизнь твоя разделена на отсеки, и ты предпочитаешь, чтобы они никак не сообщались между собой.

Лишь совсем молоденькие девчонки, являющиеся к тебе без провожатых, еще способны растрогать тебя и даже вывести из равновесия. Тебя охватывает трепет. Ведь врач — единственный в мире мужчина, которому доверяют голого ребенка. Сила запрета волнует даже больше, чем все остальное, больше, чем то, что видят твои глаза и едва осмеливаются коснуться руки. Матери могут не тревожиться — ничего не случится. Твой дом безупречно чист, не считая нескольких пятен-воспоминаний; но все это было так давно, что его стены вновь обрели девственность. И когда ты встречаешься глазами с этими четырнадцатилетними или шестнадцатилетними, тебе кажется, что ты куда чище их.

Об этой — любовной, что ли,— стороне твоей жизни ты никогда и словом не обмолвился Ноэль. А она никогда не донимала тебя расспросами. Каждая из сфер твоего бытия наглухо отделена от других странными границами и таможнями: стена отгораживает твой кабинет от жилых комнат, стены дома — от городка; зыбкий пунктир пролегает между вчерашним днем и сегодняшним; с каждой минутой все тяжелее становится груз воспоминаний, которые ты скрываешь от кого-то одного или от всех сразу. Каждый день, неделю, месяц ты перемещаешься из одной шлюзовой камеры в другую, плотно закрывая разделяющие их ворота. Ты справляешься с этим легко и бездумно. Улыбка почти не сходит с твоего лица. Словно поселившиеся в твоей душе пять, а то и десять маленьких черных сфинксов днем и ночью следят за каждым твоим шагом, неукоснительно соблюдая обет молчания.

Ты попросил ее прийти через месяц. И вот она пришла.

За это время ей сделали анализы — в старом флигельке, отремонтированном, но еще не полностью оборудованном, который расположен во дворе, в пятидесяти метрах от дома. Но два узких окна, соединенных в одно, тоже не слишком широкое и выходящее на улицу, три комнатки с неоновым освещением придают ему сходство с клиникой, а вернее, лазаретом или старой больницей. Здесь работает еще один, многим обязанный тебе человек. Местная девушка, Соланж, с которой подружилась Ноэль. Два года назад ты предложил ей это место и даже помог деньгами. Причем наличными — в дополнение к ссуде, которой ей не хватило. Всего-навсего миллион старыми, который она тебе уже почти полностью вернула.

Впервые Клара направилась в этот домик прямо из твоего кабинета. Она застала лишь маленькую невзрачную секретаршу, тоже из местных, которая явно еще не успела здесь освоиться. Даже стоя, она едва возвышалась над старомодным столом с откидной крышкой, множеством ящиков и отделений и громоздкой пишущей машинкой, сохранившейся с допотопных времен и напоминающей курицу-несушку. Прочитав направление — всего три-четыре слова на твоем именном бланке,— секретарша вручила Кларе бутылку с широким горлышком и сказала, чтобы Клара завтра с утра ничего не ела и не пила («Даже кофе?»—«Даже кофе») и пришла сюда в восемь часов.

Клара уже лет пять не имела дела с врачами и медицинскими сестрами и забыла, как неприятно мочиться в бутылку. Пальцы при этом неминуемо оказываются забрызганными и, сколько их потом ни моешь, все равно, когда будешь передавать бутылку маленькой секретарше — вы издалека протянете руки навстречу друг другу,— тебя будет мучить стыд за собственную нечистоплотность.

И вот на следующее утро она снова вошла в этот дом — по сути это была первая ячея той сети, в которую она уже попалась. Вошла, естественно ни о чем не подозревая, словно лишь для того, чтобы обменяться несколькими словами с секретаршей, сидящей за старинным столом. Сначала ей предложили сесть в низкое плетеное кресло возле круглого, тоже плетеного столика, покрытого пластиком со следами от сигарет — такими пятнами испещрены полы, полки и ящички для гигиенической бумаги в туалетах бистро. Затем появилась лаборантка в белом, чересчур длинном халате и увела ее в соседнюю комнату, где усадила на обычный стул рядом со столиком, окрашенным белой краской, а сама села напротив на белый вращающийся табурет и попросила ее поднять правый рукав... Для всех это сущий пустяк, а для Клары — настоящая мука. Она ужасно боится собственной крови, пусть это всего-навсего маленькая капля. Как нарочно, вена проходит у нее глубоко, и нащупать ее очень трудно. Точно сами вены отказываются уступить хоть немного крови. Трижды у девушки ничего не получалось. Трижды Кларе протирали руку ватным тампоном, трижды толстая игла уходила под кожу и трижды не попадала в вену. Сердце Клары, сжавшееся в кулак, сильно колотилось и наглухо перекрыло вены и артерии, и все потому, что она непрестанно думала о своем сердце. Оно представлялось ей таким, как его рисуют в школьных учебниках: сине-красным, с предсердиями, желудочками, венами и артериями. Вся кровь куда-то отхлынула, уступив место нараставшей злости — вот ведь неумеха! Но она вынуждена подавлять злость, потому что малышка знает — по крайней мере должна знать — свое дело, и ей, Кларе, ничего не остается, как вынести все до конца, ведь для этого она и пришла сюда. Нельзя даже раздраженно дернуть головой или плечом — вдруг за это, как на экзамене, снизят оценку. Ну ладно бы врач, а то какая-то пигалица крепко держит тебя в руках, и тебе уже не вырваться, а ей хорошо известно, что ты в ее власти. Сидит на своем табурете, свесив ноги вниз и касаясь пола лишь носками туфелек. Худышка, вполовину меньше Клары, на двадцать килограммов легче и на тридцать лет моложе, но если Клара вздрагивает от укола, она нетерпеливо или успокаивающе шепчет: «Тсс-с!» Только что в лице Клары не было ни кровинки, но сейчас она чувствует, как краснеет. Ее страшит не легкая боль от укола. Она не из неженок. В детстве, когда ее щипала подружка, она стискивала зубы, закрывала глаза, сжималась в комок, но как бы ни было больно, не просила пощады. В ту пору это была игра, но позже, во время родов, аборта, когда ей вскрывали абсцесс или когда резко, но умело вправляли вывихнутое плечо — никто не видал ее слез. Вопрос чести. С честью нужно выдержать и три укола.

Наконец вену удалось найти, и на глазах у Клары начинаются жуткие манипуляции с ее кровью: медсестра берет в рот белую рези-

новую трубочку, втягивает в себя воздух, и кровяной столбик — все самое мерзкое или наилучшее, что в вас есть,— поднимается к ее губам. Неужели не боится, что... Противно, точно целуешься с упырем. У некоторых женщин и мужчин уколы вызывают тошноту. Кларе они действуют на сердце. Так она реагирует и на огорчения и на радости. Смешиваясь с чем-то в пробирке, которую медсестра трясет, прикрыв большим пальцем, алая кровь становится серой, бледно-розовой. Когда все закончено, сестра прижимает к месту укола кусочек ваты и крест-накрест заклеивает его пластырем. Минутное дело, но когда Клара выходит на улицу, ей уже чуть не до дрожи хочется есть; она тотчас бы принялась за спрятанный в сумке хлеб с маслом, если бы не ощущение, что у нее грязные руки. Странно, ведь она ни к чему не притрагивалась. Клара устремляется в кафе напротив вокзала. Заказывает у стойки кофе со сливками и сразу уходит мыть руки. Раз уж она в туалете, она делает все, что нужно. Теперь она вся чистая. Даже сплевывает в раковину накопившуюся слюну и добросовестно смывает ее водой. И, улыбаясь сама не зная чему, возвращается в зал и берет чашку кофе. Теперь она снова в затруднении. С кофе проще, из автомата всегда вкуснее, чем дома, сколько его ни сыпь, но как быть с хлебом? На прилавке полная корзина рогаликов. Если она вытащит свой хлеб, хозяину вряд ли это понравится. На его глазах есть собственный хлеб, пусть даже с маслом... «Вот дуреха! Обращать внимание на такую чепуху!»— сказал бы Марсель. Но она уже не может стать иной, и с этим ничего не поделаешь. Кончиками пальцев она берет рогалик, а хлеб пусть остается там, где лежит. Она не обмакивает его в кофе, чтобы не смешивать удовольствия. Пусть они лучше дополняют друг друга. Она умеет радоваться хорошему, но не менее чувствительна и к плохому. Так что одно уравновешивается другим. Например, еще не допив кофе, она вспоминает, что именно здесь рассказала Раулю о том решающем письме, которое в самые тяжелые для Марселя дни отправила в Париж.

На следующее утро она пришла за результатами. Соланж уже прочитала их тебе по телефону, но не успела отпечатать. На этот раз Кларе первым делом бросилась в глаза старая тяжеловесная машинка. Маленькая секретарша стучала по клавишам лишь двумя пальцами, но все вокруг скрипело и содрогалось: и ее стол, и пол, покрытый линолеумом, и тонкие стены, и даже потолок. И все это ради меня, усмехнулась Клара. Беспокойства она не испытывала. Она знала, что все равно ничего не поймет в бумажках, которые ей сейчас выдадут. Если что-то не в порядке,— но, собственно, почему? — ты скажешь ей через месяц. Если не сочтешь нужным вызвать ее раньше, как вы условились.

Ты не счел это необходимым. А для нее и Марселя все эти цифры — китайская грамота. Титульная часть занимала в два раза больше места, чем на твоем бланке. Ни один начинающий не может отказать себе в подобном удовольствии, особенно если в школе или коллеже он был самым посредственным учеником.

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ
ГОРОДА ОЛЬНУА-ЭМРИ

5, улица Карно — 59620 Ольнуа-Эмри
Регистрационный номер 6239
Тел.: 42 27 36 — почтовый счет Мобёж 18745

Соланж Мартен-Шевалье
Биолог
Дипломированный иммунолог
Дипломированный бактериолог

Фармацевт
Тел. дом.: 42 27 36

Мадам Давен Клара
Анализ № 347
от 2 апреля 1974 г.

Ольнуа-Эмри
2 апреля 1974 г.
Доктор Менаж

Далее следовал результат анализа мочи.
На втором листке сверху значилось:

РЕАКЦИЯ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
(По методу Вестергрейна)

Весь третий, самый большой лист занимал гематологический анализ.

Словно дождь лягушек, обрушились эти цифры на маленький одноэтажный дом, девять на пять метров, стоящий на окраине Ольнуа рядом с железнодорожными путями. Марсель, который привык иметь дело с бумагами — во время каждого рейса он заполнял их в большом количестве,— попытался в них разобраться и даже надел очки в тонкой металлической оправе, что всегда вызывает у Клары веселую улыбку — уж больно они хрупкие для такого громоздкого тела. После тщательного изучения он произнес:

— Теперь про тебя все известно.

В затруднительных положениях Марсель и Клара ведут себя по-разному. Клара прикидывается большей невеждой, чем она есть. Он же не разыгрывает из себя доку, но многозначительно молчит. Эту предусмотрительность он унаследовал от отца. Если человек делает вид, что ему все понятно, остальным приходится следовать его примеру. Когда же все и в самом деле прояснялось, отец не мог удержаться, чтобы не заметить:

— Видали? Да кто же этого не знал?

Она входит, садится не дожидаясь приглашения, достает из сумки небольшую пачку бумаг и протягивает тебе.

— А, уже получили. Давайте посмотрим.

Сев одновременно с ней, ты тянешься через стол, чтобы взять бумаги. А она сдвигается на край стула и остается сидеть так, надеясь, что, прочитав результаты анализов, ты что-нибудь ей покажешь.

Ты молча смотришь.

Они с Марселем разобрали всего два слова.

— Уремия,— произносит она.— Мой дед от нее умер. Правда, ему было уже за восемьдесят. Так что время у меня еще есть. И у отца тоже уремия, но он с ней и горя не знает.

— Смотри-ка, холестерин,— сказал Марсель, тыча пальцем в знакомое слово,— это сердце. Помнишь, мне шесть-семь лет назад выдали такую же справку, и там стояло: Н. Мы еще подумали: наверное, это означает «нормально», и дальше была какая-то цифра.

Разыскали бумажку. Поскольку в доме ничего не выбрасывается, то ничего и не пропадает. Н: 1,80—2,50 гр.

— А у меня 2,83 — не страшно.

— Может, это норма для мужчин, а для женщин у тебя тоже все хорошо. Зато видишь, какой у тебя протромбин: 13 на 13!

Легко так говорить, когда человек здоров и нет нужды вникать во все эти мудреные слова и цифры. Простая формальность. В пятьдесят три года не умирают. Если болен, то это чувствуешь. А чтобы не накликать беду, о ней лучше не думать.

Ты начинаешь объяснять:

— Так, все в порядке. Я же вам говорил. Моча нормальная...

Твой чистый и отполированный ноготь задерживается на слове «протеин»:

— ...белка чуть больше нормы.

— А! Белок,— повторяет она.

Так же молча ты изучаешь второй листок.

И левую сторону третьего.

Проглядывая анализы в первый раз, ты справа, внизу, подчеркнул карандашом содержание холестерина и липидов. И видел, что она это заметила. Поэтому ты поясняешь:

— Разве что вот здесь... Вы, конечно, знаете, что холестерин — это... алкоголь... не пугайтесь, в небольшом количестве он есть в крови у всех. Это вовсе не говорит о том, что вы злоупотребляете...

Ты смеешься. Она тоже.

— Бывает, у людей, страдающих циррозом печени, холестерина меньше, чем у здоровых. У вас его чуть больше нормы.

Ты продолжаешь говорить. Она слушает, слушает внимательно. Про себя ты отмечаешь, что сегодня она выглядит привлекательнее, чем в прошлый раз. Первоначальное отчуждение преодолено. У нее великолепные волосы, почти черные, блестящие, здоровые и вьющиеся. Глаза тоже темные, но живые и лишь изредка затуманиваются легкой дымкой. Брови слегка подведены черным карандашом. На веках и длинных, загибающихся вверх ресницах — никакой краски. Ты представляешь, какой она была в двадцать—тридцать лет, и вспоминаешь ее Марселя, более высокого и крепкого, чем ты, хотя с годами он несколько отяжелел. Она выглядит моложе его. Губы подкрашены темной помадой, под цвет волос и глаз. Ногти на руках и ногах покрыты бесцветным лаком. Сейчас лето, она в красных полотняных босоножках на высокой деревянной платформе. Пожалуй, она и одета сегодня получше: бело-синее платье с глубоким вырезом. Коричневая кожаная сумка. Единства нет, но это вполне простительно, женщины и помоложе зачастую не следят за собой и не обладают ее живостью. Когда женщина рано уходит на пенсию, это ей на пользу. Толковая, эмоциональная, не святоша, но и не такая уж покладистая. Слушая тебя, она не кивает поминутно головой, соглашаясь с каждым твоим словом, а лишь изредка, когда видит, что ты этого ждешь. Вы держитесь уже не так официально и начинаете понимать друг друга с полуслова. Отвечая на ее «Здравствуйте, доктор», ты обошелся без обязательного «мадам Давен». Просто протянул руку, воскликнув самым что ни на есть пленительным тоном: «А, это вы!» Ты не спешишь с обычным вопросом: «Как ваши дела?»— не к чему сразу расстреливать все патроны. Ты улыбаешься, давая понять, что она прекрасно выглядит. Гораздо лучше, чем месяц назад. Хорошая погода благотворно повлияла на ее внешность.

— ...да, чуть больше нормы.

Твой карандаш выводит на полях букву «Н», на секунду замирает в воздухе и добавляет: «1,60». Издалека ей плохо видно, и ты поясняешь:

— Надо, чтобы не превышало 1,60. И вот здесь тоже...

Ниже, на полях рядом с цифрой 8,40 ты пишешь: «Н — 6,50».

— У меня чересчур много? — спрашивает она. Ты чувствуешь, что она никак не может решиться спросить: «А что это значит?»

Ты приходишь ей на помощь:

— Вам, конечно, известно, что липиды — это жиры и...

Она не исключение. Тебе приходится обучать ее азам медицины. До каких лет она ходила в школу?.. До четырнадцати, самое большее до шестнадцати, как и многие в те времена. Впрочем, большинство женщин, да и мужчин, сталкиваются со всеми этими проблемами не раньше, чем она. Ведь жизнь — не школа, усваивают только самое необходимое.

— ...Я вам выпишу кое-что. На всякий случай, только на всякий случай. Не беспокойтесь, ничего серьезного у вас нет.

Быстро складываешь бумаги и возвращаешь ей.

Она ждет, что ты еще что-нибудь скажешь, и не торопится их убирать. Но ты встаешь. Поспешно засунув бумаги в сумку, она тоже

приподнимается со стула, явно разочарованная. Она думает, что визит окончен, и не замечает, что ты не выписал обещанный рецепт. Ты подходишь к ней. Кладешь руку на плечо.

Она пытается встать, но твоя рука удерживает ее. Ты стоишь перед ней, и ее колени упираются в твои. Большими пальцами осторожно оттягиваешь кожу под глазами. Зачем? Ты смотришь, потом говоришь:

— Язык...

Зачем это?

Она высовывает язык и не может удержаться от смеха.

— Так... Раздевайтесь.

Ты тем временем возвращаешься к столу, вынимаешь большую толстую книгу с красными, зелеными, желтыми и синими страницами и погружаешься в ее изучение. Нет, без очков не обойтись, шрифт чересчур мелкий.

Она разделась догола. Босоножки можно было и не снимать. Но она сбросила даже их. На светло-зеленом плюше выделяются ее крупные белые ступни. Только что ты был ниже ее ростом. Теперь справедливость восстановлена.

Вытянувшись на кушетке и глядя не на тебя, а в потолок, она, удивленная, что ты сам не спросил об этом, смущенно говорит:

— У меня опять были ужасные месячные. Три дня.

Не отвечая, словно время говорить еще не пришло, ты ощупываешь увеличенный живот. Что это, упрек?

Ты водишь ладонью по округлому животу, пальцами проверяя эластичность кожи.

Наконец ты спрашиваешь:

— Но крови было меньше или как прежде? Или все-таки меньше?

Пожав плечами и тоже помедлив с ответом, она переспрашивает:

— Меньше?

Ты идешь к столу и, не садясь, записываешь что-то на первой странице блокнота. На сей раз ты обходишься без очков. Она привстает. Ты не велел ей пока одеваться. И она не одевается.

— Можете сесть.

Она садится и левой рукой прикрыв левую грудь, а правой, зажатой между ногами, слегка заслонив правую грудь, ждет.

Не поднимая головы от блокнота, ты говоришь:

— Все войдет в норму. Только перестаньте принимать пилюли. Неужели вы все еще опасаетесь? Ну что вы...

Не можешь же ты ей сказать: «В вашем возрасте...» Пытаешься дать это понять по-другому, в более мягкой форме, улыбкой.

Она думает, конечно, о муже и осмеливается возразить:

— Никогда не знаешь наверняка.

— И тем не менее.

Резким движением, не выпуская из пальцев ручки, ты вырываешь листок из блокнота. И смотришь на ее правую руку.

— Больше ничего?

Она не понимает, что ты имеешь в виду.

— Больше ничего не беспокоит? Нигде?

— А! Поясница иногда побаливает.

Она заводит правую руку за спину и тыльной стороной ладони потирает поясницу. Правая грудь, вот так приподнятая, еще очень хороша.

Она поймала твой взгляд. Ты быстро говоришь первое, что приходит в голову:

— Когда нагибаетесь?

Она смеется:

— Нет, когда делаю что-нибудь нагнувшись. Мою полы, например.

И правой рукой снова загораживает грудь.

— Это не страшно,— успокаиваешь ты.

— И еще...— говорит она.

Ты — весь внимание. Она открывает левую грудь и указательным пальцем проводит по маленькому шраму, который ты, конечно, уже заметил.

— ...После рождения дочки, когда я была совсем молодая. Абсцесс...

— Но ведь прошло столько лет.

— Иногда я думаю, а вдруг... что-то там проснулось?

— Вы чувствуете боль?

Она отрицательно, хотя и не очень уверенно качает головой.

Ты снова подходишь к ней. Положив правую руку на плечо, ощупываешь левую грудь вокруг шрама, сверху, снизу.

— Больно?

— Н-нет.

— Все в порядке. Одевайтесь.

Она недоумевает, почему ты не сказал ей этого раньше. Не вспомни она о шраме, сидела бы голая совершенно зря.

Рецепт.

— Через месяц придете снова. Это лекарство снижает холестерин. Рецепты действительны только месяц.

Заполнив бланки социального страхования, ты провожаешь ее до двери, довольный вами обоими. Она как будто бы тоже довольна. И первая подает тебе руку.

Две или три недели спустя у тебя произошел странный разговор с Ноэль. Позже ты поймешь, что этот день был поворотным в вашей жизни.

Почти всегда она просыпается раньше тебя. И лежа включает кофеварку. Сквозь сон ты все слышишь. Не дожидаясь, пока заиграет музыкальный будильник, она гладит тебе плечо и шею — в зависимости от настроения более или менее нежно. Музыка раздается, когда кофе уже готов. Излишняя предосторожность. За годы вашей жизни Ноэль всего раза три проснулась позже тебя. В любом случае время еще есть. Ты не любишь вставать чуть свет. В отличие от отца ты можешь понежиться в постели, не торопясь умыться, позавтракать — тебе удалось избежать общей участи.

В тот день она с утра предалась воспоминаниям. После того как вы лежа выпили кофе — она чашку без сахара, а ты две чашки очень сладкого, кофеварка рассчитана именно на такое количество,— она заговаривает с тобой. Вы едва касаетесь друг друга. Любовь ты откладываешь обычно на вечер. Неприятно чувствовать с утра усталость и дрожь в пальцах. За ночь твоя роскошная пижама из голубого шелка даже не помялась, ты и во сне сохраняешь благопристойность и не крутишься с боку на бок, в постели тебе так же уютно, как и в жизни. Про тебя можно сказать, что ты спишь не снимая галстука. Сколько ты ни высмеивал ее длинные и узкие ночные рубашки, белые, без кружев, с широкими рукавами и застегивающиеся под самое горло, она так и не отказалась от них. Сначала ты думал, что она стесняется своей худобы или того, что у нее чересчур маленькая грудь, но это не так. А своей великолепной белоснежной кожей она могла бы гордиться. У нее прямо-таки страсть к широкополым шляпам и всевозможным зонтам. На пляжах она появляется лишь в часы утреннего и предзакатного солнца. Плавает она лучше и быстрее тебя — спокойным, размеренным кролем, но предпочитает крытые бассейны, вероятно потому, что там менее шумно. Сейчас никто не скажет, что она на три года старше тебя. Ничего удивительного,

ведь жизнь у нее довольно беззаботная, и не тебе попрекать за это Ноэль. Должно быть, она сознает, что это твоя заслуга. Она прижимается щекой к твоему шелковому плечу и нежно поддразнивает:

— Ты помнишь? Помнишь, как писал стихи?

— Неужели? Это было так давно.

— А мне они нравились. Даже не сами стихи. А то, что ты пытался их писать. Мне нравились даже твои орфографические ошибки.

— Ошибки?

— Ты их не замечал?

— Если я и пописывал стишки, то просто так, чтобы позабавиться.

— Ты не очень много читал. Поэтому и не старался никому подражать. Слышал только себя.

— Согласись, я вовремя остановился.

— Знаешь, я сохранила твои стихи.

— Если они попадутся мне на глаза, я их порву.

Минуту она молчит и, отодвинувшись от тебя, продолжает:

— До чего ты был тогда легкомысленным! Ты вызывал у меня какое-то материнское чувство.

— Не может быть! Ты преувеличиваешь.

Ты берешь ее за руку, она слегка сопротивляется.

— Но это так,— говорит она.— Ты притворялся или вправду был таким? Ты очень долго оставался ребенком... И все мечтал, мечтал...

— Я даже не помню о чем.

Ты выпускаешь ее руку, но твой шелк по-прежнему прижимается к ее грубоватому льну, и ты знаешь, что спрятанная под ним кожа нежнее всех шелков на свете. Ты жалобно шепчешь:

— Тогда я нравился тебе больше, чем сейчас?

— Не в этом дело... Ты мечтал и о том, как посвятишь себя медицине. Я хорошо помню, как мы жили здесь первые годы. Как ты старался ничем не скомпрометировать, не запятнать себя... А помнишь, как мы начинали в Эне?

Маленький городок, расположенный у подножия замка.

Кабинетом владела группа врачей. Если бы ты им подошел, здесь можно было бы закрепиться надолго. Ты еще не отваживался работать в одиночку. Прибыв сюда, ты сразу и без обиняков спросил:

— Чем здесь в основном болеют? На вид люди не такие уж...

Твой коллега, лет на десять старше, ему было тридцать четыре или тридцать пять, иронически посмотрел на тебя и ответил:

— Можешь не беспокоиться! Свои двенадцать тысяч ты в любом случае заработаешь. А остальное...

Ты и в самом деле мог зарабатывать по двенадцать тысяч. Но постепенно понял, во что ты влип. Однажды вечером в доме сельскохозяйственного рабочего-португальца... «В доме» — это громко сказано. Одна-единственная комната, рядом с конюшней. Пятеро детей. Отец семейства болен. Ты отказываешься от денег. И что же ты слышишь от своих коллег: «Да вы с ума сошли! Вы нам так все дело испортите! Мы что, по-вашему, благодетели рода человеческого?..» В воскресенье одному старику нужно было сделать укол. Ты сделал его сам, а деньги взял только за визит. Новый взрыв негодования: «А медсестры для чего? Может, вы хотите, чтобы они стали лечить больных вместо вас!» Ты осмеливаешься возразить: «А что тут плохого?» Твой старший коллега, повернувшись к тебе спиной, покрутил пальцем у виска, приглашая всех полюбоваться на такого чудака. И бросил уже в дверях:

— Ты еще одумаешься, щенок!

Безупречно отлаженная система. Сеть, охватывающая целый округ. Сиделки, аптекари и еще кое-кто за определенную мзду

рекомендуют вас больным. И двенадцать тысяч, пять тысяч, четыре тысячи, одна тысяча регулярно капают в карман. Больше здесь просто не выжать, как бы ни страдали люди от разных хворей и недугов. Их болезнями и недомоганиями и так кормится куча народу, причем работая всего половину дня. Остальное время, с утра или после полудня, можно посвятить теннису, гребле, верховой езде, плаванию в бассейне, и вовсе не обязательно в обществе Ноэль, дважды в год менять машину, проводить упоительные ночи в городке или за его пределами и позволять себе поистине сказочные отпуска. Это придает шик всему городку, он разыгрывает из себя богатый город и усердно приукрашивается — благоустраивает дома, парки, подновляет белые ограды и обсаженные зеленью улицы. Стараниями местного муниципалитета маленький Шантийи процветает среди унылых, продутых всеми ветрами равнин, напоминающих «Анжелюс»[1] или полотна братьев Ле Нен[2], и самая пустяковая мигрень или фурункул приносят здесь золотой дождь. Тебе это отвратительно, и вскоре ты со всеми расплюешься и сбежишь в Ольнуа. На большее тебя не хватит. Устроить шум? Ведь не может же так быть повсюду. Но здесь все обстоит именно так. Ты видел собственными глазами. И мог стать похожим на других. Через десять лет зажил бы по-королевски, забыв о долгах. И обосновался бы здесь навсегда. Ты не носишь бороду и утратил вкус к скандалам, тем более они ни к чему Ноэль. Стать центром внимания, когда начинаешь с нуля? Вступить в единоборство с могущественными силами, высшими инстанциями, кем еще?.. А тут в Ольнуа засветила маленькая возможность. Решено, и ты не задумываясь расстаешься со своими коллегами. Тебе не хочется стать такими, как они. Еще совсем недавно ты был образцом осторожности, вежливости и скромности и к профессии врача относился с благоговейным трепетом, словно к невинной девушке. За десять дней ты повзрослел и набрался ума больше, чем за десять лет.

— Я обработала изумительную сказку,— продолжает она.— Вечером прочитаю тебе. Последний раз ее издавали более века назад. Удивительно, что ее забыли. Сказка о девушке, которая плачет алмазами. Ее заставляют плакать, потому что ее слезы приносят богатство. Но вот в нее влюбляется бедный юноша. Он хочет лишь одного: чтобы она никогда больше не плакала.

— Что ты делаешь сегодня утром?

— Ничего особенного, сама не знаю, но мне не скучно.

Говорит не глядя на тебя. Ты всматриваешься в ее лицо и более отчетливо, чем обычно, угадываешь грусть, которая прячется за ее улыбкой. Сегодня можно сделать исключение. Она никогда не предлагает себя, но никогда и не отталкивает. Правую руку ты просовываешь ей под затылок, а левой тянешься далеко вниз, к щиколоткам, где кончается рубашка.

В такой позе ты похож на распятого, которого снимают с креста, только вид у тебя совсем не мученический.

— Свет мешает.

— Закрой глаза.

В полдень она уже другая. С утра вы не виделись.

Молчит. Замкнулась, затаилась, прячет от тебя глаза. В разгар лета вырядилась в темное, почти черное платье. Какие обиды накопились у нее за эти часы? Ты спрашиваешь, что с ней. Отрицательно

[1] Картина французского художника Жана-Франсуа Милле (1814—1875).

[2] Братья Ле Нен (Ленен)— французские художники. На большей части полотен Луи Ле Нена (1593—1648) запечатлены сцены из крестьянской жизни.

качает головой. Пробуешь взять за руку — отнимает ее. Ты не настаиваешь. Обедаете в полном молчании, сидя друг против друга. Впрочем, для разговоров у вас не так уж много времени. В полдень вы едите мало и быстро. И если молчите, то и Софи, снующая взад-вперед с тарелками, тоже помалкивает.

Вспоминаешь, что было утром, в постели. Ведь ты ничего не сделал такого, чтобы... Ты никогда не делаешь ничего такого... С самого начала она сумела заставить тебя относиться к себе с уважением. Можно сказать, ты любишь ее с некоторой почтительностью. Она отдается тебе или позволяет ласкать себя, оставаясь совершенно неподвижной, только ее руки, обвивающие твои плечи и спину, крепче обнимают тебя в последний миг. Нет, тут что-то другое. Но что?

Тебя отвлекают осы — сейчас пора ос. Ты не терпишь в доме ни ос, ни мух. Они налетают целыми полчищами, бьются между стеклами и занавесками, кружатся над столом и наглеют все больше. Зреют груши. Застекленная дверь открыта, а в саду три грушевых дерева, два из них шпалерные, так называемые груши кюре, Бере Жиффар и Бере Арамберг. Было время, ты поддразнивал ее по поводу кюре. Зря старался. Она может легко обходиться и без кюре. Со школьных лет у нее сохранилась только одна привычка — это посещение воскресной службы. В церковь она отправляется в скромном костюме или сером пальто и садится в самом дальнем углу. Даже молитвенника не берет с собой. Ты не знаешь, сохранился ли у нее маленький изящный молитвенник, переплетенный в зеленый сафьян. Тебе нравилось напоминать ей: «Не забудь зеленый молитвенник». В обычные дни ее набожность ни в чем не сказывается, даже за столом. Поскольку хлеб режете не вы, ты не знаешь, стала бы она, как Софи, выводить на нем крест большим пальцем или ножом. Она просто живет, и все. Скорее по законам нравственности, нежели веры.

В конце концов ты не выдерживаешь и уходишь в кабинет за желто-синей плиткой из Кордовы. Той стороной, где сохранились следы от цемента, ты давишь мух и ос, нажимая не слишком сильно, чтобы не испачкать стекол. И тебе неизменно чудится, будто ты совершаешь маленькое святотатство: кто знает, а вдруг эта плитка с полустертым рисунком единорога и следами цемента на оборотной стороне и впрямь архидревняя.

Вечером ты вовсе не настроен вступать в объяснения. Она же настроена. Может быть, даже подготовилась?

Ты всегда недолюбливал диван в стиле Второй империи, с чистой, но потертой обивкой, на котором вы встречаетесь почти каждый вечер перед ужином при слабом, на твой вкус чересчур слабом, освещении. Ты не плюхаешься на него, потому что он довольно жесткий, а садишься как можно осторожнее и откидываешься на центральный медальон спинки. С какой стороны, справа или слева, подсядет она к тебе, прижавшись не спиной, а плечом к маленькому боковому медальону? Это зависит от того, хочется ли ей почитать или поболтать. Ты подвигаешься, чтобы освободить место. Впервые за весь день ты можешь сбросить с себя напряжение и посидеть, подняв вверх колени, расстегнув галстук-бабочку и пиджак, ослабив пояс на два деления, и вот какая несправедливость — нужно вставать, чтобы приготовить себе ежедневный стаканчик «шиваса» с водой без льда. Ни разу она не предложила тебе выпить и ни разу не составила тебе компанию. Никакого осуждения, даже во взгляде, ведь ты только слегка подкрашиваешь воду, тем не менее ты вынужден предаваться этому удовольствию в одиночку. Ты ждешь — не хочется проявлять поспешность, да и лень вставать, кроме того ты знаешь: с какой стороны она ни сядет — чтобы почитать или поговорить,— она будет сидеть очень прямо, а значит, смотреть на тебя сверху вниз, и ты надеешься на ее снисходительность.

Она усаживается слева, подальше от вращающегося фонаря, отбрасывающего красные блики. При его свете она обычно читает по вечерам. Ты завидуешь, что она обходится без очков и читает романы, не испытывая скуки. Ты приподнимаешься и садишься менее удобно — опираясь спиной на большой и правый маленький медальон, и тут она начинает:

— Знаешь, сегодня днем...

Ты предпочел бы провести вечер так, словно ничего не произошло. Главное, чтобы все уладилось. В результате объяснений или без них. Лучше без них. Чем дольше удается их оттянуть, тем легче они даются. Но раз уж она начала, ты приходишь на помощь:

— Да, что с тобой было? Ты на меня рассердилась?

— Нет, хуже. Я несчастлива.

— Несчастлива?

— Да, несчастлива.

— Ты что, с ума сошла?

От неожиданности ты подскакиваешь и круто поворачиваешься к ней. Сидишь, открыв от изумления рот, в расстегнутом пиджаке и с болтающейся на шее бабочкой, весь — ожидание, а ей кажется, что ты шутишь.

— Я серьезно, Робер.

Ты и не думал шутить. Бывает, ты пытаешься шуткой отвести опасность или хотя бы выиграть время. Но на сей раз ты уже понял, что это серьезно.

— И я хочу, чтобы ты знал об этом. Я тебя никогда не вижу! Мы совсем не бываем вместе!

Она плачет.

Только этого не хватало. За то время, что ты ее знаешь, такое с нею случается впервые. После смерти отца она горевала несколько месяцев, но плачущей ты ее не видел. Она совсем не похожа на женщин, в которых ты сразу же чувствуешь силу и твердость. Ну хотя бы как эта Клара. Хрупкая и нежная, Ноэль по-своему умеет быть стойкой. Впрочем, за те годы, что вы женаты, у нее и не было повода для слез. Правда, у вас нет детей, и ты знаешь, что она из-за этого страдала и страдает до сих пор. Она не раз говорила тебе об этом, но даже тогда ее глаза были сухими. Она не умеет плакать. Да и сейчас закрывает ладонью глаза — не хочет, чтобы ты видел ее слезы.

— Ноэль! Но ведь...

Она вытирает глаза — не платком, а полой серой трикотажной кофточки, которую надевает довольно часто.

— ...Но ведь я почти всегда дома. Немногие могут себе это позволить.

— Ну и что из того? Ах, да, мы видимся по утрам, в полдень, вечером. За столом. Если я умру, ты скажешь: «С кем же я буду теперь обедать?»

— Но почему вдруг ты заговорила об этом именно сегодня?

Вместо ответа она пожимает плечами: сама не знаю. И все-таки:

— Ужасно, но я привыкла к этому почти так же, как ты. Раз в год ты делаешь мне одолжение, и мы вместе куда-нибудь вырываемся. Уезжаем, бежим от всего, даже от самих себя. Словно пытаемся начать новую жизнь. Солнце, море или пустыня молодят нас на десять лет. Но это длится всего месяц.

— Ты несправедлива. Мы...

— ...Потом мы возвращаемся домой и как проводим остальное время? Разве мы разговариваем с тобой по-настоящему? Да и о чем нам говорить? Даже за столом я вижу, что ты весь в заботах, недоволен или устал.

— Что поделаешь, у каждого своя работа.

— Но ты работаешь чересчур много, чересчур много. Не все с

таким рвением... отдаются работе, как ты. Ты не согласен, Робер? Не согласен?

— Может, я действительно многовато работаю, иногда мне и самому так кажется, но...

— А зачем тебе работать так много? Вот что меня удручает, когда я думаю об этом, как сегодня...

— Но... ведь утро началось так хорошо...

Она выпускает полу кофточки, которую комкала во время разговора, берет тебя за руку и крепко сжимает: она не спорит с тобой, нет, но:

— ...Я и сама искала утром спасения. Хотела вспомнить, как мы начинали, как надеялись. А когда вспомнила, стало еще тяжелее. Как все изменилось! Ты никогда не задумываешься об этом?

— Такова жизнь... Хочешь не хочешь, а нужно заниматься делами.

— Я вот тоже часто думаю: жизнь... Почти как ты. Около девяти ты уходишь, и нас разделяют только две двери, ты совсем рядом... Но я чувствую себя такой заброшенной и одинокой. Может быть, даже более одинокой, чем женщины, чьи мужья вынуждены, как ты говоришь, покидать их на целый день. Если бы ты хотел...

— Правда, раньше я чаще забегал сюда, чтобы поцеловать тебя в щечку, но это еще не значит...

— Не в этом дело...

Она прижимает руки к вискам, точно стараясь удержаться и не покачать головой.

— ...Совсем не в этом, как ты не понимаешь. Даже если ты хоть десять раз забежишь...

Она опускает руки. И смотрит на них с удивлением: они уже не мокрые от слез. Она резко поворачивается к тебе. Ты никогда не видел, чтобы у нее были такие глаза, не враждебные и не жалобные, а скорее умиротворенные, словно она приняла какое-то решение.

— Вот говорят: жизнь... А если жизнь толкает нас по ложному пути? Нас подтолкнули, и дальше мы двигаемся уже сами. Но ведь еще не поздно остановиться и пойти другой дорогой. И если человек вдруг почувствовал себя несчастным, разве это не предостережение, не сигнал об опасности?

— Ты не слишком много читаешь? Ну что это ты напридумывала!

— Не смейся! Прошу тебя, Робер, что угодно, только не смейся! Ты лучше меня знаешь, что так говорят о болезни, но если человек понимает, что он несчастлив, разве это уже не красный свет?.. И тот, кто вовремя не остановится, тот, кто не постарается во что бы то ни стало дождаться зеленого, сам виноват в своем несчастье.

— Несчастье! Тебе не кажется, что это слишком громкое слово?.. Ведь у нас есть все...

И зачем только тебе пришло в голову потянуться, чтобы ласково погладить ее по щеке или шее. Она так отпрянула от тебя, что даже перегнулась с дивана — словно твои пальцы могли ее обжечь.

— Я прекрасно обойдусь без этого всего! Разве нам нужно столько денег? Чтобы жить по-настоящему? Вначале у нас почти ничего не было...

— Можешь даже сказать, что особенно у меня ничего не было.

— Ты отлично знаешь, что я никогда не делала различия. Это ты вбил себе в голову, будто должен, как ты говорил, возместить мне то, что я... что я тебе принесла...

Говоря «вначале», она имеет в виду то время, когда вы уехали из Эна и выбранная тобой профессия уже не казалась тебе такой бескорыстной, как прежде. Тебе хотелось начать с нуля. Но сколько бы ты ни возмущался, для этого требовались деньги. У тебя их не было. Нужно было купить кабинет. А вместе с кабинетом ты

приобретал и клиентуру. Клиентура. Тебе казалось кощунственным употреблять это слово по отношению к людям, которые попали в беду. Разве можно произносить его без содрогания? Словно речь идет о продаже партии рабов. Конечно, эти «рабы» не обязаны следовать за новым владельцем. Скорее всего, они обычно даже не подозревают, что их перепродали. Но надо их удержать. И это чудовищное зеркало в потемневшей плетеной раме — первая уступка, на которую ты пошел, чтобы не распугать их. Ведь нужно было ежемесячно платить за оборудование. В душе ты посмеивался над Жуве-Кноком [1], потому что, к собственному удивлению, обнаруживал у посетителей несметное число болезней. Возможно, сказывалось чрезмерное рвение новичка. Ты быстро уяснил невыгодность такой методы. Испугавшись, они обратятся за помощью к другим врачам. Или, поверив в твой приговор, махнут на все рукой и будут дожидаться конца, забившись в свои норы... Ты понял, что в твоих интересах держать людей в промежуточном состоянии между отчаянием и надеждой — в международной политике это называется равновесием страха — и медленно поджаривать их на этом огне. Аптекарю, давнему другу доктора Петийона, надлежало играть ту же роль, что и старому зеркалу. Чтобы задобрить его, на первых порах ты особенно щедро направлял к нему больных с рецептами. Оправданием тебе служило превосходное оборудование, приобретенное ради их же блага. И образ жизни, который ты вырабатывал в соответствии со своим положением по примеру коллег и друзей. Стоит только начать, а там уж одно тянет за собой другое. Прошло почти двадцать лет. И ты не чувствуешь себя более виноватым, чем другие. Ты преуспел. Что же в этом плохого?

Говорить о деньгах тебе неприятно. Ты снова потихоньку сползаешь по дивану вниз. И не стараешься удержаться. Тебя ошарашило, как отпрянула Ноэль. Ты сидишь подсунув под себя ладони и упираясь в потертую обивку, но с гораздо большей охотой ты вообще сбежал бы с этого дивана. Ты отказываешься спорить, понимать, убеждать.

— Если бы и вправду все делалось только ради людей, которым ты посвящаешь так много времени, думаешь, я не смогла бы... этого оценить? Но признайся, Робер, ты сам их ловишь и стараешься уже не выпускать из рук.

— Ты преувеличиваешь. Это делается и ради их пользы.

Ты спускаешься еще ниже, держась за край сиденья и почти касаясь его локтями. Что же тебя так сразило? Только не стыд. Ничего подобного. Скорее внезапность и решительность нападения. Ты вдруг почувствовал, что лишился чего-то очень существенного — поддержки Ноэль, ее соучастия, может быть даже любви?

— Во всяком случае,— заключает она,— мне хотелось тебе все высказать. И, как видишь, я обошлась без скандала. Мы не можем больше так жить. Я не могу больше так жить.

Ты молча покачиваешь головой. Пусть видит, что для тебя все это слишком сложно и неожиданно и вот так, сразу, тебе трудно с ней согласиться.

Она встает — видимо, для того, чтобы заняться ужином. Только теперь ты снова разрешаешь себе расслабиться и садишься как прежде — высоко подняв колени. Что ни говори, а ты очень устал, и вот тебе благодарность...

Она возвращается и, подав тебе твой «шивас» с водой, говорит без улыбки:

— Держи! Ведь это единственное, чего тебе сейчас хочется.

[1] Луи Жуве (1887—1951) — французский актер и режиссер. Имеется в виду роль в комедии-гротеске Ж. Ромена «Кнок, или Торжество медицины».

Чтобы совсем добить тебя. Что с ней происходит?

После этого вечера события развиваются быстро. Незаметно пролетают два года. Во время первой встречи с человеком замечаешь в нем гораздо больше, чем во все последующие.

Придя к тебе на прием в третий раз, Клара Давен высказывает опасение, что у нее рак груди. Но уже с другой стороны. Ты подшучиваешь над ней:

— Сначала вам казалось, что у вас что-то в области живота. Потом — в левой груди. Теперь — в правой. Что ж, давайте посмотрим.

Слабая боль под мышкой. Нет. Ничего подозрительного.

Так пройдет два года. Несколько месяцев тебя будут угнетать упреки Ноэль. И если тот день считать поворотным в вашей жизни, то он немного сблизил тебя с ней. Ты ежедневно уделяешь ей час или два. Отказываешься от холостяцких субботних пирушек в Бельгии и воскресных морских прогулок. Вы посещаете концерты в Валансьенне, на которых ты сидишь с глупой улыбкой и скучаешь. Вы снова, как десять лет назад, ездите в Брюгге и берете лодку, которой ты управляешь по-прежнему плохо, вы катаетесь по узким каналам, проплываете под мостами. Большего ей, видимо, и не требовалось. Постепенно все входит в привычную колею. Главное, тебе хотелось доказать ей, что она была несправедлива, упрекая тебя в корыстолюбии. Неловко хвалить самого себя, но ты без конца повторял, как ты предан своим больным, и пусть уж она поверит, что для тебя нет ничего важнее этих людей. Ведь ты помогаешь им жить, утешаешь их, лечишь. Но закралось подозрение: а вдруг то, что решилась высказать Ноэль, про тебя думают и твои пациенты, несмотря на все, что ты для них и ради них делаешь. Ты начинаешь улыбаться им еще любезнее. Чаще появляешься в городе и не пропускаешь ни одного прохожего, чтобы не рвануться к нему с протянутой для приветствия рукой. Любители пошутить утверждают, что у тебя походка Гручо Маркса [1]. Тот, разумеется, утрирует, тем не менее, когда ты устремляешься к цели — спина изогнута в угодливом поклоне, полы пиджака развеваются, а ноги сами несут тебя вперед,— между вами есть что-то общее. Но твой смех никогда не звучит агрессивно, и ты не выпускаешь людям в лицо сигарный дым. Твои дружеские связи — если взять только местных жителей, например с новым аптекарем, который немного моложе тебя, или с малышкой Соланж Шевалье, с прошлого года по мужу Мартен, а также то доброе, что говорят о тебе две медсестры, оказывающие мелкие услуги на дому,— выгодно отличают тебя от бывших коллег из Эна. Даже если бы ты вздумал им подражать, тебе за ними все равно не угнаться. А если кто-то осмелится бросить в тебя камень, то первой заступится та же Клара, которая прислала к тебе двух подруг, и у одной из них, Флоранс Дестербек, ты обнаружил ишиас.

В городке и его окрестностях ты слывешь милым, корректным, вежливым, настоящим «комильфо», внимательным и серьезным врачом. А стоит тебе вспомнить объяснение с Ноэль, ты усердствуешь еще больше и стараешься быть с ней поласковей. Твое единственное уязвимое место — рецепты, срок действия которых ты значительно сократил по примеру прежнего аптекаря.

После того как Клара побывала у тебя раз пять или шесть, ее муж, Марсель, который, похоже, немного ревновал — мужчинам сдается порой, что у них есть основания ревновать к тебе своих жен,— беззлобно сказал ей:

— Он может кривляться перед тобой сколько угодно. Знает, что поймал тебя на крючок и ты уже не сорвешься. Каждый месяц ходишь

[1] Джулиус (Гручо) Маркс (1895—1977) — американский актер-комик, один из знаменитых братьев Маркс.

теперь в кассу. Ты для него все равно что рента. Может, хоть не даст тебе помереть раньше срока. Ему выгодно, чтобы ты жила подольше!

Но когда ты встречаешь их вместе на улице, это не мешает ему отвечать на твои приветствия. Как поживаете, мсье Давен? А вы, доктор? И, словно бы только для нее одной, полушутя добавляет:

— Дело не в деньгах, за нас социальное обеспечение раскошеливается. Но вот ты записалась в больные. И тебе ничего другого не остается, как и впрямь быть больной. Стала на этот путь, и теперь с него не сойти. Не говоря уж о рецептах — только и знаешь, что продлевать их.

А ты иногда пытаешься разгадать, что означает легкая улыбка, с которой Клара смотрит на тебя.

Идут месяцы, холестерин остается прежним, а фиброма начинает уменьшаться. Отказавшись от пилюль, Клара все так же страдает даже от самого слабого кровотечения, однако в возрасте пятидесяти четырех лет месячные у нее прекращаются. Она спрашивает тебя, не станет ли она теперь другой, да еще это лекарство от фибромы, не переменится ли к ней... муж. Вдруг она станет более... менее... Ты успокаиваешь ее, что все это самые обыкновенные выдумки. Она не решается вновь заговаривать с тобой о груди, но ты догадываешься, что тебе не удалось рассеять ее страхи. И ты делишься своими наблюдениями с Ноэль: некоторые женщины до того боятся рака, что им даже как будто хочется, чтобы у них его нашли.

Многим людям доставляет удовольствие при встрече перемолвиться с тобой словом — на улице, на террасе кафе или в привокзальном холле. На эти годы как раз приходятся выборы. Ты посещаешь собрания всех партий, хотя и воздерживаешься от высказываний. Сейчас набирает силу Союз левых. Кого-то ты привлекаешь умеренностью. Другим намекаешь, что ты чуть ли не социалист, но состоишь ли в партии, остается неясным. С правыми ты разговариваешь снисходительным и понимающим тоном победителя, поверженным ниц ты дружески протягиваешь руку помощи. На самом же деле ты вовсе не намерен вмешиваться в политику, тебе и без того хватает забот.

Между тем два года спустя Клара возобновляет свои жалобы: правая грудь снова дает о себе знать. Она опять чувствует боль под мышкой, но уже чуть сильней. Ничего не обнаружив, ты заверяешь ее, что она ошибается, просто она чересчур мнительна. Пусть спит спокойно.

Но достаточно случая, и вот за несколько дней все опрокидывается вверх дном. Некий Леборнь из Парижа выдает дочку замуж. Как и Давен, он железнодорожник. Все, кто имеет дело с поездами, знакомы между собой. А эти двое — давние друзья. Марсель и Клара приглашены на свадьбу, проезд у них бесплатный. Жених — молодой врач, каким и ты был когда-то, двадцать шесть — двадцать семь лет. И по счастливому или несчастливому совпадению свидетель жениха, чуть старше его, работает рентгенотерапевтом в Институте Кюри. Щенки. Когда с дивана до них доносится разговор о боли в груди, о фиброме, они вмешиваются. За три дня, три праздничных дня Клара узнает, что ошибся ты, а не она. И если бы речь шла о нескольких днях — потеряны два года.

— Да он просто убийца, этот тип! — восклицают молодые люди.

Они объясняют, что в первую очередь необходимо было послать ее на консультацию к специалисту. Принять самые элементарные меры предосторожности. А на холестерин не стоило обращать внимания. Потому что снижающее его лекарство могло оказаться канцерогенным.

— Я напишу ему,— говорит тот, что постарше.— И выскажу ему все, что о нем думаю.

Марсель так и не узнает, сделал он это или нет. Но теперь, из-за шока, у него открываются глаза. И не громко, а только своему другу-железнодорожнику он говорит:

— Ты же понимаешь, ему не хотелось упускать такую удобную больную.

В Ольнуа Клара и Марсель возвратились, естественно, без подарка для тебя. Они даже не зашли к тебе, однако новости разносятся быстро, и через несколько дней все в округе уже знали, что они о тебе думают.

Только неделю или две спустя Марсель случайно встречается с тобой на Вокзальной улице. У него-то нет оснований прятаться от тебя. Не ускоряя шага, он отделяется от двух приятелей и подходит. Ноэль видит, как ты бледнеешь.

Он берет тебя за отвороты пиджака, словно пытаясь оторвать от тротуара. Хочет что-то сказать, но сдерживается. И выпускает, как пустой мешок. Хватит с тебя и этого. Он поворачивается к тебе спиной и догоняет своих спутников. А ты, ты тоже не произнес ни слова.

Кто выскажет тебе то, о чем умолчал Марсель? Во всяком случае, уже в самом обращении на «ты», которым с первых страниц наградила тебя эта книга, звучит презрение.

— Если у него так получается со всеми больными,— скажет гораздо позже Марсель,— то ему всех подряд нужно остерегаться.

Несчастье Клары обернется несчастьем и для тебя. Тебе перестанут доверять. От тебя все отвернутся.

II

И началось восхождение на Голгофу. Впервые в жизни Клара прислушивается к своему телу. По натуре она из тех, кто уверен, что «лучше к себе не прислушиваться». В старости такие люди советуют молодым: «Не будешь к себе прислушиваться, боль сама пройдет». Однако потом наступает очередь молодых напоминать старикам на пороге смерти забытую ими собственную заповедь.

Не давать поблажки ни боли, ни грусти, ни усталости, ни слабости. Оставаться глухим к своему телу, которое ежедневно тысячу раз дает о себе знать, и не поддаваться тревогам, которые все чаще одолевают нас с возрастом.

Еще два года назад она не задумывалась о том, что делается у нее внутри. О своей внешности, как и любая женщина, она заботилась, и тут, она знала, жаловаться ей было не на что. Она никогда не прятала и не предавала свое тело, открытое плотским радостям, она никогда не отрекалась от него. Ее и двадцатилетнего Марселя, огромного, сильного и чуть-чуть грубоватого, неудержимо влекло друг к другу. Сладкая дрожь, пробегавшая по ее телу, неизменно передавалась мужчине и наоборот. Как только ее грудь касалась мужской груди, тишина вступала в свои права. Счастье не нуждается в словах. Она чувствует, как разгорается в ней безумный, обжигающий, слепо рвущийся наружу огонь, а потом лежит с закрытыми глазами на спине, и он, опираясь на локоть и прикрывая ее собой, словно бы защищая, молча и с благодарностью следит за медленным угасанием огня, который, спрятавшись на какое-то время в глубинах уставшей, обессилевшей плоти, будет тихо тлеть в ожидании своего часа, не опасаясь, что его задует первый же ветер. Она не прислушивалась к себе, потому что жила в полном согласии с собой. Какой смысл подвергать сомнению свои радости, если ее телу лучше известно, что ей надо. Взаимное и молчаливое доверие. И по сей день они с мужем редко пропустят какую ночь. Пусть улыбаются молодые.

Даже вынашивая Франсину, она не вслушивалась в себя, но слышала ее непрерывно, днем и ночью, спокойно и радостно ощущая, как растет в ней этот скрытый от всех комочек, ее продолжение. Поз-

же, когда она решила «избавиться» от ребенка, который мог стать братом или сестрой Франсины, то был, наверное, единственный случай в жизни, когда она сказала своему телу упрямое «нет». Откуда у нее только взялась смелость посягнуть на то, что развивалось в ней с каждой минутой, с каждой неделей... А потом ей было уже не до тела. Свое оно или чужое? Все заглушила нестерпимая боль.

И, стараясь расплатиться за обиду, нанесенную телу, ей мстит ее собственная кровь — стоит ей хоть чуть-чуть излиться наружу, как Клару охватывает ужас, смятение, и все в ней, как она говорит, «опрокидывается».

Понадобилось, чтобы созрел этот твердый, тяжелый шар, который, словно голова ребенка, годами давил ей на низ живота, чтобы возникла эта жгучая точка под мышкой, и вот теперь все ее тело в опасности. Что в нем происходит? Что рождается в нем в каждую тысячную секунды? Что замышляется здесь или здесь? Какое оно из себя, это крошечное чудовище, вонзающее свое булавочное копье в самое беззащитное место? Оно видится ей то зеленым, то черным, то красным, то розовым, то грязно-серым или грязно-белым. Но никогда голубым или желтым. Почему? Если его увеличить в тысячу или сто тысяч раз, ему бы — не спрятаться в своем кровавом логовище. Кем же оно прикинется? Скорпионом, крабом, нет, сколопендрой или пауком. Проще всего вообразить его красным, едва заметным паучком, который губит розы, но она слишком хорошо знает, как тут легко обмануться: захлопните книгу, по которой бегает красная точка, раскройте книгу на следующий день,— и вы обнаружите этого паучка живым и невредимым.

Если вспомнить первые два дня, проведенные Кларой в Париже, то ее восхождение на Голгофу началось все-таки не с них. Париж сам по себе был праздником. До этого Клара приезжала сюда дважды и всего на один день. Марсель со скоростью ветра часто пересекал его из конца в конец, но хорошо ориентировался только в привокзальных улицах. На этот раз в их распоряжении было целых четыре дня. В первый день, во вторник и на следующий день Клара помогала по хозяйству Витали Леборнь, с которой раньше была незнакома, и с радостным удивлением открывала, что их сближает, а что отличает одну от другой. Витали немного моложе ее, Леборнь еще вполне «активен»,— у нас, на Севере, о мужчинах говорят, как о вулканах,— до пенсии ему остался год. А! И у тебя будет скоро «последний поезд»!.. Когда двенадцать лет назад Марсель выдавал дочь замуж, он приглашал Леборня и еще двух-трех приятелей. В наших краях любят широкие застолья. Огромный стол ломился от угощений, но Леборнь не смог приехать, потому что был в дальнем рейсе. Оба они потом долго из-за этого сокрушались. Нужен был новый повод для встречи. Не важно у кого, они не придерживались этикета. И вот повод нашелся.

Во вторник утром, еще до свадебной церемонии, им представили доктора Кристиана Леду с женой. Во время бракосочетания, проходившего в мэрии XI округа, Клара решилась наконец шепнуть Марселю:

— Как ты думаешь, можно мне посоветоваться с ним?

Он ответил не сразу. Даже в пустяках мужчине не подобает уступать женщине. Поведя бровями в сторону молодых, которые приближались в эту минуту к мэру, он дал ей понять: «Сейчас не время и не место думать о подобных вещах...» И только когда все шумно рассаживались по машинам на солнечной стороне бульвара Вольтера, он тихо и торопливо ответил ей:

— Не приставай к парню в такой день. Он ведь приехал сюда не для этого.

Но в разгар свадебного обеда, когда уже в третий раз переменили тарелки и все вокруг, как бывает за столом, громко заговорили о жизни, о смерти и о здоровье, она выбрала минуту непродолжительного затишья и шепнула Витали, показывая большим пальцем себе на грудь:

— Знаешь, мне кажется, у меня здесь что-то неладно.

Они только что перешли на «ты», и обеих это радовало. Еще полчаса назад они были на «вы».

В эту минуту с другого конца стола раздался голос Марселя:

— Скажи, Леборнь, а ты случайно не с Севера?

— Я-то? Я родился в Париже, но мой дед родом из Па-де-Кале.

— Это уже почти юг, но я все равно угадал.

Марселю явно хотелось слегка побузить, да не было повода. Клара видела, как в перерыве между кофе и ликером Витали увела Кристиана в угол. Спустя час он сам подошел к ним в маленьком дворике у гаражей за домом — ему, как и всем, захотелось глотнуть свежего воздуха. Лифт без конца сновал вверх и вниз; гости начали играть в шары — за неимением настоящих, в ход пошли детские целлулоидные шарики, синие и красные, наполненные водой.

— Я слышал, вас что-то беспокоит?

Между мужчинами установилось взаимопонимание, которое возникает после того, как уже порядочно выпито. Почти взаимоуважение. Когда забывается разница в возрасте. Однако молодой врач задал свой вопрос так, как и подобало его задать: дружески, но не навязчиво.

Он дал Кларе адрес. О приеме он договорится сегодня по телефону.

На следующее утро она пришла в назначенный час, к одиннадцати. На рентген. Поначалу она не поняла, почему Леду не сделал его сам. Она еще принадлежала к числу тех непосвященных, которые, к счастью для себя, не отличают рентгенолога от рентгенотерапевта и радиолога. Познания, приобретаемые с опытом.

Леду сказал ей:

— Обычная мера предосторожности. Если у вас все в порядке, мы скорее всего больше не увидимся.

Первый плохой знак: рентгенолог, высокий молодой человек с длинной фамилией, оканчивающейся на «ски», вежливый и суховатый, наверняка не знавший об их разговоре, спокойно сказал ей:

— Зайдите к доктору Леду. Снимок будет у него.

Само по себе это еще ни о чем не говорило, но Клара с тяжелым сердцем возвратилась в полдень на «последки», как их называют на Севере, которые устраиваются после праздничных гуляний, ярмарок, дешевых распродаж, карнавалов и продолжаются весь следующий день, а то и дольше. Что ни говори, а в Леборне сказывается кровь предков. За стол сели Леборни, Клара с Марселем, которые ночевали в комнате их сына, и Кристиан с женой. Молодожены накануне вечером отбыли на поезде в Данию, совсем как взрослые — в спальном вагоне первого класса. Вот уж где, наверное, сейчас просыпается кровь.

Угощений осталось предостаточно, и Марсель, чувствующий себя за столом как дома, небрежно обронил:

— Послушай, Клара! Неужели какой-то маленький рачок испортит нам аппетит!

Откуда людям знать, как хорошо научились они понимать друг друга, прожив вместе более тридцати лет. Грубоватая шутка означала, что он не верит, не хочет верить и ей запрещает верить в самое страшное. Ему хотелось, чтобы она услышала его твердое и решительное «нет». Грубоватые шутки нередко звучат в их доме, и стены при этом вовсе не краснеют от стыда.

Однако у остальных за столом перехватило дыхание. Все смотрят на Марселя, переглядываются, стараясь не встретиться глазами с Кларой. Второй плохой знак: с первой же минуты она догадалась, почему пришел Леду. Может, снимок он еще и не получил, но его коллега, очевидно, успел ему позвонить. Она догадывается, что он уже поговорил с Леборнем или Витали. Полчаса назад, когда она находилась в соседней комнате, раздался телефонный звонок. Но ведь пока еще ничего неизвестно. Справившись с оцепенением, она улыбается Марселю. Даже слегка подмигивает ему. Шутить так шутить...

На следующий день, в четверг, в назначенный час — девять утра, она вошла в Институт Кюри на улице Ульм и спросила, как найти доктора Леду. Третий этаж. Ее удивило, что у него такой маленький кабинет. Более внушительное впечатление на нее произвели стеклянные двери, огромный холл, многочисленные пациенты, ожидающие приема, не меньше тридцати человек,— стулья в левой части зала все заняты,— расположенная посередине регистратура, где ей сказали, что она уже записана на прием, оранжевый керамический орнамент, украшающий одну из стен, лифты, длинные белые коридоры, которые она заметила с правой стороны внизу и наверху. Кабинет же ей показался чересчур тесным. Даже в комнате у сынишки Леборней и то просторней и больше порядка. Она еще не сделала выбора, но уже запрещает себе вспоминать Ольнуа, другой кабинет и другого врача. Она еще не решила, кто заслуживает, а кто не заслуживает ее доверия. Что она знает об этом молодом ученом? Ведь он ровесник ее дочери, как и вчерашний жених... На двадцать с лишним лет моложе ее... Наверняка еще ветер в голове, оба напускают на себя важность и басят. А этого она видела вчера еще и под хмельком, как Марселя. Сама она почти ничего не пила. И разница в возрасте, как бы они ни старались о ней забыть, по-прежнему бросалась в глаза.

Он попросил ее снять только блузку и лифчик. Она еще не избавилась от стыдливости. Ощупав нужное место и вернувшись к столу — не к письменному, а самому обычному столику, придвинутому к левой стене,— он, не садясь, сказал ей:

— Приходите завтра в это же время. Натощак. Сделаем анализы.

Она уже одевалась, когда он подошел к ней и, положив руку на плечо, добавил:

— Дело в том, мадам Давен, что на снимке кое-что просматривается.

И повертев пальцами другой руки перед ее глазами, сказал:

— ...К сожалению, и я кое-что нащупал.

...В ответ — ни слова. Не было сил произнести «до свидания», «до завтра» или «спасибо, доктор». Она спускается по лестнице, словно с обрыва высотой в тысячу метров, когда каждую секунду из-под ног могут посыпаться камни. Но откуда здесь лестница? Разве это лестница? Может, лифт, в котором она падает в бездонный колодец? Мужчины с похмелья по утрам не помнят, какой дорогой возвращались ночью домой. Она не сознает, что ее гонит. Как будто спасается от собственной тени, преследующей ее по пятам. Не чувствуя тяжести своего тела, точно скатившись со склона горы, пересекает она выложенный плиткой холл и несется по улицам, не разбирая дороги, до этой самой скамейки в Люксембургском саду. Вокруг — пустота. Деревья и вода — такие же, как обычно, однако она их не замечает. Жизнь кипит как прежде, но для нее этот мир обезлюдел. Она все разом утратила, и это хуже, чем умереть. Панический страх. Она закрывает глаза: только бы никто ее не увидел. Кто

знает, может, она уже лишилась рассудка? Закрывает глаза, чтобы убежать от самой себя. Так стараются спрятаться от стыда или жгучей обиды. Рядом с ней никого. Даже Марселя? Даже его. Даже Франсины? Даже ее. Разве имеет она право навязывать им беспросветный мрак своего одиночества? Нет у нее больше ни на что прав. И нет ей места на этой земле. Вопрос только времени: через десять лет, через год или через месяц ее не станет. Миллионы других людей ожидает то же самое, только они об этом не знают. А она — знает.

Это хуже, чем умереть. Умерло даже сознание. Рассыпалось в пыль — как та черная пыль, в которой затаился рудничный газ. Она знает лишь одно: смерть совсем рядом, близкая, но непостижимая. Для того, кто ступил на ее порог, пришло время пересмотреть и проветрить все, что хранится у него в комнатах, погребах и на чердаке. Все кончено. И раз теперь это известно, конец наступит очень скоро. Остается только ждать. То ли жар, то ли испарина поднимается внезапно от ног к животу, к груди и плечам, горло сжимает, она задыхается, в ушах стоит шум, в глазах темнеет. Но жаром охвачены лишь кожа и плоть. В душе ледяной холод, как в церкви. Что это — страх? Или просто прилив крови, первая защитная реакция? Жар начинает спадать, спускается вниз, она понемногу приходит в себя. Глаза снова становятся зрячими. В сознание врываются далекий женский смех и детские крики. Не сгорит ли она от стыда, что так перепугалась и потеряла голову?

Она вскакивает, снова садится. Даже если она пойдет очень медленно, она не сможет думать. Она садится, не прислоняясь к спинке скамьи. Сидит чересчур прямо (и сама это понимает: «как аршин проглотила»), упершись в скамью напряженно вытянутыми руками, зная уже, что скамья деревянная, что она выкрашена в зеленый цвет, самый обычный зеленый цвет,— так осматриваются, чтобы вспомнить: «Где я?», а ведь еще секунду назад Клара понятия не имела, из чего эта скамья: из железа, камня или мрамора. А что это за сад, в котором она очутилась? Откуда ей знать, что он именуется Люксембургским. Наткнулась она на него в конце улицы, по которой, свернув направо, летела какой-нибудь час назад, словно ее притягивал этот огромный, нависший над кварталом собор — она забыла его название. Витали упомянула его в разговоре, но не отметила в плане, где указывала все улицы, даже самые маленькие, по которым ей предстояло пройти: бульвар Сен-Мишель, улицу Суфло, на углу полицейский участок — там две недели назад был взрыв, здесь свернуть на площадь и улицу Эстрапад... Витали точно так же записала все станции и линии метро: Оберкам, на станции Страсбур-Сен-Дени перейти на линию, ведущую к Орлеанским воротам, и ехать до бульвара Сен-Мишель, это самый простой маршрут... Без плана Клара сразу терялась. А сады Парижа она и вовсе не знает. Как она вообще попала сюда — ведь она бежала наугад, просто забыла свернуть на бульвар Сен-Мишель, а вдруг вход сюда запрещен да и сидеть здесь нельзя? Сторож или полицейский могут прогнать ее, приняв за уличную женщину. Оцепенение спадает, и ей представляется, как она бродит по улицам, спускается в подземные переходы, читает надписи, указатели на стрелках, раздумывает, теряет дорогу, возвращается на прежнее место — точно негры и португальцы, только что приехавшие во Францию. Вспоминает, что еще в Ольнуа и в поезде ей хотелось на этот раз получше осмотреть Париж, но за четыре дня она так и не познакомилась с его садами, памятниками, роскошными магазинами. А теперь уж она не увидит ничего-ничего. После обеда Клара свободна, но никуда не пойдет. Все изменилось: жгучую ненависть и отвращение — вот что она испытывает теперь к этому городу, она ненавидит его всей душой. Ей вспоминается, как она читала, а потом смотрела «Отверженных» с Гарри Бором, который нес кого-то на плечах и пробирался по грязи и нечистотам, но то были совсем

другие подземные переходы. Никогда больше не увидит она Парижа. Отныне он будет для нее самой черной точкой на карте Франции. Она не останется на субботу, как уговаривала ее Витали. Пройдет обследование, и если Марсель согласится, завтра же вечером они уедут.

Сидя вот так, сжимая руками круглую деревянную планку зеленой скамьи, словно поддерживая себя на весу, она вдруг спохватывается. Нужно посмотреть правде в глаза. Она сама удивляется, откуда берутся у нее силы,— точно все происходит помимо ее воли.

Выбор, нужно сделать выбор, если он, конечно, у нее есть. Отсутствующий, пристальный взгляд не замечает слившейся в сплошную зелень листвы. Но внутренним зрением, душой, сердцем или сознанием она всматривается в то, что ее ожидает. Она ясно и отчетливо различает буквы, словно выведенные белым на белой доске:

ЕСЛИ Я ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ, НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ. НО УМЕРЕТЬ НУЖНО ДОСТОЙНО. ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО НАДЕЖДА, Я ГОТОВА РАДИ ЭТОГО ПРОТАЩИТЬ СЕБЯ СКВОЗЬ ИГОЛЬНОЕ УШКО — СОВСЕМ КАК ГАРРИ БОР, КОТОРЫЙ ПРОБИРАЛСЯ ПО ТОННЕЛЮ С ЧЕЛОВЕКОМ НА ПЛЕЧАХ. И ЕСЛИ МНЕ УДАСТСЯ ВЫКАРАБКАТЬСЯ ИЗ ЭТОГО НЕСЧАСТЬЯ, ТО ТОЛЬКО ТАК, А НЕ ИНАЧЕ. Я БУДУ БОРОТЬСЯ.

НЕ ЗНАЮ, СКОЛЬКО МНЕ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ, МНОГО ИЛИ МАЛО, НО РАБОЙ Я НЕ СТАНУ, НЕТ. РАДИ СЕБЯ И РАДИ ТЕХ, КТО БУДЕТ РЯДОМ СО МНОЙ. НЕ СДАМСЯ И НЕ БУДУ ХНЫКАТЬ. РАЗВЕ СЛЕЗАМИ ПОМОЖЕШЬ?

В полдень, за обеденным столом, неожиданно для всех она улыбается. Витали, Леборнь и Марсель делают вид, что все в порядке. Но они знают не меньше, если не больше, чем она. Доктор Леду, конечно, успел позвонить им, пока она добиралась домой. Но втянув их в игру, которая всех устраивает, она говорит с улыбкой:

— Еще ничего неизвестно. Нужно подождать завтрашних анализов.

После полудня у нее меняется настроение, и она ведет Марселя на Елисейские поля. Вот они, самые знаменитые места. Площадь Звезды, Триумфальная арка. Вершина вершин. Самое сердце столицы. Марсель следует за ней. Ему кажется, он понимает, что с ней происходит. Обычно он шагает впереди, а она чуть отстает. Сегодня первой идет она и время от времени останавливается, дожидаясь его. Шаг у Марселя широкий, ее шаги вдвое мельче, и все-таки он не очень хороший ходок: вес, одышка. Нет, прогулки — это не для него: он столько километров проехал на локомотиве, что предпочитает сидеть на месте. Он уверен, что так можно увидеть гораздо больше, чем на бегу. Но сегодня он не спорит. И бродит с ней около трех часов. Удрученный, он все же не без гордости думает: «Женушка моя... Готовится к сражению...» И он — вместе с ней. Она переходит от витрины к витрине, от здания к зданию. Но мысли ее далеко. Она почти ничего не видит, лишь бы идти.

Вечером все приглашены к Леду. Этот молодой человек, с которым позавчера утром они еще не были знакомы, проявляет к ней искреннее участие. Почему, собственно? Как ужасно, что уже почти не веришь в преданность делу и бескорыстие. И все потому, что тебя столько раз обманывали. А вот на него можно положиться. Леборни здесь тоже впервые. Пока нет и намека на роскошь. Сразу видно: молодая пара вьет гнездо, и все же их дом отличается от домов, где живут семьи старых железнодорожников. А Сильвия-то, Сильвия Леду оказалась просто замечательной хозяйкой. Как она готовит! Быстро, вкусно и, главное, никаких рецептов, все рождается на ходу. Клара, которая сама не часто отваживается сворачивать с протоптанных тропинок, не может устоять перед раковинами Сен-Жак, тушенными в настойке из терновника, перед уткой с вареньем из

манго и горьких апельсинов, перед малиновым суфле. Она пробует все подряд, не заставляя себя уговаривать, и даже просит добавки. Ест с удовольствием, а не только для того, чтобы отвлечься или обмануть окружающих, воздает должное кулинарному искусству жены этого мальчика, чтобы хоть таким образом отблагодарить его за то, что он для нее делает. А потом — гулять так гулять. Всем понятно ее состояние.

В этот вечер Сильвия услышит немало комплиментов. Вино, которое выставил Кристиан, поначалу вызывает у мужчин робость. Уж больно хорошее. И нельзя же в один присест вылакать все хозяйские запасы. Но он настойчиво угощает, и машинисты уже не только из вежливости пригубливают вино, но отваживаются сделать глоток и побольше. Возникает вопрос, как быть с Кларой, если... Теперь ясно, что для того их и пригласили: чтобы в спокойной обстановке все как следует обсудить.

Главный здесь Кристиан Леду:

— Завтрашние анализы могут ничего и не подтвердить. Тогда все в порядке. Хотя я должен предупредить, что... В противном случае лечение лучше продолжать у нас, в Институте Кюри...

— Какое лечение? — спрашивает Клара, вроде бы не забывая о малине.

— Пока об этом еще рано говорить. Все зависит... Ну, ежедневные процедуры... они займут... несколько недель.

— Или?

Голос сник, дрогнул. Вилка опускается на край тарелки — лакомства могут и подождать.

— Или будете лечиться у себя, на Севере. Это было бы гораздо хуже, и я вам не советую, но...

— О Париже не может быть и речи.

Поговорили еще немного, но так ни к чему и не пришли. В том или ином случае важно организовать все наилучшим образом. Если возникнет необходимость.

Пока три женщины хлопочут в тесной кухоньке, Клара замечает, что доктор беседует в углу с Марселем. Леборнь, стоя, разглядывает корешки книг с иллюстрациями. Дождавшись, когда они закончат разговор, она подходит к ним:

— Шептаться еще рано.

После проведенного вместе вечера они стали называть друг друга Жан, Сильвия, Марсель, Витали, Клара, Кристиан.

III

Прошло три года. Но сначала были те три дня. Четвертый, томительно долгий день, когда подтвердились предположения, можно не считать. Результаты всех анализов, от биопсии до сцинтиграфии — тревожные. Ей об этом не говорят. Знает только Марсель.

Она была деятельна и подвижна. Ее укладывают в клинику. Примерно на месяц. Чтобы в три приема окончательно сокрушить.

Ее освобождают наконец от чудовищной фибромиомы весом в четыре килограмма. Живот снова стал плоским, но его сверху донизу пересекает багровый рубец, и белая кожа, как у всех оперированных, покрыта легкой испариной. Еще раньше, надеясь спасти грудь, вырезали лишь опухоль, однако вскоре сочли, что этого недостаточно. Разумнее удалить все.

Самым мучительным для Клары и Марселя было их первое свидание в клинике. Удар для обоих, и удар жестокий. После второй операции он увидит ее еще более настрадавшейся и подавленной, истерзанной и надломленной, а после третьей — безжизненной, мертвенно-бледной. На другой день после первой она еще верила, что самое страшное — позади, и все-таки...

черный крот хоть бы не открывалась дверь... его глаза его глаза глядят на меня я не хочу... сердце не выдержит... самая безобразная из женщин а он пришел... искромсали распотрошили вырыли яму вспороли содрали шкуру набросились как мясники на бойне всю насквозь просверлили схватили... связали... нет... тихо усыпили... одеревенела как колода... тяжелая как... забылась сдалась ослепла глаза закрыли рубашкой какая рубашка разве такое возможно натянули рубашку на голову... живот смотрят... нет вот рубашка прямая белая длинная... на голове на глазах другая рубашка черная... что это не знаю скоро сама все все тело мое станет черным... на мне белая рубашка... во мне черная рубашка застит душит... почернела кожа почернело мясо почернела кровь черные воды несутся во мне так быстро что не угнаться... мчатся по телу чтобы спастись затихают и вот я сплю этот укол тысячу лет назад а еще вчера

он здесь он пришел все думала придет или нет знала что придет хотела и не хотела сказала нет может быть не сегодня... завтра а потом сказала да... если хочешь... если бабушка Лекок мне связала бы чулок... мертвая черная даже днем... отжила свой срок... если б в бабушкин чулок весь Париж вместиться мог... слишком рано пришел... я еще не готова... дверь... его глаза... мои... мы... я... что это у него в пакете апельсины лимоны солнце свежая вода пакет смялся... сам тоже мятый воротничок у рубашки загнулся неотутюженный несвежий у нас говорят «замусоленный» кто занимается домом кто занимается им... кто готовит еду... другая другие он здесь сидит на краешке постели... моей постели нет... не моей какая ж она моя самая что ни на есть чужая слишком высокая слишком холодная слишком узкая даже для одного... сидит на краешке и правая нога болтается наверно в воздухе а левая носком едва достает до пола ему неудобно сползает приподымается простыня тянется за ним мне больно замечает спрашивает глазами больно нет нет что ты все все в порядке

— Клара?

— Сель...

бедные наивные страдальцы за что же такие муки нет сил терпеть все боги ну хотя бы один куда мне податься... кого молить о спасении... помогите кричала я помогите молчи Марсель ничего не говори давай сегодня помолчим... хотя бы сегодня... звала на помощь так тихо никто не услышал тебя Марсель звала тебя на помощь звала а ты был далеко... слишком далеко и не услышал... ты не виноват они думали я сплю следили за моими глазами губами вдруг дрогнут нет все тихо но внутри у меня все кричало нет выло вопило зеленая чаща свирепая хищница отбивалась когтями зубами клыками гвоздями иголками со всех сторон обросла ножами... если мужчина и женщина всю жизнь не будут стричь ногти даже у зверей не вырастут такие длинные когти... затихла пусть следят замерла но какой-то полишинель весь в кровище буйствовал у меня внутри рвался наружу рук не хватало его удержать разодрать веревки сбросить рубашку бинты ремни повязки у меня только ты Марсель и они не пустили тебя... я в их руках пленная схватили связали неужели они... неужели меня всю изрежут... убьют погубят кости переломают продырявят насквозь выжмут как половую тряпку как грязную шлюху так ей и надо поделом заслужила... кто осмелится сказать что не заслужил того что выпало на его долю

он здесь похудел осунулся ему-то ведь ничего не сделали а мне хочется хочется... не пожалеть его нет но помню мой старый отец когда болел вот так же исхудал совсем спал с лица заплакала бы если б не было его рядом... потому часто и не плачешь что кто-то есть рядом... всегда кто-то есть рядом... челеста челеста что это такое челеста никогда не встречала этого слова... а черный крот ему-то что от меня надо... хочет взглянуть на меня но боится... если пос-

мотрит умру... он это понимает и не знает куда смотреть... только не на меня... только не на... бинты повязки давят сжимают кровь под ними куда-то рвется то ли старается убежать то ли остановиться она кровь тоже не знает чего хочет... гнилая кровь гнилая какая у меня еще может быть кровь... как ужасно шутить шутить как ни в чем не бывало... они говорят рак но мы про себя никогда его раком не называем а называем как называли когда-то старики... шанкр язва червоточина... скорее не говоришь а думаешь это еще страшнее... а если я скажу ему шутя чтобы проверить... не носить мне больше открытых платьев из-за моей червоточины... нет никогда не смогу так сказать... может позже... если будет оно у меня это позже... мой Марсель что они со мной сделали надругались изранили замучили заживо ободрали искалечили изуродовали растерзали изувечили исковеркали я уже не та Марсель... не та которую ты любил... я уже ни на что не гожусь только выбросить прогнать даже и за бесценок не продашь

язва самое древнее самое мерзкое слово самая страшная болезнь средневековье невежество темнота... червоточина червь челеста а так вот откуда это идет... старухи говорят... если случится несчастье... война болезнь... это наказание... за что же наказание что я сделала плохого а может сделала да не заметила... старухи а кто я как не старуха... теперь ты больше не прикоснешься ко мне... не захочешь прикоснуться и я сама тоже не захочу... я же вижу как дрожат твои пальцы на простыне совсем растерялись приближаются нет убегают назад... смотришь на мои руки на плечи лишь бы не смотреть в глаза или на эту груду бинтов... боишься даже дотронуться до моих рук моих плеч пока еще боишься... этой ночью мне приснилось нет не приснилось просто вспоминала в темноте... как все у нас с тобой начиналось мне было восемнадцать... когда стараешься угадать что в тебе происходит в самой глубине вдруг ни с того ни с сего вспоминаешь где было когда-то хорошо или плохо... и когда ты впервые поцеловал меня тоже было темно или почти темно мы стояли на узкой улочке я прислонилась к кирпичной стене ты прижал к моей груди свои большие ладони тебя плохо было видно но я догадалась ты спросил... можно... у меня хватило смелости кивнуть и ты тоже угадал... у желания глаза как у кошки да и почему я должна была ответить нет я гордилась... гордилась собой чем владела... что могла тебе подарить я проходила мимо мальчишек с высоко поднятой головой и задорно или как бы сказали у нас бесстыдно поглядывала на них сплетники говорили из молодых да ранняя хорошо что ты вовремя появился я была совсем нетронутой но долго бы наверно не продержалась... и когда твои ладони коснулись моих сосков... я и сейчас помню я испугалась что упаду ноги стали как ватные не ноги а облака и я повисла на твоих плечах как буду часто виснуть потом... а ты тебе уже не терпелось прямо здесь... на улице и сколько раз мы будем любить друг друга в самых неподходящих местах не боясь никого и ничего... прижимались к стенам деревьям столбам у трамвайных остановок заборам если шел дождь или снег... и каждый раз в самый сладостный миг у меня подкашивались ноги и ты подхватывал меня под мышки своими большими руками... и не только ноги отказывали мне в те минуты все тело все кости... меня прямо-таки качало позвоночник делался мягкий как бинт и ты ты всегда был немного грубоватым ты шептал мне на ухо не бойся не упадешь и поддерживал меня в воздухе животом и руками... но не в тот вечер... я помучила тебя еще целый месяц... но уже тогда во мне загорелся этот огонь... стоило тебе прикоснуться ко мне... и так будет всегда... всю мою жизнь до того как... вся моя жизнь отныне всему конец

челеста челеста места живого не осталось теперь-то я знаю все началось давно с того абсцесса когда я кормила Франсину мне было больно когда она сосала... нет при чем здесь ребенок... мне было

больно из-за абсцесса он уже зрел и ей он тоже мешал хотя его еще не было видно... пришлось прекратить кормление и вскрывать его вычищали целую вечность длинными-предлинными тампонами настоящая пещера их складывали гармошкой и набивали плотно как хлопок в коробочках... гной никак не кончался пещера надгробный камень... могила потом эта грудь уже ничего не чувствовала словно омертвела сосок не хотел просыпаться и не твердел даже когда ты ласкал эту грудь из жалости... я знаю ты ласкал ее из жалости... сначала другую потом эту чтобы ей не было обидно сам говорил... а теперь и другая умерла... умерла для тебя и для меня... конечно... еще не конец но все кончено... ты больше не увидишь ее... никогда... да я и сама не хочу ее видеть знать ее не хочу... будто у меня ее вовсе нет она обманула меня предала из-за нее все мои несчастья из-за нее в меня проникла зараза... с этой заразы все и началось... ужасно но бывают минуты когда я рада что ей так досталось проткнули разрезали вспороли всю перерыли чтобы вытащить этот шар или голубиное яйцо как они при мне его называют... что ее тоже пытали мучили... разве можно возненавидеть часть собственного тела... это она во всем виновата не я... может они и не сознают но... во время обследования операции и уже здесь... они смотрят на меня и обращаются со мной так словно я в чем-то виновата словно я этого хотела... желала ждала во всяком случае не противилась... можно подумать дьявольские козни... страшная невидимая порча поражает и губит твое нутро а ты ни о чем не подозреваешь и строишь планы... этот черный крот он не приснился не привиделся в ночном кошмаре может быть этой ночью мне будет полегче не совсем но чуть-чуть спокойнее... вот только эта дыра во мне в том месте что у меня было самым красивым привлекательным... но если бы даже освободили меня от паука скорпиона червоточины страх не выпустил бы меня из своих когтей... было бы слишком легко слишком просто вот так вырвать его убить и выбросить как мерзкую тварь... крапиву скосишь но корни-то остаются нет сиди там где сидишь Марсель... не приближайся ко мне ты можешь сделать мне больно не двигайся во мне все отдается не вздумай меня целовать ни в лоб ни в руку и уходи поскорей уходи пока я не попросила тебя сама мне это будет еще больнее

Она боится меня только я боюсь еще больше... за нее боюсь сейчас в коридоре я видел других оперированных уже ходячих... им оперировали не грудь... это мужчины... легкие или носоглотку из носа у них торчит красная резиновая трубка прикрепленная лейкопластырем а куда идет эта трубка не видно... может они сами не знают смотреть на них страшно делаешь вид что не смотришь чтобы не досаждать несчастным но при каждом вдохе и выдохе в трубках что-то ужасно громко булькает... слюна пополам с кровью розовая наверно и хотя им не нравится когда их разглядывают они по-детски гордятся этим аппаратом и что перенесли операцию страдали просто сердце щемит еще бы за ними ухаживают они заслужили чтобы за ними ухаживали чуть ли не ценою жизни но они заставили обратить на себя внимание

открыл дверь улыбнулась приподнимается я ее знаю хочет показать что ей уже лучше... что все прошло хорошо... завтра послезавтра через неделю начнет вставать и едва держась на ногах будет ходить думая что самое страшное позади... она не знает того что знаю я не знает того что знаю я или... хуже если что-то подозревает сердится на меня что скрываю сказала я хочу все знать а меня попросили ничего ей не говорить... я не соглашался но готов поспорить она понимает что я не по своей воле не могу иначе она и сейчас сильнее меня... ей все равно не догадаться что мне сказали а может она себя успокаивает...

все себя успокаивают... приготовилась к моему приходу сменила рубашку белье и на рубашке и простынях еще не разошлись складки... на рубашке квадраты помельче чем на простынях даже губы чуть-чуть подкрасила но не своей помадой более светлой... обычно она пользуется темно-красной почти черной совсем как ее волосы видно взяла у старушки что спит на соседней койке... у нее тоже бледно-розовые губы как странно они сочетаются с седыми короткими редкими волосами этот розовый цвет старит с грустью чувствуешь что-то теряешь что-то уходит исчезает это она дала ей помаду... спит или притворяется чтобы не мешать нам чтобы мы побыли вдвоем насколько здесь это возможно но благодаря ей я могу не говорить о главном да и что тут скажешь делаю вид будто что-то шепчу чтобы не разбудить ее неуклюже сижу в ногах кровати стараюсь тихонько придвинуться к Кларе но не чересчур близко сижу на расстоянии даже рук ее коснуться боюсь руки ее лежат на простыне такие чистые но на указательном пальце светлое пятнышко засохшей крови розовое как помада... она не должна видеть нельзя чтобы она заметила я должен быть веселее чем она даже если глаза полны слез... возьми себя в руки следи за собой будь осторожен вот уж действительно все опрокинулось вверх дном... когда прокладывают или мостят дорогу и сто-двести раз подряд опрокидывают ковш с гравием такой стоит грохот будто гром гремит и чувствуешь как дрожит земля и песок стучит по крыше кабины а я вот сижу рядом с ней и во мне тоже словно обрушиваются камни... буду делать вид что как и она я спокоен я верю посмотри перед тобой человек который нежно любит и несчастен только потому что любит... так сильно любит что для него мучительна всякая боль что тебе причинили моя Клара... словно это терзали его самого и ему чуть ли не больней чем тебе и если б он только мог принять на себя твою боль... не думай что ему грустно потому что он знает то чего не знаешь ты... посмотри он уже улыбается... операция позади увидишь тебе станет лучше все будет как прежде ты еще увидишь утреннюю росу

ты не знаешь что сказал мне Кристиан в тот вечер когда мы были у него в гостях... с того вечера моя жизнь остановилась и мне еще хуже чем даже тебе... ты ты боишься сама не знаешь чего а я знаю и это тяжелее чем бояться всего сразу... он сказал мне и они здесь подтвердили что если б напасть на след раньше... напасть на след я никогда не охотился но какая разница любой мальчишка умеет выискивать гнезда и норки в сухих камышах по клочкам шерсти по перьям по запаху просто так ради интереса не для того чтобы разорить или кого-то поймать а незаметно изо дня в день наблюдать как выхаживают вылизывают самки детенышей или птенцов даже не решаешься погладить чтобы не вспугнуть мать... если бы напали на след пусть даже не в самом начале а хотя бы полгода год назад было бы еще не поздно... еще можно было бы на что-то надеяться... теперь все против тебя вот в чем его преступление не оставил тебе ни малейшей надежды но открыл все дороги болезни она грызет тебя изнутри и разносится кровью как семена ветром... эту грудь тебе вылечат... может не сразу может даже очень не скоро во всяком случае все для этого сделают... сегодня вылечат здесь а завтра вдруг обнаружится в новом месте да и сейчас твой вздутый живот внушает им опасения... я сразу спросил скажите да или нет выживет умрет будет мучиться... говорят... да будет мучиться... раньше или позже... раньше или позже... выживет или умрет никто не знает наверняка но судя по всему нужно набраться мужества четыре-пять лет не больше... если только не... не могу я думать об этом рядом с тобой получается что все без утайки рассказываю тебе ведь сколько раз в нашей жизни ты угадывала мои мысли а я твои... они объяснили мне у них на все есть слова а то что названо вслух уже не может не сбыться теперь я понял я не имею права не имею права тебе говорить надо

пожалеть тебя... ты должна верить... пусть это ложь но если ты будешь верить в эту ложь в невозможное жизнь тоже можно обмануть свет порождает свет а мрак мрак если не будешь думать что тебя ждет тебе станет лучше... может это продлится дольше увидишь росу или нет

и я здесь с тобой нет ты не чувствуешь как дрожит подо мной кровать она не дрожит я слежу чтобы руки мои не дрожали но внутри все дрожит... как начало дрожать с того вечера так и дрожит... все все во мне дрожит но ты не увидишь не почувствуешь не должна... ведь я не ребенок на моих глазах люди умирали и не раз... взрыв свист грохот черные клубы дыма ветер вокруг горы и все охвачено огнем никто уже не верит что сможет выбраться но если не выберется смерть даже подумать страшно но здесь

— Клара?

— Сель...

но здесь сидеть так близко рядом с тобой и знать что ты умрешь и думать только об этом я даже забыл как тебе больно... сейчас вдруг спохватился... получается я думаю только о себе думаю о том что потеряю тебя... что останусь один... а уж потом думаю о тебе... по твоим глазам вижу как ты тревожишься как тебе больно ведь тебя всю насквозь продырявили... а я чуть не забыл какой же я эгоист только и думаю о себе... эта опустевшая земля... не где-то там далеко... здесь... зачем искать вымершие острова где после извержения вулканов уже ничто не растет... эта плоская желтая голая земля может это луна и что же я буду делать если останусь один... кому пожаловаться у кого просить пощады и я не смотрю на тебя израненная моя не смотрю потому что это было бы слишком тяжело для тебя слишком тяжело для меня и вот к счастью нет как назло проснулась твоя соседка ей куда-то понадобилось встает с нашей стороны ей здесь удобнее она так привыкла рубашка задралась до пупа она не одергивает сама опустится но я успел заметить... мельком... справа на животе большой ватный тампон крест-накрест приклеенный пластырем из-под него тоже красная резиновая трубка и я видел блеснула металлическая пластинка старуха закрыла дверь она сама уже может ходить в туалет а ты нет но ты подымешься я клянусь тебе и будешь ходить еще лучше и дольше чем она

первый раз вижу тебя на больничной койке вот так живешь и не знаешь чего тебе до сих пор не хватало хорошего или плохого... ты ты видела меня дважды но оба раза это были пустяки первый раз из-за аварии колено и сломанное ребро а второй раз не так давно глаза засыпало стеклянной пылью... не то что ты ты даже Франсину родила в нашей постели... а потом возвращаюсь как-то домой а ты в кресле едва живая приходишь в себя... приходишь в себя после того как как избавилась от ребенка я тебе этого так и не простил... теперь-то уж должен простить а может если б раньше простил ты бы сюда не попала... но на больничной койке ни разу... Кристиан советовал Париж в крайнем случае Лилль а ты захотела поближе к дому здесь хуже он мне так и сказал намного хуже... конечно Сен-Венсан все знают сюда едут со всего района в основном рабочие особенно из Анженского бассейна и даже из более дальних мест... полчаса поездом а потом кто как... сразу за вокзалом железный мост через реку Эско затем подняться к террикону Дампьер это он Кристиан все устроил не решал но советовал что и как... и в провинции слушаются словно им совестно что учености не хватает да и не те возможности... они наверно и не сознают но их раздражает что тебе помогают сверху не то что протежируют проталкивают но все же покровительствуют содействуют опекают бедная ты моя они тебе ни одной поблажки не сделали все эти формальности очередь внизу в регистратуру ждали сидя с тобой в большом вестибюле на сквозняке потолок здесь повыше но не так светло как в Институте Кюри это уж точно

заполнили все бумаги зарегистрировали обозначили номером чтобы ни с кем не спутать и вот тебя уже нет ты никто с тобой обращаются как с подчиненной нижестоящей умственно отсталой может тебя немного и жалеют однако командуют так как даже и на заводе тобой не командовали когда ты работала ты была тогда помоложе и никому бы такого не спустила... это для твоего блага все для твоего блага возможно снимут и грудь но и это для твоего блага тебе приказывают садитесь подождите раздевайтесь ложитесь одевайтесь... еще не все... подождите за дверью... кажется вот так командовать беззащитными людьми доставляет им если не удовольствие то удовлетворение... поднимает их в собственных глазах... самая распоследняя медсестра чувствует себя начальницей и никто не перечит ей а у некоторых такой злобный вид точно больные сами виноваты во всех своих бедах... и потом хоть тобою и занимаются но как-то наспех всем некогда все куда-то бегут словно наперегонки с болезнью болезнями сотней болезней тысячью болезней и все только в этом доме... по правде говоря их слишком мало этих белых человечков маленьких белых женщин... чтобы остановить справиться с болезнями... и вот для тебя делают все что требуется быстро и ни минуты не тратя на доброе слово зачем терять время тебе говорят только то что необходимо поднимите руку повернитесь на бок потом тебя оперируют разве это пустяк и без лишних разговоров укладывают сюда и ты меня ждешь только что же тебе сказать... не могу найти слов... и мне остается только молчать... мы и так понимаем друг друга... сделаем вид будто нам ничего и не нужно... о чем говорить ведь смерть совсем рядом давай помолчим и подготовимся встретить ее с улыбкой

После трех операций и короткого домашнего отдыха у Клары начались три месяца ежедневного облучения.

Изрезанная и исхудалая, она чувствует, что потеряла в весе, однако носить себя ей стало тяжелее, именно носить — носить свое тело, ослабели ноги, потому что долго пролежала в постели, думает она, да еще эта одышка. По утрам она одна ездит в больницу Сен-Венсан. Дорога туда и обратно занимает в три раза больше времени, чем сама процедура, даже когда бывает очередь. А если случается опоздать на поезд, она два часа теряет в Валансьенне. Чтобы скрасить ожидание, она покупает пакетик жареной картошки или булку с котлетой и — совсем по-мужски — выпивает кружечку пива. А потом еще кофе, и у нее есть время подумать.

Хотя так и принято говорить, время здесь ни при чем. Думают постоянно. И нескольких секунд достаточно, чтобы все стало ясно. После первого же сеанса облучения она знала, как будут проходить остальные.

свинец или что это... во всяком случае по цвету да и тяжелое как свинец и на вид тоже... свинцовая тоска и одиночество такого у меня еще не бывало... я думаю свинец потому что перед началом сестра кладет надо мной на стекло эти плитки чтобы все шло куда надо и ничего не повредить вокруг... я вдруг вспоминаю что где-то читала на атомных заводах строят предохранительные свинцовые перегородки... какая большая комната лежу тоже как будто на свинце на свинцовой тележке... видно как тяжело ей передвигать их влево и вправо даже на десять сантиметров... она готовит меня все двери закрыты ни одного окна среди бела дня электрический свет слабый бледный чахлый точно экономят... надо мной громадный аппарат наверняка тоже обшит свинцом... и я вижу очень хорошо вижу... глаз не могу оторвать от дыры из которой сейчас пойдет «это»... сама догадалась они хотят чтобы я ничего не знала ни слова ни слова не сказали не объяснили ни что ни зачем... если бы я не читала то ни-

чего бы не поняла... тяжелые словно наполненные свинцом мешочки кладут мне под руку под плечо под спину как будто обкладывают подушечками чтобы устроить меня удобнее чуть повыше пониже... через ее руки столько прошло больных что она на меня и не смотрит а я но это уже не я буду разглядывать страшное место где у меня была грудь все там теперь зарубцевалось но боль не прошла стала еще сильней а они порой прячут улыбку словно я плохо или чересчур старательно выговариваю слова... сестра опускает с потолка огромный аппарат и его жерло упрется мне в грудь... туда где была она... и начнет жечь калить чистить выскребать стерилизовать... нет это действует даже сильней не только снаружи но и внутри а я вдруг подумала о груди как будто она еще есть... наверно так чувствуют боль в ампутированной ноге... что может быть проще а вот не можешь смириться и осознать до конца что... сейчас начнет тебя жечь прожигать насквозь и боишься а вдруг и впрямь обожжет вдруг будет невыносимо больно... а может оно жжет ласково нежно... целится в самую глубь целится в самую точку чтоб ничего не разрушить вокруг... а если бы все было слева как бы она заслонила сердце должно быть слева не делают из-за сердца... устанавливает аппарат берет пальцами мой подбородок поворачивает голову на подушке вправо чтобы я не смотрела может не волноваться я даже глаза закрою наверняка это вредно для глаз похлопывает меня по плечу видно хочет сказать чтобы я не боялась или что все будет хорошо гасит свет и слышу задвинула дверь зажгла свет в комнате рядом и вижу глядит на меня оттуда через овальный глазок в двери... включает и началось в аппарате что-то щелкнуло и загудело не знаю может и никогда не узнаю светятся эти лучи или нет... как хочется иногда нарушить запрет но этот страшнее смертной казни ни за что не поверну головы даже на сантиметр даже на полсантиметра... голова и шея зажаты в бетон... если открыть глаза темно светится только глазок в двери сестра следит оттуда за мной или за аппаратом неясно... за мной следить нечего могла бы и сесть почитать пусть не беспокоится я сама знаю как надо себя вести... не сбегу... да я и не чувствую никакого тепла может постепенно станет теплей даже чересчур горячо... но нет... ничего... все что я знаю у этих лучей необыкновенная прямо-таки фантастическая сила похоже на атомную энергию... что-то в этом роде... но ничего... совсем ничего не чувствую... все это для меня одной направлено только на меня на маленькую частицу моего тела... мощнейшая в мире энергия обрушивается на меня на эту частицу гроза с молнией только грома не слышно тихо весь небесный огонь полыхает сейчас надо мной совершенно беззвучно и я ничего не чувствую... может я сама виновата что уже ничего не чувствую вот почему они улыбаются уж если я и такое не чувствую... другая грудь настоящая живая не вынесла бы этой адской боли

свинцовое одиночество одна во тьме только два огромных глаза уставились на меня... не боюсь смотреть лишь в ту сторону где глазок сейчас видела сквозь него глаза этой женщины она то и дело поглядывает но от нее не дождешься ни слова она старше меня... если б можно было забыть тот другой невидимый глаз который прочесывает меня насквозь овладевает моим телом заливает меня багровым и черным светом до самого дна если есть у меня это дно... проникает в каждый потайной уголок... я конечно читала последние два года читала все что удавалось найти разные глупости гадкие смешные страшные и если б случилось чудо... читала подряд все что попадалось под руку где хоть что-то говорится об этом ничего не пропускала вдруг что-нибудь да узнаю... я начинаю понимать как это действует... чего я только не перечитала и не всегда там пишут одно плохое... даже статьи где все перемешано астрология потусторонние импульсы гороскопы гаданье по картам или руке всевозможное знахарство или любовь супружеская жизнь причем говорится что это

может произойти по вине мужчины или из-за того что женщина в определенном возрасте боится быть покинутой и если прибегнет к этому средству то мужчина вернется к ней... ну что мы знаем что мы можем знать... да и сами врачи-хирурги что они знают... потому они нам ничего и не говорят чтобы не выдать себя боятся что их раскроют уличат выведут на чистую воду боятся признать что лечат вслепую наугад... еще эта бедная старушка вполне серьезно предупреждала меня будьте осторожны они тут используют нас как подопытных кроликов... возьмешься читать и вспоминаешь то что учила в школе но давно забыла а ведь как будто вчера рассматривали под микроскопом клетки в капле грязной воды или в листе красной капусты даже микробы при этом особом свете казались прекрасными... я знаю лучи убивают прежде всего шальные раковые клетки потому что они слабее... и другие здоровые страдают от них меньше знаю что на меня направлен не один луч а несколько они перекрещиваются как лучи прожекторов выискивающие самолеты в ночи ночь это я или как солнечные лучи которые собирают лупой в одной точке пока не задымится не вспыхнет бумага

о чем тут только не передумаешь за одну минуту... как бы я хотела уничтожить вытравить исторгнуть свою болезнь лучше бы вместо этих невидимых лучей в меня вонзилась тысяча кинжалов тысячу раз ударило молнией вот если бы у меня был длинный коготь один-единственный но огромный как клюв попугая или клык тигра я разодрала бы все свое тело но вытащила ее наружу как иголкой вытаскивают занозу из кожи и сколько бы ни сидело во мне заноз я вытащила бы все до единой пусть этот черный свет будет злым пусть просверлит пробурит перепилит ее насквозь и пусть будет нестерпимо больно я все равно буду рада... нет я до ужаса боюсь этой червоточины которая поразила мою правую грудь... захватывает все мое ни в чем не повинное тело... нет я согласна готова превратиться в сплошную рану лишь бы изгнали лишь бы выскребли ее до костей... стисну зубы и даже не поморщусь пусть меня пилят вспарывают режут раскаленным ножом только бы вырвали ее с корнем... разве мне справиться с ней в одиночку лежу неподвижно и только злюсь а через секунду снова схожу с ума от страха где искать спасенья и чувствую как вокруг меня разливается яд медузы подбирается ближе и ближе... плечо рука нет это ничего просто неудобно лежу все затекло как мучительно думать что здоровое может во мне разрушаться вместе с больным что там внутри смерть сама делает выбор... первый раз ей позволили выбирать и упрашивать ее не придется... все знают сколько людей от этого умерло ученые и эта женщина Кюри только потому что слишком часто облучались рентгеном или не проявляли осторожности некоторым даже отнимали руки... говорят этот способ лечения опаснее самой болезни... ну а если эта страшная болезнь уже свила гнездо и поначалу она не больше голубиного яйца может лучше ее не трогать... прошло так мало времени всего несколько недель а на мне уже места живого не осталось точно сердце вырвали из груди... пусть бы она тихо спала себе а моя кровь обходила ее стороной как засохший нарыв который уже не болит... а что сделали со мной перерыли обшарили как подвал как пещеру всю испоганили изуродовали опустошили... ничто мне уже не поможет... никогда я не стану такой как прежде... чувствую как наваливается на меня сон волны действуют или что-то еще... или это вибраторы работающие глубоко под землей или оттого что лежу... только кто же из нас засыпает... болезнь или я... нет не хочу засыпать жить хочу быть сильней сильней чем она... если нужно то более жестокой чем она... может эта гнусная болезнь отступится если увидит что я сильней давай попробуем кто кого пусть покажет себя я разрешаю только не знаю удастся ли справиться с ней в одиночку но ни за что не усну... я должна знать ждет ли меня поражение или

пусть даже самая маленькая победа... люди ходят по коридору тихо переговариваются но по воле этого луча я одна посреди пустыни я так от них далеко словно на краю другой планеты... как тяжело дышать среди этих свинцовых перегородок свинцовых стен и если нужно столько свинца чтобы защитить меня или эту женщину которая спряталась в своем укрытии... она обязана... так положено... даже если бы захотела остаться рядом со мной нельзя... если его нужно так много разве могу я тягаться с безжалостно твердым свинцом я куда легче чем он и вот он распространяется где-то внутри растекается убивает меня а я беззащитная... опустошенная в мгновение ока и не знаю что со мной происходит... нужно успокоиться довериться белым халатам они ведь такие же люди как мы... даже если и видела как кто-то из них подъезжает в машине когда я подхожу пешком... а если я пыталась представить себе как они живут то чувствовала себя беднее чем когда-либо в жизни... что ни говори больной это жертва... уже привыкла что со мной обращаются свысока раньше я бы ничего такого не стерпела... теперь я даже не замечаю хожу еле-еле с опущенной головой... это ради меня... я должна понять что все это делается ради меня... нужно быть уж совсем неблагодарной чтобы обижаться какие тут могут быть обиды... а вдруг невидимый свет что проникает сквозь мою грудь ведь во мне это было самое красивое а теперь тут это ужасное пятно вдруг этот свет омоет меня как живой водой... и пусть я чего-то лишилась но выйду из этих мучений очищенная и начну новую жизнь... и через месяц или два буду вспоминать словно все это было давным-давно дрожала здесь как компасная стрелка под магнитным железняком в десять раз тяжелее ее самой... и снова научусь смеяться и на щеках заиграет румянец буду подшучивать над собой и другими и подумать только подумать как я боялась что со мной все кончено... нельзя складывать оружие раньше времени... будут еще у нас с тобой счастливые дни... может самые счастливые... я слышала некоторые женщины молодые изящные просят чтобы им облучали и здоровую грудь чтобы она стала более упругой и красивой ах нет это моя соседка по палате говорила... лучше думать что посреди моей пустыни само солнце ласкает меня своими лучами и однажды утром я выйду из царства тьмы и ко мне вернется моя легкая походка... испугаешься старости научишься быть молодой и на всех окнах я повешу новые занавески

И в той минуте, когда Марсель впервые вошел к ней в палату, и в первой минуте первого сеанса облучения, и в каждой минуте, из которых будут складываться последующие три месяца, есть своя правда. Однако больше всего правды открывается в ночные минуты.

это может начаться это часто начинается со сновиденья не то я сплю не то нет проснулась а думаю что еще сплю... или во сне мне чудится что никак не могу уснуть... за ночь забываюсь всего на час или два

этот неотвязный сон покидает меня возвращается уходит возобновляется словно и не прерывался... на меня направлен зеленый луч я вся залита зеленым светом так бывает иногда при восходе солнца... этот свет окутывает меня проникает в мое тело и я чувствую как вдруг взлетает во мне стая белых голубей... не знаю полсотни или сотня белых голубей рвется из моего чрева и крылья трепещут точно веки дрожат... поднимаются к плечам глазам но не вылетают... как будто я это небо весь мир... они вырвались бы из меня если бы у этого мира как и у всех других не было границ... говорю плечи глаза но разве это преграды... я не чувствую больше своего тела я бестелесна от меня ничего не осталось внутри пустота лишь тонкая прозрачная кожа которая не забыла мои прежние формы не забыла какой я была до... и вдруг голубиная стая падает как подбитая как

сраженная совершенно бесшумным выстрелом я ничего не слышала от этого выстрела шума не больше чем от дуновения ветра... его не различить в шорохе и шепоте крыльев... но стая белоснежных птиц опускается как брошенная сверху простыня или скомканный и расправляющийся на лету платок... подчиняясь ветру и заносясь то вправо то влево... так и на самом деле когда голуби подлетают к голубятне они иногда всей стаей склоняются то на правое то на левое крыло а уж потом садятся на крышу... ведь только что мои голуби были живые нет падают и все разом чернеют будто их тронула смерть сбились в круг такие черные круги встречаешь в лесу... кострища или следы от угольных куч пока их не размыли дожди... следы от угля припасенного на зиму или помню как в детстве... теплые светло-желтые вмятины в соломе которую перетряхивают ворошат теребят босыми ногами увязаешь в ней по колени и колкий зуд доходит до шеи... глубокие ямы где молотили цепами пшеницу или рожь... или как... тоже черные спекшиеся следы... от костров когда жгут мусор или сухие листья в дальнем углу сада или в полях... до меня не сразу доходит что этот черный круг моя грудь лишь постепенно он проступает на том самом месте где у меня была грудь... справа и того же размера... как раз там... между правым плечом и сердцем... а подбитые голуби уже вовсе не голуби а огромные черные мухи нет зеленые и блестящие как навозные жуки... но ведь голуби умерли а мухи нет... они живые они двигаются ползают не взлетают а ползают сложив крылья и подрагивая ими копошатся натыкаются друг на друга но из круга ни одна не выходит... черный правильный круг и я глаз не могу оторвать от него... опустила голову и смотрю а

а голуби снова взлетают... нет не те что сбились в свой страшный кружок а те что уже вылетали из моего чрева снова взмывают ввысь и падают а я их разглядываю как будто все это происходит не со мной... и больше не болит рана над которой роится тысяча мух... что же это на самом деле... сон который я никак не могу прогнать... или воспоминание о сне... не знаю только теперь голуби взлетают и опускаются в такт биению моего сердца... или дыханию... во сне дышат медленнее и взлет это воздух который входит в легкие а безнадежное черное падение воздух который из них выходит... за ночь сто раз мне видится этот сон и если я забываюсь... не сплю а отдыхаю от терзающего меня сна... я то надеюсь то отчаиваюсь пугаюсь но при этом совершенно спокойна холодею от ужаса но спокойна... в эти минуты тревожного отдохновения... в том же ритме то чуть медленнее то быстрее безысходность чередуется с надеждой... всю ночь во мне идет эта непрерывная борьба... мгновение я верю что может и вправду излечилась от рака и тут же с ужасом вспоминаю о разрушительных лучах потому что

потому что после каждого сеанса я как выжженная земля и уже до вечера не могу в себя прийти что я потом ни делаю ем шью разговариваю или стряпаю выхожу на улицу возвращаюсь ни на миг не забываю что было со мной утром и все-таки за делами или когда приходят люди я немного отвлекаюсь... но сейчас в темноте мне уже некуда спрятаться себя не обманешь я и во сне не могу отвлечься наоборот мое сновидение все равно что светящаяся скважина... луч который все высвечивает... бездонный колодец но когда я заглядываю в него голова не кружится а почти все становится ясно... не знаю во сне или наяву птицы падают скомканным платком который раскрывается расправляется в воздухе как детский парашют вот почему я плакала в поезде... я никогда не плачу при Марселе никогда ни перед кем не плачу... я вообще недавно стала плакать... и плачу не от тоски а скорей от облегчения... я начинаю верить в чудо ты и не видишь а я уже может здорова... хотя и сама еще этого не знаю... или начинаю выздоравливать лучи уничтожают во мне все что нужно... делают генеральную уборку и если заглянет солнце видно как

пыль стоит в воздухе надо открыть окна чтобы ее выдуло ветром... и я плачу едва лишь подумаю что мне пришлось вынести но еще больше от страха когда представляю что мне угрожало... и еще потому что мне себя жалко во что я превратилась но я еще выкарабкаюсь как говорится обрасту новой шерстью... у меня так и стоят перед глазами голые мышата или птенцы в гнезде... голые и розовые а когда пищат кожа у них натягивается... совсем как у меня здесь и вот здесь... только у меня она не розовая... а серая... прошло всего несколько недель а я стала землисто-серая и пожелтела устала измучилась да еще эти лекарства... и я плачу в поезде плачу если еду одна в купе... но все равно стыжусь своих слез и вытираю глаза... и чтобы никто не увидел платка скатываю в комок и прячу в кулаке... если подбросить в воздух этот намокший тугой комочек он не раскроется а словно пуля или свинцовый шарик шлепнется вниз и

и вот я лежу в темноте с закрытыми глазами на спине всю ночь напролет... даже когда не сплю... закрываю глаза как там под лучами... Марсель совсем как я не то спит не то притворяется но я не шевелюсь чтобы не разбудить его чтобы не догадался что я не сплю а то подумает я жду чтобы он со мною заговорил... только о чем... что́ я ему скажу не хочу перекладывать на него свой крест да и не сумею я рассказать вот разве что

о лучах как только выключат аппарат все кончено и они уже больше не причинят мне вреда... не могут... но я еще продолжаю чувствовать их в себе... что посеешь то и пожнешь говорят посеешь смерть... посеешь смерть и она даст всходы сначала всходы а затем семена смерти... какие из этих семян сильней порожденные лучами или раком семена что разносит ветер... семена против семян семена смерти против семян смерти семена холода против семян огня невидимого и необжигающего огня... голуби или мухи взлетают и зверь прячется в своем логове почему я всегда представляю эту болезнь зверем я же знаю как это наивно все равно зверь грызет меня изнутри колет когтит... одержал верх на десять минут... стреляют в упор... то картечью то из огнемета корчится извивается и каждая из его клеток должно быть воет пока мы оба молчим он и я... как будто ничего не происходит... все самое важное совершается в тишине... никто ничего не говорит не осмеливается сказать... никто и прежде всего я... мерзкое отродье паразит шакал видишь что пришел конец и готов на все

голуби взлетают и расправляют в воздухе крылья это испытание светом гром среди ясного неба... иногда у меня влажная и холодная кожа как по утрам когда болеешь гриппом или вспотеешь зимой... очистительный свет... молния... словно нож в рану раскаленным ножом чистят мертвую грудь... пустое место неужели у меня была грудь чувствую как свет входит в меня и хочется сказать спасибо... а потом нет в тот же миг... стая вдруг начинает склоняться вправо и влево... я думаю страдает не только зверь... живое тело бронхи артерии вены нервы меня поражает другая плесень внутренняя проказа... как будто во мне кишат термиты я трещу по швам я вся разбита расколота разрушена осквернена... что может быть страшней когда в добре видишь худшее из зол

и то что вьется и темнеет как рой зеленых мух это и есть ОН... гангрена вампир сосущий мою кровь паразит пиявка мерзкий паук который плетет из меня свою паутину... еще говорят плести заговор... и может где-то внутри под всеми ранами и рубцами он все плетет и плетет свою паутину

и голуби снова взмывают ввысь и замертво падают мухи

я знаю что она не спит или почти не спит... я лежу рядом с ней как чужой и не могу вымолвить ни слова... я этого ждал... я знал что это вот-вот начнется но не думал что так скоро

В химиотерапии, наоборот, важно не начало, а конец курса, завершившегося после полутора лет постепенного, но очевидного ухудшения.

Схема, по которой идет лечение, отражает это ухудшение. Марсель все видит и даже предвидит. Все протекает в соответствии с установленным графиком. Если медсестра делает укол, следующую неделю нужно принимать лекарство, таблетки из голубой коробочки. После второго укола опять семь дней принимать лекарство, крошечные розовые пилюли. Две недели лечения, третий укол, потом необходимо две недели отдохнуть. И опять все сначала.

Марсель и Клара не понимают и десятой доли того, что мелким шрифтом напечатано в инструкциях, прилагаемых к лекарствам. Они не знают, что это за два лекарства и три укола. Им только известно, что химиотерапия действует так же, как и лучи, причем более длительный срок и с большим эффектом. Единственное, чему они научились,— это разбираться в результатах ежемесячных анализов крови, которые делают перед каждым новым курсом. Но, по правде говоря, им понятны только первые три строчки: эритроциты с 4 070 000/мм^3 упали до предельно низкой цифры — 3 050 000/мм^3; лейкоциты с 8 000/мм^3 до предела — 3 100/мм^3; и тромбоциты тоже до предела — 115 000/мм^3. С самого начала, когда все показатели слишком быстро достигали предельных цифр, лечение возобновляли только после улучшения результатов. Как правило, двухнедельную передышку продлевали до трех недель.

Цифры, которые шли ниже этих трех строк, по-прежнему были им недоступны, не помогал и словарь, конечно, не бог весть какой — он сохранился еще со школьной поры. Оторвавшуюся красную обложку держали отдельно, на случай если его надумают отдать в переплет. Как-то вечером Клара отыскала в этом словаре и слово «челеста», никак не выходившее у нее из головы. Оказалось, что это старинный ударно-клавишный инструмент с нежным звуком. А как понять, что гемоглобин у нее упал, лимфоциты понизились, а уровень глобулинов поднялся? И сколько еще таких же загадок! Разумеется, все эти цифры пишутся не для них, а для врачей. И все же обидно не знать собственное тело, не понимать, что его разрушает, а что идет на пользу. Иногда хватило бы и одного словечка... А может, лучше как есть.

я думала вот теперь после операции после облучения дома мне будет спокойней не нужно каждое утро спешить на поезд делай что хочешь немного пошью устану сидеть прилягу... но мне только чуть ослабили поводок раз в месяц приходилось ездить на контрольный осмотр но если сравнить с прежним мучением это пустяки я жила дома и хотя знала что будет ухудшение меня об этом предупредили я ждала его у себя... я знала это будет тяжело но здесь все свое родное стулья кровать дома даже стены помогают... я здесь хозяйка меня никто как в больнице не унижает больница это сплошное унижение смерть подбирается все ближе и ближе прощаешься с жизнью и чувствуешь что всем мешаешь всем в тягость... а дома... один Марсель но он говорит нет все время твердит нет наверно это так... я здесь никому не мешаю никто за мной не следит не шпионит ни перед кем я не виновата и порой замечаю что вновь улыбаюсь смеюсь верю ласковым и нежным словам вот только

вот только меня все время преследует одно и то же... непрерывно днем и ночью то взлет то падение... светит ли солнце идет ли дождь я знаю лекарство действует и совсем не так как светлый луч направленный на то место где у меня была грудь нет оно растекается по всему телу доходит до кончиков пальцев до самых дальних уголков моя кровь разносит этот... яд иначе не назовешь... как нынче страдают люди от химии в индустриальных районах... «химия»... из-за нее

бывают вредные испарения запахи дым белый желтый черный или зеленый все зажимают нос когда оказываются поблизости или едут мимо на машине или трамвае... именно в этих местах раздаются часто глухие взрывы случаются серьезные аварии о которых потом долго говорят даже садоводы до сей поры избегают пользоваться химическими удобрениями остерегаются опасаются их... а во мне яд доходит до каждой клетки набрасывается на нее испытывает на прочность... я знаю как и от лучей погибают только самые слабые мне это известно а вдруг ослаблены не одни только раковые... сколько тысяч или миллионов других клеток могут погибнуть... и если в каком-нибудь самом дальнем уголке притаится хотя бы одна больная клетка более своевольная упрямая и злая чем остальные завтра же все начнется сначала она будет делиться воспроизводиться разрастаться в шар опухоль снежный ком только разве это может быть белым каким угодно только не белым здоровые клетки страдают наравне с больными неспроста красные тельца белые тельца смертоубийство смерчеубийство... если вздумается пошутить и завести разговор о смерти в доме... в доме где кто-то при смерти не совсем при смерти но умирает медленной смертью катится под откос доживает последние дни дышит на ладан существует между жизнью и смертью... вот говорят пережить тысячу смертей но какое сравнение если всерьез подсчитать... ведь я за неделю теряю сто тысяч телец на бумажке разница не очень заметна но это же только в одном кубическом миллиметре... а сколько у меня крови допустим пять литров если я не ошибаюсь помножим сто тысяч на десять тысяч будет миллиард миллиард убитых задушенных умерщвленных приконченных газами и кислотами только за одну неделю я живу мучаюсь умираю миллиард раз... умирать тысячью смертей это еще не самое страшное не то что когда в тебе погибают кровяные тельца и каждый день жизни это миллиард смертей... что толку звать на помощь звонить в колокола бесполезно это такая болезнь что приходится думать о каждой своей клетке ведь каждая клетка это маленькая жизнь маленькая жизнь которой постоянно угрожает опасность смертельная опасность... и все это ради того чтобы выловить несколько беглянок которые может уже совсем неопасны или мне не все говорят... зачем бы они причиняли мне столько зла если бы зло уже было на исходе... последняя отчаянная попытка разгром выстрелы в спину... если бы не заросла я сплошь сорняками нечего было бы и выжигать... они лгут обманывают меня никому я больше не верю одна совсем одна слежу как поражает как отравляет меня болезнь... столько смертей столько крошечных трупов куда же они деваются должно быть гниют во всех уголках тела... кто их собирает вытаскивает за ноги чтобы выбросить вон... это делает моя кровь и это губит ее... ей никак не справиться с этим маленьким кладбищем не успевает она его обежать... вот чем я переполнена я как поле боя после сражения только сражение еще не закончилось... с каждым приемом лекарства... здесь нам спокойно вдвоем с Марселем... глотаю эту гадость эти дрожжи и знаю через полчаса или час начнется брожение все поднимется вверх к голове потом опустится опадет как пена... как вскипевшее молоко оседает и становится серым... во мне бурлит колдовское зелье его пузыри пары испарения душат все живое... иногда я невольно делаю глубокий вдох... делаю глубокий вдох словно надеюсь помочь клеткам которые еще способны сопротивляться... стараюсь не уступать не поддаваться этому удушью этим газам заглатываю как можно больше воздуха давлюсь им не могу удержать а люди думают что я просто вздыхаю... и тогда Марсель гладит меня по щеке по руке а я говорю ничего все в порядке... но я чувствую как я вся целиком отравлена переполнена заражена опутана отчаянием и моему сердцу не выдержать... если вижу смрадный дым над мусорной свалкой или каменоломней раньше не обращала внимания... а теперь все кажется мне

опасным... всего боюсь... укусит комар или клещ появится легкая сыпь которая зудит если расчешешь я пугаюсь думаю вдруг снова все начнется опять ухудшится поползет так что не остановишь... у нас в семье столько рассказывали о дядюшке я его тоже немного знала сельскохозяйственный рабочий... скорее батрак на ферме... он умер от маленького прыщика под мышкой он всем вокруг надоедал с этим прыщиком все знали что у него маленький прыщик который его иногда беспокоит и он показывал его родственникам в кабачке куда ходил по субботам играть в карты... а потом говорили вот тебе и прыщик потому что из-за этого прыщика он через три месяца отправился на тот свет... я всегда гордилась родинкой что у меня на бедре девочки демонстрировали друг дружке свои сокровища или то что только еще обещало стать нашим сокровищем и говорили что это рак я не верила но пора детства давно прошла и мы уже не играем в игру «а ну-ка испугай»... говорили маленький... не опасный но настоящий самый что ни на есть настоящий хотя и маленький... теперь уже не до игр с ними покончено я глаз с него не спускаю... когда целый день не следишь за своим телом когда и повода нет следить даже не представляешь себе сколь многого можно бояться... когда здоров плюешь на любую боль все кажется пустяком... а теперь рези мигрень изжога да просто... стрельнет заколет в боку или где-нибудь еще что-то давит сердцебиение ноет живот подвернешь лодыжку или заломит колено онемеет мышца заболит поясница глаз ухо все пугает меня во всем я вижу опасность наверно я уже испытала все страхи какие только возможны иной раз даже не знаю как их назвать моральный физический гипнотический или химический и сколько еще один за другим а то и все сразу... а вот как назвать этот страх

этот нелепый страх... кто поймет его кроме меня... суеверие злые чары... боюсь что если подумаю где что болит ОН сразу накинется на это место... оно станет более слабым беззащитным обнаженным и я навлеку на него беду... я между двух огней опасаюсь всего подряд это сильнее меня и сама же боюсь этого страха... и так плохо и так... никак не могу забыться даже кончик пальца или носа то и дело напоминает о себе пробуждает воспоминания и не всегда плохие... когда все время присматриваешься к себе ничего не упускаешь из виду и вдруг всплывает что-нибудь давнее... ладонь до сих пор ощущает как гладила волосы первой куклы хотя никаких волос не было... волосы целлулоидного голыша... блестящие словно напомаженные и гладить их было приятно... указательный палец еще не забыл шипы роз слегка дотронешься до острия и прижмешь к нему кончик пальца чтобы проверить действительно ли оно колется пока не почувствуешь боль и не выступит капелька крови... а большой палец помнит как я на него надевала наперсток моей матери для других пальцев он был велик его называли мужским... не с закругленным концом на манер высокого колпака такой почему-то считался женским... а без донышка и сужающийся кверху наподобие огромного обручального кольца я засовывала в него большой палец как можно глубже и когда снимала оставались две красные полоски и если я их растирала чтобы поскорее прошли следы они зудели потом целый час и еще было много разных колец и перстни с печаткой если хоть раз что примерю то навсегда запомню как мне сжимали палец ко́льца для штор или коротких до середины окна занавесок обшитых шнуром а еще гайки и кольца ножниц остальная часть ножниц в памяти не задерживается смотришь не на раскрывающуюся и закрывающуюся пасть а что выходит из-под руки пальцы крепко сжаты и напряжены как у ювелира... особенно мизинец хорошо помнит все что когда-нибудь на него надевали пробки от пузырьков тюбики от помады... круглые резинки намотанные по три по четыре раза... резиновые прокладки от пробок их называют механическими такими заку-

поривают бутылки с пивом... через минуту кончик пальца синел как пропитанный вином апельсин и начинал болеть... девчонками мы пугали друг друга что от этого может начаться гангрена столбняк поминая который старухи стучали по дереву я говорю старухи но это мне в мои шесть или десять лет они казались старухами... наверно были даже моложе чем я теперь... эту резиновую прокладку надевали еще и на нос но держали не так долго боялись что подует ветер потому что если ветер подует когда гримасничаешь так и останешься на всю жизнь... а когда снимали ее то строили перед зеркалом рожи а посреди лица торчала большая фиолетовая шишка... даже и не стараешься но все вспоминаешь

пусть ветер не дует полгода чтобы у меня успели отрасти волосы... меня предупреждали... говорят мне еще повезло не все выпали... я уже представляла себе как у меня будет голый блестящий розовый целлулоидный череп... как будто я из концлагеря... половина все-таки у меня сохранилась и кожа просвечивает только слегка мои волосы можно пересчитать когда причесываюсь остаются бороздки как будто они всегда чуть-чуть влажные... вот так же когда сено сгребали большими граблями... деревянными и от зубьев еще пахло деревом... когда собирали все что пожелтело увяло засохло на зеленом лугу с полгода еще оставались такие же борозды... а я каждое утро концами пальцев снимала волосы с белого рогового гребня немного изогнутого он мне достался от матери и бросала в огонь видела как редеют они надо лбом видела как теряю то что во мне было самым красивым мне это всегда говорили даже еще так недавно... и я вспоминала нашу соседку или она мне являлась во сне чем больше она старела тем больше пила пряталась по углам и пила совсем уже не следила за собой опустилась все забросила и даже если бы захотела... от вина она стала сама не своя и однажды муж обнаружил в супе ее шиньон он весь разом упал в кастрюлю а она и не заметила... до сих пор он находил ее волосы то здесь то там... то во рту... то в ложке... а тут пожалуйста все ее сальные волосы плавают вперемежку с кореньями лука-порея и листиками петрушки словно какие-то щупальца в желтом море среди жировых глазков... муж избил ее бедолагу и бросил валяться на полу а потом заявил через газету что не признает ни долгов ее ничего... смотрю теперь на себя и вижу что за два года сама постарела на десять... и Марсель постарел вместе со мной хотя ничем и не болен это заботы его убивают... а я да я превратилась в старую ведьму боюсь произнести вслух слова которые приходят в голову когда думаю о себе... разве я решусь когда-нибудь выговорить мегера полудохлая дохлая дохлятина гниль ведьма карга старая хрычовка а он бил ту женщину и обзывал падалью бил деревянными башмаками по голове лежачую униженную растоптанную... я давно уже никому не показываюсь на глаза без крайней нужды не выхожу из дома... все мои поручения выполняет Марсель Франсина или соседки а если нужно выйти повязываю голову косынкой я никогда не любила носить косынки особенно на голове... раньше было иначе мне завидовали и уж лучше зависть чем жалость правильно говорят... если б это было возможно я не показывалась бы даже Марселю... когда он входит в комнату я перехожу в другую... встречаемся в постели но не приближаемся больше друг к другу долгие месяцы не приближаемся все у нас кончено он лишь едва дотрагивается до меня словно хочет сказать потерпи мы еще будем вместе... а пока отдыхай... или берет меня за руку и мы часами лежим на спине рядом... днем мы никогда не беремся за руки с одного взгляда понимаем друг друга... ночью одеяла простыни... застигают нас врасплох словно мы дети которые идут в школу не подозревая об опасности или жертвы Хиросимы... два полюса... сходятся в одной точке... и перед сном он целует меня в лоб быстро и почти не касаясь словно боится что мне даже здесь больно... а я думаю он чувст-

вует мой запах... от меня плохо пахнет я знаю плохо пахнет временами я сама это ощущаю... свой запах ощущаешь не так как со стороны... но бывает что опахнет ветерком зевнешь или вдохнешь и вдруг запах пота долетит из-под мышки или запах женского тела... через секунду об этом забываешь о таком стараешься забыть как можно скорее... но сейчас не могу забыть... что-то во мне разрушается и наверняка гниет... и я умру от стыда если кто-то узнает что после того как... я раза два опускалась в уборной чуть ли не на колени чтобы понюхать... если Бог есть он один меня видел в те минуты и что бы он обо мне ни думал ему-то понятно как я боюсь самой себя... нюхаю чтобы узнать нет ли помимо обычного запаха еще запаха больной умирающей плоти запаха смерти... я знаю что если даже надену все чистое застегнусь под самое горло дочиста вымоюсь все равно мне не скрыть этот запах все равно он будет просачиваться сквозь кожу сквозь поры... иногда я рада усталости... потому что когда вспоминаю о самом страшном усталость притупляет мои мысли от усталости словно запотевает окно а окно это я и ничего сквозь стекла не видно... грязные стекла... Марсель мне очень давно рассказывал когда поезда замедляют ход и останавливаются на вокзале к ним слетаются целые стаи птичек всех это удивляет... почему так... потому что во время движения о ветровое стекло локомотива разбивается множество комаров и мошек птицы это знают и слетаются чтобы склевать их со стекла... и сколько еще рассказывал он о том что случается с птицами на железнодорожных станциях иногда старые вагоны годами стоят в тупике... и в буферах воробьи часто вьют гнезда им здесь уютно спокойно но когда подгоняют новый состав от удара все давится гнезда яйца птенцы родители и на шпалы стекает желток и кровь... слабость усталость как облаком окутывает все что со мной произошло туман бальзам забытье... громкие слова разбегаются как бараны перед грозой когда небо темнеет начинается дождь все покрывается пеленой и ничего не видно... все эти громкие слова никогда не употребляешь говоришь я уродина говоришь воняет но есть сотня других слов которые когда-то слышала или встречала в книгах может быть в школе которые невозможно произнести вслух тошнотворный зловонный гнусный мерзкий отталкивающий... иногда еще говорят отравлять заражать атмосферу... сама себя не узнаю онемела ослабла измучилась извелась надорвалась истаяла оцепенела... мрачная угрюмая разбитая издерганная не могу пошевелиться все мне надоело и какая разница грязная я или нет когда ни на что не хватает сил и постоянно грызет тоска... я очень хорошо знаю я это не выдумала что болезнь начинается когда утрачиваешь сопротивляемость... рак можно подцепить каждый день и не один раз но организм сопротивляется у тела есть своя стража... ну конечно кровь и эти самые тельца и все остальное... они не дремлют они охраняют нас... и вдруг однажды неизвестно почему подводят предают отказываются от тебя... уже больше года мне стараются помочь но все что ни делают оборачивается против меня уж хуже кажется некуда... моя стража пьяна мертвецки пьяна и вот почему я теперь так мерзну ну ладно бы ноги руки нет все застыло внутри холод выворачивает меня наизнанку как я выворачиваю чулок и надеваю на руку чтобы посмотреть стоит ли его чинить... в наше время лучше купить новое чем чинить старое или поношенное... и если что-то меня еще согревает так это воспоминание запах образ матери или вот этот ее роговой гребень... он намного старше меня ему семьдесят семьдесят пять лет... у нее очень поздно стали выпадать волосы до старости были пышными и красивыми... она отодвигала заслонку и как я бросала их в огонь слышно было как они трещат и сразу же ощущался запах ни на что не похожий запах

Никто больше не видит Клару. Она не хочет никого видеть. Наступают три недели, когда она живет надеждой. Когда верит в вы-

здоровление. Медсестра больше не приходит, курс химиотерапии закончен. Три недели надежды завершатся очередным обследованием в Сен-Венсане. И здесь снова важно не начало, а конец, потому что по истечении этого срока все надежды рухнут.

С первого же дня у нее возникает чувство, что это с ней уже было, кроме того, ей кажется, что губительный процесс, который подспудно шел в ее организме, неожиданно прекратился. Ей хочется насладиться этим затишьем в одиночестве, чтобы попытаться начать все с нуля, и ей дорога каждая секунда. Уже полгода как она избегает людей. Ее видят только Марсель, Франсина, навещающая ее почти ежедневно, и Флоранс, которая все это время приходит к ним, по крайней мере раз в неделю. И отец, однако его она гонит прочь. Он пытается ее утешать, но делает это чересчур неуклюже. Он не может скрыть горя. Марсель провожает его до садовой калитки и мнется, не зная, что сказать. Поначалу ей просто не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, до чего довела ее болезнь, эта червоточина. Одно из засевших у нее в голове слов, которые ей кажутся непостижимым образом связанными между собой: червоточина, червь, чесотка, челеста, черешня, чешуя, чахотка, чехарда... Потом даже дорога на вокзал была для нее мучительной, когда раз в два месяца пришлось ездить в больницу на контрольные анализы. Самое страшное — не поезд и не сама больница, там все чужие, но как вынести, когда на тебя с жалостью или с ужасом смотрят твои давнишние знакомые. Вдобавок она поймала себя на том, что стала ненавидеть людей. Сначала недолюбливать, не доверять, остерегаться и вот теперь — ненавидеть. Впервые она осознала это как-то вечером на вокзале, где ее встречал Марсель. Приехавшая группа подростков, баскетбольная, волейбольная или гандбольная команда, затеяла шум, крик и возню у подземного перехода. И хотя ее всего лишь оттеснили в сторону, она почувствовала себя обиженной, уязвленной и потеряла самообладание: первого же мальчишку, который оказался поблизости, она с такой силой толкнула обеими руками в плечо, что даже отступила на три шага. Он упал под ноги прохожих, ушибся и едва не скатился вниз по ступенькам. Этот случай больше всего потряс ее саму, и чтобы скрыть неловкость, ей пришлось разыграть возмущение. Позже она не раз ловила себя на том, что у нее с языка готово сорваться грубое слово. Несправедливая ненависть, она знает, осознает, что несправедливая, но эта ненависть порождена другой несправедливостью. Разве то, что обрушилось на нее, справедливо? Она все думает: а что, если сердце леденеет, умирает первым? Оно, должно быть, знает, сколько человеку осталось жить. Ей чудится, будто ее сердце умирает. Не замирает, как у боксера, которому нанесли смертельный удар, а отмирает, застывает, коченеет, отделяется от ее тела. За что ей обижаться на отца? Только за то, что он на двадцать лет старше ее, и, выходит, украл у нее эти годы. Отец, мать — именно их возраст служит точкой отсчета, когда прикидывают, сколько еще осталось жить. Клара могла прожить еще двадцать пять лет, чуть больше, чуть меньше, но это была бы дорога длиною в двадцать пять лет. Как и все, она жила с бездумным ощущением своего превосходства, своей молодости по сравнению с матерью, умершей три года назад, и с этим маленьким, тщедушным и малосильным человеком, который всегда звал ее на помощь, если в доме требовалось передвинуть что-нибудь тяжелое. Он будет жить и тогда, когда о ней сохранятся лишь воспоминания, добрые или плохие. Она пытается представить себе это время, как пространство, опустевшее без нее и растянувшееся на двадцать пять лет. Она видит Марселя, не обязательно одинокого, он женат, рядом с ним другая, видит своего внука Марка, уже взрослого, на какой-то дальней станции с чемоданом в руке, наверно отправляется в армию или на войну. Все двигаются, пересекают это пространство в разных направлениях, разговаривают, может,

даже о ней или о чем-нибудь еще, откуда ей знать, что еще напридумывают после того, как ее не станет. Ей видится все, что она знает и любит: сад, крупные нежные лилии, цветы толокнянки, речная излучина со старой низкорослой ивой, у которой всегда такой жалобный вид, словно она, воздев руки кверху, взывает о помощи. И без нее эта ива будет каждую весну покрываться желтыми сережками и напрасно взывать о помощи. Только Клара никому уже не сможет помочь и сама не будет нуждаться в помощи. Клара вглядывается в окружающий мир с беспредельным эгоизмом, свойственным любому, да, любому человеку, который неизменно соотносит все с собственной жизнью, она заранее прощается с цветами, птицами, бабочками, что останутся и после нее, а не с «однодневками», которые, как это ни грустно, «найдут свой конец» куда раньше нас, завтра, а то и сегодня вечером.

Больше всего ее мучает, что она не увидит ту часть спектакля, которая начнется после ее ухода, которую невозможно заранее предусмотреть, отрепетировать и воспроизвести. Она всматривается в туманную неопределенность, не зная, что будет после нее, но стараясь предугадать. Сколько еще всего ожидало ее впереди, как и всех нас. Нужно было лишь немного потерпеть. И сколько радостей готово даровать нам будущее, стоит только попросить его как следует. Но мы не торопимся. А оно все ждет и ждет. Взять, к примеру, хотя бы рак, ведь говорят же, что главное — это выиграть время. Проходят месяц, полгода, пять лет, и непонятно, почему вдруг он дает о себе знать, потом затихает, снова пробуждается, с ним пытаются бороться, вцепляются ему в хвост, по шажку отвоевывают у него территорию, чтобы продержаться до того дня, пока не придумают наконец средство, как его победить. Точно так же было в прошлом и с другими болезнями, холерой, чумой, тифом, не говоря уж о ныне забытых: давно прошло время, когда умирали от скоротечной чахотки, от истощения, диспепсии и дифтерита. И если даже болезнь сильно запущена и кто-то дотянет или его силком дотащат до того дня, когда пора сказать всем прости-прощай или прощай без прости, он все равно получит свою награду и ему на блюде преподнесут остаток жизни, которой он едва не пренебрег. Так уж и быть, получай. Ему возвращают его собственную жизнь. С ним пошутили. Это был розыгрыш. И когда наступает трехнедельная передышка, Клара чувствует, что с каждым днем выпрямляется, как ясень, сбрасывающий снег с листьев. Она как можно ближе придвигается к зеркалу. Ей кажется, что у нее отрастают волосы. А глаза как будто стали прозрачнее, ярче блестят и не такие печальные. Она не ошибается. На сей раз она не ошибается. Это подтвердят и анализы крови. Она отвоюет четверть из того, что утратила за два года. Каждое утро она все острей ощущает, как возвращается к ней жизнь. Так бывает, когда в глубине пруда вдруг просыпается долго спавший родник, и поначалу глаз едва различает небольшой кружок чистой воды, похожий на выбирающегося из песка осьминога, но серо-бурые воды день ото дня отступают все дальше, а светлый круг становится шире. Случаются иногда такие возрождения. Ожившая и поверившая в свое исцеление Клара слишком много надежд возлагает на уже близкое лето. Она не сомневается, что солнце с ней заодно. Оно спасет ее. Закрывшись на задвижку, она — в трусиках и лифчике — усаживается на стуле перед окном, выходящим на юг, и ждет обманчивого тепла. Как же ей досталось и до чего же она исхудала! Бедра, колени, лодыжки — кожа да кости. Она спускает трусики как можно ниже и только солнцу осмеливается показать длинный и все еще красноватый шрам. Правую сторону груди, которую пересекает большой рубец, она прикрывает поверх лифчика вчетверо сложенным старым и дырявым зеленым полотенцем. У солнца есть не только полезные, но и вредные лучи. Она это знает. Но верит, что оно ей поможет.

После прошлогоднего облучения у нее одеревенели плечо и рука, да еще этот постоянный озноб, и все теперь падает у нее из рук. Она перебила уйму чашек, стаканов, тарелок. Подбирая с пола осколки, она кусает губы и плачет от досады на свою неуклюжесть. В этой части тела холод держится дольше всего, но наконец отступает и здесь. По руке растекается тепло, стихает легкая боль в костях, особенно в локте и чуть выше. Она сидит с закрытыми глазами, но иногда, приподняв веки, наблюдает за непрестанной игрой желтых и красных, оранжевых и черных, зеленых и синих пятен, но не позволяет себе задремать. Боится. Боится, как мгновенной смерти. Стоит только на минуту забыться, и все пропало. Но если не поддаваться и следить в оба, она еще сможет победить. Убежать, спастись от безжалостной смерти. Даже на пороге «вечного сна» можно, наверное, как-нибудь исхитриться и в последний миг проскользнуть угрем вправо или влево, открыть глаза и возвратиться к жизни. Ей снова хочется верить. Вздрогнув от гудка проходящего поезда, она слышит, как Марсель сгребает граблями камни, расчищая место между лужайкой и садом. Она успокаивает себя: еще поглядим, сейчас ей во всяком случае хорошо. А большего она и не просит. И вновь прикрывает глаза.

Ей грезятся большие перемены, а какие, она не смогла бы объяснить. Знает только, что ей хочется перемен. Уехать, сменить обстановку, где все напоминает о том, что с ней стряслось. Раньше она избегала солнца. У нее были черные волосы и белая кожа. Она не помнит, сохранился ли у нее в шкафу купальник, который она купила лет двадцать назад, когда они с Марселем, оставив малышку у бабушки, провели две недели в палаточном городке под Остенде. Она с удивлением замечает, что пристрастилась к молоку. Всю жизнь она терпеть не могла молока. Цельное молоко вызывало у нее отвращение. В крайнем случае чуть-чуть с кофе. Марсель, наоборот, к молоку добавляет чуть-чуть кофе и шесть кусков сахара. И вдруг у нее появилось желание, совсем как у беременной, выпить горячего молока. Первый глоток, как и прежде, показался ей неприятным. Однако желание не прошло. Она положила побольше сахара и попробовала. Не намного лучше. На следующий день выпила сырого холодного молока, уже не без удовольствия. Она заставляла себя его пить, сама не зная зачем. И теперь она ежедневно выпивает добрый стакан молока, и чем оно холоднее, тем кажется ей белее и чище.

В начале третьей недели она просыпается утром от пронзительной боли в плече. Она пугается. Решает, что все погибло. Тут же звонит в Сен-Венсан. Лечащий врач будет только через три дня. Ее успокаивают. Несколько дней в любом случае ничего не изменят. Пусть позвонит в понедельник. За день боль стихает и ощущается лишь при неловких движениях, как при прострелах и ревматизме, отдавая в лопатку и даже под мышку. Но каждое утро, едва проснувшись, она снова ее ощущает, как будто первое же движение всякий раз непременно бывает неловким.

Никто не может следовать за Кларой по тому пути, на который она вступила. И с этим нужно примириться. Даже Марселю, который не разлучается с ней ни днем, ни ночью и покидает ее ненадолго только тогда, когда она сама этого хочет. И он понимает, что ему не постичь и тысячной доли тех страданий, сомнений и мучительных догадок, во власти которых она живет. После трехнедельной передышки прошло шесть месяцев, самых тяжелых за эти два года, с тех пор, как жизнь ее распалась на части, словно она уже не могла обходиться без строгого распорядка, без жесткого графика, предрешающего все сроки и даты: месяц здесь, три месяца там, две недели лече-

ния, две недели перерыва, три недели, полгода, полтора года, расписанных по дням болезнью и теми, кто против нее борется.

Несколько раз Клара ошибалась. Так, ее напрасно испугала боль в плече. Целую неделю эта боль усиливалась, а затем постепенно стихла. Ничего страшного, объяснили ей, побочная реакция на облучение, спровоцированная солнцем. Не нужно было перегреваться. Некроз. Как и все, она воспринимает это слово в ряду с другими: некромант, некрополь. Частичное омертвение, которому уже подвержены мышцы и кости. Расплата за борьбу со смертью. Так и говорят: «омертвели» пальцы, рука, которую ей трудно согнуть или поднять вверх, но и это должно через год-два пройти.

Она спросила врача, не саркома ли у нее. Он рассмеялся. Еще одно слово, засевшее у нее в голове или в сердце. И все потому, что на ее родном диалекте гроб произносится как «саркграб». Получается, что смерть придет и сграбастает вас. От этой мысли боль пронзает ее до костей. А он со смехом добавил: «Это заблуждение, что саркома поражает только кости. Она бывает нескольких видов. Не забивайте себе голову всякой ерундой».

Кроме того, она слишком поверила в свое исцеление. Ей действительно стало лучше, в таких случаях человек мобилизует все силы и еще неизрасходованную энергию. Рентген, которым регулярно просвечивали ее с головы до ног, не показывал ничего угрожающего. Но следовало опасаться метастаза в правом легком, со стороны оперированной груди, куда раку было перекинуться проще всего. Предупредили только Марселя. Она лишь заметила, что ее стали чаще прослушивать и просвечивать, причем ниже, чем обычно, у самого основания реберной дуги. И когда ей сказали, что для большей надежности и ради профилактики необходимо повторить облучение, ее грудь и спину безжалостно разрисовали синими и красными линиями — еще одна схема, на которой специально выделили — только по какому праву? — возможные точки ожогов, а углы рисунка обозначили черными крестиками, чтобы было видно, куда направлять лучи.

Она признается, что иногда вспоминает, как пугалась раньше любого пустяка, одного вида иголки, прикосновения холодного металла или резины, капельки крови, выступившей на указательном пальце или из вены, и той слабой боли, которую при этом чувствовала. Как давно и как недавно это было. И сколько она вытерпела с того дня, как попала в руки врачей, и ее повлекли, потащили из кабинета в кабинет, с одного обследования на другое, и все это она вынесла, не пытаясь протестовать и ни разу не содрогнувшись, и лишь когда стояла хорошая погода, сожалела о потерянном времени.

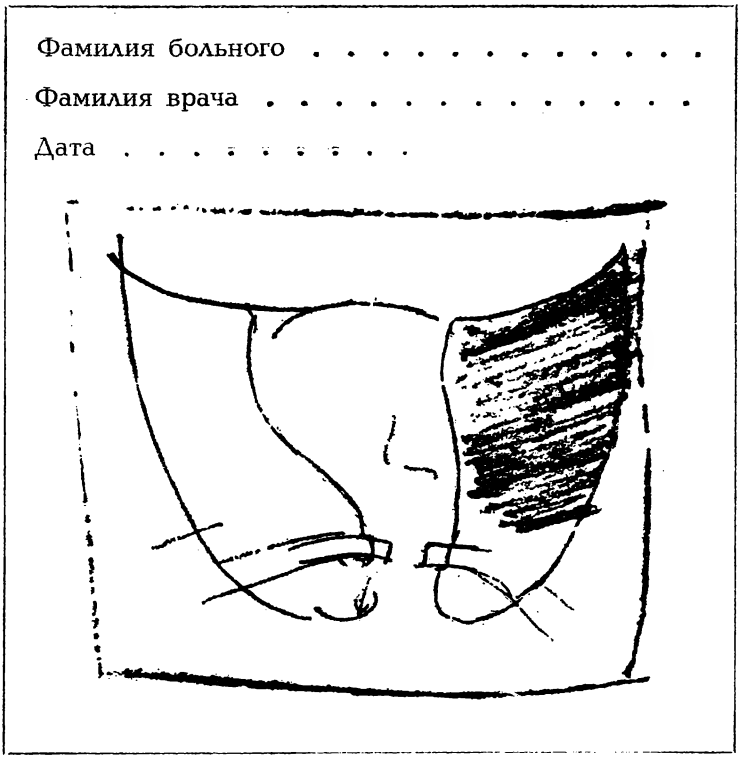
Марселю сказали, что скоро у нее появится кашель. Он ждал его все время, даже ночью. И кашель начался. Легкий, сухой, непонятный, нервный кашель, раздражающий горло. Без мокроты и крови. Он знал, что она будет задыхаться, уставать, чувствовать себя измученной. Пришло и это. Однажды она впервые заплакала при Марселе.

Его предупредили, что впереди у нее тяжелые, тревожные и бессонные ночи. Ей будет все труднее спать на спине или на боку. Придется подкладывать две-три подушки, чтобы она полусидела. Иначе ее будет мучить страх, что она задохнется. И даже если ей случится заснуть, она будет испуганно вздрагивать и впиваться ногтями в его руку, и как бы ни было ему больно, он ни за что ее не отнимет — а вдруг это поможет ей удержаться на краю бездны, в которую она падает? Если пробуждение не очень мучительно, она гладит исцарапанную руку слабыми, неуверенными, плохо слушающимися пальцами.

Кашель преследует ее теперь почти постоянно. Марселю объяснили, в чем дело. Опухоль в легком выделяет жидкость, которая с каждым днем все больше заполняет не само легкое, а межтканевое

пространство в виде мешка. Это создает фон, из-за которого легкое уже не прослушивается. Словно на него надели маску. Другой признак — приглушенный звук при выстукивании. При ударах пальцами звук не ясный, а глухой.

Ему нарисовали, как это выглядит при просвечивании рентгеном:



Вверху ключицы. Здесь, посредине, сердце. Легкому все труднее приподнимать образовавшийся вокруг него мешок, расширяться и опадать, дышать. Это как при силикозе, спросил он, когда легкое забито угольной пылью? Да, немного похоже — все, разумеется, протекает иначе, но результат одинаковый. Если уж сравнивать, то с астмой. С астмой это тоже не имеет ничего общего, кроме ощущения, что не хватает воздуха, человека мучает страх, даже не страх умереть, он боится, что не сможет ни вдохнуть, ни выдохнуть, вздыхать становится все трудней, выдыхать и вдыхать тоже, все тяжелеет и набухает, как намокшее от дождя пальто. Организм стремится к болезненной неподвижности, губительному равновесию между внешней и внутренней сферами, воздуху одинаково трудно и выходить и входить. Болей, она, впрочем, не чувствует. Даже пункция, а ее скоро придется делать, не будет для нее болезненной. Знаете, это не то что в позвоночник или... Марсель знает. Такую пункцию делали одной малышке из их семьи, в Валансьенне, она была на волосок от смерти. Как раз здесь, в Сен-Венсане. В легкое не больно. Оно мягкое. Больная даже ничего не видит. Ее усаживают. И в спину вонзают иглу. Когда ее вытаскивают, дышать становится легче.

Теперь Марсель ездит в больницу вместе с Кларой. Он начал ее сопровождать еще до того, как это стало необходимо. Ему тут же выдали бланк, чтобы возместить расходы. Пока Клара у врачей или на процедурах, он убивает время в залах ожидания, листая журналы с картинками или рассматривая людей и прислушиваясь к разговорам

больных, мужчин и женщин, которые тоже иногда приезжают с кем-нибудь из родных.

На лестничной площадке, в углу, за маленьким столиком перед грудой зеленых папок сидит совсем юная медсестра. Ей, как видно, хочется, чтобы Марсель заговорил с ней. Он спрашивает:

— Что вы делаете?

— Рву умерших.

— Рвете умерших?

— Да, рву умерших.

Она берет очередную папку, разрывает ее на четыре части, и куски картона летят в высокую плетеную корзинку, наполненную чуть ли не до краев. Движения ее рук и привлекли внимание Марселя — крест-накрест, слишком размашистые для ее роста.

— Раз в год, ненужные истории болезней...

А как-то утром он увидел здесь сцену, которая, проживи он еще сто лет, навсегда останется для него вершиной или, скорее, бездной человеческого отчаяния. Сидя в углу приемной, отделенной от коридора невысокой перегородкой, уставленной сверху зелеными растениями, он различает сквозь них старика, который, полузакрыв глаза, отрешенно замер в кресле-каталке. Все ему глубоко безразлично: снующие мимо люди, двери, медсестра, что должна за ним вскоре прийти. В редкие мгновения, когда все вдруг стихает, Марселю кажется, что с той стороны доносятся какие-то звуки. Подойдя ближе и просунув голову между зелеными стеблями, он напряженно вслушивается, и до него долетает нечто вроде протяжной жалобы, песни, пробивающейся сквозь сомкнутые губы, тихой и бессловесной молитвы. Ни к кому не обращенной и никому не предназначенной. Когда глухое безмолвие становится невыносимым, рвущаяся наружу телесная боль — ведь говорят же «зубная боль» — изливается в сдавленном стоне. Этот стон издает не рот и не горло, а все тело, одновременно стонут кости, зубы, грудь. Может, просто-напросто затрудненное дыхание. Слабый стон приговоренного к смерти напоминает журчанье потока, в котором слегка перекатывается галька. Не человеческий, а скорее животный стон — так мурлычет, урчит, скулит в одиночестве зверь, чувствующий свой конец и желающий лишь одного — чтобы никто не слышал его воя, обращенного к луне, его предсмертного хрипа и неизбежного ропота. Эта грустная песнь, которую нет сил сдержать, эта безнадежная молитва слышится в разных уголках земли, пробиваясь в дрожащих созвучиях блюзов и глухом постукиванье четок в восточных кварталах. Но у этого порога все мольбы уже тщетны. И здесь никто не осмелится отрицать, что все люди равны и сотворены из единой плоти, и насколько было бы лучше, если бы мы понимали это гораздо раньше.

Марселя отвлекает девушка лет двадцати — двадцати пяти. Она сдавала кровь натощак, а сейчас уже половина двенадцатого. Пока она выходила перекусить, ее очередь на рентген — а она была последней по списку,— прошла. Придется вернуться после обеденного перерыва. Зато она будет первой. Все улыбаются. Марсель снова выглядывает в коридор: старика уже нет.

Раз ему вспомнились животные, он продолжает думать о них. Они всегда жили в его доме; с тех пор, как он себя помнит, у него сменилось не одно поколение беспородных собак и кошек, которые, как короли или римские папы, носили одинаковые имена. Он многое узнал о животных и многому научился у них. Например, он не раз наблюдал, как животные прячутся перед смертью. Марсель вспоминает белого пушистого пса, который наелся мышьяка, заготовленного для ежегодной травли лисиц. Его нашли мертвым в сарае, где привязывали на ночь, чтобы он сторожил дом. Он ухитрился просунуть голову, почти при этом ее раздавив, между каменной стеной и качающейся ножкой старого верстака. Вся передняя часть тела была изра-

нена, как шея у попавшего в силок кролика. Сначала решили, что он старался спастись от невыносимой боли. Но если знаешь животных, то поймешь, что он искал укрытия, чтобы перед смертью спрятаться от людских глаз. Если собаке больно или просто грустно, она начинает гладить себя лапами над ушами — когда так делают кошки, то говорят, что это к дождю. В конце концов лапы опускаются ниже и прикрывают глаза. Собака не хочет, чтобы ее видели. Марсель вспоминает, как одна из его кошек, поранившись, целую неделю сидела в углу. Подстригая дерево, Марсель увидел, как она прошмыгнула мимо. Обрадованный, что она вышла из своего заточения, он хотел сказать что-нибудь ласковое, чтобы подбодрить ее. Но не успел. Как-то чудно́ мяукнув, кошка скрылась в кустарнике в глубине сада. Она не выздоровела. И, почувствовав близкую смерть, попрощалась с хозяином. Больше ее никто не видел.

Пункция, как и лучи, принесла облегчение. Кларе сказали: сейчас самое время попробовать новое лекарство, более сильное, зато курс будет короче, чем первый. Она подумала: «Ну, для очистки совести» — и не отказалась.

IV

Жизнь похожа на лестницу, где ступеньки чередуются с площадками, и взбираешься ли ты вверх или спускаешься, предыдущая площадка быстро теряется из виду. Странное ощущение, что это уже было, возникает потому, что вся жизнь складывается из подъемов и спусков. Мало кого минуют падения после взлетов, и многим удается снова подняться после падения. Ничто не повторяется, однако воздух, которым дышат на той или иной высоте, кажется знакомым. В преклонном возрасте, как и в раннем детстве, человек одинаково беззащитен и нуждается в снисхождении. Притупившаяся память сродни младенческому неведению, но первую улыбку от безутешных слез и первые шаги от старческой немощи отделяют шестьдесят лет.

Никогда еще Клара не спускалась по жизненной лестнице так низко, как теперь. Но, закончив принимать лекарства, которые она с отвращением называет «химией», она снова воспряла духом и полна надежд. Ей стало легче дышать и к тому же сейчас весна. В эти весенние дни ей кажется, что она уже давно не чувствовала себя так хорошо, может быть с самого дня свадьбы у Леборней. У нее теперь темно-синее кресло «релакс», которым легко управлять с помощью рычага, установленного на уровне руки,— ему можно придать шесть положений от «сидеть» до «лежать», но она обходится двумя промежуточными. С кресла ей хорошо видно, что происходит за распахнутым окном, а когда наступает вечер или портится погода, Марсель закрывает ставни и включает телевизор. Кларе не нужно ни вставать, ни поворачиваться. За окном перед ее глазами расстилается настоящий деревенский пейзаж, здешняя «маленькая Швейцария». Как хорошо, что они переехали, говорит Марсель, в городе ничего подобного не увидишь. Залетающие в сад птицы рассаживаются вдоль ограды. Вместе с птицами весне радуются и люди. Коровы уже пасутся в лугах. От свежего масла текут слюнки, и с каждым днем оно становится все желтее. И так хочется верить, что ей на самом деле лучше, а скоро она и совсем поднимется на ноги. Ива — и расцветая и отцветая — одевается в золото. Увидев первые цветы, с нетерпением ожидаешь следующих. Дай волю примуле, и она из дворика переберется в сад; ей выделяют грядку вдоль аллеи, но если ей не помешать, она завладеет всем садом. Ревень не успел расправить свои еще не зеленые, а красноватые листья. А если вслушаться в деревенские звуки, то с непривычки легко спутать тихое блеянье козленка с шелестом крыльев взлетающих голубей. Все вокруг жужжит и гудит, и в ушах стоит веселый гул. Побеги вьюнка, не уступающие по цепко-

сти даже спруту, жадно тянутся вверх, а ветер относит их то в одну, то в другую сторону — так и мы колеблемся порой в поисках решения. Счастье — это звучит слишком громко, и все же... Молодым не понять, сколько несчастий нужно иной раз пережить, чтобы почувствовать себя счастливым. Испытания сблизили Клару и Марселя как никогда раньше. Они до конца открылись друг другу. Они познали цену жизни. И наслаждаются каждым мгновеньем передышки, выпавшей на их долю.

Как-то июльским утром Клара зашла ненадолго в кухню. Тут послышался шум затормозившей машины. Наверное, почтальон. Нет, залаяла собака. Они узнают серую машину.

Клара:

— Неужели он? Да как он посмел?

Марсель, держась за ручку двери:

— В любом случае он сюда не войдет.

Но из машины выходит женщина. Его жена.

— Что это вдруг? — говорит Клара.— Может, приехала сводить счеты?

Марсель поднимает руку, давая понять: «Не беспокойся. Пусть только попробует...»

— Я ухожу. А ты узнай, в чем дело.

Госпожа Менаж пытается открыть калитку. Наконец ей это удается. Зазвенел старый колокольчик. Собака заливается лаем, и женщина нерешительно топчется на месте. Марсель отворяет дверь кухни и не более любезно, чем того требуют приличия, показывает, что она может войти. И не дожидаясь, пока она приблизится к дому, уходит на кухню, оставив дверь полуоткрытой. Женщина робко переступает порог и здоровается:

— Добрый день. Могу я видеть мадам Давен?

— Видите ли... она плохо себя чувствует... Лучше бы не...

— Я знаю, что она... Мсье Давен, поэтому я и...

— Она там.

Марсель провожает ее.

— Клара, тебя хочет видеть мадам...

Фамилия «Менаж» застряла у него в горле.

Клара сидит выпрямившись в кресле «релакс». Марсель ставит стул напротив. Гостья садится, и ее серое расстегнутое пальто с обеих сторон ниспадает до самого пола, но она этого не замечает. Ему не так часто доводилось встречаться с ней, однако, насколько он помнит, она всегда одета в серое.

Она начинает:

— Мадам Давен...— но останавливается, бледнеет и, разрыдавшись, закрывает руками лицо.

Клара оглядывается на Марселя, который удивлен не меньше ее. Она делает мужу знак, чтобы он вышел, оставил их наедине. Он возвращается в кухню, не притворив за собою дверь.

— Слушаю вас,— говорит Клара.— Я не знаю, зачем вы... Но...

Привстав, она наклоняется над молодой женщиной и кладет руку ей на колено. Сейчас Клара выглядит лет на тридцать старше.

— Ну...

— Простите меня...

Ноэль достает платок из кармана пальто и сквозь слезы смотрит на Клару.

— Простите, мадам Давен. Мне хотелось повидать вас. Я знаю, что вы сказали в Ольнуа... Что сказали о...

— Но ведь это правда,— говорит Клара, убрав руку.

— Да, я знаю. Не думайте, что... Я потому и хотела...

— Спасибо,— говорит Клара, не найдя другого слова, но понимая, что должна прийти ей на помощь.

— Я часто справлялась о вас у Флоранс и Соланж Шевалье.

— Я слышала. Мне передавали, что вы спрашивали...

— Так вот... Я знаю, что уже ничего не изменишь, но... Я хотела вам сказать... Только не знаю как... Но...

— Может, потому что нечего сказать,— вставляет Клара.— О чем теперь говорить?

— Я пришла бы гораздо раньше, но никак не могла решиться. Как вы сейчас?..

Глаза жалобно просят, чтобы ее не вынуждали произносить положенное: как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? Как?..

Клара рассказывает о самом последнем времени. Опуская тягостные подробности. Утешая другого, утешаешься сам. И при этом легко попадаешься во все ловушки. Даже в свои собственные.

Ноэль спохватывается:

— Я не хочу вас утомлять.

Она подбирает полы пальто и готовится встать.

Но тут говорить начинает Клара. О том о сем и обо всем сразу: о погоде, о виде, открывающемся из окна, о всяких мелочах. Ноэль отвечает. Так они беседуют с четверть часа. И при этом даже смеются.

Затем гостья поднимается со словами:

— Ну вот, я хотела, чтобы вы знали...

И добавляет, нагнувшись:

— Можно мне вас поцеловать?

— Быстро она убралась. Что она тут тебе наговорила? — спрашивает Марсель.

— Ничего. Приехала да и все.

Клара приподнимается, словно желая мысленно проводить Ноэль, пока та дойдет до калитки и сядет в машину. Вместе с Марселем они смотрят сквозь кухонную занавеску, как трогается с места старая серая машина.

Клара поворачивается к мужу. Никогда прежде не видел он у нее такого жесткого взгляда. Но она повторяет:

— Приехала...

На следующий день разносится слух, что мадам Менаж куда-то исчезла. Газеты пока молчат. Нет ее ни у родных, ни у друзей, ни в городе, ни в его окрестностях, ни в Париже, но, возможно, она сняла где-нибудь номер в отеле и вернется, когда сочтет нужным.

По словам Софи, она не оставила никакой записки. И не взяла с собой ни белья, ни пальто, ни платьев — ушла в чем была. Захватила только свои сказки.

Первые сообщения появились, когда в Лилле, в дальнем конце улочки Огюста Анжелье, выходящей к филологическому факультету местного университета, случайно нашли «ланчию».

В неизвестности прошли еще две недели. И вот в воскресенье некий Малакен из Азбрука, тоже врач, вздумал покататься на яхте и, пытаясь открыть каюту, с удивлением обнаружил, что дверь заперта изнутри на ключ. Газеты, которые пишут о мертвых, совсем не думая о живых — словно речь идет об угле, нефти, стали, политике, экономике или обществе,— сообщили, что тело «подверглось значительному разложению».

Всплыли и некоторые подробности. Кто-то сказал, что у нее был угрюмый характер. А одна из знавших ее женщин не преминула заметить — как если бы говорила о недостатке,— что она отличалась «высокой нравственностью», иными словами, все принимала слишком близко к сердцу. Невольно задаешься вопросом, не надеялась ли она своим поступком искупить чью-то вину или заставить небо услышать свою молитву. И если это так, то за кого же она молилась?

■

Д. Й. ОППЕРМАН

Перевод с африкаанс Е. ВИТКОВСКОГО

Перевод на русский язык стихов Дидерика Йоханнеса Оппермана приоткрывает окно в мир литературы, которую мы пока еще знаем мало, хотя в последние годы и сделаны шаги к знакомству с нею.

Это литература на африкаанс— европейском языке, развившемся вне Европы. И даже очень далеко от Европы — на южной оконечности Африки. Уже само по себе это чрезвычайно интересный феномен.

Но и судьба народа, родившего такой язык, не может не привлечь к себе внимание. Он называет себя — африканеры, то есть африканцы, точнее — белые африканцы. Но и в Африке и за ее пределами его нередко именуют по старинке — бурами. Это слово, получив всемирную известность в англо-бурскую войну 1899—1902 годов, памятно до сих пор. В прямом своем значении оно не говорит об этнической принадлежности и означает «крестьянин, фермер». Так называли себя когда-то выходцы из Нидерландов и Франции, переселявшиеся на Юг Африки с середины XVII столетия.

Опперман — сын своего народа, один из его крупнейших поэтов. В стихах и поэмах Оппермана — боль этого народа, его трагедия, его судьба. А судьба эта исполнена крутых исторических поворотов, крайне противоречив и образ африканера, создавшийся в окружающем мире. На заре нашего двадцатого века его считали символом мужества и свободолюбия. В годы англо-бурской войны, во времена наших дедов и прадедов, шарманщики разнесли по бескрайней России песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя. Ты вся горишь в огне...».

А в наши дни, как известно, именно из буров состоит расистское правительство Южно-Африканской Республики.

Опперман пытается понять суть такой противоречивости, вглядеться и в сегодняшний облик буров-африканеров и в то прошлое, из которого они пришли. Он хочет уяснить для себя подлинный смысл тех исторических вех, которыми обозначен путь его народа. Трансвааль, Оранжевая республика, их стойкое сопротивление англичанам, тысячи бурских женщин и детей, погибших в английских концентрационных лагерях...

Опперман снова и снова возвращается в те времена. Для всего мира они уже стали древними, но для буров памятны и сейчас. Истоки бурского республиканизма, первая республика буров в Храфф-Рейнете — почти двести лет назад, в эпоху Великой французской революции... Пять веков назад, времена Бартоломеу Диаша и Васко да Гамы, когда европейские шкиперы впервые узнали о южной оконечности Африки, назвав ее сперва мысом Бурь, а потом в суеверном страхе перекрестив в мыс Доброй Надежды... В поэме «Журнал Йорика», одном из крупнейших произведений Оппермана,

...давно доиграв мирскую драму,
призрак-корабль обходит мель,
к Лиссабону, Лондону, Амстердаму
везет подарки восточных земель...[1]

Колония на Мысе — Капская колония, основанная еще в середине XVII столетия... «Великое переселение» буров в глубь Африки после перехода колонии в руки англичан... Перед читателем проходят исторические сцены, полные драматизма, нарисованные сочными красками.

Но как относится к этому прошлому сам поэт? Однозначно ли его отношение? Может быть, ответ его в стихотворении «Ночной дозор старика»?

По стенам виснут грузно и понуро
козлиные рога, удавья шкура;
и пожелтевших рам суровый ряд,
из коих предки пристально глядят:

[1] Здесь и далее стихи Д. Й. Оппермана цитируются в переводах Е. Витковского.

их взоры строги и проникновенны,
их крови жар в мои стучится вены,
но, так и не вместясь в рассудок мой,
он рвется в бой с бушующею тьмой.

«Так и не вместясь в рассудок мой». Что это? Безусловно любя свой народ, Опперман не приемлет ту спекуляцию на историческом прошлом, которая стала в Южно-Африканской Республике важной частью расистской доктрины апартеида.

Официальная пропаганда использует яркие страницы истории буров, чтобы объявить их избранным народом, народом господ. У Оппермана такого подхода нет и в помине. В «Молитве о костях», стихотворении, завершающем нашу подборку, его слова «весь мой родимый край — огромная могила» — это плач не только по жертвам англо-бурских войн. И народ, который он воспевает,— это не только буры. Это все южноафриканцы, независимо от цвета кожи.

Народу моему, бредущему неторным
путем позволь, господь, навеки стать твоим
зеркальным образом, и в белом, в желтом, в черном —
в любом из нас твой огнь да будет негасим.

Для Оппермана они соотечественники. Он знает их, их настоящее и их старину, их предания о прошлом и их мечты о завтрашнем. Сколько тепла в его строках о нищей старухе на рыночной площади. Читателю не сказано, каков цвет ее кожи. Не это важно — она человек, женщина, которой уже не с кем и не с чем доживать свои дни.

Сколько белых там, в Южной Африке, мучаются в думах о будущем! С кем быть? С государством, которое обеспечит тебе материальный достаток, если ты — активно или хотя бы пассивно — поддержишь этот режим угнетения черных? Но ведь против тебя тогда — вся Африка. Или встать на сторону этих черных, но тогда тебя заклеймит не только государство, а и многие, может быть большинство белых обывателей...

«Увы, моя любовь была подобна прекрасному дому, воздвигнутому на чужой земле! Я потерял волшебный замок только потому, что построил его не там, где нужно». Эти слова из «Виндзорских проказниц» взял эпиграфом к своему известному роману «Прекрасный дом» южноафриканский писатель английского происхождения Джек Коуп.

Не перекликается ли с этим эпиграфом и одно из программных стихотворений Оппермана — «Клара Майола»? Особенно заключительные строки о замерзшей черной девочке:

так же тепло, как тебе, замерзшей,
мне не будет в родном краю никогда.

Возможно, мы знаем далеко не все творчество Оппермана. Его соотечественник Алекс Ла Гума считает, что в сегодняшней Южной Африке многое пишется «в стол», в надежде опубликовать лишь после перемены политического климата. Может быть, Опперман думал и о себе, когда писал: «Я эмигрировал в себя, я — вздох, полузвучанье, полутишина».

Но и того, что семидесятилетний Дидерик Опперман опубликовал, достаточно, чтобы признать в нем по-настоящему интересного поэта. Говоря словами Эйса Криге, еще одного крупного южноафриканского литератора, он сумел показать миру, какова она, жизнь, «там, в далекой стране, у земли на краю».

Опперман говорит о своей родине и о своем народе честно, без утайки, без парадности, литавр и барабанного боя. По великому завету: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Говорит и о многом общечеловеческом. И в хороших стихах.

АПОЛЛОН ДАВИДСОН

Прибрежные заросли бамбука

Клонится ствол ко стволу:
поклон за поклоном.
Корни уходят во мглу
в иле придонном.

Жест: обнять, оберечь,
вырвать из бездны.
Но и молитва и речь
здесь бесполезны.

Тела погибают вразброс —
тленья ли ради?
Лишь колышутся темных волос
влажные пряди.

Движенья стволов по-людски
неторопливы.
Здесь властвуют вечной тоски
приливы, отливы.

Клара Майола

Клара Майола ушла по тропке,
хотела отца домой привести:
слепой, он сушняк собирал для растопки,
но Клара Майола сбилась с пути.

Клара Майола, малышка нескладная,
в хрупкий снежок легла, в забытьё:
скорчены, словно лоза виноградная,
кофейные руки и ноги ее.

Клара Майола, от участи горшей
навсегда защитили тебя холода;
так же тепло, как тебе, замерзшей,
мне не будет в родном краю никогда.

Старухи на рыночной площади

Под вечер они из проулков Капстада [1]
приходят в стоптанных башмаках,
плетутся вдоль овощного ряда,
мешки из-под сахара держат в руках.

Одна — в манто меховом, без меха,
другая — в накидке протертой, сквозной;
девичья блузка, будто для смеха,
как на вешалке, еще на одной.

Она вспоминает нетерпеливых
матросов, бутылки с жидким огнем,
пирожные, гребни в рубинах фальшивых,
сытое время — ночью и днем.

Перед нею встают, углубляя растраву,
винно-красные, темные залы в порту,
где, вальсируя или танцуя гуаву [2],
с ней мужчины скользили, от страсти в поту.

Дни чередой веселой бежали,
выбирала и вещи она, и мужчин,
за нее чуть не семеро нож обнажали,
и — спаси его бог! — удавился один.

Под вечер приходят они, оборванки,
потому что все еще жить должны, —
покупают подгнившие тыквы-горлянки
и капусты привядшие кочаны.

---

[1] Бурское название г. Кейптауна.
[2] По названию тропического плода — медленный танец «цветного» населения.

Воскресенье ребенка

Папа, мама, братик и я
редьки надергали возле ручья.

Всю ее скушали, сидя на травке.
Братик еще попросил добавки.

Потом мы в сарай пошли прямиком,
там было соседей набито битком.

Там, в духоте, была охота
кому-то читать по книжке чего-то.

Швыряют камнями в ягненка, смотри,
белого, будто редька внутри.

Из цикла «Хроника Кристины» [1]

Дикая собака

...Теперь Кристина, к горькому стыду,
умела думать только про еду,
скулила долго, жалобно, несыто
и плеткою бывала часто бита, —
потом, в крови, она к траве, к воде
плелась, гонимая инстинктом, где
могла попить и подлечиться тоже.
Ее кормил хозяин чернокожий,
однако цепь надоедает псу:
Кристина убежала жить в лесу,
свободой наслаждаться тихомолком.
Когда луна восходит над поселком
и тихо проплывает над листвой,
зулусы часто слышат долгий вой:
в чащобе, в приступе голодной муки,
четвероногий, нет, четверорукий,
зверь красноглазый, в сваляной шерсти,
канавами решается ползти,
к жилью влекомый запахом съестного —
но скоро в чащу уползает снова,
чтоб до норы, от страшных плеток прочь,
в сосцах отвисших брюхо доволочь.

Роща папайи

... Средь зарослей папайи, при луне,
смежа глаза в на смерть похожем сне,
воздевши руки, замерла Кристина...
К утру ее стопы всосала глина:
земля была достаточно сыра,
чтоб напитать их, — ибо два бедра
и стан ее, уже на солнцепеке,

[1] Героиня цикла, белая девушка Кристина, переживает ряд видений, в которых последовательно кажется себе дикой собакой, зулусской девушкой, камнем, деревом папайи, арбузом.

срослись и обратились в ствол высокий, —
напоенные влагой корневой,
нагие руки обросли листвой,
и в два плода преобразились пясти.
Она зашелестела: «Мы во власти
одной: самцы и самки — все в миру
вовлечены в единую игру,
никто Зеленым Ветром [1] не унижен,
не обездолен и не обездвижен...»
Но, приготовясь древом быть навек,
вдруг видит: к ней подходит дровосек,
под топором за веной рвется вена,
и — женщина рождается мгновенно...
Ей мнится ложью цепь метаморфоз,
но голубь возлетел с ее волос.

■ ■ ■

Молитва о костях

Где ветер северный шуршит чертополохом,
все, что живет, в солончаках переморив,
вдоль ржавых проволок скользя с тяжелым вздохом,
где враны каркают и гладен даже гриф, —
дозволь мне, господи, хотя бы отдых краткий.
Мой сын, я знаю, мертв: пусть шепчут мне тайком,
что он матросом стал, что жив, что все в порядке,
быть может, у больших господ истопником
работает, что он корчмарь и славный малый...
Не больно верится! Уж вовсе ерунда,
что он удачливый контрабандист... Пожалуй,
он все-таки погиб, но, господи, тогда
мне место укажи, где в грунт, от зноя жесткий,
он брошен и спасен от всех иных смертей,
и я могла бы знать, что два мешка известки
насыпаны давно поверх его костей.

Я так измаялась бессонницей полночной:
церковной метрикой, как рассказали мне,
его рожденья час не обозначен точно,
и гороскоп его понятен не вполне,
и не взойдет его звезда из дальней дали,
алмазом в небе не сумеет просверкнуть,
всем тем, кто ныне ждет в Оранжевой, в Трансваале,
к борьбе обещанный указывая путь.
Нет, присчитать его давно пора к убитым,
поскольку, Смертью через всю страну гоним,
он слег в конце концов, измотанный плевритом,
на ферме, — и туда Она пришла за ним.
Он, брошенный в барак, потом в вагон, под стражей,
сквозь бред горячечный — штыков примкнутых строй
мог видеть в те часы, покуда лекарь вражий
подлечивал его для гибели второй.

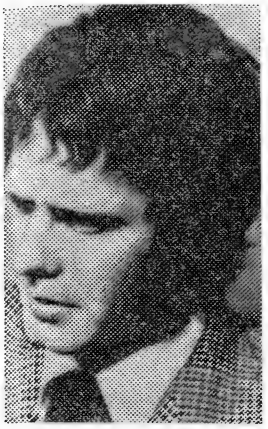
Допрос подделанный, и вслед за ним — расплата
за жизнь, за Храфф-Рейнет и за свободу... Иль
не подлость посчитать преступником солдата?
Свобода Храфф-Рейнета... Иезекииль!

[1] Зеленый Ветер — по мифологии, которую создает Опперман, как бы продолжая южноафриканскую фольклорную традицию,— бог, которому молятся деревья.

Прости сравнение, так сытая собака
несглоданную кость зароет про запас
в укромной рощице и прочь уйдет, однако
догрызть ее приходит в следующий раз.
А в полночь пятеро, такие же солдаты,
шли тело разыскать под известью, в холсте,
вдоль берега реки, взяв лампы и лопаты,
под розмарин, туда — затем, чтоб в темноте
отрыть и вновь зарыть... Во громах с небосвода
в ту ночь ты, господи, в наш мир, объятый тьмой,
сошел поспорить со врагом людского рода —
кому достанется из вас ребенок мой.

Он умер в третий раз, но, кто умрет трикраты,
тот будет вечно жив: теперь и навсегда
он там, где грузчики, он там, где акробаты,
то в шахте, то в тюрьме, то в зной, то в холода
живет и не сгниет ни на каком погосте!
Могильный розмарин — позор моей земли...
Благослови, господь, все высохшие кости.
Я поняла за те полвека, что прошли:
весь мой родимый край — огромная могила,
над коей ветер шелестит со всех сторон,
и даже родники, журча, твердят уныло
о голоде собак, и грифов, и ворон, —
народу моему, бредущему неторным
путем, позволь, господь, навеки стать твоим
зеркальным образом, и в белом, в желтом, в черном —
в любом из нас твой огнь да будет негасим.

■



ЮЛИУС БАЛЦО

Желто-восковое яблоко

ПОВЕСТЬ

Перевод со словацкого Л. НОВОГРУДСКОЙ

— Дай-ка... дай-ка, я еще напьюсь. Больно хороша, водица, студеная!

— Пей вволю, ведро полнехонько. Добрая вода, ключевая.

— Жажда замучила. Все нутро огнем горит. Верно, доймет меня жар.

— Теперь только пей. Несколько часов кряду и впрямь будет мучить тебя жажда. Даже сильнее, чем сейчас...

— Люблю чистую воду, такую вот, как эта.

— От паленки, глядишь, больше было бы проку. Может, хлебнешь?

Бородатый покачал головой:

— Для себя прибереги. Тебе самому ох как она пригодится. Глоток и то пригодится, вспомнишь потом меня.

— Ладно, вспомню. Буду надеяться, что выше в горах горячка твоя пройдет,— сказал немолодой, высокий и крепкий мужчина с правильными чертами лица, прикрепил флягу к широкому пастушьему поясу, и проницательный взгляд его больших черных глаз встретился со взглядом бородатого.

Так смотрели они друг на друга и словно бы утверждались в собственных мыслях.

Бородатый, сплюнув, прикусил нижнюю губу. Был он гораздо ниже да и худее бачи [1], но в характере у них было что-то общее, и это сразу бросалось в глаза.

Бача нахмурился, широкие плечи его опустились.

— Завтра погоним отару в деревню,— сказал он.

Ну не чудак ли старикан, подумал бородатый. Оставил бы при себе такие шутки. Эх, было бы все так, как ты воображаешь...

— Там уже они,— бросил он и заметил, как изменилось при его словах лицо бачи, а глаза, испытующе смотревшие на него, невольно потупились...

— Боюсь, не дойдешь с отарой ты до своей деревни, боюсь я,— заговорил он размеренно, взвешивая каждое слово,— что ты даже не рискнешь туда пойти. Боюсь я...

— А это почему?

— Потому что там уже они.

В колибе [2] вдруг воцарилась тишина, какая наступает обычно в горах, когда сверзится с кручи огромный валун и застынут в недвиж-

© Július Balco, 1976.

[1] Потомственный пастух-овчар. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Пастушья хибара, шалаш.

ности последние обломки камней. Кто знает, как долго бы это длилось, если бы бача не сказал наконец, что он только и делал, что пас овец, а сыр отправлял в срок.

— И свидетель мне этот мальчик,— кивнул он на пастушонка.

Растерянный взгляд его блуждал по колибе. Черпаки, черпачки, мешалки, подойники, ушат для жинчицы[1], кадка для брынзы, палки, вертел — все, с чем мысленно он уже прощался. Потом, сгорбившись, вошел в кладовую. В шерстяную пастушью сумку сложил остатки сала, немного сыра и несколько оштепков[2]. Ларь опустел, в задумчивости он постучал по нему пальцами и вернулся в колибу. Взгляд его упал на ружье, прислоненное к сероватой стене сруба. Посмотрел он и на мальчика. Указал на него:

— Он ничего не знает. Ни о чем не знает. Вообще не знает, что идет война. Ничего.

— Но он уже большой мальчик,— в раздумье проговорил бородатый.— Об овцах знает все. Пожалуй, теперь в самую пору сказать ему кое-что и о войне.

— А зачем это ему? Он кто? Офицер?

Бородатый удивленно взглянул на него, потом сдержанно заметил, что это сын его, бачи, и что вмешиваться в чужие дела он не собирается.

Пастушонок стоял, заложив руки за спину. Улыбался как-то виновато, словно чувствовал, что был причиною размолвки.

— Нет, почему же, скажи свое слово! Мне очень даже любопытно, как ты собираешься вразумить его.

Бородатый молчал.

— Тебя не удивляет, почему мальчонка тут со мной? Он мой сын, мой единственный сын, это чтоб ты лучше все представлял. Для него войны нет. Нет, потому что я этого не хочу. Не хочу, чтобы он о ней что-нибудь знал.— Потом, понизив голос, добавил: — Когда я сам был маленький, тоже не имел о ней никакого понятия, и это мне ничуть не мешало.

Бородатый закурил.

— Но сейчас, что там ни говори, другая война,— сказал он.

— Но при чем тут мой сын? Разве что он... Но прежде чем сказать ему,— указал бача на пастушонка,— растолкуй перво-наперво мне, неужто в этой самой войне люди начисто лишились ума?

— Так оно и есть. Думаю, что ты в самую точку попал. Да и не только в этой...

Он резко выдохнул сигаретный дым, стряхнул пепел и снова затянулся.

Да, бача крепко виноват, что парнишка простодушный, как ягненок, размышлял бородатый. Кабы он понимал все как есть, то мог бы незаметно пробраться в какую-нибудь деревню Долины, прошмыгнуть в какую-никакую избу, там бы его наверняка приютили. И глядишь, с мальцом ничего бы не случилось.

Решительно склонившись к пастушонку, он взял его за руку, заглянул в глаза. Они были у него такие голубые и чистые, каким бывает небосвод летом.

— А теперь ты меня послушай, паренек! Хочется мне кое о чем рассказать тебе.

Но мальчик взглянул на него своими глазами-васильками — и он просто онемел. Закашлялся. Снова ощутил сухость во рту; встать бы да напиться или лучше окунуть в ведро с ледяной водой больную свою голову, которая и годилась теперь разве на то, чтобы внести смятение и страх в ребячьи думки сына бачи.

Конечно, ведь совсем недавно этот парнишка научился ходить. Эдак каких-нибудь несколько лет назад сделал свои первые шажки

[1] Напиток из овечьего молока.

[2] Копченый овечий сыр.

по земле. Падал, ушибался и снова вставал, покуда не научился. Теперь ходит гордо и головенку свою держит гордо, как человек, которому чужд страх и заботы. Смело запрокидывает ее, переводя глаза то на отца, то на других парней в колибе. А на него и не глядит, словно слушать не желает.

И парни в колибе не сводят глаз с пастушонка.

— Я должен сказать тебе, мальчик, что сейчас идет война.

Пастушонок скользнул по нему равнодушным взглядом, ведь все мысли его были заняты овцами, и он рассеянно прислушивался к звону их колокольцев. Посмотрел на отца.

Бача Ян, успокоившись, выпрямился, пальцы засунул за пояс, а на лице его промелькнула самодовольная усмешка.

Бородатый привлек пастушонка к себе.

— Всюду война! — не сказал, выкрикнул он, не замечая никого вокруг, кроме пастушонка, думая лишь о том, как бы сохранить ему жизнь.

Да, нужно его одного отослать в Долину, внушив такой страх, чтобы при малейшем шорохе он изловчился бы спрятаться за любое дерево, любой пень, мог незаметно шмыгнуть в кусты, проползти в траве, даже крапиве, чтоб как огня боялся он людей в касках, чтоб от страха и рта раскрыть не смел.

Кровь ударила бородатому в голову. Глаза его метали молнии. Он уж не кричал, заклинал:

— Люди, люди стреляют в людей! Убивают друг друга!.. Терзают, хуже псов, бьют без всякой жалости! Мир, мир залит человеческой кровью. Даже в реках и озерах — кровь! Люди топят там друг друга, точно слепых котят! Понимаешь ли ты это, мальчик?! Как знать, может, и тебя убьют, зарежут, будто овцу, таким вот ножом! — Он выхватил из-за пояса длинный нож и замахал перед глазами пастушонка. Тот отпрянул, зрачки у него расширились.— И мертвого бросят в Чертову Яму, если ты не будешь слушаться, мальчик, если ты не сделаешь так, как я накажу тебе!

Бача уже с трудом владел собой. При иных обстоятельствах уважение к командиру вряд ли сдержало бы его. Но теперь он понял: дело плохо. Что, если он и впрямь не дойдет с отарой до своей деревни? Куда ж он тогда денется? И что будет с мальчонкой? Удрученный, молчал. Но из какого-то упрямства, упрямства человека, который не привык отступать от намеченного, для виду улыбался. Улыбнулся он и пастушонку, ничего, мол, не случилось, и тот робко улыбнулся ему в ответ.

— Ну как, ты уже поверил в войну, Янко? — спросил он мальчика с наигранной веселостью.

Пастушонок пытливо посмотрел на отца и пожал плечами.

Мужчины в колибе переглянулись.

Пастушонок опять растерянно пожал плечами, покрутил головой, будто был глух и нем.

— Оставь его, капитан...— сказал один из парней и тронул приклад автомата, который висел у него на груди.— Пошли.

Но бородатый — словно и не к нему обращались — упрямо твердил свое, содрогаясь от ужаса при мысли о том, что ждет этих двух, отца и сына:

— Люди, люди стреляют в людей, убивают друг друга! Ты разве не слышишь, как стреляют, мальчик?

Шум в Долине внезапно стих, и, казалось, стало слышно, как растет трава. Койка скрипнула, бача провел ладонью по морщинистому лбу.

Пастушонок еще больше растерялся. Изумленно взглянул на отца. Тот сморщил лоб и осклабился, но тоже как-то растерянно и недоумевающе.

— Так ты и в самом деле ничего ему не рассказал? — негодующе спросил бородатый.— Совсем ничего. Ни о них? Ни о нас?

— Почему я должен был ему об этом рассказывать? — сказал бача.— Ведь он еще совсем несмышленыш. Еще только в школу пойдет в этом вот году.

И бородатый, чуть успокоившись, тихо спросил:

— А не пожалеешь ли ты, что совсем его к этому не подготовил?

— Почему? — Бача сжал кулаки так, что побелели суставы, а длинные ногти впились в ладони. Заскрипел зубами, потер лоб — по привычке, когда что-нибудь туго до него доходило.— Не знаю, я на самом деле так думаю, на самом деле....

Голос его сорвался. Показная уверенность и твердость отлетели, как сухой лист. Он сказал, скорее просительно:

— Капитан... Ты только прими в соображение... Ведь это мой единственный сын, я отдал бы за него все. Взгляни, он еще совсем дитя. Бегал по лугам. Стояло такое славное лето... Он вместе со мной пас овечек. И такая это была для него радость, капитан, так он радовался! Ну что я мог ему сказать?

— А помнишь, Янко? — обратился он к мальчику, который стоял в нерешительности, опустив руки.— Ты пас тогда на Уврате, возле колибы. И ты видел, как мы с ребятами брали из загона овцу. У них были при себе ружья, такие вот, как эти. Что я тебе в тот раз сказал?

— Что это охотники,— еле слышно ответил мальчик.

— Вы ходили все больше ночью, когда он спал. И я это с легкостью от него утаивал. Ведь в лесу пропасть зверей, птиц и всяких растений, а это занимало его куда больше! Он хотел знать, как варится жинчица, как коптят оштепки, те самые, что я посылал вам, ребята. Интересовали его овцы, шалаш и лес. Поэтому-то о войне я ему ничего и не рассказывал, да если б и рассказал, то уверен, здесь, в лугах, он все равно бы об этом начисто забыл.

— Это, конечно, так,— сказал бородатый,— но, будь он в деревне, то все бы узнал. В деревнях совсем малые дети об этом знают.

— В деревнях — другое дело. Там только о том и говорят. Здесь же, кроме меня, объяснить ему было некому.

Бородатый мягко положил ему руку на плечо и настойчиво сказал:

— Теперь самая подходящая минута, чтобы ты все растолковал ему, Яно.

Впервые он назвал бачу по имени.

— Поверь, это необходимо. Пусть лучше узнает от нас. От тебя. Сейчас самое время сказать ему обо всем.

Да, не уберег я его, не уберег, не выходило у бачи из головы.

— У тебя есть дети, капитан?

Бородатый кивнул, потом добавил:

— Двое. Уж и не помню, когда я их в последний раз видел.

— Может быть, тебе сейчас легче, чем мне,— сказал ему бача, понурив голову. Сумку с сыром и оштепками он швырнул в угол, сам уселся на койку, лицом к пастушонку.

Бородатый снова закурил. Нервы, подумал он, не мешало бы как следует выспаться.

— Послушай, бача. Забирай парнишку и ступайте в какую-нибудь деревню. Может, вам повезет и вы устроитесь. Или айда с нами. Покуда мы будем живы, с вами ничего не случится. Понимаешь? Ребята в горах жизни не пожалеют за твоего мальчонку. Они и сейчас ее не щадят. Может быть, нам удастся удержать перевал. Если мальчик выбьется из сил, мы понесем его.

— А как же овцы,— тут же спросил бача,— что будет с овцами?

Бородатый шумно вздохнул.

— Да брось ты все! Овцы пускай остаются с овцами, а ты — давай бог ноги. Советую тебе: и думать о них забудь.

— Разве я могу допустить, чтоб они подохли? — покачал головой бача.— Ты забыл, что я бача.

— Я так не говорю. Может, завтра мы пойдем в наступление. Тогда ты вернешься к своей отаре. А теперь и впрямь не время возиться с овцами. Забирай мальца и двигай. Может, вам и посчастливится.

Бача молчал, кусал губы.

— Если же завтра мы не погоним их, они доберутся и сюда. Может, уже сегодня. Может, они уже сейчас рвутся сюда... А случись так, что завтра мы не атакуем, они наверняка явятся за твоими овцами, а там схватят и вас, если вы не уберетесь вовремя.

Бача только головой качал. Зажмурил глаза, как от яркого света. А бородатый все старался убедить его.

— Твоей отары уже нет! — стучал он кулаком в стену колибы.— Мы бы взяли овец, и это было бы нам очень кстати. Если бы у нас было время! А коль не мы, так, значит, заберут они, и съедят твоих овец за милую душу, и даже не подумают о том, что мы все равно продырявим им брюхо. Слопают твою отару с превеликой радостью...

— Ты думаешь, они станут резать и дойных овец? — спросил его бача.

— А чем дойная овца не овца? Они ведь хорошо знают, что долго здесь не задержатся. Да и что тебе толковать? Простись-ка ты лучше со своими овцами и айда с нами. Или попробуйте прошмыгнуть в какую-нибудь деревню — это было бы мудрее всего.

Бородатый опять загляделся на детское личико пастушонка, на голубые его глаза. Белокурые волосы непослушными прядями падали ему на лоб.

Взрослые занялись разговорами, а он притащил стульчик и устроился на нем. Места в колибе и так было мало, а теперь там теснились пятеро — все жались возле бачи и его сына, возле костра и койки. Костер уже давно погас, серела лишь зола, не светилось в ней ни единого уголька. В колибе было сумрачно, солнце мало-помалу заползало за Прудкую гору. Луга на востоке еще желтели. А верхушки елей на Прудкой еще пестрели в солнечном свете. Только в дымник — отверстие в крыше над костром — оно уже не заглядывало.

Залаяли овчарки. Послышался топот. Кто-то торопливо приближался к колибе. И вот в дверях показался парень с рукой на перевязи.

— Капитан Матуш!

Бородатый взглянул на часы. Приложил их к уху. Часы, видно, стояли.

Парень просунул голову в колибу, но не вошел, выжидая. Здоровой рукой опирался о стену.

— Капитан Матуш! — снова настойчиво позвал он.

Бородатый кивнул.

— Прострелили ему руку,— показал он на парня. Слова эти, как видно, предназначались мальчику.

— Так, царапина,— отозвался парень.— Кажется, удалось их задержать.— И добавил:— Двинемся на Солиско.

Пастушонок с любопытством разглядывал раненого. Марлевый жгут обматывал его руку от запястья по самый локоть. Мальчик не знал, что и думать. Творилось что-то непонятное. Но он привык разговаривать только с отцом и теперь терпеливо ждал, когда все уйдут, чтобы обо всем расспросить.

Его охватила смутная печаль. В кошаре блеют овцы, собаки сидят на цепи, овец не пасут и не доят. Все какие-то сердитые, почему-то никак не могут договориться. А чуднее всех толкует этот борода-

тый капитан об овцах. Верно, болтает. Кто ж станет резать дойную овцу?

Теперь мальчик различал и стрельбу. Эхо возвращало сухой и тупой треск, словно бы стреляли на Прудкой. Временами в Долине что-то гудело.

О войне он, конечно, кое-что слыхал, только не задумывался над этим. Ну вот, война уже здесь, сказал он себе.

В колибе настала глубокая напряженная тишина. Все глядели на пастушонка. Сидя на стульчике, он казался еще меньше и беззащитнее. Его присутствие для всех было мучительным. Но мальчик находился здесь, и не считаться с этим было нельзя.

С тяжелым сердцем уходил капитан, понимая, что переубедить бачу ему не удалось. Поведет мальчишку на верную погибель. Он их еще не знает.

И опять — уже в который раз — он подошел к ведру напиться. Странная жажда, затаившаяся где-то внутри, жгла, совсем иссушила его.

— Нехорошо... нехорошо...— недовольно бурчал он, отхлебывая из черпака. Посмотрел на бачу, глаза которого были прикованы к ружью у стены. Это было старое охотничье ружье, которое он держал здесь с незапамятных времен, и предназначалось оно для волков.

И охота тебе, старикан, глядеть на этот пугач, думал бородатый. Эх, дал бы я тебе совсем другую пушку! Оценивающим взглядом окинул статную фигуру бачи — тот легко донес бы пулемет туда, где он нужнее всего. Хоть на самую Прудкую гору!

Но как быть с мальчишкой? Да, нескладно поступил бача, что взял его с собой. Но мальчик жил в колибе все лето. Почитай, с самой весны.

Между тем пастушонок взобрался на койку. Снял с перекладины черпак и потянулся на полку за свирелью. Ему пришлось подняться на цыпочки, держась рукой за стенку. Потом спрыгнул с койки, сунул черпак в сумку. Сел на стульчик, сумку положил рядом с собой, а свирель на колени.

— Играешь? — спросил его бородатый.

— Еще нет, но выучусь.

— Когда? — сухо спросил бородатый.

— Когда подрасту. Отец умеет, он меня научит.

— А ты попробуй,— подзадорил бородатый мальчика.— Возьми и поиграй.

Пастушонок с любопытством посмотрел на отца, позволит ли? Погруженный в свои мысли, бача не ответил. Его молчание мальчик принял за согласие, но все-таки спросил тихо, недоверчиво:

— Ей-богу, можно?

— Можно,— сказал бородатый.

Пастушонок подул в свирель. Раздался слабенький свист. Мальчик боязливо глянул на отца, а тот в удивлении уставился на него.

— Ну-ка еще разок,— подбодрил его бородатый.— Гей ты, Яничек удалый...— пошел он в присядку, подняв сжатые в кулаки руки.

Отозвался звонкий мальчишеский смех. И тут уж пастушонок, осмелев, дунул изо всех сил.

Свирель издала монотонный свист.

И вдруг где-то глубоко под ними, словно в утробе земли, загремело, загрохотало. Пастушонок в жизни не слыхал такого раската. Руками зажал уши, закрыл глаза. Вскрикнул. Выронил свирель. Парни как по команде все выбежали из колибы.

— Чтоб их черт побрал! — выругался капитан и в сердцах швырнул черпак на землю.

Распрямившись, он стоял у колибы в сгущающихся сумерках еще по-летнему теплого раннего вечера и, приоткрыв рот, глядел с холма вниз. Губы у него дрожали. Сорвал с головы фуражку. Пальцами обеих рук нервно мял козырек.

Если б не гул орудий, Долина под ними отходила бы ко сну.

Наконец они остались в колибе одни. Пастушонок уже ни о чем не спрашивал. Свирель, на которой он пока не умел играть, положил назад на полку и, как это обычно бывало по вечерам, попросил отца, чтобы тот рассказал ему про зверей.

Бача обрадовался, что мальчик вспомнил про зверей: не хотелось ему говорить о том, о чем он сам рад был бы забыть. Убеждал себя, что, кроме шалаша, обдуваемого сейчас мирным, едва заметным ветерком, в округе нет никого и ничего.

Да и что другое могло тут быть?

Выйдя из колибы, он погрузился бы во тьму, которая мягко стелилась вокруг, заползала в глаза, убаюкивала. Услышал бы слабое поскуливание пса, который дремал, положив голову на лапы. Пес был белый как лунь, но в темноте не проглядывался. Была бы ночь ясная, высыпали бы на небе звезды. Жаль, что их сейчас не видать. А в общем, какой от них толк? Сколько уж раз смотрел он на них, сколько раз они были его единственными собеседниками, но всегда казались ему лишь ясными точками на небосводе, больше, меньше, еще меньше... И что они говорили ему? Ничего. И теперь ничего бы не сказали. Ведь он и так знал, где кошара, а где стойло, где начинается лес. Знал по памяти. Пас он здесь не в первый раз. Луга с извечно сочной травой славились тут давным-давно. С детских лет он знал, что есть шалаш в горах, где надо обихаживать овец, есть деревня, где у него изба. Знал он и то, какие в деревне люди. Он был знаком там, почитай, с каждым, кроме самых маленьких детей. Темнота приблизила к нему деревню, словно было до нее рукой подать. Когда же им завладели мысли о деревне, он сразу же отмахнулся от них. Завтра всех односельчан увидит, попробует вместе с овцами туда добраться. Поступит так же, как делал многие годы.

Он поднялся с койки, чтобы разложить костер. Поднес спичку к сухому хворосту — несколько охапок его он всегда заготавливал у северной стороны колибы — костер вспыхнул ярким пламенем. И когда колибу затопил свет, в кровавых отблесках которого он разглядел лицо пастушонка, на какой-то миг им снова овладело сомнение.

Нет, прочь беспокойство. Все так, как было прежде. Только не поддаваться! И как вымокший под дождем пес, он встряхнулся.

Летняя ночь вокруг спала. Утих и гул орудий.

Нет ничего, кроме этого шалаша, дремлющих овец и деревень внизу, в Долине.

Он вытащил из-за пояса флягу с паленкой, отхлебнул. Подбросил в костер поленце потолще. Следил, как его облизал язык пламени, как в полене что-то затрещало, завздыхало.

В самом деле, как мало говорили ему звезды, хотя он долго на них глядел. Говорили лишь о том, что он и сам знал наперед. Не могли мы ничего друг другу сказать. Слишком далеки вы, звезды, чтобы мне помочь. Слишком далеки. Потому и не услыхали вы мою просьбу и не показались на небосводе. Очень вы тем помогли бы мне, а может, напротив, навредили. Если бы светили, как знать, может, я бросил бы все и отправился бы с мальцом вниз, а вы освещали бы мне дорогу. Ну, а коль нет вас, бог с вами, звезды!

И опять он пропустил глоток паленки.

— Встань-ка, Янко, выйдем на минутку!

Пастушонок поднялся, и оба они вышли в волшебную тишину

ночи высоко в горах. Стояли молча друг возле друга, вдыхали свежий и ядреный горный воздух. Бача держал флягу в руке. В конце концов, он даже не знал, о чем повести с мальчиком разговор... К его удивлению, паленка не развязала ему язык, а только больше сгустила тьму, которая угнездилась в его душе с самого утра.

Долго стояли они там не двигаясь, лишь бача нет-нет да и отхлебывал из фляги. Раздумывал о том, что в этакой тьме им бы нипочем не одолеть перевал и даже не выбраться бы из леса.

Когда они вернулись, в колибе было светло как днем. Сели рядом на койку. Пастушонок любил так вот сидеть с отцом у костра.

— Расскажите мне о том медведе,— попросил он.

По вечерам колиба превращалась в опушку сказочного леса, словно бы луга, на которых они пасли овец днем, в сумерках куда-то отступали.

Со всех сторон тогда заглядывал сюда лес. Да и сама колиба вся была из дерева, а костер так упоительно благоухал смолой.

А бача рассказывал.

Среди елей потихоньку засыпал на совиных крыльях ветерок. Пастушонок какое-то время вился вокруг него, как черная ленточка, потом стал выспрашивать отца про сыча.

— Я его ни разу не видал. Никогда не слыхал, как он кричит... Его можно словить? Он меньше совы?

— Сыч — птица смерти. Разве кто пожелал бы его поймать? Никто даже увидеть его не хочет.

Пастушонок задумался.

— А красиво сыч поет?

— Да вот примерно так...— изобразил бача крик заклейменной поверьями птицы.— Там, где воет сыч, там является смерть.

И тут же свернул разговор на другое:

— А помнишь, как мы охотились на лису? А ну покажи, как верещит заяц, когда его зацапает лиса!

Пастушонок потряс головой, прижал ладонь ко рту и изобразил предсмертный визг зайца.

Бача одобрительно улыбался.

— Ну будет, не то послезают лисы аж с самой Подсухой.

Похвала порадовала пастушонка.

— Отец, а почему вы не охотник? — спросил он немного погодя.

— А разве я не охотился? — возразил бача.— Этим вот ружьем не подстрелил тебе выдру на шапку? А сурка, когда ты хворал? Уж как я его выслеживал! Ты что, не помнишь?

— Это верно, но все же это не то...

— Ты прав, Янко. Охотниками могут стать не все. Ты помнишь косуль, которых мы видели на той неделе на водопое под Прудкой? Ты стал бы стрелять в косуль, Янко? Вот видишь! Я тоже бы не стал. Пожалел бы их.

— А в волка? — спросил мальчик.

— Ну, волк — другое дело. Ружье ведь на волка.

— И на медведя,— добавил пастушонок.— Подобрался бы когда к кошаре медведь, мы как пальнули бы в воздух, и он вмиг умчался бы. Ведь правда, а?

Вот так они и разговаривали по вечерам, когда оставались в колибе одни. Сперва ушли оба пастуха, потом исчез подпасок Грицко. Поначалу они нет-нет да и наведывались в колибу. Помогали доить овец и уносили с собой жинчицу, сыр и оштепки. Таскали в огромных рюкзаках из зеленого брезента, какие бача никогда в жизни не видал и очень им дивился. Заметил как-то, что в такой мешок и целая овца поместится. Эта мысль пастухам понравилась. Действительно поместилась, торчали оттуда одни овечьи ножки. Овца не блеяла, потому что была заколота. Так все и шло. Только мальчик ни о чем не догадывался, его дело было пасти.

Поленья догорали, свет костра убывал. Наконец, в черной, как сланец, золе засветились лишь раскаленные угольки.

— Ну-тка, Янко, давай ложиться спать. Завтра придется встать пораньше...

— Разве уже пора уходить? — спросил пастушонок.

— Не знаю, Янко. Еще не знаю,— уклончиво ответил бача.

И пастушонок тоже был сам не свой. Задумывался. Но о том, о чем говорил бородатый, помалкивал. Чувствовал, что спрашивать об этом не время. Оглядывал колибу, к которой так приросло его сердце.

— Как бы мне хотелось остаться здесь на зиму,— сказал он.

— Чего ради? Что бы ты делал здесь зимой?

— Ну... топил бы печку.

— Пожалуй, только это и можно. Ничего другого ты бы просто не сумел. А Валаштянский холм зимой ты бы даже не узнал.

— Узнал.

— Навряд, навряд...— засомневался бача.— Сочной, вкусной травы тут и следа не останется. Завеет снегом поток, овец как не бывало. Даже в лесу сгинет все живое. Разве стаи волков из Польши когда забредут: мучит их голод. Грудно охотиться зимой, зверей становится меньше. Большая часть их зимой спит.

— Медведи, к примеру,— вспомнил пастушонок.

— Медведи, суслики, хомяки...— разговорился бача.— Птицы улетают на юг. Улитки, жабы... кто знает, куда все подевается, куда схоронятся скоро все зверюшки, какими обычно кормятся волки. Даже полевки и те притаятся где-нибудь в сухом уголке под корнями деревьев. Знаешь, сколько снегу навалит на Валаштянском холме? Ужас сколько! Сугробы высотой в десять метров! Случаются и снежные бури, проносятся они по Валаштянскому холму, одна перегоняя другую. Изредка, правда, выглянет солнышко, покажется, да и то на минутку. Бледное, холодное и сразу же спрячется за тучку, словно периною укроется. Как и мы дома, правда? Бывало, нам хорошо в тепле у очага. Вот тогда мы и рассказывали сказки.

— А бабушка — мастерица сказки рассказывать,— признался мальчик.— Только много чего выдумывает.

— Неужто выдумывает?

— Сама мне говорила, что никогда не видела ни лесных духов, ни утопленников и не знаю там, кого еще. А вы когда-нибудь их видели?

— Нет, не видел,— признался бача.

— А оборотней?

— Не видел.

— А лесных вил?

— Тоже нет.

— А привидений?

— Даже их не видал.

— И никаких духов?

— Никаких.

— А принцессы и короли бывают?

— Эти бывают.

— А вы не обманываете? Ей-богу? Вот на нее я бы хотел посмотреть.

— На кого?

— На живую принцессу. Она и на самом деле такая красавица, как сказывала бабушка? Как вы думаете, отец?

— А я ничего не думаю.

— Вы тоже их никогда не видели, а?

— Не видел.

— Но они все-таки существуют?

— Существуют. Конечно, существуют.

— А где, отец? Где?

— На белом свете. В чужих краях.

Пастушонок умолк. Размечтался. Когда вырастет, то обязательно пойдет по белу свету искать принцессу. Как ни говори, а белый свет так велик, что весь Кривань — соринка малая супротив него. А Валаштянский холм меньше макового зернышка. Нелегко будет найти принцессу. Ну, а если его убьют, то он ее никогда не найдет.

Понизив голос, спросил:

— А что делают принцессы теперь, когда война?

Из своей большой фляги бача выпил уже добрую половину. Расчувствовался и заговорил с мальчиком, будто с равным. Совсем так, как было прежде. Временами он словно бы забывал о неприятном Только пастушонок о том снова ему напомнил.

— Да ничего, как всегда,— ответил он.— Веселятся, едят, пьют, танцуют и выбирают себе женихов.

— Какого-нибудь принца. А как же война?

— Да ничего. Принцессам она не угрожает.

— Принцессам хорошо, им бояться нечего,— рассудил пастушонок.

— Как в сказке, Янко,— вздохнул бача.

— Я больше люблю, когда вы рассказываете про зверей. Про них я больше люблю слушать. Жалко, ушла от нас белочка, что мы поймали. А то взяли бы ее домой.

Бача вздохнул. Какая-то неуверенность, волнение, которые он испытывал, мешали ему продолжать разговор с ребенком.

— Ложись-ка ты лучше спать,— сказал он сыну.— Наверняка устал, а завтра опять надо пасти.

Мальчик лег, и отец накрыл его овечьими шкурами.

Пастушонок снова размечтался. Он представил медведя, как тот подкрадывается к кошаре. Но пальнешь в воздух — и медведь уйдет. Потом вообразил себя медведем, прикидывал, как бы ему перехитрить бачу и задрать-таки овцу. И подбирался тихо, затаив дыхание и сторожко ступая тяжелыми лапами по игольнику. А то представлял себя хитрым лисом или филином, что бесшумно летает. Когда вдоволь нагляделся он на эти картины, то вообразил себя рысью, и глаза его хищно засветились. Он долго кого-то ловил, был смелым и ловким.

Потом в лесу послышались выстрелы.

Из чащи на луг выбежал человек в каске. Он спотыкался и падал. Двое людей тоже в касках поспешили ему навстречу, один подхватил его. В лесу что-то задымилось... выстрелы, выстрелы.

Рыжая рысь остановилась на вырубке, прислушалась. Черная щетина на ушах стала дыбом, шерсть заискрилась. Безучастно смотрела рысь на людей в касках, которыми, верно, кишел весь лес. Оскалила зубы, тихо заворчала. Потом упруго подпрыгнула и скрылась в густых зарослях молодняка...

Пастушонок спал. Бача долго на него глядел. Лежал мальчик на спине, раскинув руки, и дышал ровно. Койка была слишком велика для него. Он занимал едва ее половину, тепло укрытый овечьими шкурами. Под головой у него была подушка, которую бача захватил с собой из дому. Принес он сюда, в шалаш, и мясо в банках, и консервированные овощи, привез мешок картошки, все это ради сына. Сам же довольствовался сыром, салом и хлебом.

В самом деле, мальчику было тут совсем неплохо, подумал бача с чувством удовлетворения. Хорошо я о нем позаботился. Да и год был добрый, с овцами тоже повезло. Ни одна не пропала, даже змея ни одну не тронула. Неужто всегда бывает так, что под конец все идет насмарку?!

В какой-то болезненной оцепенелости он окидывал взглядом колибу, темные углы и полки, уже отмеченные древоточцем. Он сле-

дил за расплывчатыми тенями предметов в слабеющем свете догорающего костра.

Старая колиба на косогоре Валаштянского холма уже много-много лет была его вторым домом. Тут провел он долгие годы, и каждый предмет утвари был плодом его работы, кропотливой и упорной. Искусно вырезанные черпаки на полке над койкой, где спал мальчик, напомнили ему ушедшие времена, когда жена рожала ему одних дочерей и он чувствовал себя вконец несчастным.

Дела давно минувшие. И теперь, когда у него подрастал сын, он вспоминал о прошлом всегда с легкой усмешкой. А до рождения сына было ему не до смеха. Растил уже четырех дочерей, и некому было передать валашку [1] — символ пастушьего дела.

Еще в ту пору, когда жена рожала в первый раз, он страстно ждал сына. Уже тогда в корчме у Якуба хвастал: кому ж еще, как не мне, родить настоящего мужика! Увидите, будет сын! Над ним подтрунивали, его поддразнивали и были правы: родилась дочь. Это бачу тогда очень расстроило. Но не долго он сокрушался. Не вышло сына, ну и что ж? В другой раз будет.

Он потянулся к поясу за флягой, отпил из нее глоток и потихоньку, чтобы не разбудить мальчика, откашлялся. Заскребло у него в горле.

Встал. Захотелось выйти. Скрипнула дверь. Уже давно собирался он смазать петли, но все как-то руки не доходили.

Может, еще вернемся сюда через год, подумал он.

Ночь темная, хоть глаз коли. А день, день был такой прекрасный. Что это вдруг собрались тучи? Пригнал их неведомо откуда ветер.

Он прошелся по лугу и снова раскашлялся: за лето поотвык от паленки, и теперь с непривычки она драла ему горло... Когда кашель поутих, он стал глядеть в темноту в сторону Долины и прислушиваться. Ничего не было слышно, только поток шумел да тихо ворчали псы, разбуженные его кашлем; загремели цепями. Он, как всегда, решил положиться на собак — первые почуют чье-нибудь приближение. Перестал всматриваться в черную мглу под собой, подошел к будке и отвязал псов. Они признательно потерлись о его ноги и ринулись в темноту. Это были сильные овчарки, и мальчик их очень любил.

Вернувшись в колибу, бача как был, в галене, в крпцах[2] и даже шарфа не снял, повалился на койку, потому что не надеялся заснуть.

Его начал одолевать страх. Он то и дело прикладывался к фляге и жадно пил. От паленки ломило голову, она противно пахла и обжигала.

Нет, не уберег я его, не уберег, ругал он себя. Что-то будет завтра?

Черпаки, вырезанные им, черпаки на полке... тот, что висел с края, Янко уже спрятал в сумку. Знает: мы уйдем. Что-то он обо всем этом думает?.. Если благополучно доберемся до деревни, остановимся в корчме и обмоем это дело. Как тогда. Надеюсь, встретим мы там и мельника Граздоня да и погонщика Лойзко, забредут туда и Имрих Грегуш и Милан Андел. Будет сидеть там и лесник Адам в своей зеленой форменной рубахе. Всем, всем нальет Якуб, как и тогда!

И снова он приложил флягу к губам. Пил долго, жадно, так что пришлось приподняться на локтях. Опять стал душить его кашель, и он снова выбежал из колибы, чтобы не разбудить мальчика. Мальчика...

[1] Топорик с длинным топорищем.

[2] Галена — суконное пальто свободного покроя, крпцы — вид мягкой кожаной обуви. То и другое — части национального словацкого костюма.

Ах, мельник Граздонь! Уж как ты потешался надо мной, столько насмешек вытерпел я от тебя! Заглянуть в корчму и то стыдился, а ты только забавлялся, годами измывался над моим исстрадавшимся сердцем.

Твоя жена родила тебе троих сыновей. А моя жена мне — четырех дочерей. Точно белую муку, рассыпаешь ты, мельник, свое напускное спокойствие. А я сижу с тобой за одним столом, тошно мне. Тяжела моя голова. Вторую дочь обмываю... Ты смеешься, оглаживая толстое брюхо, распухшее от булок и пирогов. Твои водянистые глаза — словно мука на мельнице весь цвет из них вытянула — светятся радостью, когда ты говоришь мне:

— Ну что ты за мужик, Яно! Ой-ой, опять дочка. Так закажи бутылку... Может быть, я тебе и шепну, как это... когда буду в добром расположении! Потому что не так просто сына на свет произвести!

При таких словах бача только зубы крепко сжимал, чтоб не скрипели.

— Лойзо! Ну что ты скажешь про нашего бачу?

— Ну... что бы такое сказать?.. Да ничего не скажу,— говорит погонщик, наклонившись вперед.

— Посуди, какой же он бача, если сына породить не может. Милан, Имро, а вы что скажете?

— Яно, кого выучишь овец пасти? Анчу иль Марию? Которую из двух?

— Скажу так, ребята! У наших сыновей вместо бачи будет бачиха. Ха-ха, Яно, ну и выкинул ты штуку! — шлепает Граздонь по толстым ляжкам и заходится смехом.

— Якуб! Якуб! Неси скорей! Яно недоимку общине платит!

Корчмарь в вышитой рубахе, которая прямо светится рядом со старым фартуком — а он надевает его, чтобы не запачкать новые суконные брюки,— тут как тут. Он всегда рад услужить, мигом приносит требуемое. Иногда и сам не прочь пропустить в компании рюмочку-другую, обсудить последние новости, оговорить того, кто этого заслуживает... но, упаси бог, не своих завсегдатаев.

Сливовицу гонит такую, что всех мужиков на привязи держит. Если пальцами чуток разотрешь, а потом к носу поднесешь — будто свежие сливы собирал. И аромат у нее славный, горьковатый, как у доброй домашней сливовицы, и такая только у Якуба. Только у Якуба, знайте это! Все хозяева хаживают к Якубу гнать сливовицу, но самая духовитая лишь у него в корчме. Черт его разберет, отчего мужиков от нее за уши не оттащишь? Знает ли о том Якуб-корчмарь? Пожалуй, да; усмехается, когда говорит, что такой сливовицы нет во всей округе и даже кто бывал в самом Пеште, все равно такой не пивал.

— Не дури, мельник,— шепчет он Граздоню, ставя бутылку на стол,— не дразни его, корчму мне разобьет, как несколько лет назад.

— Что? — кричит Граздонь во все горло.— Разобьет, так заплатит. Найдет чем. Дочери у него красавицы, выдаст их и без приданого. Эй, Яно,— кладет он руку на плечо баче,— хорошо ты сделал, что переманил у меня Маришку...— Тут он замолчал, бывшие соперники впились глазами друг в друга. Потом Граздонь со смехом выдавил: — Меня бы уже давно кондрашка хватил, если б она мне одних девок рожала!

У Яно жилы набрякли на шее, а рука, будто пекарская лопата, сама принялась все со стола валить...

— Слышь, мельник, у себя на мельнице задирайся! — хлопает Граздоня по плечу кулаком погонщик, быстрый худой человек с продолговатым лицом, которое он лишь изредка бреет. Глаза у него такие светлые, как у колдуна, толкуют женщины, и светятся они хитринкой. Даже старый, заношенный вельветовый пиджак не портит

его. Слывет он в корчме у парней заводилой. Кого хочешь переговорит. Никто потому и не вступает с ним в спор. Всюду бывал и все обо всех знал. С любым справится. А если кого понапрасну обидит, сторицей потом воздаст, неведомо как, но воздаст. В каждой деревне есть такой вот человек. Хоть один, да есть. Всеобщий любимец, добряк, веселый и компанейский.

Увязнет где телега, нужно Лойзко позвать. Поговорит с лошадьми, возьмет вожжи в руки, потреплет коней по взмыленным шеям, и как заворóженные они выберутся из болота, из грязи. Рассказывали, как-то раз на спор он вывел коня на саму Прудкую.

— Ты, Яно, не робей, хоть раз да повезет, вот увидишь, уж третий точно будет сын, это я, Лойзо, тебе говорю,— опрокинул он стопку, будто ягоду в рот кинул...— А если нет,— добавляет Лойзо, причем от спиртного лицо у него морщится,— так четвертый. А если нет...

— Так пятый! — взвизгивает Граздонь, и Грегуш, красный с лица, тоже поддакивает:

— Перво-наперво, значит, хвати паленки! Сначала паленки, потом...

— Так... так...— заикаясь, выговаривает Андел и согласно кивает вместе с лесником Адамом. Якуб хмурится у стойки, попыхивает цигаркой, валит на нее густой дым. Сознание у бачи затмевается, взгляд его мутнеет, громкий смех отдается в ушах, будто черти в Чертовой Яме гоготчут, в глубоком овраге, что зияет у подножия Прудкой.

Вот тогда он ударил кулаком по столу, вскочил.

— Я вас побью,— взревел,— побью, коль покоя мне не дадите!!!

Смех разом стих. Мужики оторопели. Знали ведь — неповадно бачу, эдакого верзилу, дразнить, еще, пожалуй, и впрямь поколотит. Ведь по нему все видать, сама смерть в глазах...

И когда жена его снова ждала ребенка, он уже не захаживал в корчму, ни с кем о том словом не перекидывался, будто боялся это прекрасное слово «сын» вслух произнести, чтобы, не дай бог, не сглазить. Только когда пришло время появиться на свет пятому ребенку, что-то упорно нашептывало ему, что-то упрямо твердило: опять будет дочка.

На выгоне он ходил как потерянный, все заботы об овцах возложил на пастухов. Глаза его словно потухли. Ничего путем не видел. При одной только мысли о сыне все валилось у него из рук. Обопрется о стену кошары, лицо как у мертвеца, и час и два так стоит. Солнце уж давно зашло за Прудкую гору. Выше — скалы, а ниже — ели, на елях дрожит зной в темных ветвях. Пересохшие седые скалы так же жаждут влаги, как бача Ян жаждет сына. Кто станет после него пасти овец на Валаштянском холме, если не будет у него сына?

— Эй, Грицко! — зовет он мощным голосом, невидящий взгляд его вперился в колибу, из которой выбегает подпасок — зубастый мальчишка, у него еще и усы не растут, он боится темноты и Чертову Яму стороной обходит.— Слушай, Грицко! Сбегай, взгляни, что нового!

— В деревню?

— В деревню!— отвечает бача, и вторит ему эхо, чистое, как горная вода.

— Хорошо-о-о!!! — кричит обрадованный Грицко, забегает в колибу и берет вышитую рубаху: внизу, в деревне, много девчат. Потом стремглав мчится вниз, махнув рукой баче, который стоит у кошары еще с полуденного доенья. Пастухи пасут овец уже на Ровницах, что на противоположном склоне Валаштянского холма.

Бача глядит ему вслед и тихо самому себе говорит:

— Беги, лети! Нет, нет мне покоя. Я и сам бы пошел, но что,

если... что, если?..— Слова застревают в горле, и на него снова находит оторопь.

А Грицко пойдет проторенной дорожкой среди елей, пока не донесется до него шум воды. Там, в тени скал, между которыми петляет дорога, журчит кристально чистый ручеек. Наклонится он к крошечному водопаду, руки по самые плечи опустит в голубую воду. Глубоко, до самых костей, пронимает его холод, даже шум воды перестанет он слышать, поспешно вымоется, наденет чистую рубаху и двинется дальше лесом вниз, никуда не сворачивая.

Под вечер пастухи в колибе варят жинчицу и все говорят о баче. Бача слышит их, хотя он и не с ними. От чистого сердца желают они ему сына. Только бы сын, только бы сын, упрямо желает себе и он.

А Грицко, тот, верно, еще по поляне бежит, вниз по склону летит, сокращая путь. Далеко до деревни, далеко еще до избы бачи Яна, где уже приготовлена колыбель.

Минуту назад еще спокойное, небо становится вдруг зловещим. Воздух разряженный, но при этом какой-то тяжелый и сырой. Небосвод на глазах темнеет. Близится буря. Скалы на Прудкой цепенеют, вот уже и небо оцепенело, как та скала. И сразу все вокруг почернело.

Где же Грицко? Входит в сени? Неужто его встречает детский плач? Да, это плач новорожденного доносится из горницы, и Грицко, словно бы испугавшись, стоит не двигаясь. Стоит столбом, черт его побери!

Грицко, ну входи же скорей, скрипит зубами бача. Ну взгляни же, кто это? Но подпасок, как назло, остановился в сенях и дальше ни шагу. Бача готов Грицко под ребро пнуть. Волна горячего пота обдала его. Ладонью обтер лоб.

Может, это он сам? Ну, конечно, это он сам лезет в избу, вот только ноги у него так отяжелели, что он и шагу ступить не может.

А там за стеной его сын, красивый мальчик!

Да нет, снова дочка, пятая дочь!

Он тихонько застонал, по спине пробежал мороз, с трудом поднялся, прогоняя со лба хмурь. Побрел к колибе. Собаки путаются у него под ногами, он спотыкается о них, лягает их, но они все равно льнут к нему, шерсть у них искрится. И тут вдруг все покрыла такая мгла, что хоть режь, крои ее на куски, как закопченное дочерна сало.

Яркая молния расщепила небо, словно сухое липовое полено на две половины, желто-зеленая полоса разорвала его вместе с ударом грома, от скал отозвалось эхо. Бьются, мечутся тяжелые громовые раскаты, все колотится, бушует в дьявольском котле. Поднялся вихрь, и сразу же забарабанили первые черные тяжелые капли дождя.

Бача врывается в колибу. Дверь не захлопывает, бросается на койку ничком.

Опять он представляет себе Грицко в сенях, вода стекает с него ручьем. Мокрая вышитая рубаха прилипла к телу. Из горницы проникает сюда слабый свет керосиновой лампы. Откуда-нибудь из темного угла выйдет огромный пес, но не тявкнет, не заворчит, только неслышно, тихо подкрадется, как кошка, остановится в шаге от Грицко на черном утоптанном полу.

Потом в глубине горницы вскрикнет женщина.

Свет керосиновой лампы — его даже светом не назовешь, а только желтой восковой тенью — всколыхнется. Пес в ногах у Грицко угрожающе заворчит, тосклизо завоет.

Молния на миг озаряет весь двор, вплоть до задней стены, и пса, огромного, как телка, с ощеренными зубами и вздыбленной шерстью. Затем все опять погружается в темноту, еще более глубокую, чернильно-черную, как плоды тутовника. В черепице что-то пищит, визжит, вихрь вот-вот сорвет крышу.

Наконец, наконец-то Грицко нажимает на ручку и рывком отворяет дверь. Застывает на пороге, его встречает громкий крик младенца...

— Дочери? Иль сына? — ревет бача, но не может заглушить удара грома, колиба вся сотрясается, весь склон под ногами ходуном ходит. Трещат ели в лесах, рушатся скалы, но сильнее всего гудит в голове у бачи. Он хватает флягу с паленкой, выдергивает затычку и жадно пьет, огнем обжигает ему горло, и больная голова его снова валится на койку.

— Мальчик народился! Бача! Сын у тебя!

Чистый, свежий, невероятно ясный свет ударяет ему в глаза. Над ним стоит улыбающийся Грицко.

— Радостная весть! Сын у тебя, бача! — гордо выпрямляется он, как солдат.

Бача усаживается на койке, жмурит глаза.

— Не ври...— хрипит он. Голова у него идет кругом.

Черпаки, черпачки, половники, подойники танцуют по колибе, лавка и котел скачут, все озарено ярким светом, солнце через открытую дверь светит прямо в колибу, и Грицко светится весь в его лучах, как добрый ангел-вестник.

— Чтоб меня разразило! Сам его видел, здоровенный парняга! — смеется подпасок. Ликуя, срывает с головы широкополую шляпу, хлопает ею оземь, топчет от радости, руками хлопает, только бы бача ему поверил. В колибу заглядывают смеющиеся пастухи.

Бача вскакивает на ноги. Хватает валашку, выбегает вон под палящее солнце — такое бывает лишь после бури — и припускается вниз, ног под собою не чуя.

Одурманивает его свежий аромат напоенных влагой трав. Он сбегает вниз по склону, словно ему всего-то двадцать лет, а небо синее, как василек, кланяется ему... Врывается в лес, перепрыгивает через вывороченные с корнем деревья, а на душе у него тепло. Ели простирают к нему свои ветви, поздравляя и приветствуя его.

Когда он выбрался из леса опять в луга, перед ним распахнул свои дали край, ясный, как отполированное серебро, омытый дождем и высушивающий на солнце свои холмы, ложбинки, ущелья, скалистые вершины, упирающиеся в самое поднебесье.

Горные потоки, речушки, которые перед бурей тонким ручейком стекали в долину, теперь валом валят вниз. Он играючи их перескакивает и чем дальше бежит, тем чувствует себя легче и крепче.

И вот перед ним уже поле под паром и узкие кромки межи от горы до горы, деревня, теснившаяся в котловине, и люди, разбрасывающие мокрое сено по лугу, чтобы оно не сопрело. Влажное сено в копнах согрелось, нужно снова его раскидать и хорошо просушить на солнце. Счастливцы те, кто вчера его свез, не будут теперь мучиться.

Заметив бегущего бачу, сельчане поднимают головы, провожают его глазами.

— О-го, бача!

— Это бача?

— Ей-богу, он.

— И вправду он.

— Куда он так гонится? Не случилось ли чего на Валаштянском холме?

— Эй-эй, бача!!!

На бегу он машет им рукой. Они вертят головами: странно — никто никогда еще не видел бачу бегущим.

— А, вот оно что...— утер со лба пот крестьянин и сказал своей жене: — У Мары его мальчик народился...

— А когда ж это было?..— спросила жена и наклонилась, чтобы поднять грабли.

— Может, вечером, а может, ночью,— сказал крестьянин, опершись на вилы.

— Немудрено, что родила. Молнии так и сверкали, да и громыхало — чистое светопреставление,— рассудила его жена, поправляя на голове платок и улыбаясь.

По грязным вымоинам, где болотина была перемешена с размокшим пометом, пробирался бача между избами к своему дому, который стоял на другом конце деревни, и сразу кинулся к колыбели.

Жена и младенец спали.

— Быстренько распеленай его,— прошептал он старшей дочери, уже готовый сделать это сам.

— Проснется,— сердито возразила девушка.

— Разверни! — приказал он.

— Мальчик это, оставьте, пускай спит...

Жена пошевелилась, открыла глаза, гордо и спокойно улыбнулась.

Распеленутый мальчик зауакал и сразу же опять заснул.

Величиной с ладонь, детское личико его было чистое, без единой морщинки. Жена глядела на сына с такой гордостью, что сердце бачи замерло от счастья. Он даже не мог толком вздохнуть. Закашлялся и выбежал из избы.

К счастью, напротив Якубова корчма.

Вот уж и колокольчик на дверном косяке звонит...

— Мужики, сын у меня!

Когда он вышел во двор, вокруг уже сгустилась тьма. В кронах лип перед корчмой гулял тихий ветерок. Короткие летние ночи в деревне были самыми дорогими сердцу бачи.

Невыразимо знакомые крыши изб, крытые дранкой или соломой, дерево, обработанное человеческими руками. Тени дедов в сенях. Облеченное в дерево человечье житье-бытье. Множество ароматов, витавших в темных углах. Сладко-кислый запах молока.

В резком, сердцу милом аромате сена сокрыты запахи росных трав, буйство всего зеленого, коричневого и желтого, солнцем прогретых, запыленных дорог, запах скота и навоза, который по осени развозят на скрипящих от тяжести телегах, чтобы возвратить землю к ее очередному весеннему возрождению.

Вот на этой земле стоит бача Ян.

Паленка и пляска под скрипку взбудоражили ему кровь, уже и без того вспененную нежданной радостью. Она словно бы готова была излиться из его жил...

Из корчмы несутся тягучие напевы скрипки, песня. Из-за облаков выплыл месяц и еще больше приласкал деревню. Бача глядел на свою хату за дорогой, покорно склоненную под тяжелой крышей. И спит в ней мальчик — хранитель рода бачи Яна.

Видны и луга на противоположном откосе. Ровные ряды стожар для сушки сена. Кое-где одинокая ель, черно-зеленая лиственница, лиловые вербы.

Такое многоцветье в эту летнюю лунную ночь!

Чей-то пес очнулся от чуткого сна, тихонько завыл. В конюшне при корчме перевернулся конь, ушей бачи коснулся едва различимый звон цепей. Глубоко дыша, шел он за Оград к колодцу. Не только грудью, всем своим существом вдыхал в себя приятную прохладу благоуханной ночи.

Стал крутить ворот, с сухим лязганьем отвязалась цепь, и через минуту стало слышно, как звонко шлепнулось на водную гладь вед-

ро. Потом, когда вытягивал уже полное ведро, услыхал, как выплескивалась через край вода. Большими глотками напился прямо из ведра. Приятный жар паленки заливал еще более приятной студеной водой, погрузив в нее все свое лицо. Под конец умылся, а воду из ведра выплеснул в траву. Ждал, когда на ночном ветерке обсохнет лицо, вслушивался, как всасывается вода в вечно жаждущую землю.

Потом побрел вверх Оградом. Через дыру в заборе выбрался прямо на каменистую дорогу, ведущую в поле, на луга, к шалашу.

Еще под горой ему почудилось, что слышит музыку из корчмы, остановился, прислушался.

Он и в самом деле что-то услыхал. Но было это не звонче стрекота луговых кузнечиков у корней травы. Он вошел в лес, охваченный собственной ликующей радостью, и мерцающие огоньки светлячков казались отсветом его торжества.

Он ворочался с боку на бок. Койка трещала, отгоняя сон. Прошлое, рождение мальчика, все самое прекрасное, что было у него в жизни, раскручивалось перед его мысленным взором.

Иногда ему казалось, будто он слышит какие-то посторонние звуки, боялся — того и гляди, что-то произойдет.

До этого он каждый вечер привязывал собак. Ночью они надрывались от лая, когда из леса выныривали темные фигуры, бесились от ярости, если кто-то приближался к колибе или входил внутрь. Теперь же бача отвязал их, как в те времена, когда в колибу по ночам еще никто не заглядывал. Но все равно он испытывал страх и, чтобы отогнать его, окунался в воспоминания. Но страх не проходил, и он все ждал выстрелов, которые вот-вот грянут, и нацелены они будут в колибу; а какая-нибудь пуля угодит и в койку, где спит мальчик. Бача прислушивался к его дыханию и потягивал из фляги. Паленка поднималась в горле, противно пахла и жгла. Наконец фляга опустела, а во рту у него остался привкус песка, политого керосином.

Что с ними сделают?

Он ворочался на койке, нетерпеливо ожидая, когда забрезжит рассвет. Когда же начало светать и в колибе стали вырисовываться очертания отдельных предметов, он не в силах был встать, лежал без движения, уставившись на дымник.

С туманным рассветом проснулись птицы.

Высоко в кронах ближних елей пронзительно закричали ореховки, а из глубины леса им ответили сойки. Мысленно он перенесся в лес и представил себе целые ватаги синиц-чернявок, мелькающих в темных иглистых елях, видел их висящими на тонких коричневых веточках, как выбирают они клювиком мелкие яички и личинки насекомых. Слышал он поползней и пеночек, желто-зеленых чижей с оливково-зелеными спинками, а также пестрых зябликов, звонких плотников дятлов, разглядел он и еще одного дятла, дятла белоспинного с красной головкой. На самом высоком месте в лесу распевал кирпично-красный клест. Увидел он и довольно редкого для этих мест большого серого дрозда и важных снегирей, зато коричневых, в белую крапинку пищух с тонкими загнутыми клювиками там было больше, чем синиц-чернявок. На отвесных скатах Чертовой Ямы гнездились в трещинах гранита каменки, а у потока чаще всего обретались серые трясогузки вместе с юркими оляпками.

В это утро птицы напрасно старались развеселить его. Обычное проявление птичьей радости по случаю восхода солнца и начала нового дня сегодня не трогало его. Впервые утреннее птичье пение показалось ему чуждым.

Стало ему тоскливо.

Я сейчас встану, говорил он себе, но продолжал лежать; пошевелил рукой, но она бессильно повисла, почти касаясь земли. Хоть и живой, но совсем как мертвец, подумал он, и это чувство тоже

было для него новым и недобрым. Как ни убеждал он себя, что надо встать и идти, но продолжал лежать, будто прикованный, мечтая пролежать так весь остаток лета, осень и зиму.

Мальчик во сне перевернулся на другой бок. Бача взглянул на него.

Что станет с ним, что станет с мальчиком?

Хорошо бы просто так лежать и не думать о том, что ждет их. А лучше бы заснуть, но что поделаешь, уже утро. Он пожалел, что наступило утро, хотя спервоначалу ждал его, пожалел, что целую ночь не сомкнул глаз.

Вот же, гляди, ничего не случилось, а ты по крайности хоть выспался бы, сказал он себе, и голова у тебя была бы ясная. А такая голова тебе сейчас без нужды, потому как знаешь: ничего толкового она все равно не измыслит.

Подумаешь, эка важность! Вот встану, нахлобучу на себя шляпу, хотя бы уверюсь, что голова у меня на плечах. Но как вставать не хочется! Полежу-ка еще чуток. Если даст бог доживу до старости, вспомню когда-нибудь и это утро.

И опять он предался размышлениям, потому что рядом с ним лежал мальчик.

Я обязан его отсюда вывести. А потом, когда совсем дряхлым стариком буду я вот так же лежать, а он, молодой и сильный, будет стоять рядом, не испугает меня даже смерть. Только бы сейчас вывести его отсюда.

Еще какое-то время он раздумывал о собственной смерти и о смерти себе подобных и признался себе, что самое лучшее — умереть естественной смертью в глубокой старости, как по осени растения, дав земле плоды, спокойно умирают, тронутые первым легким морозцем.

Хату надо бы обшить деревом, переключился он мыслями на дела житейские. Он всегда приступал к ним по возвращении из шалаша, когда кончалось пастушье лето. До прихода зимы, которая в этих краях не заставляла себя долго ждать, он успевал привезти из леса бревна, разрубал их на пахучие плахи и обивал ими избу. У задней стены он оставлял сучковатые поленья для очага: дерево должно было как следует высохнуть. Зимой он, привыкший к работе, частенько изнывал от скуки. Стоило ему привести в порядок хозяйство, как он сразу же чувствовал себя не у дел. К счастью, дни бывали короткие. Простаивал он тогда у замерзшего оконца, выдувал дыханием кружочек на стекле и обозревал заснеженную деревню. И раздумывал все о том же: о шалаше, об овцах, о запасах на зиму, а большей частью о погоде. Загадывал, короткой будет зима или длинной, хватит ли до весны картошки, капусты и сала. И частенько, особенно на склоне зимы, размышлял, будет ли весна погожей или дождливой и студеной. Когда весна выдавалась холодной, долго не наступало лето.

Иногда зимой он прочитывал старые календари, в которых находил много добрых советов по уходу за фруктовыми деревьями: как прививать их, подстригать и опрыскивать. Эти заметки он просматривал особенно внимательно, потому что за Оградом у него росло около десятка плодовых деревьев.

Он был хорошим садоводом, но на его беду в этом высокогорном краю не приживалась большая часть тех видов яблонь и груш, о которых писали календари, персики, абрикосы и орехи тут вообще не удавалось разводить, черешни и те росли плохо, а вишни сразу же склевывали птицы.

За Оградом произрастало также несколько диких деревьев. И всякий раз ему бывало жалко их вырубать. Иногда в задумчивости он охватывал их взглядом и думал о том, как будут они кстати, если ненароком ударит такая зима, что не удастся выбраться в лес и на санях, а запасы дров тем временем иссякнут. Тогда пойдут в ход

деревья за гумнами и на кладбище. Такой зимы, может, никогда и не случится, деревья и впредь будут расти и летом творить людям тень. Человек ведь не знает наперед, что будет, а что нет.

Наконец он встал и разбудил сына... Легонько его потряс. Мальчик сел, протер глаза.

— Надо уходить,— сказал отец.

— Куда? — спросил тот тихо. Эх, перевернуться бы на другой бок и опять сладко заснуть!

— Пойдем вниз, в деревню.

— Кончилась пастьба?

— Кончилась. Одевайся живее — и марш! — сказал бача и с подойником вышел из колибы. Направился к кошаре, где жались друг к дружке овцы.

Напьемся молока, решил бача. Подоил овцу и напился прямо из ведра. Вернувшись в колибу, стал потчевать молоком сына. Тот уже оделся. Парного молока пастушонок не любил. Он привык к жинчице, кислой или сладкой. Чаще всего они ели сыр, а молоком только запивали. Есть баче сейчас тоже не хотелось. Он рассеянно совал в рот куски сыра, но забывал жевать, забывал глотать. Зато все время понукал мальчика. Потом вынес в подойнике молоко собакам. Они жадно принялись лакать, погружая морды в белое пойло и захватывая его широкими языками. Громко чавкая, они дочиста вылизали ведро. Бача поставил его посреди колибы днищем вверх и даже не помыл. Растерянно потер руки.

Он стоял в окружении предметов, не имевших ничего общего с войной: черпаки, черпачки, веселки, поварешки, койки, овечьи шкуры, вертел. Стены колибы были изъедены дымом, темные, закопченные.

День, как обычно, начинался густыми сумерками, которые постепенно редели, превращаясь в голубое утро. Разве что надолго задремавшая колиба, которую они вот-вот должны были покинуть, была холодна — сегодня бача не развел костра. Разбросанные беловатые щепки светились в полумраке. Сумки с бахромой и без бахромы из жесткой, грубо обработанной кожи, которые пастухи брали с собой, отправляясь на пастьбу, ныне пустые висели на крючьях. Дымник над костром казался матовым стеклом, куском серого небосвода.

И было уже яснее ясного, что сюда они больше не вернутся. Только груда черного пепла, поднимающаяся до краев больших, задымленных камней, останется здесь как свидетельство их поспешного, непредвиденного ухода.

И пастушонок с грустью вдыхал запах погасшего костра, запах сыра и жинчицы, ароматы такого благодатного лета.

До срока кончилась пастьба. Не приди сюда война, мы наверняка бы еще оставались здесь. Всюду война, на всем белом свете, не обошла она и наш шалаш. Потому и нужно нам с овцами спускаться сейчас вниз. Но куда? Разве в деревне нет войны? Ведь и вправду чудно, чтобы везде, на всем, на всем белом свете воевали. Или же мы будем идти с овцами до тех пор, пока не отыщем такого места, где нет войны? А если не найдем? Есть ли вообще на свете такое место, где овцы могли бы свободно, вольно пастись? Наверно, есть, ведь мир такой огромный, что и весь Кривань — соринка малая супротив него, а Валаштянский холм? Меньше макового зернышка! Кто знает, куда будем путь держать? Пойдем по белу свету искать мира, как в той самой сказке?

В долгие зимние вечера, когда на занесенную снегом деревню опускалась зыбкая мгла и постепенно сгущалась в метелицу, коротко вспыхивал огонь в очаге, завывал в трубе холодный ветер, бача рассказывал ему о шалаше.

Он сидел с трубкой в руке на липовом чурбаке. И аромат креп-

кого табака аппетитно смешивался с запахом капусты, печеной картошки и горящего смолистого дерева.

Так и коротала семья у очага долгие зимние вечера; сидели все лицом к огню, на который хотелось бесконечно долго смотреть.

Рассказывал отец, рассказывала и бабушка.

Ее застывшее лицо и какой-то призрачный голос придавали сказкам особый, таинственный смысл. Дети слушали, затаив дыхание.

А перед глазами мальчика меж языками пламени проблескивали сказочные образы: волкодавы, драконы, заклятые вилы, обращающие людей в жаб. Сколько всего тут было! Сколько несчастий, слез и мучений вызывали злые существа только на забаву себе: чародеи, чернокнижники, оборотни и злые домовые, разные там ведьмы и ведьмаки, черные рыцари и вдобавок еще много людей кичливых и завистливых, скупых и жадных, разбитных и легковерных, драчунов, пьяниц, воров и безумцев, вероломных ночных убийц и людоедов.

А как приятно было слушать отца, который с улыбкой рассказывал об удивительном рае где-то на Валаштянском холме — там такие необъятные луга, что даже дня мало, чтоб их обойти! Из синего леса доносится пение золотистых птиц, весело несется в долину серебряный поток, чистый и прозрачный, как мысль хорошего человека. На этих свежих лугах и пасется отара. Овечки позванивают своими медными колокольчиками, и царит несказанная тишина, потому что, кроме бачи и пастухов, нет там других людей.

Даже собакам лаять охоты нет. Да и зачем? Овцы мирно пасутся на тех лугах. Глядишь, то тут, то там божья коровка летит в солнечных лучах, в море света купается солнце. Щедро насыщая все светом и теплом, жадно тянет оно из земли яркое разнотравье.

Кто побывал в этих местах хоть раз, никогда не забудет, и все, тоскуя по ним, мечтают воротиться.

Да и овечкам, закрытым зимой в темных и тесных закутах, долгими зимними ночами, когда сыплет и сыплет снег, снятся вольные луга с высоким летним небом и сочной вкусной травой.

Он не стал ждать, когда подрастет. Собрался и пошел, потому что уже совсем ясно представлял себе дорогу. Внизу увидел поток. Неловко помчался вниз к этой странной, бегущей куда-то дорожке, которая так весело журчала. Двигаясь вдоль ручья, он прыгал и скакал на одной ножке. Дело было летом. Полувысохший поток струился посреди русла. Воду он узнал. Воду пили все. Только теперь ее было много, и она текла. Да это же поток, сообразил он. В глаза ему засветило солнышко. Он зашагал по скользким камням, пошатнулся и упал, локти на берегу, ноги в воде. Он ощутил и холод воды, и ее течение. Выбрался на берег, сухой песок облепил мокрую одежду. Но он не замечал этого. Двинулся дальше. Было тепло, и платье его быстро высохло. По обочине дороги скопилась мягкая пыль, и он загребал ее босыми ступнями. Чуть пониже купались в потоке гуси. Сторожила их девчонка с мельницы. Темные ветви вербы свисали над гладью воды. Поток у мельницы стал глубже, вода текла медленно, лениво вынося гусиные перышки. За поворотом вынырнула стайка уток. Они плыли вверх по течению, а клювами, широкими, как ложки, ловили в воде мелких рыбок. Тишину нарушало лишь громкое шлепанье или неожиданный всплеск: это какой-нибудь гусь вдруг бил по воде крыльями, вытягивая шею и выпятив грудь.

Он прошел совсем близко от девчушки, а та, заглядевшись на воду, даже не заметила его.

Мальчик видел избы и за дорогой и за потоком. Два ряда деревянных домов, крытых дранкой или соломой. Те, что поменьше, стояли под прикрытием тех, что побольше, но не найти было в деревне двух одинаковых домов. Некоторые свежепобеленные, чистые, как полотно, резко выделялись среди остальных. Вдоль заборов тянулись вверх фасоль и горох, во многих садах алели маки.

Его же притягивала к себе дорога. Он шагал, опустив голову и осторожно погружая босые ступни в нагретую солнцем пыль, шелковистую, как самый мягкий мох. Было хорошо и весело на душе. С порывом ветра прилетела стайка голубей с мельницы. Мальчик перешел через мост и, только оказавшись в конце деревни, совсем близко увидел настоящий лес, высокий и темный. Так близко, что он мог бы сразу очутиться в нем. Было это совсем иначе, чем когда он смотрел на лес со стороны Ограда, откуда тот представлялся ему однообразной черной массой. Теперь он мог разглядеть прогалы между отдельными серовато-коричневыми стволами, различал буйные орешниковые заросли и кусты шиповника, а кое-где и боярышника. Мальчик заколебался, продолжать ли ему путь. Вспомнил он тут про медведя, и почудилось ему, что тот вот-вот вылезет из чащи. Ему пришло в голову, что он наверняка встретится с ним, как только поравняется с первыми деревьями. Бурая громадина начнет реветь и махать огромными лапами. А причиной страха мальчика была та таинственная незыблемость, какой повеяло на него от леса: ведь он был в двух шагах от него! Мальчик растерянно оглядывал дерево за деревом и очень обрадовался, вспомнив, что за спиной у него деревня. Потом в глубине леса что-то пронзительно закричало, верно, какое-то чудище, и мальчик, уже не раздумывая, повернул назад. Небо на горизонте было как матовое стекло, а когда он смотрел прямо вверх, казалось густо-голубым.

Остановился он под могучими осинами у старых амбаров, где все ему чуждо и незнакомо. Даже поток потерялся где-то. И он никого не видел, только осины как-то грустно шумели над его одиночеством. Из каких-то облезлых деревянных ворот выбежала собака. Серый кудлатый деревенский пес. Длинный лохматый хвост его как-то стыдливо волочился по земле. Приблизившись к мальчику, пес пискливо, тонко завыл. Мальчик хотел погладить его, но тот, словно о чем-то вспомнив, крутанул хвостом и исчез в одном из пустых дворов.

Снова мальчик остался один. Только воробьи, не поделив чего-то, возились у осин, дрались и ссорились... Было ему тягостно, хоть плачь.

Потом на повороте показался воз в конской упряжке. На козлах сидел погонщик Лойзко с вечной сигаретой в уголке рта. Мальчика он увидел уже издалека, но узнал ли его? Ребенок встал посреди дороги.

— Тпр-р-ру! — закричал погонщик, и кони остановились.— Ты что, хочешь, чтобы я тебя задавил? — угрожающе гаркнул он.

Сунув два пальца в рот, он свистнул лошадкам, огромным гнедкам со вспененными мордами. Один конь, нагнув голову почти до самой земли, шагнул вперед.

Воз дернуло.

— Тпр-р-ру! — натянул погонщик вожжи.— Ты чей? — спросил он.

В тоне его голоса было что-то доверительное, и мальчик почувствовал это. Издалека обойдя коней, он подошел к возу.

— Бачин я,— сказал он Лойзко.

И тот посадил его на козлы. Хлопнул бичом, ослабил поводья, кони двинулись.

— Где ты, однако, шатался? — спросил Лойзко и пустил коней в галоп.

Они летели как сумасшедшие, и все вокруг тоже летело — деревья и дома, дорога и поток, пока не остановились кони у дома бачи.

Провожали его мать и сестры.

Было это той же весной, отец взял его с собой в шалаш. В деревне царило необычайное оживление: множество сбившихся в кучу овец, лай собак, громкие выкрики.

Ему повесили через плечо шерстяную пастушью сумку. Рубаху охватывал широкий пояс, в руке мальчик держал легкую валашку, подарок отца. Разрумянившись, он бегал тут же. Бача обозревал овец с выжженными метками хозяев и записывал их количество в тетрадь.

И вот наконец они со стадом двинулись в путь. Впереди подпасок Грицко, хлопая длинным пастушьим бичом, загонял овец в узкий, выложенный камнями проход между домами, а оттуда овцы попадали на выгон, отгороженный бревенчатым забором от лугов, отведенных под косьбу. На эти луга скот никогда не забредал.

Поле, поделенное на полосы, пестрело красками, в зависимости от того, что где взошло. Солнце поднялось уже высоко: короткую, но отчетливую тень отбрасывали одинокие ели.

На задних лугах стадо развернулось, и мальчик, гордый и счастливый, шел за овцами, покрикивая на них и крутя валашкой над головой.

Бача тоже улыбался. Одет он был в новую вышитую рубаху с широкими рукавами, белую как снег, потому что выгон овец на летние пастбища считался настоящим праздником. На нем были новые холщовые штаны и шляпа с красной тесьмой, расшитой разноцветными узорами. Только пояс у него был старый, унаследованный от отца, широкий, до самой груди, окованный блестящей медью.

Бача Ян улыбался — теперь есть кому передать пастуший пояс и валашку,— искоса взглядывал на своего единственного сына, вот идет он с ним рядом, будто на праздник, одетый, как и он. Такая же вышивка украшала его рубаху и шляпу. Все, как и полагалось, приготовила ему мать. И пояс у него такой же, как у отца, только меньших размеров. Это ничего, ведь мальчик растет. За зиму еще больше вытянется. Бача знает, он будет крепкий и высокий. Плечи у него будут широкие, руки сильные, с большими ладонями. И ноги будут крепкие, как у всех мужчин из рода бачи Яна. Он легко берет подъем. И, глядя на него, баче тоже легко шагается.

Вспомнилось ему, как пасли они вместе с отцом, дедом мальчика, вспомнилось, как когда-то давно он так же шел с братьями возле бачи, своего отца, по этой вот поляне. Может, по этой самой тропинке. Может, и его отец думал тогда о том же, о чем думает теперь он.

Поднявшись на Валаштянский холм, мальчик раскраснелся и прерывисто дышал. Никогда еще не поднимался он так высоко. Только сжимал крепко зубы, чтобы не выдать своей усталости. Ему казалось, что поляна перед ним уходит в поднебесье. Весь небосвод танцевал перед ним, кровь стучала в висках. Он завидовал даже травинкам, был бы рад опуститься на пажить, свалиться на землю и уснуть, слышал звон колокольцев где-то в сердце; билось оно в груди, звонило и замирало...

Когда они поднялись на самый верх и под ними открылся косогор, а дальше лес, бача указал вниз:

— Вон там валаштянский шалаш.

Колиба стояла тут же, у крайних деревьев. Возле нее — сарай для сушки сыра, немного дальше кошара. Веял свежий ветерок и приятно остужал. Они спустились вниз, и пастухи загнали овец в кошару. Бача выбил задвижку и валашкой открыл заклиненные двери колибы, отодвинул заслон над очагом и коротким березовым веником вымел колибу. Из груды поленьев, заготовленных здесь еще в прошлом году, выбрал одно, расщепил его на лучины и, отослав пастухов за водой, разложил костер. Под конец прибил на щиток колибы пучок еловых веток в знак начала пастушьего года — чтобы овцы давали больше молока и сыра, чтобы ни одна не сгинула от болезней, от другой какой напасти, чтоб ни одну не украли, чтобы все это обошло шалаш стороной.

Потом пастухи уселись на койки, запалили сигареты, улыбаясь, приветствовали пастушонка в своем кругу. Покурив, отправились

навстречу Лойзко, который добирался сюда с возом по лесной дороге с другой стороны поляны.

Мальчик смотрел им вслед, покуда они не вошли в лес. Потом помчался к кошаре, весело прыгал, валялся в траве и скакал.

Возле кошары с важным видом возился Грицко. Ему уже девятнадцать, скоро будет пастухом. Он принялся рассказывать мальчику, как проводится пастьба на Валаштянском холме. Тот слушал его вполуха, потому что все это знал уже от отца. Повернулся — и давай бог ноги! Снова носился он по лугу, наконец к нему присоединился и Грицко. Они бегали взапуски и кричали, и эхо с противоположной Прудкой горы их забавляло.

А бача с пастухами отмахали изрядный путь, пока встретились с возом. Взмыленный конь шагал тяжело, задние ноги его нет-нет да и скользили по камням. Останавливался, выглядывая, куда бы понадежнее поставить копыто. Когда трое сильных мужиков принялись подталкивать телегу сзади, дело пошло легче. Идя сбоку, Лойзко где руганью, а где бичом неустанно погонял коня.

— И какая еще лошадь смогла бы сюда дойти! — кричал он пастухам.— Лазить вот так по камням. Верно, Камзик мой!

А конь, словно бы поняв его, зафыркал и до самой земли стал кивать головой.

— Ты что, ромом его опоил, Лойзко? — пошутил кто-то.

— Какие вы умные, мужики,— не поддавался Лойзко,— ведь это же зверь! Разве станет он лакать то, что во вред ему? Только человек — такая тварь, хлещет все без разбору! — зафилософствовал он и полез за табакеркой.— Тпру! Перекур.

И нажав на тормоз, он остановил воз.

— Делайте так, мужики, как я вам говорю!

Сунул в рот сигарету, затянулся, раскашлялся. Может, нарочно.

— Мой конь Камзик не пьет, не курит,— разглагольствовал он между приступами кашля,— с него пример берите.

Покурив, двинулись дальше. Пастушонок первый увидел воз на опушке леса. Побежал навстречу, наперегонки с Грицко.

Возле колибы Лойзко распряг коня.

— Ну как тебе, старина? — похлопал он лошадь по потной спине, покрыл ее шерстяной попоной и стал водить вокруг кошары, чтоб не простыла.

Пастухи сгрузили с воза мешки с мукой, хлеб и соль — и для людей, и для овец, котел, подойники и все то, что обычно не оставляли здесь на зиму; также одеяла, табак, несколько бутылок паленки от хозяев и от Якуба. Взвалив все это на плечи, они внесли в кладовую.

Мальчик глядел то на пастухов, то на овец, то на коня. Глядел он и на поляну, дивовался — огромная, широкая, обильная для пастьбы. Белесые массивы на противоположном холме казались издалека поросшими мхом, но это был стланик. Редкая трава, что там росла, была бледно-зеленого цвета, главным образом в тех местах, где ее озаряло солнце. Скалистые вершины гор почти свинцово-серой окраски резко очерчивались на лазурном небосводе.

Овечки еще какое-то время побудут в кошаре, потом пойдут на вечернюю пастьбу. Разбредутся по необъятным лугам, звеня своими колокольчиками под синим-синим небом. Мирный ветерок будет колыхать стебли трав, будет голубое небо, благоуханный лес, эти вот вершины, увенчанные шапками снега, белые, как ягнята. И горный поток — смешение красок: зеленой, голубой и ослепительно белой — все так же быстро будет нестись в долину, разбиваясь о скалы, и брызги капель будут чистые, как кристалл, холодные, как лед...

Все это останется здесь, только его не будет, нельзя ему оставаться в шалаше, не будет его на Валаштянском холме.

Понурив голову, брел он к колибе. Здесь все уже было на своем месте. Черпаки, черпачки, кастрюли, поварешки повешены на брусе, внизу, горит костер, на вертеле висит котел, в нем греется вода.

А он должен уйти!

От дыма и обиды глаза его застлало слезами. Выбежав из колибы, сквозь пелену слез он снова увидел зелень лугов, и золотое солнышко, и голубое небо, и неоглядные дали... и все это сливалось с едким дымом смолистого дерева, запахом овечьего молока и еще бог знает чего.

Лойзко уже запряг коня. Ждал только его.

— Ведь не навек же разлучаешься,— утешал он пастушонка.— Придет лето, привезем тебя сюда. Не бойся, лето уже не за горами.

Мальчик даже не слышал его. Рукавом размазывал по лицу слезы, шмыгал носом.

— Правду Лойзко говорит,— поддержал погонщика бача.— Увидишь, лето будет чудесное. Кукушек собралось здесь видимо-невидимо. Все время кукуют. Орешник разросся вовсю, погода будет хорошая. Целое лето проведешь в шалаше... Теперь же ночи холодные, не дай бог простудишься.— Жаль было ему мальчика, он гладил по голове, успокаивал его.

Пастушонок вдруг разрыдался. Когда же слезы смягчили в глазах его режущую боль и он снова отчетливо все это увидел, стало ему совсем грустно. Напрасно его утешали. А край вокруг молчал, как могила,— великолепный край, что так многозначительно умеет молчать.

Бача выбрал полено эдак с метр длиной, один конец обтесал, заострил топором и снаружи подпер им дверь колибы.

А до этого и в колибе он сделал все необходимое, чтобы спокойно уйти. Перво-наперво собрал в сумку то, что можно было есть. Поколебавшись, прибавил и кусок шкурки от сала, потому что знал: времена настали тяжелые, не ровен час — пожалеешь, зачем пренебрег тем, что можно сварить и съесть. Пробудился в нем прежний страх голода и понуждал к бережливости. Он взял с собой оставшуюся муку и соль и даже мешочек перца прихватил. При этом споткнулся о пустую флягу, поднял ее и прикрепил к поясу, намереваясь у потока наполнить свежей водой.

В конце концов душа его словно бы успокоилась. Все, что делал, он делал сосредоточенно и обдуманно, как бывало всегда. Вспомнил о ружье. Завернул его в тряпку и вместе с патронами упрятал под бревно, там оно обычно хранилось. Да и что такое старый карабин против автомата!

Взглянув на мальчика, вспомнил, что обещал научить его стрелять. Пастушонок молча смотрел на отца, но баче показалось, что он по-взрослому уперся глазами в какую-то точку и бог весть о чем думает.

Бача хотел было что-то сказать ему, но передумал. Закрыл дымник, и в колибе сразу стало сумрачно. Нагнулся за валашкой, выпрямился, через другую руку перекинул сумку и кабаницу [1] и сказал мальчику, что надо уходить. Пастушонок все сделал, не говоря ни слова. Бача вышел вслед за ним, свалил все наземь и с топором побрел к поленнице. Когда он вернулся с отесанным колом, мальчик снова сидел в колибе.

— Свирель не забыл? — спросил его бача.

— Здесь она,— ответил тихо мальчик, указывая на сумку: свирель выглядывала из нее.

Бача всадил топор в бревно под самую крышу, свистнул псам, надел кабаницу, взял валашку и сумку, широкополую шляпу надвинул на самый лоб. Прищурив глаза, посмотрел из-под нее на кошару.

[1] Верхняя накидка.

Прибежали собаки. Неторопливо зашагал он по лугу, мальчик за ним. Они выгнали из кошары овец. Собаки ворча собирали отару в путь.

Они погнали овец вниз по склону и все время оглядывались на колибу. У леса их заворожило пение птиц. Крупные птицы, в основном ореховки и голуби, всполошенные, улетели с ближайших деревьев глубже в лес. От взмахов крыльев пригнулись ветви елей. Ишь, испугались, стражи леса! — подумал бача и поднял кулак.

— Марш домой! — заревел он.

Овцы побежали. Собаки принялись гнать их с еще большим остервенением, и языки колокольцев на шеях у овец затрепетали.

Первые лучи солнца засияли на стланике. Лился чистый, ясный свет, в лучах которого и впрямь горела свежая зелень.

Они двигались дальше.

На удивление день выдался прекрасный. Куда подевались ночные тучи? Бача в недоумении качал головой. Но предугадывать наверняка не спешил: боялся сглазить такое серебряное утро. Однако час спустя был уже совершенно уверен, что день и в самом деле выдался погожий. Голубой, как незабудка, небосвод сливался на горизонте с вершинами Татр, которые не покрывала сегодня пелена дождя. Бача остановился, оглядывая округу. Совсем близко, как на ладони, был Валаштянский холм, с одной стороны поросший лесом. Бача знал там каждое дерево, каждый камень. Весь этот край. Он знал о нем все. И теперь, когда он глубоко дышал, под порывами свежего ветерка вздымался и стланик.

Пес, что гнал овец справа, вдруг стал как вкопанный. Шерсть на нем поднялась дыбом. Другой тоже отделился от отары, и оба понеслись туда, где кончалась поляна. Добежали до рощицы низкорослых деревьев за небольшой скалой. Тот, что покрупнее, залаял. Потом оба завыли, беспокойно перебегая с места на место... Когда бача с мальчиком приблизились туда, возбуждение собак возросло: они рыли землю передними лапами, разбегались в разные стороны, но с полдороги снова летели назад.

Под молодой елочкой кто-то лежал.

— Лойзко! — заломил бача руки.

Мальчик боязливо заглядывал через плечо. Большими, как небо голубыми, глазами удивленно всматривался он в знакомое лицо погонщика Лойзко. Глаза Лойзко были пусты и холодны, рубаха темно-красная от крови, грудь прострелена, на лице печать смерти: рот полуоткрыт, губы синие.

Возле него лежал дробовик с прекрасно сработанным прикладом. А в траве валялось множество расстрелянных гильз, светло-красных и светло-зеленых.

Вот так-то лежит он тут под елочкой ранним летним утром, и солнце, чистое, словно умытое росой, уже не светит для него.

Плачущий мальчик потянул отца за рукав.

— Что это с ним?

А бача убитым голосом объяснил сыну, что Лойзко воевал и погиб, как это нередко случается на войне.

Мальчик понял: Лойзко мертвый, его застрелили на войне. Ведь если люди стреляют и убивают друг друга, то это война. Но что за люди убили Лойзко? И что сделал им Лойзко, такой добрый, улыбчивый человек?

И тут мальчик смутился: да ведь и Лойзко стрелял. Он не поверил бы этому, не будь тут дробовика и гильз. Сколько их повсюду валяется! Весь Лойзко усыпан был ими, как цветами. И все они были расстреляны.

Бача сказал сыну, что Лойзко уже ничем не помочь.

— Похороним его. И пойдем дальше, потому что овец нужно передать хозяевам. Мы в ответе за них, Янко. Что бы в деревне делали без овец? Люди доверили их нам, и мы обязаны сдержать свое слово,

потому что мы пастухи. Знай это, Янко, ты ведь тоже скоро станешь бачей. А теперь ты — моя правая рука. Потому-то знай, мальчик, мы должны свято исполнить свой долг. Но наш долг и похоронить мертвого. Так исполним все как положено.— Он вынул из-за пояса нож с широким лезвием и выкроил им первый пласт земли.

Гляди, гляди, Лойзко, на солнышко, мысленно обращался он к погибшему. Нет, не стану я закрывать тебе глаза, пока не вырою могилу. Погляди на него вволю, пусть оно тебе вечно светит. И потом, когда я упокою тебя на лугу, в этой вот земле, возьми у этого луга все, возьми с собой и тишину раннего утра, высветленного согласным молчанием солнца в затихающем мирно лете. Потому что твоя зима будет длинной...

Он выкроил ножом прямоугольник по длине лежащего человека, потом стал рубить землю валашкой и выгребал ее руками.

Мальчик совсем не уразумел того, о чем отец только что говорил ему. Ничего не понимал. Не улавливал связи между тем, как они должны были поступить с овцами, и тем, что он увидел здесь и что так взволновало его.

Собаки повернули стадо назад. Овцы паслись, звякали колокольцами. Те, что были поближе, поворачивали к пастухам головы. Взгляды у них были тупые, безразличные. Молча, лениво жевали.

В пастушонке неудержимо возрастало чувство обиды. Но кто его так обидел? И мальчик с укоризной поглядел на бачу, который ничего не сказал ему о том, что тут происходило, почему они так поспешно должны были уйти из шалаша и вот нашли здесь мертвого Лойзко. Не обмолвился отец и о том, какие беды ждут их впереди.

И как странно глядели на него парни в колибе.

А он ничего не знал — был глупый, как баран.

Но почему же все-таки отец ничего не растолковал ему, ведь он так любил с ним беседовать. Всегда только с ним и говорил. Даже когда они сидели всей семьей у очага. С ним одним он всегда и разговаривал, только к нему и обращался.

«Знаешь, Янко»,— говаривал, или: «Вот так было дело, Янко». А мать, сестры — все внимательно слушали. И все-то он объяснял ему, ничего не утаивал. Нет в лесу такого зверя, не летает там птаха и не растет цветок, названия которых он не узнал бы от своего отца.

А вот об этом почему-то не сказал ему. Именно об этом, а ведь это куда важнее!

Как тогда говорил бородатый?

Что отара уже не их?

А чьи же овцы пасутся на поляне?

Может, люди в касках и в самом деле придут сюда и всех овец перережут? А что в деревне станут делать без овец? Не будет овец, не будет ни молока, ни сыра, что же они станут есть?

А может, те люди и нас убьют?

При этой мысли у пастушонка голова пошла кругом. Ведь те, которые всех убивают, могут и их убить. Мальчик ничего о них не знал, и потому страх его возрастал. Да, эти в касках, наверно, способны на все. Он чувствовал, что они сильные и жестокие. Его с отцом убить — им раз плюнуть. Еще легче, чем Лойзко. У того хоть ружье было, а у них ничего. Оставили свое в колибе. Почему отец не взял карабин с собой, почему спрятал? Не потому ли, что те в касках сильнее его? И отец их тоже боится. Конечно, боится. Ведь если бы не боялся, то не ушел бы с пастбища.

Так вот, значит, как это было: Лойзко защищался, потому и стрелял из ружья. Они хотели его убить, а он отстреливался, потому что не хотел умирать.

— Кто убил Лойзко? — спросил мальчик.

Отец посмотрел на сына, увидел его широко раскрытые от ужаса глаза и еще крепче сжал в руках валашку.

— Не бойся, Янко, с тобой ничего не случится,— сказал он.— И не стой тут. Погляди, овцы разбрелись кто куда. Нужно их собрать. Глядишь, какая-нибудь заблудится и потеряется...

Ведь мы только и делали, что пасли овец. За что же нас убивать? Стали бы они стрелять в меня? Прицелились бы из ружья и выстрелили? И я стал бы мертвый, как Лойзко, не двинул бы ни рукой, ни ногой. А потом закопали бы меня, как мы Лойзко?

Прочь, прочь отсюда! И чем раньше, тем лучше! Куда угодно, только прочь! Прочь от мертвеца, неподвижных его глаз, окровавленной рубахи. Полуоткрытого рта с желтоватыми зубами, посиневших губ со струйкой запекшейся крови. Ведь то, что лежит на земле, это уже не Лойзко, а мертвец!

— Отец, пошли. Пошли отсюда!!! — закричал он, сотрясаясь от рыданий.

Бача отложил валашку и прижал мальчика к себе.

— Успокойся, Янко, успокойся...— приговаривал он тихо.— Ведь я же посылал тебя к овцам. Видишь, обуял тебя страх. Надо было слушаться! Не бойся, не бойся, ведь я с тобой. Да не гляди ты на него. Не гляди больше.

Бача отвел плачущего мальчика подальше за скалу. Усадил между низкими и густо растущими елями, которые создавали укромный уголок, и кликнул Бунду.

Это была самая крупная овчарка, и мальчик любил ее. Шерсть у Бунды лохматая и мягкая, и пастушонок уткнулся в нее заплаканным лицом. Согнувшись, он сидел под елью, а на коленях у него лежала широкая собачья голова. Он слышал отсюда, как бача рубил землю: то доносился хруст — это бача выкорчевывал толстый корень, или вдруг раздавался звон, когда острие валашки ударялось о камень. Мальчик слышал все это как из дальней дали, зато яснее ясного видел перед собой лицо мертвого Лойзко. Теснее прижимал к себе собаку. Умный пес лежал, опустившись на лапы и не двигаясь. Мальчик, если хотел, мог потянуть его за хвост, шлепнуть по голове или бесконечно долго чесать за ушами — собака покорно сносила все.

Другая овчарка тем временем опекала отару, и бача то и дело отбегал от ямы — вместе с собакой отгонял овец от леса.

Мальчик выплакался. В то рассветное утро он узнал, что такое смерть, и его детство уже беззаботно не скакало за овцами, но в страхе укрылось за елью, где лежал Лойзко, первый мертвый человек, которого он увидел собственными глазами. Слез уже не было, только щеки его горели, как в лихорадке.

Он отпустил собаку и потянулся за сумкой, в которой были свирель и черпак. Он вытащил черпак с намерением поиграть, но природный трудовой инстинкт навел его на мысль, что черпаком удобнее выгребать землю из ямы. Черпак был большой и достаточно широкий. Мальчик направился с ним к отцу.

А бача уже рубил с трудом, острие валашки совсем затупилось. Он копал землю ножом. Дело продвигалось медленно, но могилу нужно было вырыть определенной глубины.

— Черпаком выгребайте,— тихо сказал ему мальчик. Хоть и зарекался он, что не посмотрит в ту сторону, взгляд его нет-нет да непослушно забегал туда. Его знобило.

Бача взял в руки черпак и признательно посмотрел на сына. И скорей не оттого, что тот дал ему черпак, а оттого, что мальчик успокоился. Он взял черпак за резную ручку с фигуркой Яношика [1].

[1] Яношик Юрай (1688—1713) — словацкий «благородный разбойник», защитник бедных и угнетенных. Образ его стал легендарным.

Воздев сжатые в кулаки руки, Яношик задорно пляшет под виселицей одземок [1]. А внизу ему наигрывает волынщик:

Гей, к вам, цветы да травы, роща да поляна,
по траве разбойной я ушел от пана.

Все это было вырезано и выжжено на черпаке, который так нравился мальчику, что он никогда не расставался с ним. Часто он эту надпись «прочитывал», водя пальцем по непонятным словам. А бача, весело прищурив глаза, говорил пастухам:

— Гляньте-ка, наш Янко уже и читать умеет! Ну, а как дальше?

Ангел мой — свобода, белый свет просторный,
хоть не миновать мне виселицы черной...[2]

Пастушонок прижимал пальчик к деревянной ручке; мудреная вещь, должно быть, чтение. Куда мудренее, чем запоминать наизусть.

Яма становилась все глубже, солнце поднималось все выше.

Наконец, бача решил, что копать хватит. Взглянул на мертвого. Жаль мне закрывать тебе глаза, ведь солнце так ярко светит. Но придется, иначе не положено. Вот погляди: солнце смотрит с неба сквозь белесую мглу — и я чуток прикрою тебе глаза, совсем легонько, будто мгла. И осторожно приподняв тело Лойзко, он положил его в яму.

— С богом, Лойзко наш, да будет земля тебе пухом,— сказал он громко, не спуская глаз с лица убитого. Яма была для него коротка и узковата. Голова Лойзко была вдвинута в плечи, а плечами он упирался в края могилы.

Но все-таки она достаточно глубока, чтоб до тебя не добрались лисы. Ведь я даже не знаю, ворочусь ли сюда когда-нибудь, чтобы положить камень на твою могилу. Я вырубил ее глубоко, как только мог, подумал он и бросил первую горсть земли на покойного. Потом всем телом навалился на груду вырытой земли, и она посыпалась вниз. Он начал с ног и видел, как земля накрыла их наполовину. А сам продолжил безмолвный разговор с мертвым.

Прости меня, что сыплю на тебя землю и камни, которые, наверно, больно тебя ударяют и оскорбляют.

Никогда раньше не доводилось мне так вот хоронить человека, и теперь это не очень складно у меня получается. Мне больно видеть, как засыпает землей твои глаза и рот. Ну, так с богом и прости, если я чем ненароком тебя обидел.

Он уже засыпал могилу и кое-как оправил ее и тут заметил ружье, валявшееся в траве. Он поднял его и, опустив ствол, осмотрел гильзы. Обе были расстреляны. Он оставил их в патроннике. Легонько сдвинул ствол, и ружье, слабо щелкнув, распрямилось. Обеими руками он взял его за приклад и дулом вниз глубоко всадил в землю.

Солнце стояло уже высоко. Он натянул на себя кабаницу, надел сумку, подхватил валашку и, взяв мальчика за руку, зашагал. Пастушонок еще оборачивался посмотреть на то место, где они похоронили Лойзко. Бача шагал, втянув голову в плечи и сгорбившись. Он уже не оборачивался. Взгляд его был упрямо устремлен вниз, в Долину, куда они гнали овец. Собаки сновали взад-вперед: некоторые овцы прилегли на лугу, а теперь с трудом вставали — вымя у них было переполнено молоком. Они блеяли. Бача прикинул: если ничего непредвиденного не произойдет, они придут в деревню в два часа.

Только бы ничего не случилось, и мы благополучно добрались бы туда, размышлял он. Потом, все еще взволнованный нежданными похоронами, сунул руку за пазуху, нащупал зашитый в рубаху цветок папоротника и обратился к нему с такими словами:

---

[1] Словацкий национальный танец.

[2] Перевод В. Корчагина.

«Я был бы поистине рад, если б оказалось правдой то, что говорят о тебе. Так вот, цветок, я хотел бы что-то пожелать себе. а ты исполни мою просьбу. Ведь, как и положено, я сорвал тебя в полночь на святого Яна и всегда ношу с собой. И теперь в твоей власти доказать мне свое могущество. Убереги этого мальчика, моего сына, которого я сейчас веду за руку. Хотя бы ему одному сохрани жизнь, если нельзя иначе. Я, бача Ян, что сорвал тебя и знаю от отца, где ты растешь, обещаю, что никогда больше не дотронусь до тебя, навсегда откажусь от твоей помощи, счастья, которое ты даруешь, потому что нет для меня ничего дороже, чем жизнь этого мальчика. Ты понимаешь это, цветок, знаешь, о чем я прошу тебя».

Он чувствовал, как хрупкая травинка за рубахой сухо потрескивала под его пальцами.

«Я мог бы пожелать и больше, разве нет у нас права на счастье? Но я не буду просить тебя ни о чем, только сохрани жизнь моему сыну. Принято говорить: кто не умеет довольствоваться малым, тот не заслуживает и большего. И я вполне удовольствуюсь одним — и это главное,— ведь его жизнь означает для меня все. Я уже стар, цветок. Я срывал тебя каждый год и не могу пожаловаться, что в жизни у меня не было счастья. Оно было. И коль пожелаю, будет и впредь. Но я ничего не требую. Мне будет спокойнее, если будет счастлив мой мальчик, потому что без него я ничто. Если уж суждено кому-то из нас умереть, пусть это буду я. Есть у меня предчувствие. Недоброе предчувствие. Недобрая и вся эта дорога, плохо она кончится... Так помоги мне, цветок, помоги как можешь».

Он остановился, чтобы перевести дух. Пастушонок ждал рядом, понурив голову и глядя в землю.

Бача вытащил руку из-за пазухи. «Спасибо тебе, цветок папоротника»,— поблагодарил он его, но нельзя сказать, чтобы это придало ему больше надежды. Тем более что вскоре повторилось то, что случилось с ними менее часа назад. Собаки остановились, шерсть у них вздыбилась. Они снова что-то учуяли. Наверно, снова наткнулись на мертвецов? Так оно и есть! Надрывно лая, они опять бросились к лесу.

На этот раз пастушонок остался при отаре на лугу, а бача вслед за собаками вошел в заросли густого ельника, куда хватило сил доползти смертельно раненному старшему сыну мельника. Сердце бачи сжалось, когда чуть поодаль собаки завыли и над его младшим братом, совсем еще мальчиком. Во лбу его зияла рана, словно он выстрелил сам в себя. Боже праведный! Глаза бачи затмило слезами. А кто еще там лежит? Это кто?! Кто это?!

Он бросился из леса, ноги у него подкашивались. Спотыкаясь, брел он за своим стадом, которое мало-помалу спускалось вниз, а куда вниз? Бежал, чтобы воротить его, потому что где-то у самого края луга беспомощно стегал своим ореховым прутом пастушонок, будто траву водой кропил!

Бача взревел на собак. Те обежали стадо и, оглушительно лая, сгоняли овец к дороге; овцы в смятении сбились в кучу. Те, что были позади, двинулись по дороге, одни затрусили вперед, другие пустились наискосок по склону.

Бача, ноги которого вновь обрели силу, загонял овец обратно, вскоре все они были в сборе, а собаки с гордо поднятыми головами кружили вокруг сбитой отары.

Измученный бача опустился на траву.

— Присядем на минутку,— сказал он мальчику. На лице его блестели капли пота. Ладонью смахнул пот со лба, сунул руку за пояс, достал флягу с водой. Долго пил маленькими глотками, словно вода обжигала его, как огонь.

Подозвал сына к себе, пристально глядел на белые спины овец перед собой. Временами они казались ему гребнями волн. Передви-

гаясь по лугу, они ослепляли его, точно само солнце, которое между тем немилосердно палило.

Голову сверлила одна и та же мысль: если идти на север, то есть неподалеку пещера в скалах. Есть такая пещера, где я мог бы его спрятать. Она сухая и достаточно просторная, чтоб поместились в ней и несколько овец, которые я наверняка оставил бы при нем, а также собака. Оставил бы ему весь хлеб и сыр, вода тут рядом, стекает струйкой со скалы из маленького родничка, величиной с ладонь, укрытого под елью.

Свернешь направо в скалы и почитай через пять минут ты на месте. Мальчик останется там в полной безопасности, ты же продолжай с отарой спускаться вниз.

Но потом ты должен вернуться. Во что бы то ни стало. Ведь если ты не вернешься, мальчик погибнет. Он не сумеет ни найти дорогу вниз, ни путем подоить овец. А что, если он не удержит их в пещере, если овцы оттуда уйдут? Как долго он сможет там пробыть?

Ну, а если ты не вернешься?

Пес, пес приведет его назад, приведет к людям.

Он заскрипел зубами.

Разве могу я целиком полагаться на собаку?

Что, если... они уже ушли, продвинулись в горы через Жабью долину и в деревне их задержалось совсем немного. Вот тогда бы нам повезло. Может, мы и проскочили бы незамеченными.

Какой же ты чудак, бача, рассудил он вслед за тем. Куда ж проскочишь с этаким-то стадом? Уж лучше думай, что их там полна деревня.

Так зачем ты туда прешь?

А куда же мне идти? Куда идти с ребенком? Сидеть в шалаше и ждать, когда они сами придут и зарежут его, как овцу?

А теперь? Что делаешь ты теперь, бача? Разве не лезешь к ним прямо в пасть, как глупый баран?

Лезу. Может, я и в самом деле лезу к ним в пасть. Но я еще смогу как-то выкрутиться, глядишь, подвернется случай их провести. Ведь я просто обязан доставить в деревню и мальчика и овец. Мальчика — матери, а овец — хозяевам, хотя многих из них, как я уже видел, нет в живых. Но их жены и дети, возможно, живы и им очень пригодятся эти овцы.

Только ты не очень-то мудри над этим, приятель, спорил он сам с собой. Ты исполняешь свой долг — вот и все.

Стало тебе худо, потому что с самого начала ты ничего толком не сделал. Вместо того чтобы ночью выспаться, ты выпил добрую флягу паленки. Уж потому не нужно было тебе столько пить, что при этом ты ничего не ел. И теперь ты попросту слабак. А в твоей силе так нуждается мальчик! Значит, пока не поздно, бери себя в руки и спасай хотя бы то, что еще можно спасти.

Нет, ты не расстанешься с ним. Не посмеешь!

Встань и иди!

Теперь какую-то часть пути они поднимались: им предстояло одолеть перевал. Узкая тропка змеилась между скалами; едва различимая глазу, она то и дело терялась средь камней, чтобы вдруг обозначиться в ложбине.

Овцы знали эту дорогу, они уже не раз проходили здесь. Склонив головы, осторожно ступали друг за дружкой. Как-то раз овца сломала тут ногу. Жалобно блеяла. Остальные остановились и безучастно на нее глядели, потом опять склонили шеи и еще осторожнее зашагали, словно поняли, что и с ними такое может случиться.

Сколько же лет назад это было?

Он взвалил блеющую овцу на плечи и нес ее до самой деревни. Молодой и сильный, он вынес бы тогда овцу хоть из Чертовой Ямы.

Легкие у него были здоровые и чистые, как новый котел. В те поры ему нравилось все перетаскивать, то ли дрова, то ли воду — и всегда с верхом, нужно было дать выход огромной силе.

Теперь уж совсем не то, пришло ему в голову. За эти годы ноги порядком отяжелели. Дыхание сократилось, стало прерывистым. И руки совсем другие, не то что в былые годы.

Он крепче сжал маленькую ладонь сына. С той минуты, как они снова двинулись в путь, бача вел мальчика за руку, хотя тому это совсем не нравилось. Он упирался, хотел идти сам, твердил, что когда они шли на пастбище, то без всякой помощи одолел перевал, так почему же не может сделать этого теперь?

Говорил пастушонок отрывисто и быстро. От крутизны дыхание стало неровным, но желание взбираться, лезть в гору в нем так и кипело.

— Не торопись, время есть,— унимал его отец.

— Места здесь не обрывистые... Только вверх и вверх. Не пугайтесь, не упаду. Отец, вы что, боитесь?

— Пускай овечки идут первыми! Мы все равно их догоним,— сказал бача, думая лишь об одном, что за перевалом тропка станет доступной прицелу пулемета. Стоит нам подняться, как они возьмут нас на мушку. Перевал хорошо видно с Широкого. И если они в деревне, у них там наверняка наблюдательный пункт.

Они благополучно прошли перевал и по крутому склону стали спускаться вниз. Овцы осторожно ставили передние ноги и переступали, странно прогнувшись в спинах. Под ними лежал лес. Когда они пройдут через него, то окажутся уже на задних лугах. Скоро они зашагали меж вековых елей, черных и могучих. Их окружила тишина, которая царила тут с тех давних пор, как густые и веселые заросли молодняка сменились величественным темным лесом.

Бача вдыхал свежий аромат хвои и смолы, перемешанный с неясными запахами земли, грибов и листвы. На какое-то мгновенье ему даже полегчало, будто старый и мудрый бор мог навсегда укрыть тут и стадо и его самого.

Нет, здесь не могли раздаваться выстрелы. Тут, в этой первозданной тишине древнего храма природы, ничто не могло нарушить вековой покой.

Он позавидовал заросшим седым мхом деревьям, незыблемой надежности их глубоко проникших в землю корней, вывороти которые не под силу никакому ветру.

Нет такой бури, которая сломила бы эту громаду, размышлял он. Взглянул на сына. Хотел бы я быть одним из таких деревьев, а он рос бы возле меня.

Пастушонок шагал легко. Нашел красивый гриб с темной шляпкой, огромный, как ладонь бачи. Он нес его с гордостью, то и дело оглядывался в надежде найти хотя бы еще один такой. Нет-нет да и убегал от отца, задирая голову, всматривался в кроны самых высоких деревьев.

— Ну-ка дай мне свирель,— сказал ему бача, чтобы пастушонок перестал сновать вокруг да около.

Мальчик с радостью подал ему свирель, и бача принялся дуть в нее, прикрывая пальцами то одно, то другое отверстие. Нежные звуки свирели разносились между елями, и те словно насыщали мелодию своим бархатом.

Когда достигли они задних лугов, пастушонка сморил голод. Он попросил у отца сыра.

— Что ж ты раньше ничего не сказал? — оживился бача.— Я-то совсем запамятовал.

Сразу потянулся к сумке, вытащил оштепок, разрезал его на желто-белые кружочки и стал подавать их мальчику.

— Ты давно есть хочешь? — выпытывал он у сына.

— Нет, только теперь,— ответил мальчик, проглатывая вкусный копченый сыр золотистого цвета.

Бача ласково на него поглядывал и неустанно потчевал, отрезая все новые и новые кусочки.

Как мы, собственно, можем защитить себя? Да никак. Кроме валашки и этого вот ножа,— посмотрел бача на нож с широким лезвием и ручкой из оленьего рога,— у меня нет ничего.

Нож совсем затупился, когда бача копал могилу, и годился разве что сыр нарезать.

Да не все ли равно, есть у нас что или нет, подумал он. Когда нас схватят, первое, что они сделают, отберут этот нож и валашку. Отдам без сопротивления, может, они хотя бы не тронут мальчика. Не будь его здесь, они так легко бы не отделались. Он представил себе, как всей тяжестью тела обрушится на первого же солдата, ведь это может быть и офицер, их самый большой начальник, как он вонзит ему в грудь нож,— и лицо ему свело от отвращения. Он сплюнул, потому что увидел человечью кровь, красную человечью кровь на своих руках...

Война.

Война — это когда люди убивают друг друга.

И тут он вспомнил, как некогда выпытывал у отца, сколько тот убил на войне вражеских солдат. Было любопытно, убил ли отец хоть одного. Уж и не помнит сейчас, зачем ему понадобилось это знать, и, если бы отец признался, стал бы он смотреть на него по-другому?

Перед глазами бачи вдруг ясно встала давно забытая картина, он увидел помрачневшее лицо отца, услышал его голос:

— Об этом не спрашивают, нет.

Так, значит, нет. Или да? Да и как могло быть иначе.

Больше к этому они не возвращались. Тогда он еще не сумел уловить долгий, тяжелый отцовский взгляд, которым во время бури тот окидывал небеса, а их с такой яростью исполосовывали молнии, что овцы в кошаре сбивались в кучу.

— Как тогда в шестнадцатом...— повторял отец.

Эти слова он всегда говорил во время бури. И голос у него становился каким-то глухим и враждебным, и сам отец бывал злой и неспокойный. Но не на бурю гневался он, отец любил, когда бушевали стихии. Это были самые захватывающие моменты жизни в горах, когда все громыхало и гудело, когда бесновался водяной шквал. И молодость бачи походила на такой вот шквал.

Он вздохнул.

И поймал себя на том, что сегодня уже в который раз вспоминал о своей молодости — раньше с ним такое не часто случалось. Цепь воспоминаний тянулась до бесконечности. Одна картина сменяла другую, и дорога, довольно однообразная, убегала быстрей.

Да, так оно и было. Накануне первой мировой войны мобилизовали много парней из деревни, и большинство вернулось оттуда без руки или без ноги или вообще не вернулось; полегли они в далекой, чужой земле, осталась после них на почте груда почтовых открыток— письменные свидетельства их любви к родной земле, к своим близким. В некоторых содержались советы женам, что где засеять, какого коня продать, как хозяйствовать,— письма эти были полны забот о хлебе, о детях. Нередко написаны они были чужой рукой и по-венгерски. Слова, тяжелые, как свинец, как свинец в груди...

И тут вспомнил он Цеппелина. Как странно бывает в жизни: со временем он забыл многих односельчан, дядьев и теток, которых жизнь ничем не выделила среди других людей; неизменно все они предавались забвению, а Цеппелин, жалкий, всеми отвергнутый, бе-

зумный Цеппелин жил в его памяти так же, как и собственный отец. Да, странно устроен этот мир!

Тот человек вернулся с войны целым. Не потерял ни рук, ни ног, и глаза у него были зрячие — но он постоянно говорил только о войне. Был он на Итальянском фронте. Сиживал еще у старого Якуба в корчме вместе с другими ветеранами — спервоначалу-то все рассказывали только о войне, даже те, кто там не бывал, повторяли то, что слышали от других,— и нет-нет вспоминал свои ужасные истории. Нес он особую службу: был капралом спецкоманды, назначение которой было добивать раненых.

— Обо всем забыл я на Итальянском фронте,— выкрикивал он в подпитии,— только жрать да бражничать там научился! Tessék! [1] От жены я ушел, дети прогнали меня! Tessék kérem szépem![2]

Его слушали с тем молчаливым участием, которое испытываем мы к потерпевшим людям. И ему подливали, потому что много было таких вот парней, которые на время забыли обо всем, кроме как наливаться. Однако человек этот был малость не в себе и, когда на него находило, бухал кулаком по столу и выкрикивал:

— Цеппелинки, аэропланки, бум, бум, бум!

Шли годы. О войне стали забывать. И в корчме заводили теперь совсем другие разговоры. Перестал занимать всех и Цеппелин со своими воинственными выкриками, его сразу разучились понимать. Никто ему уже не наливал. И дети, что родились в мирное время, завидев его, покрикивали:

— Цеппелинки, аэропланки, бум, бум, бум! Tessék! Tessék! Цеппелин! Цеппелин! Цеппелин!

Он приходил в ярость. Бегал за ними, швырял в них камнями. Болела у него голова. Когда кто-нибудь его окликал, он вздрагивал, закрывал руками давно небритое лицо. Он боялся людей. Никого возле себя долго не выносил, кроме детей, которые его больше всех и мучили. Припускался за ним целый выводок:

— Дяденька, а кто выиграл в той войне?

Он начинал теребить бороду, щелкал пальцами, мотал головой, наклонив ее набок. С таинственным видом прикладывал палец ко рту:

— Тсс... мы. Мы ее выиграли. Сначала наступали гусары, гонведы[3], за ними шли мы. Сколько раненых оставалось после этих гусаров гусарских... Они прятались от нас под пушки, под груды мертвецов, где кому придется! Но мы находили их везде. Никому еще не довелось победить смерть! Нет! Нет! Потому что обороняли ее мы — против тех раненых. Надежно обороняли! Разве могли они победить саму смерть?

Дети, те, что давно знали эту историю, крутили головами, а те, что поменьше, слушали ее разинув рот.

— Как бы мы выиграли войну, если бы не помогали смерти?

Потом мысли его снова возвращались в водоворот боя. Он разводил руками, отдавал команды. Дико смеялся, в остервенении скрипел зубами, хватался за голову.

— Я, капрал спецкоманды маршбатальона армии Киприан Дермек. Я несу смерть. И иду вперед. В ногу. В ногу! Ревут, мечутся на земле, пальцы кусают от боли. А я колю их штыком. Вправо, влево. В грудь, в шею, в живот. Куда придется! Они вгрызаются зубами в приклад, корчатся в предсмертных судорогах и погибают под моими руками. Сапоги у меня в крови, и я сам хожу по колено в крови. Мама кричит мне со двора: «Что ты делаешь, Кипро?» — «Ничего, мама, ничего. это тебе только кажется!»

Луг — такой зеленый, кровью окропленный... Гусары на конях

[1] Пожалуйста! *(венгр.)*

[2] Пожалуйста, сердечно благодарен! *(венгр.)*

[3] Гонвед — название венгерской армии в середине XIX — первой половине XX в.

проскакали вперед. Цок. Цок. Галопом. Следуют далее. А сколько тех бедолаг полегло в поле!

«Ты погляди, Кипро, как он убегает. Подстрелили его в ногу. Он волочит ее по земле. Падает, встает, падает, снова встает! Ружье отбросил в сторону — знать, отвоевался. Ишь, как болит у него нога! Понимает теперь, какая это боль, если выстрелить из ружья. А я тут как тут! Он воззрился на меня. Глаза как у совы. Какой солдат! Совсем еще зеленый! Падает передо мной на колени. Руки заламывает: «Отпусти меня, парень, видишь, получил я кайзеровскую медаль!»

А я вонзаю в него штык аж по самую рукоятку. А он ухватился за эту рукоятку, все тащит, тащит из груди этот штык! Боже, какая боль! И умирает! Все умирают! Напрасно грызут, ревут и брыкаются, просят, обнимают мне сапоги. Тут лежать! Здесь! Там! Кровь течет у них изо рта! Хватит! Хватит! Вот вам! Вот вам медаль! Хватит уж!

— Стой, Киприан! Куда бежишь?!

— Наверх! Цеппелинки, аэропланки! Бум! Бум! Tessék!

Он валится в пыль, хрипит и кулаками колотит по земле.

По лицу, искаженному гримасой боли, текут слезы. Стайка детей один за другим тоже валится наземь, и все ревут, пока какой-нибудь постреленок не завопит:

— Дураки валяются на земле — значит, будет дождь!

Они разбегутся в разные стороны, а деревенский юродивый, капрал спецкоманды маршбатальона австро-венгерской армии, остается лежать в пыли, детям на смех.

Взрослые милосерднее. Дают картошки, молока и каши. Так что с голоду он не умрет.

Мальчик доел, допил воду из фляги. Он шел рядом с отцом, маленький, совсем потерявшийся среди бескрайних, волнистых лугов и глубоких, дремучих лесов.

— Когда придем домой, мамка запечет нам уточку. А мы ею полакомимся,— подал голос бача.

— Утку?

— Да, уточку. Запечет ее нам к праздничному обеду. Ты съешь одну половинку, а мы другую. Ну как, одолеешь?

— Думаю, что нет...

— Так уж и нет! Увидишь, какая будет ароматная! Мягкая, как масло, с хрустящей корочкой.

— А где мы возьмем утку? — спросил пастушонок.— Ведь мы не держим уток!

— У мельника,— ответил бача.— Он должен нам за пастьбу.

— Тот большой черный баран,— махнул мальчик в сторону отары,— тоже мельника, да?

Бача кивнул. Они шагали дальше. Вдалеке на лугах сушилось последнее сено. Не будь убитых, на которых они наткнулись по дороге, все было бы как всегда. Только вот косцов, вечно галдящих из озорства, почему-то не было. Кто знает, живы ли? И будет ли кому сгребать это сено?

Бача был рад, что завел речь об уточке. Нужно было хоть как-то позабавить мальца, отвлечь его. Сам же думал о том, что убьет каждого, кто только посмеет его обидеть...

С лугов в поле шла сухая проселочная дорога, стремительно падающая вниз. Она была глубоко размыта весенними водами, а густая, чаще всего орешниковая, поросль укрывала ее с обеих сторон.

В этом зеленом туннеле кустарник, как стена, отражал звуки колокольчиков, которые сливались в единый, какой-то тревожный звук, словно звонил набатом огромный тяжелый колокол.

Что это овцы так заторопились, топоча своими копытцами?

Они уже почувствовали близость деревни, томит их жажда, подгоняет молоко в переполненном вымени, и они рады были бы, добравшись до хлевов, завалиться наконец в солому. Бача и пастушонок бегут за ними, едва поспевая переставлять ноги, дорога так и несет их вниз. А куда? К какому несчастью?

Овцам что, им все едино. Гонят в деревню, ну что ж, пускай в деревню. Почему они не двинулись вверх, на Уврат и не спустились оттуда вниз, обойдя при пастьбе весь Валаштянский холм?

Потому что они овцы, а он их хозяин.

— Да не гоните вы так! — прикрикнул бача на собак.— Потихоньку, дьявол вас забери!

Но стремительно уносившаяся вниз дорога гнала их сама.

Когда они сойдут на последние луга, перед ними встанет Широкое — длинный, пологий скат, под которым с другой его стороны лежит деревня. Вот выберутся они из этого туннеля и как на ладони увидят все ее дома.

Да и пастушонку уже не терпится быть дома. Теперь, когда они уже близко, он радовался предстоящей встрече с матерью и сестрами, праздничному обеду, который устроят в доме по случаю их прихода из шалаша. Так бывало всегда, когда отец возвращался один, еще праздничнее будет, когда они вернутся вдвоем. Будет жареная утка, будет к ней и вареная брусника. Мать, сестры, бабушка усядутся за большой дубовый стол в кухне. Станут его расспрашивать, как было в шалаше. Ну конечно же хорошо. А мясистые куски утятины с картофельным пюре и брусникой тоже будут куда как хороши! Захотелось ему брусники. Сыр, который он ел, был сухой. Заесть бы его сладким желтым яблоком, что росли за Оградом. Уж столько он их нарвет, запихает себе за пазуху, сядет под яблоню и примется уплетать за обе щеки. Что и говорить, совсем другая еда, не то что сухой оштепок!

— Отец,— окликнул он бачу,— те желтые яблоки, что за Оградом, видать, уже созрели?

— А почему бы нет? Вот видишь, Янко, если бы не взял я тебя с собой на пастбище, ты бы уже лакомился яблоками.

— Ну, если так, тогда бы я вообще их не стал есть. Как вы думаете, отец, мама удивится, когда увидит нас дома? Мне кажется, она нас даже и не ждет...

— Почему же, конечно, ждет. Каждый день нас выглядывает. Боится, как бы с нами чего не случилось.

— А что с нами может случиться?— осмелился спросить его мальчик, и бача понял, что сын его начисто забыл про войну.

Кто знает, о чем он, собственно, сейчас думал. Возможно, представлял себе деревню, избу, где появился на свет. Таинственный, еще не обследованный чердак. И поток, полный раков и рыбы. Чуть повыше мельницы парни ловили их прямо руками. Верил, что и он когда-нибудь научится, хотя еще и не пробовал. Виделись ему радужные форели с цветной полосой от головы до хвоста. Особенно много их после обильных дождей, когда вода в Белом потоке похожа на кофе с молоком. Вода поднимается, масса ее низвергается в долину, принося и косяки форелей из высокогорных ручьев. Покуда вода не очистится, а длится это зачастую по два-три дня, парни бродят вверх по течению, шарят под камнями, ощупывают дно, и когда скользкая рыба оботрется об их руку и шмыгнет к самому берегу — там уж остается только крепко ухватить ее и выбросить на траву.

Если б он это умел! До сих пор не удавалось даже рака из-под коряги вытянуть. А рак ведь не уходил. Только, хватая его, пастушонок всегда пугался — рак двигал твердой клешней, глядишь, и ущип-

нет за палец. Но он все-таки решится! Выберется за раками спозаранку, пусть себе щиплют на здоровье, наловит их полное ведро. И когда всей семьей они съедят жареную утку, то станут угощаться раками. А может, посчастливится ему поймать и скользкую форель, пеструю или с красноватыми точками.

Вид груды раков, которых вынимают из горшка, выламывают клешни и высасывают из них нежное мясо, его заворожил. Домашние сыты, довольны, спокойно улыбаются — мама, сестры и отец. Вареные раки им по вкусу. На столе — груда клешней, а в горшке раков еще вдосталь.

«Это все наш Янко»,— слышит он, как хвалит его отец. «Раз у нас есть Янко, мы не помрем с голоду»,— слышит он и одобрительные слова матери. Мальчик порадовался своим планам. От мысли, что он идет в деревню, на душе стало светло. Хорошо, что есть и деревня, и поток, в котором столько раков и рыбы. И все вокруг показалось ему хорошим. Хорощ и лес, хороши луга, скалы, небо, хороши и овцы, всякие звери и птицы, хороши и облака, самые разные по величине и форме. И дождь, что оттуда идет, тоже хороший, потому что после дождя хорошо растет трава, которая тоже хороша, ведь ею кормятся овцы, хороши и грибы, что в траве растут. А малинники и черничники еще лучше!

Словом, все, о чем он думал, представилось ему таким хорошим, что лучше и быть не может. И наконец, есть еще и Валаштянский холм, а на нем их шалаш, куда они по весне вернутся. А лучше всего быть бачей, а им он обязательно станет, когда вырастет. В самом деле, разве не огромное счастье, что он может стать бачей?

И мама у него хорошая. Вечером, когда он будет засыпать в своей постели, а в комнате будут тихо позванивать часы с гирями, она будет поглаживать его по лицу — никак не нарадуется, что они вернулись, потому что ей было без него грустно. Хорошо и дома. Мама ведь так любит его, а он все про шалаш да про шалаш...

Ей было без него грустно. Все время она думала о нем.

«Теперь мы целую зиму будем вместе»,— скажет он маме, чтобы отогнать печаль. А весной мы и маму возьмем с собой на пастьбу!

Его слегка опечалило, как это он не подумал о маме раньше.

Они вышли в луга, и осталось им только подняться на Широкое, чтобы увидеть деревню, лежавшую в котловине.

До вечера еще далеко, раздумывал мальчик. Гляди, как высоко стоит на небе солнце! Еще сегодня схожу, пожалуй, за раками и поймаю хоть одного. Посмотрим, кто кого испугается!— грозился он.

И тут смутился. Вспомнил, как было в последний раз.

Тихая гладь реки. Он наклонился над ней. Руку по локоть сунул под корни старой вербы, в том месте, где в потоке кружит вода... Ничего не видит, только чувствует твердый панцирь рака. Боится схватить его и вытащить — кто знает, рак ли это, что живет в темноте под корнями деревьев! Все может быть... змея или, не дай бог, пиявка.

У подножия Широкого отара растянулась, они неторопливо шагали за ней. На том холме деревьев не было, порос он лишь редким кустарником. С другой его стороны видны были полоски полей. Когда они поднялись на самый верх, размечтавшийся мальчик увидел дым, редкий и серый, поднимающийся по ветру, как легкий туман. Он возносился к ясному небу от черных балок дотлевающих изб.

В глазах у мальчика еще был сон — знакомая картина деревни. Его сменило какое-то видение. Там, где должны были выступать высокие щипцы крыш, была глухая пустота. Где избы, закрома, амбары, сараи, где колокольня, мельница, церквушка и их дом? Где вся деревня?

Мальчик с недоумением посмотрел на отца, может быть, он каким-то непонятным образом перепутал дорогу? Куда они пришли?

Овцы нерешительно спускались с холма. Ступали осторожно. Бача, шатаясь и широко раздвинув руки, словно пытаясь как-то удержать равновесие, потащился за стадом.

Мальчик побежал вслед за ним.

И тут они понеслись оба одновременно, насколько позволял крутой склон. Овцы с протяжным перезвоном вместе с собаками всполошенно ринулись вниз.

С Долины подул мирный ветерок. Сеялся дым, словно его разгоняло звяканье овечьих колокольцев. Деревня выгорела дотла. Верно, как яркий факел, полыхала целую ночь. И догорала днем, покуда что-то еще могло поддерживать страшный огонь, который немилосердно поглотил все.

Избы, хозяйственные строения, хлева, амбары, сеновалы, поленницы дров на зиму, прялки, колыбели... Все, что было из дерева, обратилось в пепел: кресты и фигурки святых, искусно вырезанные из липового дерева и пестро раскрашенные, все ткани из грубой или тонкой пряжи, белой как снег. Сгорели бесценные вышивки, полопались, рассыпались и распались изделия из обожженной глины — кувшины, молочники, миски, вазочки с полевыми цветами. Паника, которая там поднялась, рев скота, привязанного в стойлах и горевшего заживо, лай собак и стрекот автоматов, истошные крики женщин и детей — все это тоже словно бы уже сгорело.

Они прибежали к месту, где раньше стояла их изба. Сгорел и дощатый забор, и кое-какие деревья за Оградом. С яблонь, которые также были охвачены пламенем, опали все яблоки. Веял тихий ветерок, и пепел равномерно оседал. Ноги утопали в нем, как в песке, мягком и теплом.

Эти сероватые лепестки словно обволокли мозг бачи — все мысли его заполонило пожарище. Здесь обозначился край завалинки, а здесь скрученный, свернувшийся от жара и почерневший от копоти котел, тут скоба, торчащая из грифельно-черной обуглившейся балки.

Мальчик крутился на месте, словно бы гадая, с какой же стороны возникнет их побеленная хата с покатой крышей, крутой, как высокогорная поляна, с маленькими оконцами, за которыми цветет герань, белая и розовая. Он все еще не мог поверить тому, что видели его от страха и удивления широко раскрытые глаза.

— Где мама? Где все? — выкрикнул он, поведя руками, и в отчаянии зарыдал. Он кричал так, будто вдруг ослеп.

Бача прижал ребенка к себе, нагнулся к нему. Поднял с земли яблоко. Одно из тех, о которых мальчик мечтал.

— Пожуй, пожуй яблочко...— впихивал он яблоко в рот сыну.

Послушный мальчик откусил от него, и сразу же выплюнул, и снова ударился в плач. Крик его резал, как бритва. Бача в отчаянии поднял его на руки, потряс, но тут же прижал к себе, к своей груди — все было напрасно.

На дороге, сбившись в кучки, блеяли овцы. Запах дыма вытеснил запах хлевов, которые они искали. В смятении бегали они взад-вперед, сталкивались на бегу с другими группками овец, которые тоже тщетно пытались разыскать свой хлев. Сухо, глухо тренькали на шее у них колокольчики. Из канавы всполошенно взлетел красный петух, закукарекал и, прихрамывая, скрылся где-то между остывшими развалинами. Если не считать стайки голубей с мельницы, непрерывно кружившихся в воздухе, это было единственное живое существо, которое бача нашел в деревне. Лицо его оцепенело, как потрескавшаяся скала. Он отступил от мальчика. Взметнул вверх бич, замахал, закрутил им над головой. Одновременно из горла его вырвался приду шенный крик, крик отчаянья, злобы и бунтарства.

— Аоаоээ...— неслось по Долине вместе со щелканьем бича.— Аоаоээ!!!

Он уже ничего не боялся. Давал понять, что он тут, в деревне? Призывал тех, кто еще оставался в живых, он, бача Ян, так долго проживший в одиночестве, а теперь крепко затуживший по людям?

Верно было лишь то, что на зов его никто не отозвался. Деревня онемела больше, чем старое кладбище. Там надписи на памятниках хоть что-то говорят, свидетельствуют о том, что кто-то был, что-то было. На этом пространстве осталось еще меньше. Тут было только неблагодарное присутствие гибели, которому словно бы ничто не предшествовало.

Умные собаки отозвались на повеление бича. Перестали выгребать из-под головешек обгоревшие кости. Принялись собирать разбредшуюся отару. Они гнали перепуганных овец прочь от пожарища, а бача потащил за ними и упирающегося мальчика, ноги которого будто бы вросли в черную, выжженную землю.

Они миновали голые закопченные стены мельницы, услышали стук праздно бегущего колеса. На гати у грязной воды, полной сажи и обгорелых кусков дерева, сидели утки.

Опять засвистел бич.

— Аоэаоээээ!!!

Стая в ужасе перелетела на противоположную сторону гати.

— Перестань! — резко тряхнул бача мальчика за плечо, увидев, что тот все еще плачет.— Прекрати! Перестань! Наверх! — заревел он на собак.— Наверх! Дьявол вас побери! На лаз[1]!

И так захлопал бичом, что заложило уши. Повернул стадо и через чащобу, наискосок вверх, погнал его самой короткой дорогой. Они продирались через заросли кустарника и ельника, падали и вставали.

Вместе с ними сквозь стену жесткого и колючего ельника и сплошного кустарника пробивались собаки и овцы.

Этот день будто бы никогда не кончался. Солнце медленно плыло по небу, светило сквозь белесую дымку, словно бы нарочно придуманное для этого неблагодарного мира.

Долго тащились они лесом по теснинам, по обрывам и горным лугам. Людей не видно было и следа... Только дикая природа окутывала их своим молчанием. Не попадалось ни тропинки, ни спиленного или срубленного дерева, ни сеновала, ни кормушки для зверя не встречали они на лугах, через которые местами проходили, что вселяло бы хоть какую-то надежду на встречу с человеком.

Всякий раз, когда они выбирались из леса, баче казалось, что недостает овцы. Он догадался, что они идут слишком быстро, и некоторые овцы отстают в лесной тишине. Если б у него так не гудело в ушах, если б не приливала к лицу кровь, если б не мальчик, который, не переставая, плакал, если б не сжатые кулаки и затуманенный взгляд, если б он в состоянии был прислушиваться, то, верно, услыхал бы звон колокольчиков потерявшихся овец, их отчаянное блеяние.

Они гнали стадо все быстрее и быстрее. Только прочь отсюда. Прочь из этой тишины, где остался один пепел. Бача надеялся, что найдет на лазе людей. Надеялся, что найдет там жену с детьми. После того что увидел, он забыл, что он бача. Он держал за руку сына и гнал овец так быстро, как только поспевал мальчик. Когда переходили скалы, он нес его на руках, а на спусках сажал себе на спину. И лишь тогда передохнул, когда увидел лаз, когда разглядел первые избы.

Встретили их голосистым лаем собаки. Бросились наперерез, на бегу сцепились с собаками бачи, огромными, как телки. Грызлись, дрались, брызнула кровь. Он кинулся между ними, тупым концом

[1] Горное селение.

валашки стал лупить по неподатливым собачьим башкам. Изрядно покусанные, собаки постепенно отступали. Уходили с громким воем, поджав хвосты. Была среди них и немецкая овчарка, шея у нее кровоточила, уши изодраны в клочья. Из ближайших домов выбегали селяне и, пронзительно крича, загоняли во дворы взбесившихся псов, спешно сажали их на цепь.

Овцы заторопились к потоку. Встали вдоль берега длинным рядом и жадно пили.

Между тем стали собираться и настороженные жители из окрестных домов. Были это большей частью женщины и старики и полным-полно детей. Многие были знакомы баче. Он пожал руку старику в длинном овчинном кожухе. Это был дед Матей, который приветствовал бачу дрожащим голосом, голосом глубокой старости.

— Я привел стадо,— сказал бача так громко, чтобы слышали все, даже те, что стояли у домов,— не знаете, что случилось с нашими людьми?

Женщины опустили головы, некоторые прикладывали к глазам платки. Они столпились вокруг бачи, рассказывали, перебивая друг друга, причитали, заламывали руки.

— Несчастье!

— Страшное несчастье!

Обнимали мальчика, гладили его по голове. Одна прибежала с огромным ломтем ржаного хлеба, намазанным медом.

Бача оперся о валашку. Голова и плечи у него поникли. Тупо глядел в землю.

— Видели мы, бача, зарево до половины неба,— сокрушенно проговорил дед Матей.— Побежали в деревню двое наших, родом оттуда. Еще не воротились.

Он показал на мальчика, недвижно стоявшего с куском хлеба в руке. Мед стекал у него по пальцам и капал на землю.

— Это твой парнишка? — справился он у бачи. Тот молча кивнул.

Мед стекал с ломтя уже густой струйкой. Мальчик поднял глаза от земли и слушал, приоткрыв рот. Глядел на старика.

— Поднимемся со стадом выше, на Козаре. Там больше места,— сказал бача.— Поделим овец между вашими людьми. Пусть придут все.

Он снова обернулся к отаре. Опять над головой у него засвистел бич, который он словно бы уже и не собирался выпускать из рук.

Заревел на собак:

— Гоните наверх, сукины сыны! Гони! Ты, чертово отродье, гром тебя порази!

Бич громко хлопал, щелкал. Собаки бросились к овцам, оттеснили их от потока и погнали по каменистой дороге наверх.

— На Козаре! — позвал бача и людей, которые уступали им дорогу.

Это было огромное, со всех сторон огороженное пространство. Там обычно собиралось стадо перед выгоном на летние пастбища. Пришли сюда все сельчане, что были в тот день на лазе. Посредине поляны торчал пень старой липы. Бача встал на него, снял шляпу. Тихий ветерок шевелил длинные с проседью волосы, которые то и дело падали на его лицо. Раскрыл тетрадь с фамилиями владельцев. Мальчик тоже встал на пень — он был достаточно широкий и для двоих. Из разбросанных повсюду домишек собирались сюда люди. По дороге, опираясь на длинную сучковатую палку, неторопливо шагал дед Матей. Присел на край пня, оглядел столпившихся людей, вынул трубку, о штанину чиркнул спичку, и вот из трубки заклубился дым. Если б не курил, могло показаться, что он тихо дремлет, погружаясь в сон вечности.

Женщины — все они были измучены работой и заботами — не сводили глаз с бачи. Ждали терпеливо и покорно. Были среди них и

совсем молодые, с красивыми лицами, пышногрудые, некоторые брюхатые, на сносях. И их детям кто-то когда-нибудь расскажет об этом дне? — спросил себя бача. Может быть, они будут качать головой и не поверят, как некогда отрок Ян не поверил старому Цеппелину? Может, еще и посмеются, как смеялись дети над тем бедолагой?

— Начнем,— сказал он тихо.

— Послушайте, люди,— отозвался дед Матей. С трудом поднялся.— Здесь, я думаю, собрались все. Есть тут хотя бы по человеку от каждого дома?

Горянки огляделись.

— Есть от каждого.

— Бача Ян разделит между вами стадо. Овцы мечены. Бача Ян будет называть имена хозяев. Тогда пусть кто-нибудь из вас подойдет сюда и возьмет овец. Отбирать будете вы,— указал он на мальчишек постарше. Они были в пакляных рубахах и залатанных штанах, выгоревших и помятых шляпах с перьями сойки на тульях.

— Яно, Мишо, Вило, ступайте к овцам. Бача Ян укажет вам, что делать. Бача Ян, начинай!

Взгляд бачи был устремлен далеко поверх голов присутствующих женщин, детей и стариков, туда, на запад, где в кровавом закате солнца кончался день. День, который лучше бы и не приходил!

Он оглядывал одно лицо за другим. Не было между ними никого из тех людей, чьих овец он пас. Многие лица, однако, чем-то были похожи, напоминали тех, кому он должен был овец передать. Поэтому он начал так, как должен был начать. Поклонился толпе и раскрыл тетрадь.

— Арбет Алойз, пять овец. Метка — крестик.

Теплый летний вечер благоухал сеном. Воздух был густой, насыщенный ароматами всевозможных трав. За дорогой шумел быстрый горный поток. Мальчик покорно наблюдал, как отец отдает парням Лойзкиных овец, как их выводят из отары и гонят на дорогу. Ноги у него болели, и он ничего не понимал.

— Бучек Франтишек, десять овец. Метка — два крестика.— Валашкой бача указал на отару.— Вот они, белеют там вправо.

Парни запыхались, умаялись с овцами. Еще несколько ребят стали помогать им.

— Бистры Штефан. Восемь овец, метка — «ДС».

— Чанига Павел!

— Чосек Ян!

— Деметр Якуб!

Женщины выходили из толпы и забирали овец. Около каждой толпились дети, бегали вокруг, помогали загонять. Выгон на Козарах пустел, поредела и толпа. Наконец остались только овцы бачи Яна, пастушонок и дед Матей.

— Вот мы и закончили, бача.

— Закончили.

Бача передал тетрадь старику. Сошел с пня. Ощутил землю под ногами, твердую, как то дерево, на котором он только что стоял. Глаза его увлажнились. Овцы бачи сбились в кучку, словно в предчувствии бури или хищного зверя. Снова бача поглядел на запад, туда, где еще день назад стояла деревня.

Мальчик сел на пень. Налитые тяжестью веки сами собой опускались. Когда он с огромным усилием открыл глаза, неподвижная фигура отца, стоявшего неподалеку со шляпой в руке, расплылась. Временами ему казалось, что Козаре скользят около него, стебли трав ласкают и гладят его по лицу и он укладывается на подушку. Мальчик сидел на пне, согнувшись и уткнув голову в ладони.

В конце лета в горах дневные краски быстро тают. Когда кончается срок, отпущенный дню, он сразу же скачком переходит в ночь.

За то короткое время, что мальчик дремал, ему приснился сон. Он лежал дома в перинах, и было солнечное утро, которому он так радовался, потому что, съев ломоть хлеба, густо намазанный маслом, и выпив чашку сладкого кофе с молоком, пойдет к потоку ловить раков. Он уже слышал тихий плеск голубой воды. В постели лежалось хорошо, мягко. Мать, склонившись над ним, будила его.

И тут ему снова пришлось вернуться к действительности: отец тряс его, будил. Он поднялся с пня совсем разбитый. Нет и дома, и матери нет.

Измученный, несчастный, спотыкаясь, брел мальчик рядом со своим сгорбленным отцом, который после прихода из сожженной деревни держался с ним как-то отчужденно.

Мальчик слышал, как отец говорил ему:

— Эти овечки теперь твои. Ты должен хорошо о них заботиться, чтобы было кого пасти весной. С толком за ними ухаживай зимой и слушайся во всем деда Матея.

Что он такое говорит? Почему он такое говорит? — спрашивал себя мальчик сквозь мрак усталости. Голова у него была тяжелая, и потому слова, которые он слышал вполуха, не казались ему такими важными. Они пролетали мимо, и он не улавливал их подлинного смысла. Хмыкал, кивал. Голова сама собой опускалась и падала на грудь, и думал он только о сне.

Наконец, они остановились у какой-то избы; и уже через минуту свет керосиновой лампы вместо того, чтобы озарить, погрузил все в темноту — мальчик спал.

Когда его уложили и накрыли периной, бача расстегнул свой широкий пояс. Сложил его у постели, рядом положил валашку. Долго смотрел на ребенка, потом тихо вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. На пороге лежала сумка сына. Он поднял ее, вошел в кухню, сел возле деда Матея на лавку. Вытащил из сумки свирель, предмет восхищения мальчика, задумчиво разглядывал ее при свете керосиновой лампы.

— Свирель? — тихо спросил дед.

— Парнишкина. Скажи... ты умеешь... еще... на ней играть?

Дед без слов протянул руку, и как только приложил свирель к губам, сразу стало ясно, что когда-то он умел хорошо на ней играть.

Бача горько усмехнулся.

— Научи его,— сказал он.— Я-то думал, что сам его выучу. Увидишь, как он обрадуется, когда ты научишь его играть.

— На чердаке у меня есть еще и волынка. Завтра же пошлю его за ней. Когда вернешься, будет из него добрый музыкант. Научу его играть и на волынке.

— Научи. Всему его обучи. Оставил я ему пояс и валашку. Когда вырастет, может, станет бачей.

В волнении теребя сумку, бача нащупал в ней черпак. Он вытащил черпак, подержал его на ладони, разглядывая вырезанную на ручке фигурку Яношика, дерзко пляшущего под виселицей, и волынщика, который ему наигрывает, и сунул черпак за пазуху: будет напоминать ему сына. Потом поднялся.

— Может, хотя бы переночуешь,— сказал ему старик,— небось, не спал?

— Нет, двинусь сразу. Теперь. Высплюсь в горах. Утром передай ему, что я с ним уже простился. Что я с ним долго прощался, но он был сонный и потому ничего не помнит. Отдай ему пояс и валашку. Скажи, что я с ним много говорил, только он во сне все позабыл. Так что потолкуй с ним от моего имени.

Они долго глядели друг другу в глаза. Старик вдруг громко вздохнул.

— Будет ему грустно. Целое лето вы были вместе.

— Да, целое лето. Дай-ка я напьюсь воды.

— Я принесу. Вода свежая. Набрал ее к обеду.

— Колодец-то далеко?

— Нет, близко. И вода в нем хорошая.

— Спасибо тебе. Одолела меня жажда. Словно целый день ничего не пил.

Он вышел в сени, наклонился к ведру, зачерпнул из него. Старик куда-то отлучился и вернулся с флягой.

— Хлебни из нее. Может, погасит твою жажду легче, чем целое ведро.

— Нет, оставь, тебе самому еще она пригодится,— отставил бача предложенную флягу, и тут ему сразу что-то припомнилось. Стало казаться, что однажды все это он уже пережил, что все это уже раз с ним случилось. Только где и когда? У него было странное чувство, что и жизнь свою он однажды уже прожил. Неподвижно глядел на старика, в его морщинистое лицо, в его потухшие глаза. Но так и не вспомнил. Еще раз вернулся в комнату, где спал пастушонок. Наклонился, поцеловал его в лоб, погладил по голове. Мальчик крепко спал.

Когда вытащил из-за пазухи цветок папоротника и вложил ему в поясок, то порадовался, что не забыл. Это доброе предзнаменование, подумал он, и ему немного полегчало. Напоследок взглянул на пастушонка и тихо, на цыпочках, вышел.

Старик подал ему мешок.

— Там хлеб, сало и колбасы. И передай привет ребятам в горах. Знаешь, пожалуй, это лучше, что ты идешь сразу. Утром тяжело было бы разлучаться с ним.

Старик еще что-то говорил, но бача уже не слышал. Да, нужно идти, гудело в его мозгу пламя и выводило шипящую и дрожащую мелодию, то самое пламя, которое поглотило его деревню.

— Хорошо, я возьму этот мешок. Помоги взвалить мне его на плечо. И еще разок напьюсь.

— Что ж, напейся, ведро полнехонько...

Потом, нажав на медную ручку двери, бача вышел во двор при слабом свете месяца и звезд.

Старик вышел следом и глядел на его черную удалявшуюся фигуру, пока ее не поглотила тьма. Старика зазнобило от холода.

Рядом, сотрясаясь в страшном ветре, шумел лес.

Утром под лавкой старик нашел большое яблоко, надкусанное и все перепачканное сажей и глиной. Он хотел порадовать мальчика и потому помыл яблоко, принес его и осторожно положил на столик у его постели.

Потом развел огонь, вскипятил молоко, накормил скотину и собак. На улице сеялся мелкий дождик, осенний ветер раскачивал кроны деревьев и бухал в окно.

Близился полдень, а мальчик все спал. Когда он наконец открыл глаза, то увидел вчерашнее яблоко. При виде желто-восковой омертвелой кожуры лицо мальчика протестующе сморщилось. Он быстро закрыл глаза, но заснуть уже не смог.

Яблоко стояло перед его глазами.

■

ВОЛЕ ШОЙИНКА

Аке, годы детства

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

XI

Я только видел, что он все реже и реже выходит из своей комнаты, реже ест, и тоже по большей части у себя, а когда он выходит, то как-то пристальнее всматривается в нас и грустно покачивает головой. В его внешности ничего не переменилось. Посетители стали приходить реже. Когда они приходили, то задерживались всего на несколько минут, многим просто говорили:

— Директор отдыхает.

Дикая Христианка больше времени проводила дома, предоставив лавку попечению служанки и двоюродных. Большую часть дня она проводила в его комнате, приносила ему еду, чай, о чем-то подолгу тихо с ним разговаривала. Ни он, ни она не наказывали нас за грехи, да и сами грехи сделались такими ничтожными, что не заслуживали наказания. Сонное покрывало нависло над домом, заглушая резкие голоса. Никто не просил нас говорить тихо и не переворачивать стулья. У нас пропало желание бездельничать, медлить с исполнением поручений, совершать с ребятами тайные вылазки. После школы меня гнало домой бессознательное желание быть со своими, сплотиться теснее, коснуться рукой, встретиться взглядом.

И все же я мало что понимал. Даже когда наблюдал, как он бродит среди своих любимых цветов; он меня не замечал и все чаще и чаще смотрел вдаль. Я заворачивал за угол дома и видел, что он, огорченно качая головой, тихо-тихо говорит самому себе:

— Боже, какая жалкая смерть.

Так случалось несколько раз. В словах я не мог ошибиться. На лице его играла улыбка полусожаления, полудосады, наверно, даже с частицей любопытства и предвкушения, но в словах я не мог ошибиться. Иногда он вскидывал голову и улыбался снисходительно, словно выговаривая не по летам развитому ребенку:

— Да, какая жалкая смерть.

Один раз он позвал меня в свою комнату. Он сидел в постели и посадил меня на свой стул у окна. Я никогда не видел, чтобы он улыбался так широко, так настойчиво.

— Ты не должен сдаваться ни перед какими трудностями,— начал он.— Потому что ты — глава семьи. Если ты окажешься слабым, чего тогда ждать от Тину и остальных? Самое главное при всех об-

Окончание. Начало см. в № 4, 5.

стоятельствах — это учиться. Не забывай об учении. Ты знаешь, я всегда хотел, чтобы ты поступил в Правительственный колледж.

Озадаченный, но уже не на шутку напуганный, я кивнул.

— Конечно, ты уже попал в гимназию. Но ты должен выдержать экзамены в Правительственный колледж. И не просто выдержать, а еще получить стипендию. В правительственных колледжах есть несколько стипендий для одаренных учеников, и ты должен показать себя с лучшей стороны. Твоя цель — Правительственный колледж. Понимаешь, что бы ни случилось, правительство тебя поддержит, не забывай об этом.

Я обещал, что постараюсь заслужить стипендию. Он выслушал меня со всей серьезностью; дав нерушимое обещание, я вдруг почувствовал, что совершил важный шаг в жизни. Ясно, что ничто отныне не помешает мне выполнить обещание, данное с глазу на глаз на непонятном, доселе неведомом уровне. Он был явно доволен и кивнул, как бы подтверждая факт моего осознания.

— Не всегда получается так, как хотелось бы. В жизни много разочарований. Всегда неожиданности. Ты замышляешь одно, обдумываешь шаг за шагом — и вдруг... Такова жизнь. Человек не Бог. И все-таки, понимаешь, нельзя сдаваться перед неожиданным. Ты сам увидишь, что решимостью можно дойти до цели, одной решимостью. И верой в Бога — не забывай молиться. Ты — глава семьи, помни, что все глядят на тебя. Ты не имеешь права их подвести.— Он покачивал головой в такт словам: — Ты не можешь, не можешь их подвести!

В тот вечер у меня началась лихорадка. Она бушевала всю ночь и весь завтрашний день. Лишь на третий день жар пошел на убыль. Сквозь бред я видел склоненные надо мной лица — папу и маму. А когда жар стал спадать, я различил голос Дикой Христианки:

— Что с тобой? Это потому, что ты поговорил со своим отцом?

Я промолчал; очевидно, она была права, и все же я не находил связи между разговором и лихорадкой.

Когда я поправился, в нашем доме появился фотограф. Лихорадка, кажется, отсрочила празднество фотографирования, которое теперь началось торжественно и напряженно. Эссе выбрал из своего гардероба самое нарядное асо оке. Его сняли одного в саду, с кротонами и розами, его сняли с Дикой Христианкой, с каждым из детей, затем всех нас сняли несколько раз семейными группами. Он ушел к себе, переоделся, и его снова сняли на фоне заходящего солнца, в спальне, сидящего, стоящего — и всегда с широкой улыбкой. Он активно участвовал в съемках, давал указания фотографу, сажал нас себе на колени, ставил рядом с собой — интересно бы знать, что об этом портретном безумии думал фотограф. На прощание Эссе сказал ему, что он должен поторопиться. Не слушая возражений удивленного фотографа, он потребовал, чтобы пластинки немедленно проявили и отпечатали и завтра вечером принесли снимки.

Утомленный, я вернулся в кровать и пережил легонький рецидив лихорадки.

И затем, так постепенно, что я ничего не заметил, тень развеялась. Мало-помалу все в доме возвращалось на прежнюю колею, стало шумнее, веселее, в передней комнате появились посетители, Дикая Христианка по-прежнему уходила надолго в лавку. Когда жизнь сделалась снова нормальной, я подумал: а не примерещилось ли мне все это в бреду? Прошло безвольное ожидание неизвестно чего. Дни вновь обрели ясность и размеренность. Утвердилось чувство освобождения, глубокого душевного облегчения. Я несколько раз ловил себя на том, что во все глаза гляжу на Эссе, точно пытаюсь что-то уразуметь. На стенах в рамочках висели новые фотографии. А так — наступившее облегчение казалось мне более чем естественным, разве что я испытывал благодарность невидимой Силе за избавление от очевидной, хотя и безымянной Опасности.

XII

Дедушка оказался прав: в Абеокутской гимназии — обычное сокращение АГ — не все мои товарищи были взрослыми мужчинами, но достаточное число отличалось от учителей только голубыми сорочками и хаки ученической формы. Во всех других смыслах они были готовы стать, а некоторые уже стали, главою семейства.

В первые же мои недели в АГ исчезла почти половина моих прекрасных новых учебников, тетрадок, карандашей, резинок, промокашек и прочего. Самая обидная пропажа была сверкающая металлическая готовальня, первая, которую я видел или держал в руках. Она открывала перспективы совершенно новых познаний и сулила немалые радости. Она исчезла, прежде чем я разобрался в циркулях, рейсфедерах, треугольнике и прозрачном полукруге с непонятными метками, и это было много больнее, чем родительское наказание. Даже заменившая ее точно такая же плоская металлическая коробка не уменьшала горечь утраты той первой, к которой я относился с таким почтением, что, несмотря на советы товарищей, не решился обезобразить ее, нацарапав на крышке свою фамилию. Ее украл здоровенный парень, и все знали, что он украл ее, и он знал, что все знают,— он сразу же нацарапал свое имя и снаружи и внутри, что закрепило его права как владельца, и никто ничего не мог сделать, даже учитель, которому я доложил о пропаже и своих подозрениях.

При вступлении в новый мир я более чем однажды подвергся инициации и еще до окончания первого года без помощи Дикой Христианки осознал, что теперь куда меньше подвержен мечтательности и даже не без удовольствия соответствую новому, шумному окружению. Готовальню увели у меня из-под носа, прямо на уроке. В школе Святого Петра такое бы было немыслимо. Естественным образом, я начал пристально изучать моих соучеников и выискивать способы выживания. Мне нетерпелось поехать в Исару и поделиться с премудрым старцем, ибо и он не все мог предвидеть касательно аборигенов АГ, которые в поисках знаний наполняли ее величественное здание.

Я поступил в гимназию в отсутствие Даоду. Он вошел в состав делегации западноафриканских педагогов, отбывшей в Англию. В его отсутствие обязанности принципала исполнял учитель математики мистер Куфориджи. Его прозвище было Ве-Ве, что казалось бессмысленным сочетанием звуков, пока вы не видели тощего, писклявого исполняющего обязанности в тесном габардиновом костюме, в очках, из-за которых его взгляд всегда был направлен выше вашей головы, и с походкой, немедленно вызывавшей в сознании курицу, которой помешали клевать рассыпанное зерно. Обходя гимназию, задерживаясь в классах по нескольку минут, чтобы проверить ход урока, он не расставался с розгой. Независимо от суждений учителя Ве-Ве сам на месте оценивал поведение и прилежание, выискивал не соответствовавших высоким требованиям и тут же перед классом производил экзекуцию.

Несмотря на это, он отнюдь не имел репутации неумолимого поборника дисциплины. Его можно было уговорить, направить в нужную сторону, многим удавалось избежать наказания за дела, граничившие с убийством. Даже в зените его карьеры как исполняющего обязанности скандал со старостой класса кончился недолжным образом, даже не всхлипом.

Абеокутскую гимназию справедливо считали школой закалки, подготовлявшей учеников к дальнейшей борьбе за существование. Очень часто казалось, что управляют ею не учителя, но равнодействующие безымянных сил, которые исходят из огромного общежития, из подвалов и сводчатых коридоров и со спортплощадок, окруженных деревьями и кустами. На занятиях физкультурой, на переменках, после уроков происходили таинственные сношения через забор с окружающим миром. Я очень скоро почувствовал, что настоящая

власть находится здесь, а не в классах, не в актовом зале и не в кабинете принципала. Для некоторых в общежитии не существовало границ и правил, и они выработали поразительные способы дурачить дежурного педагога, который во время ночного обхода натыкался на кровать, пустовавшую до утра. К концу расследования он, как правило, сам не знал: видел ли он пустую кровать и была ли пустая кровать в этом или в соседнем ряду.

Нередко можно было увидеть, как старшеклассник оделяет дружков деньгами,— он наконец добрался до отцовских сбережений. Являлся взбудораженный отец, Ве-Ве вызывал будущего врага народа номер один, и начиналась моральная осада. Если отцу везло, остатки его денег извлекались из матраса, из тайной расселины в стене, из жестяной коробки, зарытой под корнями дерева на подсобном участке. Однажды так были похищены сбережения с целой кокосовой плантации. Пострадавший еле живой дошел до гимназии, его пришлось нести по лестнице вверх, в кабинет принципала. Узнав, что отец в школе, сынок попросту собрал вещички и улетучился. Он так и не вернулся ни в школу, ни домой. Он нашел какую-то работенку в Лагосе и иногда появлялся в школе, разодетый в наимоднейшие тряпки, и щедро раздавал подарки бывшим одноклассникам. В один прекрасный день он заявил, что зашел попрощаться. Его отец опять накопил деньги и посылает его в Англию «для дальнейшей учебы».

Но настоящий скандал разразился, когда старшеклассник, к тому же староста, обрюхатил девицу. Дело было достаточно обыкновенное, но на сей раз родители пострадавшей потребовали, чтобы парня исключили из гимназии. Как правило, родители обеих сторон приходили к полюбовному соглашению. Староста был популярен. Он, прихрамывая, волочил больную ногу, что никоим образом не мешало ему жить. Приказы он отдавал с таким чувством юмора, что никто не держал на него зла. Даже в школьной форме он ухитрялся выглядеть элегантно, больше того, он выработал такую походку, что волочение ноги казалось манерностью, а не болезнью. Младшие классы даже пытались подражать единственной в своем роде развалочке, с которой он под крики «Акеензи» — это было его прозвище — выходил перез классом, чтобы сделать объявления или подготовить учеников к визиту исполняющего обязанности. Ему просто не повезло, что он налетел на «важную» абеокутскую семью, которая потребовала фунт мяса. Мистер Куфориджи не хотел портить ученику будущее исключением, особенно из последнего класса, все же проступок был достаточно серьезный и требовал показательной кары. Он предложил публичную порку — перед всей школой. Для старосты, даже в АГ, это было нешуточное унижение, и число ударов было неслыханное — три дюжины!

И вот нас всех собрали в актовом зале. Учителя торжественно встали в передний ряд, а мистер Куфориджи поднялся на сцену. В подобающих случаю формальных выражениях он объявил о цели собрания, выразил негодование коллектива по поводу запятнавшего школу позора, равно как соболезнование семье девушки, пострадавшей от необдуманного поступка одного из учащихся. Затем он вызвал на сцену провинившегося. Куфориджи сообщил, что не испытывает желания губить его и поэтому предлагает выбор. Исключение из гимназии и вечный позор или тридцать шесть розог перед лицом всей школы. Староста выбрал второе.

На стол положили три розги. Старосте приказали «взяться за пальцы ног», и экзекуция началась. Одного из учителей уполномочили считать удары.

После первой дюжины Ве-Ве сменил розгу; Акеензи не шевельнул мускулом. К середине второй дюжины Ве-Ве покрылся испариной. Когда при счете «двадцать четыре» он опять сменил розгу, мы заметили основательную паузу, да и удары стали терять силу. Тиши-

ну в зале нарушал только свист розги. Я чувствовал, что присутствую при историческом событии. Мы не сводили глаз с тела Акеензи, не в состоянии поверить, что возможно принять двадцать четыре удара по спине и ягодицам в совершеннейшей неподвижности, ни разу не шевельнув мускулом. Не подложил ли он себе что в трусы? Но Ве-Ве первым делом оттянул за спиной резинку и удостоверился. Усилием воли Куфориджи заставил себя нанести последние шесть ударов. Пот тек с него ручьями. Акеензи поднялся, спокойный, невозмутимый, поклонился с обычной своей элегантностью и произнес ритуальную формулу, какой полагалось отвечать на всякое наказание:

— Благодарю вас, принципал,— и крыша здания содрогнулась от грома рукоплесканий. Первым от потрясения оправился принципал, тщетно он молотил кулаком по столу, взывая к порядку. Его заместитель яростно звонил в колокольчик. Шум восторга от этого лишь возрастал. Учителя объединенными усилиями пытались прекратить стихийный взрыв рукоплесканий, но мы хлопали в ладоши, пока не устали. В наступившей тишине Ве-Ве несколько минут собирался с силами. Он смотрел поверх голов заблудших подопечных и искал подобающие слова. Наконец он взорвался:

— Эйин омо сатани![1] Бесстыжие, неисправимые идиоты, чему вы хлопаете? Авон омо алайлеко?[2] Ваши души прогнили насквозь — вон отсюда! Собрание окончено!

Ве-Ве с радостью вернулся в математический кабинет, когда Даоду приехал из Англии. В Абеокуте его приветствовали такие толпы, что дома в городе опустели. Даоду въехал в Аке на белом коне, у Святого Петра его ожидало благодарственное богослужение. Перед церковью выстроились царские трубачи, и барабанщики, и колонна бойскаутов. Его агбада выглядела еще просторней, чем прежде, она вздымалась над обширным крупом коня, а не над жалким мопедом, из-за которого два или три года назад он угодил в больницу. Его подвиги в Англии были известны больше по слухам — как в ответ на английский план учредить один университет на все юго-западные колонии он в героическом одиночестве отстаивал право каждой африканской страны на свой университет. Все были восхищены — на такое способен один наш Даоду.

Впрочем, для большинства было понятно лишь, что много школ лучше, чем одна. Людей восхищало и то, что Даоду презрел гитлеровские подводные лодки, которые, по сообщениям, топили и военные и невоенные корабли. Даоду пережил адские гитлеровские бомбежки и дважды проплыл по морям, где на всех судоходных путях торчали гнусные мины. Он въехал верхом в Аке, огромный, величественный,— по слухам, он приводил в трепет белого районного администратора и самого алаке из Абеокуты, к ногам которого припадали мужчины, а женщины становились на колени. Учитель музыки сочинил приветственный гимн; потом я долго пел его дома.

Через неделю после его возвращения я уже спрашивал себя: зачем Гитлер, имея достопочтенного А. О. Рэнсом-Кути в руках, позволил ему, невредимому, спастись ото всех опасностей. Я не желал ему смерти на дне морском, но все мы слышали, что пассажиров с потопленных торговых судов берут в плен. И я не видел причины, по которой Даоду должен был избегнуть такой участи. Все знали, что священство он променял на преподавание; несомненно, Господь Бог упустил возможность возмездия; путешествие Даоду вполне могло бы включать в себя два-три года службы капелланом в лагере для военнопленных.

В школе в Аке, как и во всякой известной нам школе, косьба была неотъемлемой частью занятий. Это было самое простое, обыкно-

[1] Дети сатаны! *(Здесь и далее прим. автора.)*
[2] Чему вас учили дома?

венное дело — в назначенные часы каждому классу отводилась своя делянка. Иногда ученик получал несколько часов косьбы в наказание. В исключительных случаях все классы с оджа агбой[1] в руках выходили на школьный участок, они шли рядами, как хорошо обученное войско, не оставляя за собой ничего, что затрепетало бы даже при самом сильном порыве ветра. Учителя следовали в арьергарде, поглядывая, все ли выкошено до земли.

Верно, в начальных классах я косил траву меньше других — из-за несчастного случая, который чуть не лишил меня правого глаза. Оставшийся шрам напоминал встречному и поперечному о настоящем чуде. Трепеща перед знаком небесного покровительства и не желая вновь искушать судьбу, учителя оставляли меня в школе каждый раз, когда класс шел косить траву. Поэтому в овладении оджа агбой мое образование хромало; я догнал сотоварищей лишь в последнем классе начальной школы, когда о несчастном случае позабыли.

Косить траву — значит косить траву, и никакой мистики. Лезвие надо точить, нельзя корежить косу о камни, стоять полагается, низко склонясь на одно колено, оджа агба в руке описывает плавные полукруги, оканчивающиеся за левой пяткой, при каждом взмахе размеренная полоска травы падает к ногам. Мастерами этого дела были, естественно, арестанты. Я часто видел их за косьбой на лужайках перед дворцом алаке. Один или два из них назначались в запевалы. Железкой, палочкой или длинным ногтем запевала отбивал по своей оджа агбе ритм, в котором трудились все остальные косцы:

Ниджо и торо — Гбим!
Ниджо и сиси — Гбим!
О о ни ло лони — Гбим!
О о ни се бемо — Гбим!
Эвон ре дола — Гбим!
Тин тинни гба тин тин тин гба
Тин тинни гба тин тин тин гба...[2]

Помимо всего прочего, в Абеокутской гимназии трава делилась на хорошую и плохую. Речь шла не просто о сорняках, ядовитых травах с колючками или острыми корешками. Трава, обыкновенная гладкая зеленая сочная трава, которая вроде бы была на месте на лужайках и спортплощадках Аке, вдруг делилась на хорошую и плохую. Поэтому здесь не косили траву оджа агбой, не выкорчевывали ее мотыгой, но дотошно выпалывали руками. Каждый кустик плохой травы выдергивался по травинке. Со временем я научился отличать хорошую от плохой, но переходить к действиям и истреблять плохую делалось мне все труднее. Я не находил в этом смысла! И что хуже всего — на оголенных местах не сеяли хорошую траву, так что в результате странной дискриминации каждая лужайка и спортплощадка превращалась в лоскутное одеяло из клочьев травы и плешин песка. При взгляде с верхнего этажа футбольное поле словно было поражено грибком или какой другой кожной болезнью.

Незримые линии делили футбольное поле на участки для каждого класса, которые, в свою очередь, делились на участочки для трех-четырех учеников. Ве-ве, несомненно, не разделял единственной в своем роде одержимости Даоду. По пятницам после полудня, инспектируя наши труды, он шагал по лужайкам, точно быстрый лунатик, и глядел

[1] Коса из заточенного обруча бочки.
[2] Украл три пенса
Украл шесть пенсов,
Тебя поймали,
Ты больше не будешь,
Тебя избили,
Ты сядешь в тюрьму.

поверх наших голов, но уж никак не на землю. Когда объявили, что Дaоду скоро приедет, все переменилось. Учителям дали строгие наставления; были вновь введены забытые было обязанности и ритуалы. Например, приложиться к беленой стене руками теперь навлекало неожиданное наказание. В большинстве своем обязанности и ритуалы были скучные, действовали на нервы, но камнем преткновения для меня все-таки оказалось деление травы на хорошую и плохую. Я заразил своим нерадением нескольких одноклассников, и мы бездельничали, в то время как остальные, спасая шкуру, вцеплялись в землю руками. Мы были новенькие, никогда не имели дела с Дaоду-принципалом и в школьных мнениях видели преувеличение. «Самый въедливый гад на свете»— и это тот самый Дaоду, который упал с мопеда и его перенесли в папину спальню, а потом отвезли в больницу? Невозможно поверить, что он опустится до вынюхивания так называемой плохой травы, а найдя травинку-другую, поднимет шум.

Рэнсом-Кути приступил к обязанностям, словно он уезжал на день-два. Меня посетили дурные предчувствия, когда я увидел, что человек, бросавший вызов бомбам, уже председательствует на педагогическом совете, выискивает паутину на потолках и бранит гимназический хор. И в первую пятницу он отправился обследовать траву на спортплощадках — от чего, конечно, должен был воздержаться человек, только что участвовавший в международных делах. Сопровождаемый учителями, Дaоду вдоль и поперек исходил поле, нет, он не становился на четвереньки, он шел нагнувшись, с руками, сложенными за спиной, а глаза его шарили, точно прожекторы. Он вдруг останавливался и вглядывался пристальней. Затем он издавал свой ехидный смешок, который я слышал впервые. Слишком поздно я осознал, что он не имеет ничего общего с теми густыми смешками Дaоду, к каким я привык дома. Этот начинался где-то в желудке и, поднимаясь, застревал под нижней челюстью, откуда он самодовольно-размеренными гортанными дольками мрачно вылетал изо рта, похожего на вырезку в спелом арбузе. Этот смешок говорил:

— А-а, тот, кто думал, что может выкрутиться, просто не знает меня. После стольких-то лет они не знают одного-единственного Дaоду!

Школа, похоже, понимала, о чем речь. Услыхав смешок, я с изумлением услыхал ответ со всех углов поля, всего одно слово, растянутое и извивающееся:

— Дao-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o!

Взглянув, кто жертва, школьники вновь погружались в труды. Дaоду тем временем обходил кругом оскорбившее его место и, выдернув плохую травинку, вопрошал:

— Кто здесь ответственный?

Преступник выходил вперед. Дaоду глядел, нет ли еще недосмотров, удовлетворенно кивал и приговаривал:

— Три!

Мальчик знал, что делать. Он нагибался. Дaоду протягивал руку, в нее вкладывали палку. Наш слух сотрясало «тса-а, тса-а, тса-а» по натянутой коже, после чего наказанный говорил обязательное: «Благодарю вас, принципал»,— и обход продолжался.

Мы с отчаянием выдирали оскорблявшую Дaоду траву, но было уже поздно. Мы выпололи плохой травы сколько могли, набили ею карманы, постарались прикрыть сомнительных соседей хорошей травой, но замерли, когда шествие приблизилось к нам. При виде нашего участка стекла очков Дaоду засияли от восторга. Из обычного места к глотке поднялся и опустился смешок, побулькал в желудке и невесело, с садистской замедленностью вылетел через вырезку в спелом арбузе. Воздух заполнили приветственные клики со всех сторон:

— Дao-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o!

Их нескончаемость соответствовала значению начальственного смешка. У него не было необходимости спрашивать, кто ответственный: вина и так изображалась на лицах четырех новеньких, которые стояли в сторонке и ждали самого худшего. Когда он объявлял приговор, я чуть не бросился наутек. Я был убежден, что в душе этот человек — убийца и уже видел, как меня уносят с поля мертвого.

— Двадцать четыре,— выговорил он, и мы ахнули, не веря своим ушам. Он помолчал и внимательно оглядел нас. Глаза его задержались на мне, потом на самом высоком из нас четверых, который был вдвое больше меня.— Итак,— продолжил он,— соучастников преступления четверо. Позволительно спросить, как они делят добычу — поровну? Или по росту?

При известии, что не каждый из нас получит по двадцать четыре, такой груз свалился с души, что я не колеблясь шагнул вперед:

— Поровну.

Самое страшное для меня было бы видеть, как бьют других и ждать своей очереди. Я предоставлял это ребятам постарше.

Первый удар сотряс меня с головы до ног. Даоду явно не пожалел сил. Уставясь в траву и напряженно думая о бессмысленной дискриминации якобы плохой травы, я кое-как отвлекся от боли. Я позволял себе слышать счет ударов, а не сами удары. Все кончилось быстро, я выпрямился и, к счастью, вовремя вспомнил.

— Благодарю вас, принципал,— сказал я, испытывая что угодно, только не благодарность.

Это был единственный раз, когда трость Даоду прогулялась по моей спине, и последний, когда я пожелал ему гитлеровский концлагерь. Не прошло и недели, как я им по-прежнему восхищался. Все, что делал Даоду, было не просто огромно, мелочи превращались в горы, каждое происшествие становилось драмой. Понятие «дисциплина» граничило с приключением. Иногда казалось, что тезис «невиновен, пока вина не доказана» выдвинут не то для него, не то им самим — до такого абсурда он его доводил. Было недостаточно, чтобы злодей признался в злодеянии, требовалось, чтобы суд доказал, что злодей совершил злодеяние. В противном случае обвиняемый сам доказывал свою вину и оспаривал смягчающие обстоятельства. Будучи оправдан, он не только спасался от наказания — наказание это получал его обвинитель, особенно если доводы его признавались неубедительными.

Однажды сам принципал в рощице за футбольным полем поймал трех мальчишек на месте преступления. Один из них был пресловутый Ику. На небольшом костре они жарили свеженького цыпленка. Оторванная голова и перья лежали рядом, так что Даоду ничего не стоило определить, откуда цыпленок. У Даоду было птицы больше, чем у кого-либо в городе, и я не раз слышал, как старшие ребята мечтали поймать курчонка. Этим троим, очевидно, это и удалось.

Суд происходил в обычном месте, в коридоре, он же столовая, который тянулся вдоль всего фасада гимназии. Под прямым углом к нему примыкал коридор, в котором занимались приготовительные классы АГ, которые по сути обладали полной независимостью и в разговорах именовались «Школа миссис Кути». Сами Кути жили во второй половине переднего коридора — в первой обедали пансионеры миссис Кути. Таким образом, классы переходили в столовую, столовая — в жилые комнаты, и один занавес отделял столовую пансионеров от столовой семейства Кути.

Внесли вещественные доказательства — голову, перья и полузажаренного курчонка, обвиняемые постучали по занавесу и были допущены в зал суда. Затем занавес раздвинули, чтобы все желающие со стороны пансионерской столовой могли следить за ходом дела и принимать в нем участие. Поскольку сам Даолу был главным постра-

давшим, мальчишкам пришлось излагать обвинительное заключение и быть себе прокурорами и адвокатами.

Как и думали, первым оратором оказался Ику. Его прозвище «Смерть» было одним из самых метких прозвищ во всей гимназии. Ику постоянно рисковал жизнью, выбирая для еженощных побегов из общежития маршруты, каждый из которых мог окончиться сломанным позвоночником. И сейчас он был явно уверен в себе.

— Это произошло так, принципал. У нижнего края футбольного поля, принципал, я и мои товарищи собирались поставить научный эксперимент, конкретно — в области химии, принципал, имевший целью проверить теорию флогистона, то есть самопроизвольного возгорания. Он прошел успешно, принципал. К нашему научному восхищению, среди щепок и коры, набранных для данного эксперимента, принципал, разгорелся огонь. Так как научный тезис был этим доказан, мы собирались потушить вышеупомянутый огонь. Однако в этот момент на месте действия появился некий петушок, чья окраска и царственная осанка неопровержимо свидетельствовали в пользу предположения, что он происходит не откуда-нибудь, но из личного птичника самой миссис.

Второй обвиняемый, присутствующий здесь Боде, принципал, сказал мне: «Ику, здесь прогуливается цыпленок, принадлежащий миссис принципала. Как он попал сюда?» На что я ответил, принципал: «Данные об этом вне сферы моих и твоих познаний». На что третий обвиняемый, Акинринде, принципал, сказал: «Долг требует от нас не рассуждений, но действий, поэтому мы обязаны проявить инициативу, как нас постоянно учит сам принципал». Я согласился с его аргументом, принципал, ибо промедление смерти подобно, а дела громче слов и время не терпит, ибо раз упустишь, потом не поймаешь, поскольку день год кормит, принципал, и в конечном итоге долг платежом красен, так что, вооруженные этими мыслями, мы рассредоточились и со всех сторон бросились к петуху, дабы поймать его и возвратить в птичник, откуда он, несомненно, сбежал.

Принципал, это был доблестный петушок. Не из робкой тщедушной птицы, какая встречается в большинстве дворов. Это был резвый, упитанный, бесстрашный, самостоятельно мыслящий петушок, принципал,— да и могло ли быть что-то другое, когда он был выращен, вскормлен и воспитан самим принципалом и его супругой, многоуважаемой Беере? Этот петух бросился на второго обвиняемого и сбил его с ног,— должно быть, вы пожелаете осмотреть увечья, принципал? Этот грозный петух колотил его крыльями и когтил его руки,— второй обвиняемый, попрошу тебя выйти вперед и показать царапины.

Боде вышел вперед и продемонстрировал запястья. На них и впрямь были царапины от когтей. Даоду с важностью их осмотрел и кивнул Ику; тот продолжал:

— Итак, принципал, когда второй обвиняемый, пытаясь защититься, упал навзничь, покойный, в силу законов инерции, продолжая двигаться вперед, причинил второму обвиняемому вышеуказанные ранения. Далее, принципал, было бы нетрудно предсказать, что произошло бы, если бы разведенный нами огонь был обыкновенный огонь. Но увы, принципал. Это был огонь, вызванный действием теории флогистона, то есть тотального самопроизвольного возгорания. Следовательно, температура его была равномерно и чрезвычайно высокая. В силу тех же законов инерции петушок, продолжая движение вперед, оказался в самом центре пылающего ада, где от невыносимого жара тотчас же потерял сознание и таким образом принеся себя в жертву, подтвердил успех эксперимента, который, в поисках научной истины, привел нас в уединенное место, где мы остались без свидетелей как нашего успеха, так и нашей невиновности, принципал.

Из этого следует, что наш проступок, принципал, состоит не в

предумышленном нескрываемом действии, но в злостной попытке утаить наше преступное бездействие, принципал. Тем не менее дело сделано, сделанного не воротишь, равно как нет худа без добра и все такое прочее, не говоря уже о наших естественных опасениях, что, если мы прямо доложим о случившемся, нас могут неверно понять, все это удерживало нас на месте. Налицо некоторая неверность умозаключений — я говорю от своего имени как первого обвиняемого, а также от имени второго и третьего обвиняемых, принципал,— признавая нашу вину, мы отдаем себя на милость суда.

Наступило молчание. Обвиняемые ждали приговора. Даоду отхлебнул остывшего чая и задумался. Я отродясь не слыхал такого бесстыдного вздора и был уверен, что сейчас будут объявлены и воспоследуют кары, которые начнутся по меньшей мере с восемнадцати ударов на брата. Я слишком мало слыхал от Даоду о вине и доказательстве виновности. Он полагал, что обвинитель обязан не просто отвергнуть защиту, какой фантастической или оскорбительной она ни была бы, он должен опровергнуть ее доводами. Даже объяснение, откуда взялся костер — что еще за теория флогистона? Сомневаюсь, что сам принципал разбирался в таких делах — он преподавал вовсе не физику. Наконец он поднял лицо, на котором не было тени улыбки.

— Дело прекращено.

— Благодарю вас, прин-ци-па-а-а-а-а-а-ал.

Мотнув головой, он призвал к тишине.

— Я имею в виду только первоначальное обвинение, которое было сформулировано как...

— Незаконное похищение цыпленка, совместной собственности достопочтенного Рэнсом-Кути и миссис Рэнсом-Кути и преднамеренное зажаривание такового с целью тайного употребления в пищу, принципал.

— Прекрасно. Однако, защищаясь, вы выдвинули против себя другое обвинение, а именно сокрытие истины, недонесение о несчастном случае.

— Истинно так, принципал.

— В каковом вы одновременно признали себя виновными.

— Истинно так, принципал.

— Так что мне остается огласить решение.

— Да, благодарю вас, принципал.

— Вот мой приговор. Вы все трое заберете цыпленка и сделаете с ним то, что начали делать. Вы будете питаться им — все трое — целую неделю.

— Благодарю вас, принципа-а-а-а-а-ал.

— Кухня получит соответствующие указания. Объявляется перерыв.

— Благодарю вас, прин-ци-па-а-а-а-а-ал!

Для трех больших ребят один цыпленок на семь дней? На первый взгляд маловато. Не лучше ли быть битым или как-нибудь отработать? Впрочем, я не думал, что он собирается морить их голодом. Он прекрасно знал, что они выкрутятся сами и им помогут другие. Впоследствии я открыл, что Ику был ветеран множества судебных дискуссий. Он никогда не оправдывался перед учителями и настаивал на своем праве доложить дело принципалу. Учителя давно махнули на него рукой и позволяли ему делать, в сущности, все, что он хочет. Двое других обвиняемых были его сообщниками в сотнях проделок, некоторые из которых происходили в городе, так что потом всю школу выстраивали на опознание, всегда заканчивавшееся ничем.

Что касается музыки, Даоду был настоящий маньяк. Когда он дирижировал школьным хором, его огромное тело находилось в постоянном возбуждении и мокрые круги под мышками расширялись

и расширялись. Уши его безошибочно находили источник фальши. Меня озадачивало, что он просто не удаляет ребят без музыкального слуха. Вместо этого проштрафившийся ряд или класс пороли. Очевидно, решение было такое простое, что не приходило ему в голову. Школа обязана петь, следовательно, та ее часть, которая поет плохо, должна быть наказана. Обычно я проводил свободное время в середине дня в комнатах семьи Кути и обедал с их пансионерами. Как-то, когда я подбирал на пианино мелодию, Даоду спросил, почему я всерьез не учусь музыке, и предложил давать мне уроки. Я спешно заверил его, что отец уже учит меня, опасаясь, что при каждой неверной ноте по мне будет гулять палка. В моих словах была меньше чем полуправда, но они имели бы оправдание, даже будучи чистой ложью. Во мне уже выработалось определенное отношение к умственной хромоте взрослых, но все же я удивлялся, почему педагог и бывалый путешественник Даоду ведет себя, как Дикая Христианка, все действия которой основывались на словах из Священного писания: «Пожалеешь розгу — испортишь ребенка...»

Еще до возвращения Даоду в доме миссис Кути образовался Кружок. Сначала к ней приходили три-четыре женщины, потом число их начало возрастать. Они собирались и обсуждали домашние дела и общественные вопросы. К Кружку принадлежала и Дикая Христианка, и когда она приходила к миссис Кути, я ждал ее после уроков, и мы вместе возвращались домой. Они пили чай и разговаривали, будто меня там не было. Все они были христианки, жены «профессионалов» — учителей, священников, аптекарей и так далее. Если они не обсуждали проблемы санитарии и гигиены, нехватку товаров и рост цен или празднование какой-нибудь годовщины, они говорили исключительно о трудном положении молодых женщин, которые становятся хозяйкой в доме. Снова и снова выражались одни и те же наблюдения:

— Они не знают, что делать...

— Они не способны занять место в обществе...

— Они не умеют принимать гостей...

— Даже на собственной свадьбе такой-то и такая-то чувствовали себя неловко...

— Некоторые не имеют представления о санитарии и гигиене, они даже не умеют ухаживать за ребенком...

Они жаловались, что попытки помочь зачастую наталкиваются на брань. Кто-то предложил посещать дома новобрачных совместно и деликатно давать советы. Кто-то предложил приглашать «трудных» жен на Кружок и должным образом наставлять.

Похоже, я знал, о каких женщинах идет речь. Я вспомнил самую печальную свадьбу, какую я когда-либо видел в церкви Святого Петра. Это была «белая» свадьба — перчатки, фата, шляпка, букет, платье и так далее. Колониальная бутафория была налицо и сполна. Костюм жениха перекликался с костюмом шафера, в кармашке платочек, в петлице — алая гвоздика. Подруги невесты и мальчики расставлены по обе стороны брачующейся пары, все подобающе одеты, в начищенных ботинках и безупречно белых чулках. Когда свадьба фотографировалась на мощеном дворе, шлейф невесты лежал на ступеньках паперти. Одно было плохо — ничего из одежды не подходило никому из присутствовавших. Должно быть, ее собирали поштучно во множестве лавок и напяливали подряд на детей, мужчин и женщин, сроду не бывавших в городе и не слыхавших звуков органа. Невеста, казалось, готова родить в любую минуту, ее беременность бросалась в глаза и, по-видимому, объясняла скорбь на лице жениха и усталость, неловкость мальчиков и подруг. Убожество состояло не только в мешком сидевшей одежде; убожество было в безрадостности, в виноватой торопливости, в убийственной попытке

набросить чужеродный покров на обряд, не имевший ни души, ни любви, ни лица.

Я надеялся, что Кружок имеет в виду именно эту свадьбу, я ждал, что о ней заговорят, осудят зрелище, не дававшее мне покоя столько дней. Никто, однако, не проронил ни слова, и мне осталось надеяться, что они держат ее в мыслях. Их не менее волновало, как уменьшить детскую смертность, как приучить молодых женщин к родильному дому, как отвадить их от самолечения первыми попавшимися таблетками. Общими туманными фразами они выразили пожелание, чтобы молодые женщины участвовали в общественной деятельности, к примеру в благотворительности.

Однажды после обеда Даоду проходил мимо и остановился послушать.

— Знаете, женщины, у вас благие намерения,— вмешался он в обсуждение,— но, кажется, вы не знаете, как приступить к делу. Вы встречаетесь уже довольно давно, и все время я вижу одних оникаба[1]. Однако ваша помощь нужна аросо[2], а их здесь не бывает. Забудьте пока об отсутствии манер у новобрачных. Займитесь аросо. Пригласите их на ваши встречи. Это им нужна ваша помощь.

И он ушел.

Первой заговорила седая дама, самая уважаемая в кружке:

— Даоду сказал нам святую истину. Наши дискуссии односторонние. На следующую встречу каждая из нас должна привести хотя бы одну аросо.

XIII

На встречу Кружка Дикая Христианка привела свою подругу маму Адуни. Народ уже не вмещался в столовую «Школы миссис Кути», и собрания перенесли во двор. На лицах женщин, торговок перцем, пальмовым маслом и самодельной утварью, я узнал ту же внутреннюю усталость, какую видел у бродячих торговок, наших провожатых по Исаре, которые у себя дома предлагали нам все свое убогое достояние. Широкие арки галереи глядели во двор.

В дни их встреч я поднимался по ступенькам, смотрел и слушал. Там всегда разыгрывалась некая драма, какой-нибудь спор, который обычно улаживали Беере, Дикая Христианка или седая дама — теперь я знал, что ее зовут Ма Игборе. Иногда какая-нибудь женщина затягивала веселую песню или рассказывала игривый анекдот. Собрания походили то на юридическую консультацию, то на празднество. Некоторые женщины приходили заранее и готовили еду.

Во двор кружок перебрался по совету Даоду. Теперь он частенько проходил мимо и по нескольку минут слушал. Его спальня и кабинет выходили окнами во двор, так что я подозревал, что он случайно проходит мимо, предварительно выслушав дебаты и обдумав решение. Во всяком случае, редко когда он не подавал совета. В один прекрасный день он сказал:

— Вы знаете, в чем беда аросо? Они неграмотные. Они не умеют читать и писать, поэтому ими легко помыкать. Если вы будете каждый раз заниматься с ними по полчаса, все женщины эгба к концу года станут грамотные! — Он ухмыльнулся собственному оптимизму и удалился.

Идея понравилась. Мама Адуни и те немногие аросо, которые ходили на собрания, взялись известить всех. Купили грифельные доски и грифели, карандаши и тетради. Ручеек стал потоком, и двор оказался полон. Каждая оникаба занималась с группой аросо по полчаса, по часу. Потом обсуждалась гигиена, общественные проблемы, программы самопомощи, цены на еду и товары, и те, кто в данный

[1] Женщина в европейском платье.

[2] Женщина в африканском платье.

момент не говорил речи, переписывали буквы и цифры. С галереи я видел сгорбленные спины и над ними косынки, из-под которых иногда торчали седые волосы. Первые полчаса они усердно выводили линии в тишине, нарушавшейся внезапными взрывами хохота. Часто этот хохот вызывали шутки Дикой Христианки. К примеру, она водила дрожащую руку своей твердой рукой и громко наставляла:

— Вот так. Смотри, надо опустить палочку, нет, нет, прямую, как телеграфный столб, не кривую. Может, ты это рисуешь ногу своего мужа? А теперь пририсуй сверху свою грудь, а снизу живот — нет, не так. Представь себе, как выглядит твой живот, когда вы с мужем добалуетесь до Бог знает чего. Ага. Я знала, что это у тебя получится. Теперь это буква «В». Один телеграфный столб и внизу его твой большой живот — «В». Бенте-бенте... асикун бенте-бенте... бенте-бенте, асикун бенте-бенте...— И начинались песня и пляски.

Двор взрывался от хохота, когда ее громко стыдила мама Адуни или седая дама:

— Ты жена учителя, а мешаешь ученицам сосредоточиться!

Это были ревностные ученицы, в большинстве своем молодые — они и начали движение в Игбеине, завершившееся Большим Бунтом в Аке. Они всегда приходили первыми, расставляли скамьи и стулья, если надо, подметали двор, упражнялись по часу до начала занятий. Тут я и стал их гордым наставником. Старших сыновей Кути — Долупо и Койе — давно взяли в армию. Я сидел на галерее и глядел, как они борются со словами — они уже соединяли буквы, по большей части неправильно. Я крикнул им, как надо писать. В ответ они спросили, отчего я такой ленивый, что не могу спуститься и показать. В мгновение ока я был внизу. Я узнал, что большинство их не из самой Абеокуты, а из близлежащих селений, может быть, это усиливало их усердность.

И вдруг они перестали приходить; они опаздывали даже на занятия. Иногда их вообще не было. И самых усердных, и не самых, и не только из окрестностей. Стояло время жатвы, многие из них были жены фермеров, поэтому Кружок решил, что дело в сельскохозяйственных работах. Приходя, они извинялись, делали все, чтобы наверстать упущенное. Наконец, был задан точный вопрос, организаторши вдумались в их оправдания. Взаимное самоусовершенствование прекратилось с той минуты, как раздались голоса:

— Меня схватили сборщики налогов.

— Паракойи[1] забрали половину моих товаров за разрешение торговать. Я искала помощи у городских властей...

— Нас подстерегли по дороге на ферму. Местная полиция потребовала пошлину — пятую часть всего, что растет.

— Я увидела людей в форме и свернула в лес. Я думала, это знакомая тропинка. Бог меня спас, а то я до сих пор бродила бы по лесу.

— У них нет сердца. Они не из плоти и крови. Они глядят на тебя, как нелюди, пока ты не отдашь им все, чего они требуют.

— Мы просидели всю ночь в полиции. Они отобрали все наши товары и не отдадут, пока мы не принесем квитанции об уплате налогов. Но мы же не были на базаре — как можем мы уплатить налоги, когда они отняли все, что мы собирались продать?

— Это вожди. Они все заодно. Они посылают на грязную работу адана[2], потому что не осмеливаются ввести налог на фрукты и овощи.

— Нет, это сам алаке. Один адана сказал — я сама слыхала,— что не надо его умолять. «Нас послал Кабийси — идите к нему»,— сказал он.

— А наши мучители сказали, что все это белый человек. Они

[1] Охрана базара.
[2] Чиновник.

сказали, что аджеле[1] получил приказ от таких же белых, как он, из Лагоса. Они всего-навсего слуги белых людей из Лагоса.

— ДОВОЛЬНО!

Это был голос Кембери. Надо отважиться дать такое прозвище женщине, чье настоящее, христианское имя было Амелия. На кружке эта устрашающая, бесстрашная и речистая особа должна бы именоваться мадам Амелия, но я постоянно слышал, что Дикая Христианка и Беере называют ее Кембери. Но когда, передавая какое-то поручение, я произнес «мадам Кембери», то получил от Дикой Христианки такую затрещину, что голова чуть не слетела с плеч. Беере заступилась за меня и сказала, что меня нельзя винить за повторение имени, которое я слышу. Только тогда мне объяснили, что Кембери — особая кличка, которую дали ей жены ее семейства. Так ее могли звать только близкие друзья, как Беере и Дикая Христианка,— и то между собой.

— Довольно! — повторила Кембери, и ропот стих.— Вы тратите так много слов, чтобы сказать, что женщины эгба больше не могут свободно ходить по дорогам своей страны и носить собственное добро с фермы домой и на базар, потому что к ним пристают кровопийцы,— так я говорю?

— О чем еще мы говорим?

Она подняла руки и обратилась к миссис Рэнсом-Кути:

— Беере, ты слышала их. Что нам делать? Ты сказала: научите их азбуке — мы научили. И еще мы сказали им: сделайте все, чтобы ваши дети жили в чистых домах и чтобы они получили хорошее образование. И они делают все. Из-за детей они не сидят сложа руки и не ждут, что за них все сделает ленивый пьяница муж. Женщины страны эгба не боятся тяжелой работы. Мы указали им цель — образование детей. И они откладывают все заработанное, чтобы отдать детей в школу. И из-за того, что мы кое-чему научились, наши бездельники не могут дома объявить себя первыми учениками, когда они заработали круглый, как рыбий глаз, нуль. Кто-то из нас теперь видит разницу между нулем и сотней, между первым и тридцать четвертым. Даже когда наши женщины не могут прочесть все, они могут теперь посмотреть в табель и сообразить, зря или не зря они тратят деньги на школу. А кто не умеет читать, те знают, куда принести табель — прямо СЮДА!

И вот эти самые женщины говорят нам, что не могут больше ходить сюда свободно. Дороги в стране эгба закрывают те люди, от которых мы пытались их защитить. Налоги! На что налоги? Что остается, когда женщина накормит детей, оденет их в школьную форму и заплатит за обучение? Что они хотят облагать налогами? — Рев возмущенных голосов: Кембери опять призвала к молчанию: — Пора сказать им: хватит брать с нас налоги! Они хотят выпить всю нашу кровь. Давайте скажем им: хватит брать с нас налоги!

Гул одобрения выплеснулся со двора. Вновь воцарился порядок. Миссис Рэнсом-Кути уполномочили передать районному администратору, абеокутскому алаке и совету вождей требование прекратить взимание налогов с женщин. Это было самое длинное из всех собраний, и долго после него заседал Кружок. Мне в голову не приходило идти домой — возбужденный, я чувствовал, что вот-вот начнутся невиданные события. Санитарного инспектора в Абеокуте боялись, но как-то терпели, сборщика налогов боялись и ненавидели. Сборщики налогов являлись в дом неожиданно. Хотя они вели себя вежливо, даже приветливо, от них исходила такая страшная власть, что я облегченно вздыхал, когда Дикая Христианка выдвигала верхний ящик и доставала желтую квитанцию. Как-то обходивший мелкие лавки не в меру усердный чиновник пришел с ней домой проверить,

[1] Районный администратор.

действительно ли она уплатила налоги. Старшие двоюродные хотели его выгнать. В такой обстановке слова Кембери прозвучали как объявление гражданской войны — одной из тех, которые в учебниках составляют историю как йоруба, так и англичан. И еще я не мог забыть женщин из Исары — они проходят пешком по сорок с лишком миль, нагруженные, как ручные тележки, которые начали соперничать с носильщиками. Я видел, как их останавливали у ворот Абеокуты и отбирали часть товаров, которые они принесли из такой нечеловеческой дали. И разумеется, испытывал личное оскорбление за моих любимых учениц, которым сборщики налогов мешают прийти на урок пораньше. Засыпая, я думал, что, когда вырасту, не позволю чиновнику в хаки взимать с моего трудового заработка налог хотя бы в одно пенни.

Кружок заседал допоздна. Я заснул на скамье в столовой и на следующее утро проснулся в общежитии «Школы миссис Кути». За завтраком я впервые услыхал выражение «Союз женщин эгба». Споры о названии шли еще некоторое время, но так или иначе, родилось новое движение, которое в конце концов стало известно как Союз женшин эгба.

Вскоре после этого Беере отбыла в Англию — несмотря на войну, надо было присутствовать то на конференции Христианской миссии, то на конференции Колониальной миссии. Женщины со всех концов стекались теперь в Аке, к лавке Дикой Христианки. Мама Адуни в любое время дня выступала перед женщинами всевозможных профессий: красильщицами, ткачихами, корзинщицами, рыночными торговками — по одной, по две, по три, группами они приходили с ближних и дальних участков, районов города и далеких деревень, названий которых я никогда не слыхал. Они пахли потом дальнего пути, красителями, сушеной рыбой, ямсовой мукой, латеритом и кокосовым маслом причесок. У некоторых на руках и ногах были татуировки и на щеках шрамы. Для защиты от солнца они вдобавок к косынкам покрывали головы шалями.

Я не старался отделаться от работы в лавке — теперь меня из нее было не выгнать. Некоторые женщины первым делом объявлялись в Приходе — его найти было проще. Не успевали они сказать, что им нужно, как я отскакивал от учебников и провожал их в лавку. По дороге, пользуясь тем, что никто меня не одергивает, я бесстыдно задавал им бесчисленные вопросы. Одна из них, сама того не подозревая, выдала меня. Я решил, что она сгорбилась оттого, что носила товары из таких далеких мест, как Исара, и посоветовал:

— Вы взяли бы коней у вождя в Итоко. Они бы возили все ваши вещи.

Женщина рассмеялась и пообещала сказать это маме Адуни на следующем собрании. Но она сразу же сказала Дикой Христианке. К моему изумлению, та только покачала головой и сказала:

— Так я и знала.

Наступило затишье. Никто не мог мне точно сказать: перестали женщины платить налоги или нет. Теперь я, не таясь, выслушивал дискуссии Эссе и Дикой Христианки — она часто спрашивала его совета по многим вопросам, с которыми к ней приходили женщины. Распорядок дня в Приходе все больше зависел от нового женского движения. Дикая Христианка разъезжала, произносила речи, принимала женщин с утра до ночи. Иногда она появлялась в лавке всего на минуту: в следующее мгновение она набрасывала на плечи шаль, повязывала голову косынкой, хватала свою сумочку, восклицала «о йа», говорила мне: «Присмотри за лавкой» — и отправлялась с обиженными к источнику их горя. С наступлением темноты я запирал лавку. Она часто приходила домой поздно, но и тогда за ужином она ча-

сами обсуждала с Эссе пути к решению той или иной задачи и пути ко всеобщему освобождению замученных женщин.

Хотя Эссе и сделался соломенным вдовцом, судя по всему, такая жизнь ему нравилась. Он обмозговывал неотложную проблему и посылал в лавку Дикой Христианке записочку. Я научился угадывать срочные. Если Дикой Христианки не было в лавке, я разворачивал и читал послание. Если я знал, где она, я оставлял посыльного в лавке, бежал к ней и нахально заявлял, что дело, кажется, неотложное. Иногда я спрашивал себя: откуда во мне такое нахальство и почему она меня не отчитает. Как бы ни взыгрывало мое любопытство, она ни разу не захватила меня туда, куда уходила с обиженными. Внимательно вслушиваясь в их немногочисленные слова, я научился определять, где они сейчас добиваются правды. Когда не было записочки от Эссе, любая аросо была подходящим предлогом. Я тут же запирал лавку и вел ее в горячую точку.

Впервые в жизни я уезжал из Абеокуты без родителей. Несмотря на все большее участие в женском движении, отец ни на миг не упускал из виду ИПК, Ибаданский правительственный колледж, где я должен был заработать стипендию. Он отправлял меня из Абеокуты во время потрясающих событий, и я счел его бесчувственным. Как бы то ни было, он позаботился, чтобы я хорошенько подготовился дома. В промежутках между походами в горячие точки за Дикой Христианкой были многие страницы задачек, которые я решал и потом приносил домой. Я сдал экзамены, и через несколько недель пришло письмо, приглашавшее меня в Ибадан на собеседование. Моего нового знакомого Ойе тоже вызывали на собеседование, и мы уже мечтали о совместном Великом Приключении, но мои родители не отпустили меня без провожатого. Тщетно я напоминал, что мне уже десять лет, что я выдержал шестимесячный курс закалки в АГ,— их не убеждало даже то, что я успешно справился с ролью посыльного при женском движении. Ойе был изрядно старше меня, но родители отпустили его одного, только узнав, что он поедет с сыном директора. Я пытался переубедить Джозефа, которого назначили мне в провожатые. Если родители Ойе считают меня залогом его безопасности, не значит ли это, что уж за собой-то я присмотрю?

Джозеф взглянул на меня с чем-то похожим на сожаление:

— Надеюсь, белые в твоей новой школе любят спорщиков.

Когда объявили итоги, мое имя было в числе принятых. Однако стипендию мне не дали. Это означало год ожидания и новую попытку. Джозеф неожиданно принял дело близко к сердцу; он долго раздумывал, а потом пошел к Дикой Христианке:

— Мама, пожалуйста, попросите его не спорить с белыми. Понимаете, они видят, что он умный, и готовы его принять. Но разве белый будет кормить африканца, который наберет силы и отрубит ему голову?

Я расстроился не на шутку. До собеседования Правительственный колледж был не более чем забавной мыслью в глубине сознания. Можно бы было гордиться, что я заслужил собеседование и съездил в Ибадан, но я уже находился под обаянием колледжа. После него Приход казался убогим, равно как АГ. Там не было таких скал, как в Абеокуте, но это более чем возмещалось рощами, садами, ручьями, фермами и обилием птицы. Абитуриенты, казалось, съехались со всех концов. Согласно указанию, мы привезли свои подушки и одеяла, и нас поселили в одном большом общежитии, где с первых встреч завязывались дружеские отношения всерьез и надолго. Я был так ошеломлен множеством новых лиц, характеров, имен и городов, что онемел и впервые не задавал вопросы. И снова Отец был прав — в большинстве это были МУЖЧИНЫ. К счастью, число ребят моего возраста было значительное. Мы, естественно, жались

друг к другу под неодобрительными взглядами «папаш». Один из них был даже усатый.

Два мальчика приехали из одного города. Они были тоже иджебу, хотя и не из Исары. В первые же два часа в Ипатаганге, пригороде Ибадана, где находился колледж, другие ребята сказали, чтобы мы остерегались этих двоих — они привезли оогун [1], который превратит нас всех в тупиц, так что они без соперников займут первые места. Мальчик из Эдо поклялся, что видел, как они зарывали что-то в углу класса, в котором нас должны были спрашивать. Доказательством их злонамеренности служило и то, что они приехали на день раньше положенного. И они были не издалека — не из Бенина, Авки, Макурди и так далее. Из соседней провинции иджебу незачем выезжать раньше чем за день до собеседования. Причина могла быть одна — они хотели «испортить почву» своим соперникам.

Этот последний довод был таким убедительным, что требовал безотлагательных действий. Кто-то предложил, чтобы мы в их отсутствие обыскали их вещи. Предложение прошло на «ура». Я не был уверен, что мы вправе так поступать, но мы обнаружили множество несомненных джуджу — амулеты, черный порошок в пакетике, кольца вроде тех, какие носил Паа Адатан, и лист бумаги со странными чертежами и словами, которые показались мне исковерканными именами из Ветхого Завета.

Мальчика, в чьих вещах мы нашли джуджу, ожидала враждебная встреча. Хотя я по доброй воле участвовал в обыске, я сомневался, что мы можем что-то ему сказать. Я знал, что мы не имеем права устраивать обыск, хотя, как другие, полагал, что он необходим. Но совсем другое дело в глаза упрекнуть найденным — ну хотя бы потому, что мы не обнаружили ничего необыкновенного. Почему у кого-то не должно быть амулетов, черного порошка и таблицы с каббалистическими знаками? Я вспомнил абику Буколу, и пальцы мои обхватили запястье, надрезав которое гости Отца впустили мне в кровь непонятные снадобья. Я не находил существенной разницы между собой и ими.

Оба мальчика увидели хмурое полукольцо обвинителей. Один заметил свои вещи, разбросанные на кровати. Лицо его исказилось от ярости, он закричал:

— Вы за это сядете в тюрьму! Вы воры, разбойники. Я сообщу в полицию — вам покажут!

Предупредивший нас об опасности мальчик из Эдо ответил:

— Мой отец служит в полиции. Месяц назад он арестовал человека за колдовство против другого человека — тот человек чуть не умер.

Обозвавший нас разбойниками искал поддержки в земляке, но земляк явно не знал, что делать. Тогда владелец джуджу резко повернулся и скрылся в ночи.

— Не дайте ему убежать! — закричал главный обвинитель, и все бросились вдогонку. Я не шевельнулся. Развернувшиеся события повергали меня в не меньшее смятение, чем второго мальчика иджебу. Я подошел к нему.

— Ты веришь в эти джуджу?

Он пожал плечами.

— Он верит,— он кивнул в сторону двери, в которую только что убежали все.

— А ты?

— Не знаю. Я вовсю зубрил. Мне нужна стипендия, иначе мне не учиться.

— Но твой отец не дал тебе джуджу?

Он покачал головой.

---

[1] Сверхъестественное магическое средство.

— Раньше он был мусульманин. Теперь он христианин. Я не помню, чтобы он прибегал к джуджу. Может, поэтому он такой бедный.

Он собирался читать и взял книгу. Напоследок я рискнул задать еще один вопрос:

— Что вы зарыли в углу класса?

— Ах, так они видели.

— Вы зарывали вместе?

— Нет,— он покачал головой. — Но я видел.

— И ты его не остановил?

— А зачем? Ты в это веришь?

Теперь я пожал плечами:

— Не знаю.

— В том-то и дело. Никто не знает.

Не поймав беглеца, ребята вернулись из темноты. Я рассказал мальчику из Эдо, что услышал от второго иджебу.

— Хорошо,— сказал он. — Завтра утром мы позовем священника, и он прочитает молитву.

— А что это даст? — удивился я.

— Молитва разрушит джуджу,— ответил он.

— А откуда он узнает, какую молитву читать? — продолжал сомневаться я. — Он же не знает, какое там джуджу.

— Есть только два оогуна — добрый и злой,— сказал кто-то. — Любая молитва разрушит злой.

Еще кто-то предложил вырыть оогун и выбросить на помойку.

— Да ты знаешь, что говоришь? — раздались испуганные голоса. — Кто это будет рисковать? Копни его, и у тебя руки отсохнут. Только не я!

— У меня руки не отсохнут! — похвалился я, не успев осознать, что говорю я, а не кто другой.

— Да? — захихикали кругом. — Твой отец что, тебя «испек и высушил»?

— Нет, не отец. Дед.

Я почувствовал на себе странные взгляды. Кто-то отшатнулся от меня, кто-то из любопытства приблизился.

— Ты шутишь или серьезно?

— Пойдемте выроем — и увидите.

Беря в руки фонарь, я испытывал необыкновенную легкость в мыслях. Мальчик из Эдо и еще четверо-пятеро ребят потянулись за мной в классную комнату. Мальчик из Эдо показал нам угол, и мы стали рыть землю палками.

На глубине каких-нибудь трех дюймов мы вырыли узелок размером с апельсин. Я поднял его за хвостик и вынес на камни в середине двора. Кто-то спросил:

— А что с ним делать?

— Сжечь, конечно,— быстро ответил мальчик из Эдо. — Когда в суд приносят джуджу, его всегда сжигают.

Мы отвинтили на лампе колпачок, облили узелок керосином и бросили зажженную спичку. Ткань вспыхнула, погорела, и внутри узелка начались мелкие взрывы. Что-то вылетело из него и упало к ногам одного мальчишки. Мы все шарахнулись, а он в ужасе закричал:

— Эпе ло фо яде йен! [1]

Он бросился бежать. Мы все побежали за ним в общежитие, крича: «Господи!» и «Иисус Гбами!» Среди всех голосов выделялись заклинания мальчика из Эдо — он бормотал: «СМОГ, СМОГ, СМОГ...» Когда мы уселись на кровати и малость пришли в себя, я спросил его, что это за заклинание.

[1] Он плюется опасными заклинаниями.

— СМОГ,— ответил он.— А ты что, не слышал? Это значит «Спаси меня, о Господи». Когда спешишь, удобно говорить сокращенно.

Виновник переполоха, надо думать, возвращался поздно ночью. Утром кровать его оказалась не смята, а вещи исчезли.

«Ну и черт с ним»,— сказал я про себя, но мальчик из Эдо схватился за голову, и я спросил:

— Ты думаешь, его надо арестовать?

— Ты ничего не понимаешь,— он встревоженно качал головой.— Какие мы дураки, легли и заснули. Да он ночью мог всех нас убить своим джуджу! Если бы мой отец услыхал об этом...

— Что бы он сделал?

— Он бы выпорол меня за неосторожность. Вот так могут тебя убить. Или сделать калекой на всю жизнь. — Он медленно огляделся и, отдавшись отчаянию, заговорил на ломаном английском: — Смотри, мы все спать, как дурак. И не посмотреть, что этот гад оставить у нас...

— Что ты волнуешься? Ты говори СМОГ.

Он просиял, радостно закивал, и мы пошли в душевую.

Любопытство Рэнсом-Кути не знало границ. Он много чем восхищался в правительственных школах, но не был уверен, что белые учителя способны надлежащим образом воспитать африканца.

— Главное, они не могут воспитать в ученике характер,— говорил он мне. — Настоящий характер. Что дает АГ ребятам — так это характер. Никакая школа с ней не сравнится. Что ты думаешь о белых учителях?

Я повторил, что нас еще не учили, а провели собеседование и опять засадили за экзамены.

— Да-да, но они говорили с тобой. Ты говорил с ними. Какого ты о них мнения?

— Они довольно приятные. Но мне было трудно их понимать — нам всем было трудно. Они говорят в нос...

— К этому ты привыкнешь. Я вот привык. Гм... Я видел белого человека дома, только там его можно понять по-настоящему. Я рад, что был в Англии. Помогает лучше управляться с юнцами, которых они присылают к нам в качестве чиновников. Но белые учителя... нет, я все же не знаю, зачем Айо отдает тебя в их школу.

— Мне там нравится,— предательски выпалил я.

— Неужели? — Его глаза расширились. — Тебе там больше нравится, чем здесь?

— Наверно, дядя.

— Удивительно. — Он глядел, как будто видит меня впервые. — Тебе там больше понравилось... — Он быстро взял себя в руки. — Но ты у нас не проучился и года. Ты еще не стал настоящим гимназистом.

— Мне нравится та школа,— настаивал я. — Я надеюсь получить стипендию.

— Вот в чем дело! — взорвался он. — Я пытался вспомнить хотя бы одно преимущество, какое есть у той школы. Да, они присуждают стипендии. Верно, если ты заслужишь стипендию, конечно, это будет помощь для Айо. Но на каждые каникулы ты должен приходить ко мне. Я хочу знать, как они там учат.

Я пообещал приходить.

— В этих школах они учат каждую минуту говорить «сэр». Только рабы говорят «сэр». Пока ребенок впечатлительного возраста, они заставляют его говорить «сэр, сэр, сэр, сэр, сэр». Это ужасно! Таким способом они лишают его характера. Итак, ты будешь приходить ко мне на каникулы. — Он задумчиво покачал головой и вдруг вспомнил еще один недостаток: — Они берегут розги. Это серьезная ошибка.

— Я так не думаю, принципал.
— Да? Ты не думаешь, что розги укрепляют характер?
— Нет, принципал.
— О Боже, Боже, Боже! И это говорит сын Эниолы!
— Да, принципал.
Он вздохнул, скорбно покачал головой и продолжал свой путь по коридору.

Беере возвращалась домой по опасным морям. Однажды утром газета громко осудила ее деятельность в Англии. На конференции или публичной лекции она заявила, что женщины страны эгба влачат жалкое существование. Что они нищие, бесправные и изобиженные. Четырехстраничная газета опубликовала длинное письмо, оспаривающее ее заявление и обвиняющее ее в клевете на благородных женщин эгба. Говорить так — позор, Беере предала своих соотечественниц. Письмо приглашало англичан приехать в Абеокуту и посмотреть своими глазами. Они увидят всеобщее процветание, ибо женщина эгба даже среднего достатка живет в уюте и роскоши. Здесь сколько угодно больниц, на улицах безукоризненно чисто, жилья всем хватает. Миссис Рэнсом-Кути следовало бы заниматься тем, за чем она поехала в Англию, и предоставить заботу о женщинах эгба тому, кто по природе вещей всегда почитал это своим кровным делом, отцу всего народа эгба — алаке из Абеокуты.

Не успел Кружок собраться и решить, чем ответить на обвинения, как та же газета напечатала письмо в защиту, подписанное «Наблюдатель». Автор на примерах подтверждал правоту Беере и напоминал читателю о многочисленных трущобах в Икереку, Иберекодо, Аго-ову и так далее, где женщины трудятся не покладая рук и еле сводят концы с концами. На собрании газету передавали из рук в руки. Ее хотели увидеть даже те, кто не умел читать. В конце Ма Игборе, седая дама, прочла вслух и перевела письмо из газеты. Раздались дружные голоса одобрения. Поднялась Кембери:

— То, другое письмо, в котором говорится, что все вы миллионерши, подписала Атупа Салон и ей подобные проститутки. Какие-то девки позорным путем разбогатели и постоянно шляются во дворец, звеня золотыми запястьями. Они забыли, что они живут среди тех, кто не может дважды в день накормить детей. Беере еще в пути. Когда она приедет, народ эгба узнает, кто настоящая одале[1]. Вы должны помнить одно: наша рука — рука Иакова... но мы знаем, кто наш Исав!

— Правильно,— поднялась другая ораторша. — Я точно знаю: их научил алаке, а алаке научил районный администратор. РА был во дворце, когда Кабийеси послал за Атупой и ее богатыми подружками. Когда они пришли, письмо было готово, им оставалось только приложить палец — Атупа не отличит «а» от «б». Они не сами писали письмо. С каких это пор Атупа Салон умеет говорить что-нибудь, кроме: «Подожди, я сейчас разденусь».

Среди раскатов глумливого смеха вошел Даоду с письмом «Наблюдателя» в руках.

— Что вам надо сделать,— сказал он,— это напечатать сто экземпляров письма. Когда вы пойдете встречать Беере, вы будете раздавать их в порту.

Идею одобрили. Собрание продолжалось. Через десять минут он возвратился.

— Напечатайте тысячу. Да, целую тысячу. Раздавайте всем, кто сойдет с парохода, и всем, кто придет встречать.

Женщины хором выразили согласие. Не дойдя до конца дорожки, Даоду снова вернулся, лицо его выражало решимость:

— Десять тысяч! Да, напечатайте ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ. Деньги най-

[1] Предательница.

дутся. Разбросайте в Лагосе под носом колониального правительства. Да, напечатайте десять тысяч!

Времени оставалось мало. Встречей Беере теперь занимался Даоду. Он ничего не забыл. Он распорядился, чтобы во дворе школы врыли в землю такие же огромные кувшины для воды, какие были у нас в Аке. Он договорился с Дикой Христианкой и другими руководительницами Кружка об угощении для толпы встречающих, которая придет из порта. Кажется, я догадался, чего он хочет — чтобы жену встретили с еще большим почетом, чем его самого, чтобы шествие растянулось от Лагоса до Абеокуты, посрамило хулителей и устрашило клеветников.

XIV

Возвращение миссис Кути преобразило участок АГ в поле для празднества. Вдобавок к кувшинам с водой Даоду заказал несколько сот небольших керосиновых ламп. Толстые четырехфутовые бамбуковые шесты врыли вдоль дорожек, вокруг площадок и на кухонном дворе — и в их пустоты вставили лампы. Коридоры школьного здания, выступы столбов под арками, скамьи, столы в саду — все получило свою долю ламп. Когда их зажгли, показалось, что на ночной участок вторглись миллионы огромных светлячков. Тяжелые подносы, горшки, блюда и корзины с едой вплывали в аллеи огней. Пели песни, кричали: «Дао-о-о-о-о-о-о-о... Бее-ре-е-е-е-е-е-е-е...» — когда кто-нибудь из супругов выходил к гостям. Бесконечные процессии женщин стекались на празднество, перед ними иногда шествовали барабаны. Не успевала одна пройти, как с другой стороны во двор входила другая. Две-три процессии встречались на одной дорожке, в хаосе сливались ритмы и мелодии, процессии соединялись или, наоборот, разъединялись, сохраняя свое собственное лицо, и просачивались сквозь толпы и танцы на второй этаж приветствовать новоприбывшую. Иногда все в процессии умолкали, и над песнями и криками раздавался голос священника, возносившего еще одну молитву за благополучное возвращение Беере. Никогда я не видел Даоду таким счастливым; его, всеми уважаемого деятеля, так и распирало от удовлетворения и гордости. Оказываясь рядом с ним, я не сводил с него глаз; я понимал, что вижу редкостное явление — безудержно счастливого взрослого человека. У него всегда была грудь колесом — но что это было сейчас! Плечи, казалось, раздались в ширину на несколько дюймов, его огромное тело заполняло всю праздничную агбаду. По большей части он оставался наверху, но регулярно выглядывал в разные окна, чтобы заметить все, все понять, оценить и дать распоряжения и точные указания. Ясно, что Союз женщин имел в его лице могущественного сторонника.

К полуночи толпы вроде бы схлынули; однако, обежав участок, я понял, что просто уменьшилась их деятельность. Женщины сидели и спали в каждом углу, во всех коридорах, они не собирались расходиться до утра. Я сам вскоре заснул, но проснулся от шума у ворот. Я слышал крики и топот множества ног. Я выпрыгнул из кровати и бросился к окну. Там уже стоял крупный мужчина в английском халате, Даоду. Он всматривался в толпу перед воротами, потом громко спросил, что происходит. Люди оглянулись, толпа расступилась. В середине беспомощная, в крепких руках многих женщин находилась молодая женщина, совершенно голая. Ее повели к зданию, осыпая бранью и затрещинами. На ее голове была тыква эбо [1]. При мерцающем свете я разглядел в тыкве собаку, разрубленную от головы до хвоста. Собака была обмазана кровью с пальмовым маслом, пеплом или каким-то порошком. Вокруг нее лежали орешки кола, несколько монет — пенни или онини [2], раковины каури и кокосовые скорлупки.

[1] Ритуальное жертвоприношение.

[2] Мелкие медяки, ныне изъяты из обращения.

Тело женщины было уже все в ссадинах, но мое внимание привлекало ее лицо. В нем было что-то нездешнее; как ее тело не замечало ударов, так лицо ее не выражало боли. Оно ясно виделось в свете ламп, оно ничего не выражало. Ее светящиеся глаза смотрели куда-то вдаль. Только раз, когда разъяренная женщина подскочила к ней и крикнула прямо в лицо:

— Дахун! Тани ран э? [1] — она остановилась, посмотрела на женщину — тоже без выражения,— и тут ее снова подтолкнули вперед, к нам.

Когда они оказались под окном, Даоду опять спросил, что происходит, и приказал прекратить избиение. Он напомнил, что Беере устала с дороги и после чествования, и попросил их не кричать. Ночной сторож рассказал, что случилось. Он обнаружил эту женщину с игба эбо [2] на голове уже на самом участке. Она была возле дома, почти там, где он сейчас стоит,— он указал место. Он окликнул ее, и она побежала, проскользнула сквозь брешь в ограде и бросилась к передним воротам, где хотела оставить эбо. Его крики разбудили многих женщин, и они помогли поймать незваную гостью. Это все.

— Кто-нибудь ее знает? — спросил Даоду у женщин.

Женщины смотрели на пленницу, переглядывались и качали головами. Они отряхивали ладони, шипели, вздыхали и бранились. Их озадачивала неожиданная материализация чужой женщины. Дорога была широкая, более чем ярко освещенная. На школьном участке той ночью куда ни ступить — везде наткнешься на человека. И все же эта совершенно голая женщина с бросающимся в глаза игба эбо на голове дошла почти до самого здания, где и оставила бы свою злодейскую ношу, если бы не бдительность ночного сторожа. Никто ее не знал, она не говорила ни слова. Я обратил внимание, что ее не слишком заставляли говорить. Как будто в какую-то минуту все женщины поняли, что и не заставишь.

— Ее, наверно, подослала Атупа Салон,— сказала одна женщина.

Она не успела договорить, как все решили, что так оно и есть. Они проклинали дьявольскую попытку сатанинскими средствами погубить жизнь и здоровье Беере. Помянули и самого алаке, но, по общему мнению, женщину подослала Атупа Салон.

Даоду был явно растерян. В четыре часа утра он не знал, что делать со стоявшей внизу голой женщиной. Я видел, что мне этой ночью сна больше не будет, и поэтому мечтал, чтобы он учинил суд как над провинившимися школярами. Я пытался сформулировать обвинение, но оно выходило неточное и неполное. При мне ни разу еще на дорожках АГ не ловили голую женщину с игба эбо на голове. Интересно, как Ику будет вести защиту.

Наконец, Даоду распорядился сторожить ее до утра, а потом послать за полицией.

Женщины отвели ее на лужайку за кухней. Они образовали вокруг нее плотное кольцо и заставили ее простоять с тыквой на голове до утра. Затем они повели ее, голую, по улицам в полицейский участок. Они пели:

Атупа Салон он нгбебо ру.
Гбогбо олойе нтагбуре[3].

Очевидно, они пришли к выводу, что в покушении замешаны и вожди. Даже когда наступило утро, на лице женщины сохранилось полное безразличие.

---

[1] Отвечай! Кто тебя подослал?
[2] Жертвенная тыква.
[3] Атупа Салон раздает подарки.
Вожди торгуют овощами на базаре.

Множество объяснений родилось назавтра и в последующие дни. Самое распространенное гласило, что женщину омыли зельем, придающим невидимость,— именно поэтому она пришла совершенно голая. Зелье, очевидно, было с изъяном и утратило силу, прежде чем покушение состоялось,— отсюда внезапное появление женщины ниоткуда перед стенами школы. Никто точно не знал, как должно было действовать зло, ясно, что его никак нельзя счесть чьим-то дружественным жестом и что оно имело целью причинить вред Беере. На обратном пути из полиции женщины сделали крюк и прошли мимо дома Атупы Салон в Икереку. Они перебили ей окна и нашвыряли осколки в ее знаменитый «салон». Сама она, по слухам, нашла постоянное прибежище в Аафине.

Покушение на здоровье — или на жизнь — Беере наэлектризовало собрания женщин. Почти через день печатались новые листовки. Некоторые из них сочиняла Дикая Христианка, вернее, она высказывала мысли Эссе, он делал заметки, а затем аккуратно переписывал своим восхитительным почерком и подавал ей листки, говоря:

— Почему бы тебе завтра не обсудить это с женщинами?

Я в совершенстве освоил роль особого посыльного и сновал между Игбеином и Аке, лавкой и домами мамы Адуни, мамы Игборе и Кембери, застревая всюду, где назревало событие. Продолжались общие собрания, возобновились уроки чтения и письма, и мне стало приходить в голову, что одна моя ученица годится мне в жены больше, чем миссис Одуфува. Она была моложе, веселая и все время меня поддразнивала. К тому же она была не замужем, а это, как я узнал, оказалось делом существенным. Она постоянно повторяла, что спешит учиться, чтобы мы с ней говорили по всем правилам грамматики, когда поженимся. Такая понятливость свидетельствовала в ее пользу, ибо сам я о женитьбе не заикался. К несчастью, некоторые другие ученицы тоже выразили желание выйти замуж за «молодого учителя». Они все время кричали, чтобы Дикая Христианка получше меня кормила, чтобы я скорее вырос, догнал их и продолжил уроки в спокойном семейном доме. При этом они выделывали непонятные жесты, отчего женщины вокруг покатывались со смеху. Все они, включая мою любимую ученицу, вроде бы хорошо знали такое, чего моя первая будущая жена не должна бы знать. Это одновременно и отталкивало и привлекало, я не вполне понимал их и догадывался, что они имеют в виду тайные ритуалы, которые проделывают муж с женой. Силы у них были неиссякаемые, казалось, они никого не боялись, ни даже Беере, Дикую Христианку или Даоду. В «классе» они преображались. Когда одна из них чересчур разгуливалась, другие быстро ее одергивали, причем моя любимица была моей самой верной союзницей. Я решил, что мы с ней поженимся, когда я стану доктором.

Помимо общих собраний, Кружок теперь заседал отдельно. На одном заседании, должно быть, решили, что если час отведен на чтение, письмо и счет, а другой на гигиену и тому подобное, то надо выделить время и на обсуждение налогов. В один прекрасный день со своего наблюдательного поста я следил за одним обычным собранием. Оно началось точно как все остальные, но закончилось первым походом женщин на Аафин.

Женщины рассказывали, что сборщики налогов по-прежнему не дают им житья. Первоначальная резолюция женщин отвергнута, возможно, на нее просто не обратили внимания. «Довольно налогов!» — потребовали женщины, и сейчас на каждом собрании они говорили, как отнеслись к их требованию. Все оставалось по-прежнему, на дорогах не было прохода, на базарах и улицах покоя. Об этом рассказывали много, подробно, под дружные крики негодования. Составлялись новые тексты. Назначались новые делегации. Районного администратора бомбардировали петициями, требованиями и угрозами.

Несчетное число раз миссис Кути ездила в Лагос, она колесила по стране в поисках поддержки. Чуть позднее мы услыхали об образовании Союза женщин Нигерии. Движение оникаба, начавшееся за чаем и бутербродами с осуждения дурных манер новобрачных, превратилось во всенародное нигерийское движение. И оно стало частью усилия положить конец правлению белых.

Ибо неожиданно появился Оге-е-е-е-эд! [1]

И еще Зе-е-е-е-е-эк! [2] Мы слышали, что его речи способны сдвинуть горы.

Нескольких молодых националистов-радикалов посадили в тюрьму за подстрекательство к бунту, под бунтом подразумевалось требование, чтобы белые предоставили нам самим управлять нашей страной. Выдвигались все новые и новые имена.

По стопам Даоду и Беере новая депутация собиралась поехать в Англию. Они потребуют там не учреждения университетов во всех колониях, но независимости. Их представители собирали по всей стране деньги на поездку. Союз женщин помогал как умел. Устраивались концерты. Мы жертвовали карманными деньгами, сознавая, что наши полупенсовики идут на великое дело. Огед, Зеек, Тони, Ибиам, Оджике — эти были для нас лишь именами, но все в Абеокуте знали Беере и Союз женщин. И все оникаба и все аросо сказали «да» группе людей с самым длинным названием, какое когда-либо слышали,— Национальный совет Нигерии и Камеруна. Мы делали все, чтобы ускорить их действия.

Но у Союза женщин оставалась нерешенная проблема налогов. В час, выделенный для обмена горьким опытом, старая женщина встала и попросила слова. Она была такая старая, что ей помогли подняться. Она впервые пришла на собрание, она истратила на дорогу последние силы, ибо видела в Союзе женщин последнюю возможность отвести угрозу, нависшую над ее головой.

— Я пришла из-под Ово,— начала она,— я слыхала, что здесь пытаются облегчить страдания, какие мы терпим от сборщиков налогов. Может быть, вы мне поможете. — Она стала развязывать узелок на поле халата. Пальцы плохо повиновались, другие руки пришли на выручку. Узелок был развязан, и на свет появилась бумага. — Вот она,— сказала старуха,— вот причина всех бед. Я навлекла несчастье на свою голову... Я сейчас расскажу. Мой сын, мой единственный сын умер три года назад. После него осталось тринадцать детей — вы слышите? Тринадцать детей от разных жен. Все дети маленькие. Когда этих детей привели ко мне, я сказала: что мне с ними делать? У меня нет мужа, и это был мой единственный сын. Я не знаю, как прокормить себя.

Короче говоря, после моего сына осталась ферма — с ее помощью он зарабатывал себе на жизнь. И люди сказали мне: Ийя, что ты сидишь на месте и смотришь, как голодают детишки? Иди и бери ферму. Возьми с собой тех жен, которые не боятся тяжелой работы, пусть будет как можно больше работников, обрабатывай ферму и добывай деньги, чтобы послать детей в школу. И я сказала: верно, лучше работать, чем побираться. И я занялась фермой. Мы едва могли прокормиться. Даже с учением не очень-то получалось. Ребятишки ходили в школу по очереди.

И я думала, что в моем возрасте это довольно тяжелая жизнь. Но две недели назад все переменилось. Сборщики налогов принесли мне эту бумагу; они сказали, что раз у меня большая ферма, значит, должно быть особое обложение. Они сказали, что раз у меня большая ферма, значит, я гбаджумо[3], но они ничего не сказали про тринадцать детей и четырех женщин, которые едят гари только благо-

[1] Огенбендже Маколей, нигерийский националист.

[2] Ннамди Азикиве, нигерийский националист.

[3] Богатая, знаменитая.

даря этой ферме. Они говорят, что у меня большая ферма и поэтому я гбаджумо. Вот в этой бумаге. А где я достану деньги, которые написаны на этой бумаге? Скажите мне, где эти деньги, я хочу пойти посмотреть на них, потому что за три года, какие мы кормимся этой фермой, я ни разу не видела таких денег. Ни я, ни мои «жены», ни мои дети — никто из нас никогда в жизни не видел таких денег.

Наступило молчание. Старой женщине помогли сесть. Кружок размещался за столом лицом к собранию, бумага в безмолвии переходила из рук в руки, но вот ее положила на стол и движением руки распрямила мрачная миссис Кути. Продолжавшееся молчание глумилось над резолюциями, делегациями, консультациями и всяческими организациями. Естественно, тишину нарушила Кембери. Она, резко двинув стулом, встала из-за стола. Миссис Амелия Осимосу, известная среди младших жен семейства Осимосу как Кембери, оглядела своих соседок и вышла из-за стола:

— Довольно! Довольно говорить. О йа, э нсо л'Аке! [1]

Женщины поднялись как одна. Руки с косынками взметнулись ввысь, точно сотни флагов. Косынки упали и превратились в кушаки — ими в знак суровой решимости препоясались женщины. Кембери пошла впереди, толпа запрудила улицы и направилась в Аке, к дворцу.

Перед дворцом алаке расположена площадь. Это большое, почти квадратное поле во всю длину дворца. Поле служит неким промежутком между стенами дворца и улицей города. На этой улице, прямо напротив дворца, находится лавка Дикой Христианки. Поле, как водится, окаймлено белеными камнями, трава на нем ухоженная, по краям поля и вдоль дороги от арки к дворцу на равном расстоянии друг от друга стоят деревья. Над аркой — фигура покоящегося слона — символ царской власти в стране эгба.

С правой стороны поля тянется приземистое глинобитное здание. Стену его под нависшим железом крыши прорезают сводчатые проходы, на две трети забранные косой деревянной решеткой. Боком это здание выходит на ту же самую улицу, задворки его теряются в мешанине дворов и глинобитных домов Аке. За стенами здания скрыты от постороннего взгляда владения огбони. Из лавки в разное время дня мы видели, как они идут на собрание вождей в Аафин или на свои регулярные тайные встречи. Важным условием пребывания в этом священном сообществе, вероятно, был возраст, но мы встречали и молодых, брызжущих грубым здоровьем, с зычными голосами — эти были скорее похожи на воинов, чем на обладателей хитроумия, опыта, мудрости.

Огбони носили облачения наподобие тоги, державшиеся на одном плече. На другом, обнаженном, плече лежал характерный холщовый шарф с кисточками на концах и разноцветным ворсистым узором посередине. Старшие огбони под широкое облачение надевали бубу. Железный или бронзовый посох они держали в правой руке, иногда посох перед огбони нес служитель. Их одеяние дополнял округлый негнущийся кожаный веер, но самым характерным для огбони племени эгба была широкополая кожаная шляпа, украшенная ленточками, разноцветными полосками кожи, или рафии, или бусами. Огбони скользили по Аке — молчаливые, темные, мудрые тени далеких времен, доживший до наших дней остаток истории эгба, ее тайн, воспоминаний, прозрений — или же топали, точно воины, заносчивые, хриплые, широкоплечие, исполненные устрашающей силы. Мы их боялись. Среди прочих шепотков и намеков мы слыхали, что они похищают детей — такого рода добыча нужна им для обрядов и церемоний. Совершенно точно, они — владыки культа оро[2], чья тре-

[1] Пора, пойдем походом на Аке!

[2] Таинственный культ у мужчин, приводящих в исполнение приговоры.

щотка загоняла женщин в ужасе в первую попавшуюся дверь. Очень редко трещотку слышали среди дня и без предупреждения, но один раз ее звук долетел до нас, когда я был в лавке с Дикой Христианкой. Она держала дверь на запоре, пока опасность не миновала. Их странные напевы по вечерам часто были слышны в Приходе; пение прерывалось тупым стуком — нам сказали, что это они, шагая по кругу за стенами, одновременно ударяют посохами о пол. Никто по-настоящему нас не просвещал, но мы узнавали, что реальная власть царя и страны принадлежит огбони — не та власть, благодаря которой к ногам царя припадают мужчины и женщины, а настоящая власть, сверхъестественная и каббалистическая, загадочная полночная власть, благодаря которой царь может однажды утром проснуться и обнаружить, что все столбы в его доме за ночь съели термиты. Мы глядели на огбони, напуганные и зачарованные.

На пути в свое здание каждый огбони должен был пройти под аркой со слоном и затем повернуть направо по особой отдельной тропинке. Центральная аллея к дворцу шла сквозь тоннель в первом этаже длинного двухэтажного дома, который образовывал внешнюю часть дворцовых сооружений. В этом доме размещались кабинеты и комнаты заседаний «Туземного самоуправления», председателем которого был алаке. За внутренней стеной этого дома начинался особый мир.

Короткий низкий тоннель перемещал вас во времени и выводил в сводчатое пространство, где на вас глядели пристальные, светящиеся глаза окаменелых божеств и предков. Таково, по крайней мере, было мое впечатление, когда я впервые из тени тоннеля вышел в залитый солнцем внутренний двор. Из обыкновенной человеческой улицы — книжная лавка, церковь, кенотаф, швейная академия, ремонт велосипедов, цирюльни, прилавки, бетонный «Дворец Столетия», заблудившиеся козы и крикливые разносчики, обсаженная деревьями площадь, дом самоуправления — мы неожиданно оказались в ковчеге безмолвных наблюдателей, воинов в доспехах — по одному и группами,— коленопреклоненных жриц, сцен жертвоприношений, царских процессий. Имена мы узнали потом — Ифа, Санго, прорицатели, Огун, Обатала, Эринле, железные посохи осаньин, нанизанные на них птицы для гадания... сами огбони в процессии, движущиеся и неподвижные. Они замыкали двор полукругом на низкой стене под навесом крыши на резных — фигуры людей и зверей — столбах. Оборотная часть низкой стены состояла из ниш, в которых располагались другие обитатели мира предков. От полукруга радиусами к разным частям дворца вели проходы, и всюду стояли фигуры, чем дальше, тем больше уходившие в тень.

Один из проходов, налево от тоннеля, был шире других. Подобием ступенчатой шахматной доски он уходил вглубь под колонны, над которыми возвышалось отдельное сооружение с деревянными резными террасами — апартаменты алаке. В часы общей аудиенции внизу собиралась толпа. Когда алаке появлялся на террасе, мужчины падали ниц, а женщины делали йинринка, то есть опускались на колени, ставили локти наземь и поочередно касались пола левым и правым боком. Просителей или истцов по одному вызывали служители алаке или вожди, выносились приговоры, давались советы, заключались мировые, назначались третейские разбирательства.

Я бывал здесь несколько раз. Впервые Тину и меня отвели к алаке после богослужения. Тогда я только пошел в школу, и обстановка двора показалась мне кладбищем — разве что нет мраморных плит, надписей и беленых могил, одни деревянные изваяния, не вполне такие, как ангелы и херувимы, населявшие двор за церковью. Зато нечто родное было в личном саду алаке — он был почти такой же роскошный, как у Эссе, но мог похвастаться растениями, каких я дотоле не видывал. Однако глубже всего мне в душу запал аквариум,

первый в моей жизни. Во внутреннем дворе плоские каменные ступеньки вели к водоему, в котором плавали серые и разноцветные рыбки. Нас предупредили, что к одной из них лучше не прикасаться. При первой возможности я выскользнул из гостиной и прикоснулся — меня так тряхнуло, что я чуть не упал в воду. Переживание было потрясающее, но ни с кем поделиться нельзя, а то вдруг не станут пускать во дворец. Алаке весьма ценил семейство директора, главным образом из-за мамы, от которой всегда был в восторге. В следующие посещения он брал за руки нас с Тину, приставал к нам с расспросами и называл нас своими йекан. Я спросил маму, что такое «йекан», и никак не ожидал услышать новость, что мы его родственники. Мир Прихода и мир Аафин были так далеки друг от друга, что я не находил между ними связей. Несмотря на периодические появления в церкви, где у него было свое место, царь в силу своего положения был обязан следовать орисе. Стать царем означало «джеоба», а это, как мы узнали, истолковывалось буквально. Когда старый царь умирал, у него вырезали сердце и печень и новый царь был обязан их съесть. Ничто так меня не потрясло, как случайное сообщение о том, что человек, который сажает меня себе на колени и называет своим йекан, ел человечину — хотя бы ради царского звания. Долго после этого я вглядывался в лицо алаке, нет ли следов крови на губах, на которых играла радостная извилистая улыбка. Я не осмеливался спросить — это было одно из немногих дел на свете, о которых у меня не хватало духу прямо задать вопрос!

Я знал, в котором часу начинается аудиенция, и иногда, когда мы были в лавке вдвоем, убегал поглазеть. Раз алаке увидел меня и в конце аудиенции поманил к себе. Боясь, что он захочет что-то передать Дикой Христианке и таким образом выдаст меня, я убежал. После этого я ходил туда редко, со всеми предосторожностями, чтобы не быть замеченным. Дела разбирались самые разные, многие — трагикомические. В некоторых не было ничего смешного, но слуги или младшие вожди и тут выискивали, над чем посмеяться. На этих аудиенциях я впервые сообразил, что один из отходивших от тоннеля проходов образовывал тюремные камеры. Я и раньше видел «местных» полицейских у входа в этот коридор и предположил, что они — часть дворцовой охраны. И вот теперь полицейские отперли дверь в проход и вывели провинившихся мужчин и женщин. Их швырнули на пыльную землю, и алаке тонким плаксивым голосом вопросил с балкона:

— Почему вы никогда сами не хотите платить налоги?

Именно это зрелище вспомнилось мне, когда я, срезая полмили, свернул у книжной лавки, побежал задами Прихода, через кладбище, школьный участок, Епископат, вынырнул в воротах напротив Па Солотана, обогнул церковь и шепнул о новостях Бунми, которая дежурила в лавке. Я занял великолепный наблюдательный пункт за целых пять минут до того, как передовой отряд ворвался на территорию дворца и потребовал немедленного свидания со своим Отцом. Акода у входа в тоннель повел себя высокомерно:

— Кто вы такие? Кто вас послал? Чего вам нужно? Вы когда-нибудь слышали, что Кабийеси дает аудиенцию в это время? Ступайте назад и скажите крикливым женщинам, которые идут сзади, чтобы они...

Когда «крикливые женщины» протиснулись в арку, рассыпались перед дворцом и заполонили все пространство, вопросы и приказания застряли у акоды в горле. Вытаращив глаза, он пятился ко дворцу, откуда на смену ему выскочил отряд младших вождей. Я узнал в них слуг с маленькими дворцовыми званиями, которые обычно лежали на циновках во дворе перед входом в апартаменты алаке. Некоторые из них на аудиенциях выкликали просителей и истцов или

в качестве низших чинов суда бегали с поручениями. Их главная задача, вероятно, была не допустить женщин в главный двор. Женщины ответили, что будут мирно ждать у дворца, если Кабийеси немедленно примет их делегацию. Вожди поблагодарили их и побежали докладывать царю.

Вскоре появились руководительницы — мама Игборе (я удивился, что, шагая со всеми, она так быстро дошла до дворца), Дикая Христианка, мама Адуни, еще две-три женщины и, разумеется, Кембери. Когда вышел алаке, они сделали реверанс и опустились на колени, не более. Алаке явно решил обойтись с депутацией милостиво. Он говорил как добрый отец; высоким голосом, сочувственным и увещевающим, он называл их своими дочерями, друзьями и родными и был готов разделить их гражданскую озабоченность.

— Ах-ха, Мороун, йекан ми... И миссис Оводунни... Я вижу, и Игборе здесь, не говоря о церковных... да, дело у вас, конечно, серьезное. Но то, что вас пришло так много, по сути дела весь город, вселяет в меня уверенность, что нет ничего такого, что мы не могли бы сообща разрешить. С такими людьми нет ничего неразрешимого, так давайте приступим к делу. Что случилось в нашей возлюбленной стране эгба?

Кембери снова опустилась на колени и воскликнула:

— Кабийеси, о Кабийеси! — Она наклонилась направо и налево и поднялась.— Кабийеси, моими устами сегодня говорят все женщины, которые бросили свои прилавки, дома́ и детей, свои фермы и хлопоты и пришли к тебе. Все те, кто сейчас стоит перед твоим дворцом, измучены страданиями — ты можешь взглянуть на них сам, Кабийеси, это все женщины эгба, и они пришли сказать тебе: «Довольно — значит довольно». Я сейчас говорю с тобой голосом нашей Беере, миссис Кути. Мои слова — это слова миссис Кути. Она просила передать тебе от имени всех женщин перед дворцом, что с женщин страны эгба довольно. Они голодают, их дети голодают, болеют, они не могут ходить в школу, у них нет надежды на лучшее будущее, и все же на матерей взваливают все более тяжкое бремя. И вот женщины сказали: «Довольно».

Кабийеси, когда-то на базарах паракойи были почтенными, уважаемыми людьми. Они охраняли порядок, их присутствие давало нам чувство безопасности, в долгие часы на базаре мы были как дома. Что мы давали, мы давали им с радостью. Мы выделяли им долю, которая позволяла им быть сытыми и одетыми. Но за последние годы их алчность перешла все границы. Они по локоть запускают руки в наше гари, в наше элубо, в нашу соль, овощи, кукурузу и масло, словно кто дал им такое право. Они говорят, что их уполномочили вожди, совет и кто угодно, кто приходит им в голову. Нам все равно, откуда у них это новое право, мы говорим: «Довольно — значит довольно». Мы не хотим видеть их на базарах. Мы хотим, чтобы их не было. Они приводят акода и полицейских и арестовывают женщин, запирают их и даже бьют плетьми. Мы больше не желаем видеть их на базарах.

Мало того что паракойи набивают свои жирные животы и бездельничают, сборщики налогов подстерегают женщин на дорогах, пристают к ним на базарах и в домах и уводят их, даже кормящих матерей, и держат под замком, пока они не уплатят налоги. Миссис Кути поручила напомнить тебе, что мы устраивали собрания, посылали прошения, всюду протестовали против налогов, которые мешают жить нашим женщинам. Она повторяет, что мы просили совет обуздать чиновников и не требовать налогов, когда кормилицам нечем кормить семью. Дело дошло до гонго. Обычных, необычных налогов, поборов — наша Беере просила тебе передать: хватит! Женщины страны эгба говорят: ХВАТИТ НАЛОГОВ! Каких угодно! Прос-

то: ХВАТИТ НАЛОГОВ! С сегодняшнего дня мы отвергаем все виды обложения!

Ее голос взлетел ввысь, и его подхватили соседки. По полю катились и заполняли небо над Аке дружные крики:

— Хватит налогов! Женщины говорят: «Хватит налогов!»

Алаке сидел неподвижно, стараясь решить задачу, о которой он до сих пор словно бы не слыхал. Дождавшись минуты спокойствия, он сказал:

— Гм, ты превосходно изложила суть дела, Амелия, большое тебе спасибо. Я благодарю всех пришедших сюда, и я благодарю миссис Кути, которой здесь нет.

— Она сейчас придет,— заверила его Кембери.

— Вот как? — Мне показалось, что алаке на мгновение растерялся, но тотчас взял себя в руки.— А, прекрасно, тогда у нас будет еще больше голов, чтобы решить задачу. Но позвольте, женщины, я спрошу вас прямо: вы думаете, налоги легко отменить? Налоги такие же древние, как человеческое общество, что же, мы покончим с ними так, одним словом?

— Кабийеси,— вступила Дикая Христианка,— я умоляю тебя задуматься очень серьезно. Очень серьезно. Женщины говорят: «Хватит налогов!» Сейчас не время рассуждать, были налоги у наших предков или не были. Мы говорим о сегодняшних женщинах, о женщинах, которых встречаем каждый день. Так вот, им нечем платить налоги.

— Может быть, это верно,— ответил алаке.— Я не сказал, что не сочувствую их трудному положению. Но мой вопрос остается вопросом: вы думаете, налоги легко отменить? Возможно ли современное общество, в котором женщины не платят налогов? В любом случае такое решение принимать не мне. Обложение вводит не алаке, а правительственный совет. Вопрос надлежит поставить перед советом. И вот о чем я хочу всех вас просить: вы действительно думаете, что можно управлять страной с помощью песка вместо денег? Вы действительно думаете, что с налогами можно покончить так, одним словом?

Кембери яростно затрясла головой:

— Нг-нг, Кабийеси, нг-нг. Мы пришли к тебе как к Отцу, как к тому, кого знаем. Кроме тебя, мы не знаем никакого правительственного совета. Ты — это правительство, а правительство — это ты. И мы пришли говорить с тобой, а не с вождями и не с советом. Это тебе надо вдуматься в наши слова очень серьезно. Как сказала айя директор, очень серьезно.

— Разумеется, разумеется,— заверил ее алаке.— Но я должен созвать совет. Я уже его назначил. Я уже послал за аджеле, потому что, как я сказал, этот вопрос касается не одного дворца, мы не можем решить его без вождей. И его нельзя решить за один день. Так что дайте нам время. Скажите людям: я обещаю во всем разобраться. Соберется совет — и мы все обсудим.

Он вздохнул и грустно взглянул на Дикую Христианку.

— Мороун,— сказал он,— позволь мне задать тебе вопрос. Ты жена учителя, директора школы. Он отвечает за школу, он наблюдает за учителями и учениками, он строит планы на будущее и так далее. Теперь представь себе: сложилась обстановка, которая требует коренных изменений в работе школы. То есть речь не о том, как школьникам маршировать или как проводить утренние сборы, и даже не о введении новых каникул. Я говорю о том, что потрясает основы школьной жизни,— об увеличении или уменьшении платы за обучение, об изменении учебной программы и тому подобном. Я хочу спросить тебя: может директор решить такой вопрос в одиночку?

— Нет, Кабийеси,— ответила мама.— Он созовет педагогический совет.

Алаке сочувствующе кивнул.

— Вот мы и договорились. Теперь более трудный вопрос. Допустим, на собрании директор делает важное предложение, а все учителя против. Он всей душой за перемены, он считает их необходимыми, может быть, этого требуют родители учеников, и он с ними совершенно согласен. Собрание идет целый день и еще один день и продолжается целую неделю. Он отстаивает свои доводы, он старается убедить учителей, но они не согласны. Ясно, что и в будущем убедить их не удастся. Да, он их начальник, но он в одиночестве. Он сделал все что мог, его совесть чиста. Итак, что в таком случае будет делать мудрый человек?

Не поднимая глаз, Дикая Христианка грустно покачала головой.

— Кабийеси,— сказала она,— вопрос, который ты мне задал, следовало бы задать агба-игбе [1], а не ребенку, ибо перед тобой мы все дети.

— Но я спросил тебя по-семейному,— сказал алаке.

— Ты говорил о чистой совести,— ответила Дикая Христианка.— Если бы муж спросил меня, я сказала бы, что если он не может поступать по совести, то с такой работой лучше расстаться. Вот что я бы сказала директору.

Все женщины из Кружка мрачно закивали. Бесконечное мгновение алаке глядел в полную тишину двора. Потом он вздохнул, встал и ушел в дом.

Конец аудиенции был отмечен прибытием Беере, при виде которой толпы перед дворцом разразились знакомым: Бее-е-е-е-е-е-е-ре! Ее обступили со всех сторон, так что пройти в главный двор оказалось пока невозможно. Как назло, в это мгновение появился районный администратор в сопровождении полисменов, которые тщетно пытались расчистить ему дорогу. Женщины возле арки и перед дворцом узнали его и принялись над ним добродушно подшучивать. Они были расположены к нему как нельзя дружелюбнее, словно считали, что с его помощью злокозненных слуг алаке полностью разоблачат. Однако молодой англичанин решил, что над ним смеются и принижают его чин, и побагровел от злости. Он приказал полисменам силой расчистить проход, что было легко, так как женщины сами расступались. Но тут он дошел до миссис Кути, которую взволнованные женщины засыпáли вопросами.

Эти женщины не были такие добродушные, как стоявшие возле арки. Они остались на месте, очевидно ожидая, что районный администратор и полисмены поступят так же. Когда полисмены попытались пробиться силой, женщины рассердились и начали громко глумиться над их начальником. Его лицо и шея приобрели цвет камвуда [2], он прошел сквозь строй оскорблений, пока не оказался — и то с помощью Беере — в главном дворце. Не находившее выхода унижение заставило его выскочить на балкон и рявкнуть на миссис Кути:

— Послушайте, миссис Кути, у нас деловое совещание. Призовите-ка ваших женщин к порядку!

— У нас здесь тоже весьма деловое совещание. Вы что, думаете, мы пришли сюда играть?

Взбешенный чиновник закричал:

— Так прикажите им всем заткнуться!

Наступила пауза. Миссис Кути сквозь очки долго смотрела вверх на белого; потом она спросила:

— Простите, это вы мне сказали?

— Конечно. ПРИКАЖИТЕ ИМ ВСЕМ ЗАТКНУТЬСЯ!

В тишине, охватившей остолбеневших женщин, миссис Кути произнесла ответ, который неделями повторяли по всей Абеокуте как урок вежливости, преподанный злополучному администратору. Ино-

[1] Умудренный старец.

[2] Древесина камвуда багровеет при соприкосновении с воздухом. *(Прим. перев.)*

гда ее слова называли вежливым нокаутом, нокаутом вежливости или о гба нстуд, о гбе фун и множеством подобных вариаций. Бесспорно то, что он онемел от сурового выпада миссис Кути. В тишине слова прозвучали особенно четко:

— Может быть, вас родили на свет, но вас забыли воспитать. Вы могли бы так разговаривать с собственной матерью?

Районный администратор как раскрыл рот, так и удалился под нарастающий гневный ропот на площади. Алаке призывали тотчас, в одну минуту выгнать белого наглеца. Если его не выгонят, женщины войдут во дворец, отрежут его гениталии и отправят по почте его матери. На балкон выходили вожди — их прогоняли единственным требованием: немедленно удалить белого с территории Аафина, ибо его присутствие оскорбительно не только для женшин, но и для дворца, который принадлежит народу эгба. Настроение теперь было грозное. Кружок тшетно пытался утихомирить женщин.

Что сейчас произойдет, было немыслимо предсказать. Боясь быть затоптанным, я отступил на край поля, но поближе к дому заседаний. В толчее я прошел мимо миссис Кути и впервые за день увидел ее улыбку:

— Гм, лоогун, о ти йа деби?[1] — Она спросила меня, где мама, упустив из виду, что все время переговоров моя мама и мама Адуни стояли рядом с ней и только теперь их разъединила толпа.

Страсти не утихали; просто к счастью для белого администратора, гнев обрушился на огбони. По одному, по двое они приходили на совещание с алаке, и их пропускали без разговоров. Но вот появился балогун одного из районов, высокомерный, напыщенный — может быть, только оттого, что считал своим долгом перед лицом беспорядков действовать сообразно со званием военачальника. Не испугавшись размеров и настроения толпы, а может быть и подстрекаемый ими, он пожелал утвердить свое мужское достоинство и, шествуя сквозь людскую массу в сопровождении слуг, низким голосом зашипел:

— Гм-гм-гм, пши-о! Мир испортился, мир погибает, если женщины, агбейин-то[2], осаждают дворец и нарушают покой.— И он загудел громким басом: — Уходите, ступайте домой, варите обед и кормите детей. Что вы понимаете в делах государства? Не платить налоги! Еще чего? Вам надо надавать по вашим ленивым задам!

То, что случилось сейчас же, можно назвать второй кульминацией бунта. После этого никто больше не сомневался в силе совместного воздействия женщин, в особенности Беере. Ей приписывали сверхъестественные способности — впрочем, это сделалось ясно всем, когда голая женщина перестала быть невидимкой и не смогла оставить свою злую ношу у порога школы. Ибо что-то случилось с бедром балогуна, который решил подтвердить слова действием и гневно топнул ногой. Он вдруг осел и рухнул на бок. Ошеломленный, он попытался вскочить на ноги, но повалился опять. Он пришел с шестью слугами — наверное, потому он был такой смелый,— и они ловко и умело подхватили его и унесли. Это произошло быстро и плавно, как хорошо отработанное упражнение, и напомнило мне рассказы о гражданской войне йоруба, когда под огнем врага слуги бросались на помощь раненому полководцу. При виде его падения женщины, разумеется, остолбенели — на краткий миг. Более того, стоявшие рядом с ним даже слегка отпрянули, не понимая, что происходит. Когда они пришли в себя, балогун был уже во дворце, накликав беду на своих собратьев огбони.

Ибо с этой минуты женщины яростно набрасывались на всякого, кто хотя бы отдаленно напоминал огбони. Они хватали его разноцветный шарф и разрывали в клочья, с него стягивали облачение и

[1] Ну, боец, ты уже здесь?
[2] Мочащиеся сзади.

оставшегося в одних трусах хлестали его же веером и шляпой, били посохом и прогоняли сквозь строй оскорблений назад — домой или во дворец.

И тут я услышал не просто призывную песню или боевую песню, но невообразимое заявление, что чисто мужской культ оро будут отправлять женщины — в пику всем мужчинам, огбони они или не огбони. Я не знал, будут ли они считать мужчиной меня, и если да, то не сделают ли исключения для своего «молодого учителя», особого посыльного и доверенного лица. Когда я увидел, как приземистые пожилые и старые седые люди, устрашающие огбони, побросав шляпы, платки и посохи, бегут быстрей, чем мой друг Осики; как мужчины-неогбони обходят окрестности дворца подальше и запирают за собой двери, я, наконец, до единого различил слова новой песни:

Оро о а фе соро
Оро о а фе соро
Этилекун мокунрин
А фе соро [1].

Мне, не раздумывая, следовало держаться поближе к нашей спасительной лавке!

Дикая Христианка уже собиралась запирать. Она казалась встревоженной, сильно встревоженной. Я не видел ее такой мрачной с самого начала движения женщин. Только теперь я сделал поразительное открытие — Дикая Христианка всем сердцем ненавидела жестокость! Я был потрясен. Ее крутой нрав и вспышки ярости, обрушивавшиеся на наши злополучные головы, заставляли меня думать, что она будет в центре бури, из которого я так неохотно сбежал, боясь за свою безопасность. Конечно же, я ожидал, что она вернется домой с трофеями, отобранными у когда-то страшных, а ныне смешных призраков. Она сказала, что давно искала меня, чтобы послать к Бунми и закрыть лавку, и прибавила больше себе, чем мне, что толпа никого не слушает, что женщины больше не отличают врагов, вроде балогуна, от других огбони, которые всегда им помогали, поощряли выступить против налогов и сейчас шли на совет во дворец как союзники. Но ее заботила не только судьба друзей — глумление и жестокость вызывали в ней содрогание.

Она наблюдала, как перед лавкой укладывают последние товары, когда запоздалый огбони, не подозревая, что происходит, уверенно прошагал мимо в сторону Аафина. Не веря своим глазам, Дикая Христианка несколько мгновений глядела на него и вдруг закричала вдогонку:

— Отец! Отец, куда вы?

Вождь остановился, убедился, что обращаются к нему, и объявил:

— В Аафин. Нас вызвали по поводу каких-то беспорядков — да, я что-то уже слышу...

— Отец, скорее идите назад. Если они вас увидят...

Что-то в возросшем реве у дворца подсказало, что женщины уже увидели старика. Дикая Христианка поняла это. Она бросилась и затащила его в лавку, прикрыла его створкой двери и приказала:

— Быстро, Отец. Снимите облачение, оставьте все, что у вас есть от огбони!

Настоятельность тона окончательно сбила его с толку:

— Э? Э? Эво ло тун де йи? Э[2].

Она сунула руку за дверь, схватила его шарф и шляпу и бросила их за прилавок.

— Отец, киа-киа, ваше облачение — снимайте скорее. Бросайте туда же. Оставьте одни трусы.

[1] Оро о. мы исполняем оро,
Запритесь все мужчины, мы выводим оро.

[2] Что там происходит?

Через минуту прибыли женщины, человек двадцать. Они ясно видели, что огбони мог скрыться только в лавке. Мы продолжали убирать товары с циновок и досок и завязывать в узлы. Дикая Христианка и не пыталась отрицать, что старик у нас в лавке.

— Если вы ищете этого старика, то он переодевается в лавке. Он не огбони.

— Ах, мама Воле,— раздался возмущенный хор,— зачем ты так говоришь, когда мы видали своими глазами.

— Когда вы его видали, он был огбони, а сейчас он переодевается. Я сказала, чтобы он снял с себя все, потому что сегодня огбони здесь не нужны. Чего вам еще?

— Они все равно враги,— сказала одна женщина,— с дурацкими шарфами или без шарфов они все равно враги. Что, не они дерут с нас налоги? Мама, мы всыпем ему сериа и отпустим.

Послышались крики поддержки. Другая женщина прибавила:

— Сегодня мы рассчитаемся с ними всеми. Мама, выведи его наружу!

И третий голос:

— Мы же агбейин-то, правда? Они забыли, что их самих родили на свет агбейин-то. Включая самого старого старейшину! Пусть их матери сегодня проучат их!

— И из-за этого-то вы взъярились? — расхохоталась Дикая Христианка.— Из-за того, что один дурак-огбони назвал нас агбейин-то? Послушайте, разве мы пришли сюда не по более важной причине? Человека, который вас обозвал, унесли домой полуживого — за вас заступилось небо. Я не знаю этого старика, одна из вас может войти в лавку и спросить его. Я знаю всего двух-трех огбони, так что не думайте, что я защищаю родича. Но я не люблю безобразия, я не люблю жестокости. Не за тем мы пришли сюда.

Казалось, женщины малость утихомирились, во всяком случае их первоначальный пыл поостыл. Все же одна потребовала:

— Пусть он снимет с себя все свои наряды. Мы не хотим видеть их на улицах Абеокуты сегодня, завтра и вообще.

Дикая Христианка заглянула в лавку:

— Отец, завяжите всю вашу одежду в узел и идите домой.

— Ох, я не спешу,— старик был явно напуган.— Я подожду здесь, пока все успокоится, а потом пойду, как вы говорите.

— Слышали? Чего вам еще нужно?— обратилась Дикая Христианка к преследовательницам.— Отец вас боится. Ступайте! Когда вы уйдете, я его провожу.

— Мы хотим взглянуть на его лицо,— не отставали они.— Есть такие, каких мы ищем. Мы должны увидеть его лицо и убедиться, что он не из их числа.

Старику пришлось выйти, представиться и поклясться, что он никогда не выступал против женщин, что будет голосовать за отмену налогов, что женщины всегда могут на него рассчитывать. Что до паракойи, он множество раз говорил Кабийеси, что они кровопийцы и паразиты,— это может подтвердить его жена, торговка с базара, как многие из тех, с кем он сейчас разговаривает...

Они, наконец, ушли. Старик несколько раз припадал к ногам Дикой Христианки, благодарил ее и благословлял. С узелком в руке он спешно удалился в одних трусах, оставив в лавке посох. Он сказал, что зайдет за ним завтра.

Ближе к вечеру страсти начали остывать. Женщины решили держать дворец в осаде, пока все их требования не удовлетворят. Успокоению способствовало одновременное, слаженное, ритмичное движение по всем улицам и переулкам, ведущим ко дворцу. Это движение было прямой противоположностью дневной яростной лавине, но удивительным образом вытекало из нее и как бы рождало новое, небывалое ощущение всеобщего родства и сопричастности.

Они шли от Ипоро, Иберекодо, Ибары, Ланторо и Адатана, из центра города, струились по невидимым переулочкам и сливались с толпами на ближних подступах к воротам дворца. Они были нагружены припасами и свежими овощами, как женщины из Исары, только их было множество, реки, потоки. За час до захода солнца как по сигналу толпы женщин принесли еду и приветствия из соседних селений, торговки закрыли свои ларьки на базаре и поспешили принять участие в событиях у дворца. Приветствия уже заглушали возгласы гнева и возмущения. Вновь пришедшие узнавали знакомых, докладывали о своем прибытии руководительницам, которые начали вновь овладевать положением. Появились женщины с циновками на головах. Преобразилась не только площадь, но движение, толпа разбилась на группы. Запылали костры. Впервые за день вспомнили о воде и еде. Между женщинами помоложе распределили хозяйственные обязанности.

Сгустилась тьма, когда, словно утверждая новое чувство всеобщего родства, по полю пролетела весть, что женщина рожает. Дикая Христианка — она уже отправила Бунми с корзиной домой и возвратилась на поле — поспешила на помощь со своей неразлучной мамой Аduни. Они осмотрели женщину и решили, что ее надо срочно везти в больницу. Но было уже поздно. Возбуждение дня, беготня, крики, протискивание сквозь толпу — всего этого с лихвой досталось младенцу, который, к восторгу женщин, оказался девочкой. Это был первый случай, когда я, позабытый в общем волнении и возбуждении, мог видеть роды, но подоспевшая миссис Кути выловила меня в кольце женщин и прогнала прочь. Все же я видел, как под деревом на лугу хоронили послед. Ничто не могло предвещать успех дела вернее, чем рождение ребенка, да еще девочки! Затихавшая площадь заискрилась радостью. Младенца омыли, пуповину перевязали — ничего этого сам я не видел, но бесконечные мнения, советы, указания более чем живо передавали мне все, что происходило, и, наконец, мать с младенцем отправили в католическую больницу в Оке Пади — до нее была сотня шагов.

И все новые и новые толпы прибывали на площадь. Раздавались громкие клики приветствий. Мама Игборе покачала головой и проговорила:

— Словно небеса разверзлись, словно могилы разверзлись и все мертвые и позабытые пришли к нам сюда.

Еще минуту назад от отдельных костров поднимались песни. Теперь все вдруг сделалось празднеством и ликованием. Исповедовавшие орису, ислам, христианство затянули свои духовные песни, но их подхватили все, независимо от религии:

Ла-илла-иль-алла
Аноби гбово о ва
Онисе нла гбово о ва
Аноби гбово о ва
А теле ни ма йа гбово о ва
Аноби гбово о ва [1].

XV

Женщины готовились к долгой осаде. Ударные отряды рыскали по городу, мобилизуя всех женщин. Было приказано закрыть все рынки и лавки. У неподчинившихся реквизировали съестное и отправляли на площадь перед дворцом. Даже до соглашения об уступ-

[1] Ла-илла-иль-алла,
Господь, вот наши руки,
Творец великих дел, вот наши руки,
Надежный защитник, вот наши руки,
Господь, вот наши руки.

ках паракойи исчезли с базаров, самые закоренелые при виде воинственных женщин разбегались и искали новые места для разбоя. Мужчины вовлекались в движение не то чтобы полностью, скорее в открытую. Повсюду они криками одобряли действия женщин, а кое-где гнали колеблющихся жен на улицу, сердились, если жены не понимали, что дело касается их самих и победа принесет столь необходимое облегчение. Один муж за руку притащил жену ко дворцу, дал ей деньги на еду и заверил, что будет присматривать за детьми все время противоборства. Общие тяготы разделяло множество женщин с маленькими детьми. Караваны людей с узлами, направлявшиеся к Аафину, теперь включали мужчин. Они делились плодами своих ферм, некоторые специально ходили на фермы за ямсом, фруктами и пальмовым вином для женщин. Иногда охотники приносили из джунглей дневную добычу и балагурили на площади.

Беере и Кружок обсуждали положение с новым районным администратором — старого отозвали. Они вели переговоры с советом алаке — по большей части безрезультатно. После каждой встречи они отчитывались перед площадью, которая отвечала воинственными песнями и танцами.

Назавтра после начала волнений из Лагоса прислали в подкрепление отряд вооруженной полиции. Он не приближался к Аафину, но расположился неподалеку, в «Дворце Столетия», и показывал свою мощь, выделывая ружейные приемы на пустыре перед входом. Молодые женщины подошли к пустырю, построились, как полисмены, и стали передразнивать их действия. Собралась толпа, и демонстрация силы обернулась конфузом. На ярком солнце сержант обливался потом, тщетно стараясь поддержать хотя бы видимость благопристойности и отпугнуть разгулявшихся женщин. Ему пришлось сдаться; по его приказу полиция скрылась за «Дворцом Столетия», оставив на ступеньках лишь наблюдательный пункт, чтобы следить за деятельностью женщин.

И все же один ударный отряд отправился в Икереку и разгромил двухэтажный дом Атупы Салон, предварительно отогнав охранявшую его полудюжину полисменов. К счастью для себя, Атупа не приходила домой со времени инцидента с эбо. Женщины возвратились на площадь, размахивая награбленным бельем и смачно распевая новую, похабную песню:

> Обо Атупа ло диджа силе
> Алаке олоко эсе.

Теперь, когда кончились первые, вежливые обмены мнениями, женщины изображали алаке главным злодеем; они устали от дипломатии. Они носили на шестах захваченные у Атупы трофеи, хлопали в ладоши, хохотали и выделывали непристойные жесты. Я попытался представить себе алаке с аквариумом и электрической рыбой, осажденного, бессильного прекратить эту и другие песни, которыми женщины унижали его,—и увидел испуганного одинокого человека. Невозможно было вообразить, что он ел чье-то сердце и печень, невозможно было понять, почему он не упростит себе жизнь и не даст женщинам все, чего они просят. Я заключил, что, по-видимому, он в такой же мере раб районного администратора — если не теперешнего, то, по крайности, наглого, прежнего,— как и пленник восставших женщин.

Площадь еще сильнее ужесточила его одиночество. Решение приняли и объявили так громко, что его слышали даже случайные прохожие: ни одна женщина ни по какой причине не должна входить во дворец. Кружок не делал исключения для себя и назначил, как я это выяснил позже, мужчину посредником. Истина заключалась в том, что миссис Кути и ее соратницы почувствовали, что дальнейшие дискуссии с дворцом ничего не дадут. Началась война нервов.

Переговоры все-таки продолжались, хотя об их результатах не сообщали. К моему великому разочарованию, я больше не мог на них присутствовать, даже когда собирался и заседал один Кружок. Испытанный курьер по-прежнему бегал от Беере к Дикой Христианке и назад, но имел лишь смутные представления о встречах, дебатах и проектах соглашений, которые впоследствии должны быть одобрены всеобщим голосованием. Все это происходило в неопределенные часы и неизвестно где. Например, Кружок и несколько вождей встретились в кабинете нового районного администратора. Позднее нам сообщили, что на этой встрече «та сторона» впервые предложила отменить налогообложение для женщин и распустить паракойи. Объявляя об этом на площади, Кружок подчеркнул, что считает эти уступки смехотворными.

Состоялась еще одна тайная встреча, о ней не кричали с крыш, но сведения все равно просочились наружу через несколько минут после ее окончания. Она происходила в здании огбони. Забыв об унижениях от рук женщин, старейшины послали приглашение миссис Кути.

— Приходи, нам надо поговорить,— сказали они.— Мы — сыны Маджеобадже[1]; мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как все в наших руках портится и погибает. Приходи к нам со списком всего, что требуют женщины. Ты удивишься, сколь во многом мы с вами согласны.

На встрече огбони заверили, что все совершается по написанному, ничего их, старейшин, не удивляет, ибо Ифа все это видел и обо всем рассказал. Назавтра Дикая Христианка передавала их речи Эссе за ужином — первым ужином дома за многие дни, за целые недели,— за которым сидели и он, и она, и я.

— Они были очень милые, очень вежливые. Они даже не потребовали извинения за бесчинства, которые над ними творили наши дикие. Они только заклинали нас вести себя очень осторожно, сознавать, куда мы идем, быть уверенными, что мы добиваемся того, чего хотим. «Что до нас,— говорили они,— мы не удивлены и не встревожены. Ифа давно говорил об этом, и когда все началось, мы спросили его, и Ифа опять сказал: «Теперь происходит то, о чем я говорил вам прежде». Огбони сказали, что это циклы — после каждого четырнадцатого царя или тринадцатого. Не помню, я что-то устала. Они сказали, что после каждого тринадцатого или четырнадцатого царя на престоле эгба всегда бывает такое. Они говорили так много, так много странных вещей. Но главное, они хотели заверить нас, что не допустят разлада и гибели страны эгба. Они не хотят, чтобы мы думали, что они сидят сложа руки и ничего не делают.

Еще долго ночью они сидели запершись и говорили, говорили тихими голосами. Я сомневался, что Дикая Христианка в самом деле сильно устала. Что-то произошло за стенами огбони, что глубоко ее тронуло,— это звучало в каждом слове, которым она изображала события. Усталость была не в ее теле, но скорее в ее рассудке, в образе мыслей, в новом понимании или охвате событий. Я обдумал то немногое, что услыхал, и пришел к выводу, что огбони, должно быть, люди весьма легкомысленные или забывчивые. Если все давно им предсказано и они знают об этом — а они утверждали, что знают,— тогда почему они не предвидели, что женщины будут над ними глумиться? И я подумал: знал ли заранее о своей судьбе балогун — его дела были плохи, одну его сторону разбил паралич, и он лечился у местного целителя вдали от Абеокуты. Я был невысокого мнения о прозорливости огбони.

Настала пора совершить новый набег на поля и сады Правительственного колледжа. Во время восстания женщин я снова сдавал эк-

[1] Да не погибнет все на свете.

замены; опять меня вызвали на собеседование. Эссе натаскивал меня без устали — если бы не мысль о последствиях, я бы сказал ему: не волнуйся, на этот раз я заслужу стипендию — я знаю. Но он уже не раз бранил меня за самоуверенность — по-моему, несправедливо. Я не мог это объяснить, но бывали вещи, которые я неожиданно, без причины, словно бы знал заранее. Например, женщины по-прежнему осаждали дворец, а я по приказу Эссе после гимназии занимался в передней комнате за столом — и я точно знал, что там, на площади, не происходит ничего интересного. Когда он возвращался домой и насмешливо спрашивал, что нового в женской войне, я зачастую, не думая, отвечал:

— Ах, ничего нового. И ничего не произойдет еще два дня.

Я не знал, почему я так говорил, но чаще оказывался прав, чем неправ. По всей вероятности, это сильно раздражало Эссе.

После субботнего сбора в школе я пошел на второй этаж попрощаться с Дааду и Беере — назавтра я уезжал в Ибадан. Прежде сборы заканчивались пением или национального гимна эгба, или «Боже, храни короля», причем под королем подразумевался алаке, а не тот, который за океаном. Уже несколько недель, как «Боже, храни короля» не пели. Когда мы толпой вываливали из зала, я услыхал, что его по собственной воле поют несколько групп. На миг мне почудилось, что это вызов Дааду, но тут я разобрал слова. Вместо приветствия и изъявления верности ребята пели:

Кабийеси оба онике
Адемола керан
Омо эран джогун ила
Омо оте ло лобе
Кабийеси баба эран
Кабийеси о
Кабийеси оба ивин
Кабийеси о [1].

Бедный алаке, подумал я, от его величия ничего не осталось!

Когда я вошел в комнату, Беере говорила по телефону — это был один из трех-четырех телефонов в Абеокуте. Она говорила с яростью, я никогда не видел ее в таком исступлении:

— Позвольте заметить вам, мистер районный администратор, мы нисколько не удивились. Да и что удивляться, когда нет ничего неожиданного. Я знала, что это произойдет, и когда услыхала по радио, подумала только, что в этом вся суть белой расы. Вам непременно нужно было сбросить ее на Японию — ведь так? А почему вы не сбросили ее на Германию? Скажите, ну! Ответьте на мой вопрос честно, если можете,— почему не на Германию?

Наступила пауза — она выслушивала ответ.

Она засмеялась сухим, ядовитым смехом.

— Я уважаю в вас ум, но не честность. Это был умный ответ, но не честный. Черт возьми, вы прекрасно знаете почему. Потому что в Германии белая раса, потому что немцы — ваши родичи, а японцы — грязные желтые людишки. Нет, правда именно в этом, не спорьте! Вы сбросили бесчеловечную бомбу на людей, на большие города...

Слушая, она приходила в еще большее исступление и, наконец, сорвалась:

— Нет, вы, черт возьми, лучше всех знаете, что надо было делать, если вы действительно добивались их сдачи. Вы могли сбросить ее на какую-нибудь гору, даже в море — так чтобы они увидели, что будет, если они не сдадутся, но вместо этого вы сбросили ее на боль-

[1] Привет царю горбунов,
Адемола приносит горе,
Сын зверя наследует окро,
Сын коварства отнимет похлебку,
Привет царю зверей,
Привет царю лесных духов.

шие города. Я знаю, что думают белые: японцы, китайцы, африканцы — все мы недочеловеки. Если вам будет нужно, вы сбросите атомную бомбу на Абеокуту и на любую вашу колонию!

Теперь я услышал в трубке смех ее собеседника. Он говорил долго, и выражение лица миссис Кути менялось. Она смягчалась, улыбалась, а потом стала сдержанной, даже суровой и заговорила:

— Нет, я звоню совсем не затем, я просто хотела выразить свое мнение так называемым союзникам, а вы их непосредственный представитель. Но раз вы заговорили об этом, так я скажу. Ваш царь — здешний, здешний, не перебивайте меня, я назвала его вашим с полным основанием,— это вы сейчас спасли его голову. Что касается нас, женщин, для нас его больше нет. Послушайте, тут не о чем спорить. Я посылала вам наш список жалоб. Он отступился от каждого слова, каждого обещания, каждого соглашения, которое он подписал, чтобы мы не настаивали на его отречении. Да нет, просто передайте ему от меня, что, если он не вспомнит, чем кончил Гитлер... удачное сравнение или неудачное, дело не в этом... скажите ему, чтобы не забывал, чем кончил Гитлер. Что касается вас, то есть Колониального правительства, держите вашу атомную бомбу наготове, потому что еще одно усилие — и вашего царя не будет. Скажите им, Беере говорит, что его дни сочтены. Царя НЕ БУДЕТ!

Она послушала еще с минуту, пожала плечами и просто закончила:

— Ладно. Я вас предупредила. До свидания,— и она повесила трубку.

Она повернулась и смотрела на меня долгое мгновение.

— Да, я помню, ты уезжаешь в Правительственный колледж. Подожди, я хочу тебе сделать подарок.

Она возвратилась из спальни с небольшим плоским пакетом — как будто это была рубашка, но я не спросил, потому что поспешил поправить:

— Я еще не уезжаю. Я только еду на собеседование. Занятия начинаются в январе.

— Конечно,— она на секунду задумалась.— Как это я перепутала? В таком случае этого ты пока не получишь.— И она положила рубашку на обеденный стол.

— А если меня вообще не примут?

Она улыбнулась и сделала вид, что думает.

— Гм, вот это вопрос. Я хотела подарить ее тебе на отъезд. Что же делать?.. Ладно, начнем сначала. На сколько дней ты сейчас уезжаешь?

— На три.

Она выудила шестипенсовик.

— Купи себе что-нибудь. Так, допустим, тебя примут... погоди, ты ведь должен еще заслужить стипендию?

Я кивнул, и она продолжила:

— Хорошо. Если тебя примут без стипендии, я подарю тебе рубашку. Ладно? Так, а если ты получишь стипендию — угадай что!

— Ботинки,— быстро ответил я.

— Что? — воскликнула она, но вдруг сообразила и расхохоталась.— Ну конечно, конечно. Договорились — ботинки.

Однажды я пристал к родителям, почему нам не покупают ботинки. В праздник урожая, на Рождество и на Новый год было особенно горько сознавать, что в дом мистера Д. ботинки решительно не допускаются. Это было тем более странно, что родители постоянно носили ботинки и туфли. Я улучил момент на праздничном обеде, когда в комнате было полно — мы с Тину и Феми, разные двоюродные и даже соседние ребятишки, и громко спросил, ни к кому лично не обращаясь:

— Почему нам никогда не покупают ботинки?

Эссе моргнул и притворился, что не слыхал, а Дикая Христианка попросту объявила:

— Дети не носят ботинки.

Я чувствовал, что они ждут от меня нового вопроса, но промолчал. Наконец Эссе не выдержал:

— Воле, разве ты не хочешь знать, почему дети не носят ботинки?

— Нет,— я замотал головой, прекрасно понимая, что он придумал хороший ответ. Я предпочитал подать голос в другой, более подходящей обстановке и ждал случая.

Случай не заставил себя ждать. В воскресенье мы пошли в гости к Кути. За обеденным столом Дикая Христианка сидела рядом с Даоду и Беере, а за столом напротив сидели мы с Тину и наши двоюродные братья и сестры — они только что пришли из церкви и были наряжены в пиджаки, длинные платья, галстуки и ботинки с носками. Я выбрал паузу в разговоре взрослых — что было трудно, ибо Даоду говорил не умолкая,— и громко сказал:

— Мама, ты, кажется, говорила, что дети не носят ботинки? — и уткнулся в миску.

Наступило долгое-долгое молчание. Затем Даоду откинулся на спинку стула, хлопнул себя по ляжкам и разразился громоподобным хохотом, сотрясшим весь коридор. Он брызгал слюной, утирал глаза, отхлебывал воды и долго еще сотрясался от смеха. Миссис Кути просто улыбалась.

— Эниола, ово ба э лоте йи[1],— сказала она и прибавила, глядя на меня: — Воле, когда ты увидишь ботинки, которые тебе понравятся, приходи ко мне. Я тебе их куплю.

— У меня есть, которые мне уже малы,— тотчас же предложил Койе.— После обеда пойдем ко мне и примерим.

Тину получила такое же предложение от Долупо. Я взглянул на Дикую Христианку. Она прикрывала улыбкой растерянность и ярость, но в это мгновение мне было все равно. Даже если бы мы возвратились домой с полными сумками ботинок, я знал, что нам никогда не позволят их надеть. На этот счет Эссе был несгибаем — для него ботинки на детях служили знаком крайней испорченности. Дети родных и знакомых, отправленные в директорский дом для «учения», узнавали об этом с тоской. Их ботинки плесневели в коробках и в конце концов становились малы. В школе Святого Петра переведенный из Лагоса ученик как-то пришел на занятия в парусиновых туфлях. Его просто исключили, родители приезжали из Лагоса и целый день умоляли, чтобы его взяли назад.

Миссис Кути обожала мелкие заговоры; она прекрасно поняла, что я имел в виду, поэтому мы разработали план кампании. Ясно, что ботинки можно носить только в Правительственном колледже; во время каникул их придется там оставлять, чтобы не увидели дома. И конечно же, когда родители будут приезжать в Ибадан, их придется прятать — по крайней мере вначале. Она была уверена, что все возражения отпадут, когда я сделаюсь старшекурсником.

Эта задачу мы разрешили, и я спросил, почему она так рассердилась из-за того, что разбомбили японцев. Они же друзья Гитлера.

— Белый человек — расист,— сказала она.— Ты знаешь историю работорговли; понимаешь, для него черный человек — это рабочий скот, вьючное животное. Что касается азиатов — это индийцы, японцы, китайцы и другие,— так они на одну маленькую ступеньку повыше нас. Поэтому сбросить эту ужасную бомбу, экспериментировать над людьми — поскольку они не белые,— для них то же, что экспериментировать над животными.

Во время ее лекции Даоду возвратился с урока, положил папки на полку, налил себе чаю и слушал, поддакивая. Когда она кончила, он взмахнул рукой в мою сторону:

[1] Эниола, это полное поражение.

— Я бы никогда не послал Койе или его братьев в школу, которой командуют белые. Как ты понимаешь, это не просто потому, что они белые, но потому, что они также колонизаторы. Они стараются лишить характера наших ребят... ты помнишь, что я тебе говорил в прошлом году после первого собеседования?

— Да, дядя.

— Хорошо. Так я был прав или нет?

— Но я говорил вам, дядя, что колледж был на каникулах, там не было никого. Мы только сдавали экзамены.

— Ты знаешь, что мне сказали? — повернулся он к Беере.— Белые учителя не разрешают, чтобы в шортах были карманы!

Беере явным образом изумилась.

— Это верно? — спросила она меня.

Я подтвердил.

— Ну как вы думаете, зачем они это делают? Почему, почему молодой человек должен ходить в шортах без карманов? Знаете ли,— он с крайней озабоченностью покачал головой,— белый человек — это очень странное существо. В своей стране, в своих школах — во время конференции я посетил много их школ — Итон, Харроу и так далее,— так вот, там учащиеся носят костюмы со множеством карманов. С самого первого класса. И я себя спрашиваю: почему белый человек является сюда в колледж в качестве ректора и запрещает карманы в шортах черных студентов, ПОЧЕМУ?

Я задумался. В них обоих, особенно в Даоду, было что-то, что меня поразило вновь. В их обществе мне не приходилось задавать много вопросов. Они всегда были готовы говорить со мной — и с любым другим ребенком — как с равноправным и взрослым человеком. Даже когда я тихонько читал в гостиной или столовой, Даоду частенько брал меня за ворот, осведомлялся, слыхал ли я последние новости из Лагоса или откуда-нибудь еще, и спрашивал, что я об этом думаю. Речь могла идти о забастовке, об образовании нового общества, о ходе войны и союзниках, о новом научном открытии... Если я еще ничего не знал, он осуждающе качал головой:

— Но ты же должен интересоваться! Не засовывай нос в эту мертвую книгу! Неужели ты не понимаешь, что если Муссолини лишил независимости Абиссинию, то какой шанс у Национального совета Нигерии и Камеруна добиться хотя бы самоуправления? Люди, которые победили Муссолини,— разве они отдадут то, что уже захватили? Что ты думаешь об Уинстоне Черчилле?

— Вы очень похожи на него,— выпалил я.

Прежде я над этим не задумывался, но в ту минуту сходство между ними поразило меня. Он остановился на полушаге, скрестил руки на груди и засунул пальцы под мышки, словно обнимая себя. Я видел, как в голове его переваривались мои мысли, которые, соединясь, привели меня к столь сильному заявлению.

— Поразительно. Поразительно. Я всегда считал, что у детей замечательная наблюдательность. Ты обязан объяснить мне, каким образом ты пришел к подобному выводу. Нет, не сейчас. Ты мне напомнишь. Я хочу знать все, что привело тебя к подобному выводу.

Дело было в бульдожьем упрямстве, с каким он спросил: почему? Почему белый ректор запрещает студентам ИПК иметь в шортах карманы? У меня были на этот счет кое-какие соображения, но сначала я хотел сообщить ему хорошую новость:

— Мы узнали, что Пауэлла скоро не будет. Он уходит на пенсию. Новый ректор, может быть, разрешит карманы.

— Пауэлл — это нынешний ректор,— объяснил Даоду жене.— Известный руководитель бойскаутов. Ага, тем хуже для него. Бойскауту нужно множество карманов. Ты когда-нибудь был бойскаутом?

— Ну, я был волчонком у Святого Петра. У нас был учитель, очень хороший вожак бойскаутов. Его звали Активный.

Они оба рассмеялись. Я закончил:

— Но он уехал, и на его место никого не нашлось.

— Быть бойскаутом — тоже закаляет характер,— Даоду одобрительно кивнул.— Интересно бы знать, этот известный руководитель бойскаутов, который запрещает карманы в шортах, поощряет он бойскаутов у себя в колледже?

Я мог подтвердить его худшие опасения — в ИПК не было бойскаутской программы. На предыдущем собеседовании, заполняя анкету, в графе «любимое занятие» я написал: «бойскаутские походы». Один из белых в комиссии улыбнулся и выразил сожаление, что в колледже нет бойскаутской организации. Когда я сообщил об этом Даоду, он воздел руки в непритворном ужасе и поглядел на меня с чем-то вроде сочувствия.

— Вот видишь? Ну теперь ты видишь? Этот Пауэлл, мистер О. В. О. ... нет. Какие у него инициалы?

— О. В. О. П.

— Верно, О. В. О. Пауэлл...— Он покачал головой.— Бог знает что значат эти буквы...

— Очень Вредный, Очень Плохой,— быстро ответил я, и они с Беере долго не могли отдышаться. Я объяснил, что абитуриент, брат которого учился в колледже, открыл нам тайное истолкование инициалов Пауэлла.

— Довольно справедливое суждение,— заметил Даоду.— Он всегда в полной форме, со всеми нашивками и значками председательствует на общенигерийских слетах бойскаутов. Итак, с одной стороны, это известный руководитель бойскаутов, а с другой — в его колледже нет бойскаутской программы.— Он поджал губы и оглядел меня с головы до ног, словно я шел на почти верную гибель. Даже Беере вроде бы разделяла его опасения. Она заметила:

— Всюду двойные мерки. Это самое я говорила районному администратору перед твоим приходом — сбросить атомную бомбу на Хиросиму, а не на белую Германию. В каждом белом сидит расист.

Достопочтенный Кути вздохнул. На лице его была скорбь, и я подумал: а не напрасно ли я поступаю в Правительственный колледж. Но он несколько успокоился и спросил:

— Тебе сейчас сколько? Сколько лет?

— Одиннадцать,— ответил я.

— Гм... да, это неплохо. Когда в январе ты туда поедешь, тебе будет одиннадцать с половиной. Из них два года гимназии. Я думаю, это что-нибудь значит. Как ты думаешь? — Он обратился за поддержкой к Беере.

— Да, да, конечно,— подтвердила она.— И не надо забывать, что его воспитывали Айо и Эниола. Я думаю, что он со всем там отлично справится.

Даоду кивнул. Он заметно оживился. Он фыркнул, бросая вызов незримому противнику:

— Да-да, посмотрим! Бывший учитель, который зашивает карманы своим студентам и заставляет их говорить «сэр-сэр-сэр», как рабов. Руководитель бойскаутов, который против бойскаутов. И еще я открыл — никаких розог, может быть, два-три случая в год. И больше для виду — сомневаюсь, что хоть один студент приезжает домой с полосами на спине! И они воображают, что могут как следует воспитать наших мальчиков! О... я чуть не забыл — ботинки воспрещаются.

Теперь ахнул я:

— Дядя, это точно?

— Ботинки воспрещаются,— твердо повторил он и поджал губы.— После твоего первого собеседования я заинтересовался этим колледжем. У них странные идеи по части воспитания характера. Ботинки воспрещаются. За исключением старост в старших классах —

им можно теннисные тапочки. Или сандалии. А остальным — карманы воспрещаются, ботинки воспрещаются... ага, вот еще что — трусы воспрещаются. Почему в школе такие порядки, я понять не могу. Если форма чистая, опрятная, почему учителя должны смотреть, есть ли под шортами трусы? Особенно у старших мальчиков...

Меня это больше не беспокоило. Я встретился глазами с Беере, которая, ухмыляясь, подняла брови, изображая горе. Это было так смешно, что я прыснул, и она вслед за мной, а Даоду, хмурясь, глядел то на нее, то на меня и старался вспомнить, что он сказал такого смешного. Прочувствованно Беере переспросила:

— Ботинки воспрещаются?

— Воспрещаются,— вздохнул я, ощутив непосильное бремя лет. Настала пора перестраиваться для жизни в еще одном нелогичном и несвободном мире взрослых.

■

Литературное наследие

АРТЮР РЕМБО

Пьяный корабль

Перевод с французского и вступление Д. САМОЙЛОВА

К переводу «Пьяного корабля» А. Рембо

В сентябре 1941 года, после возвращения из Смоленщины, где мы, московские студенты, копали траншеи, мне выпало несколько дней тишины,— почему-то я перевел тогда «Пьяный корабль» Рембо. Это был мой первый в жизни перевод.

Теперь, пожалуй, можно себе представить, почему в каком-то смутном порыве я обратился к строкам «Пьяного корабля» и ощутил потребность переложить его по-своему. Меня влекло ощущение внутренней свободы среди разбушевавшихся стихий, бесстрашие и обреченность, воплощенные в образе летящего по бурным волнам корабля. И чувство огромности и небывалости происходящего. И чувство неприкаянности.

Так прочитался тогда Артюр Рембо, без лишних деталей, без попытки разгадать его многозначные, так до конца и неразгаданные ситуации, уподобления и видения. Первый мой перевод скорей относился к подражательной лирике, чем к собственно переводческому искусству.

Более чем через сорок лет, обдумывая военные воспоминания, я вновь перечитал свой юношеский перевод. Он был наивен и неумел. Но в нем был порыв и зачатки поэтической воли. Я раскрыл оригинал. И снова увлек меня стремительный, причудливый и неотразимый стих Рембо. Я почувствовал необходимость снова перевести «Пьяный корабль».

От старого перевода уцелело лишь несколько строк. Иной уже у меня опыт жизни и поэтической работы. Иной подход к действительности и к стиху.

Я прочитал у Рембо не только об упоении свободой среди стихий, но и об удивительно зрелом для семнадцатилетнего поэта осознании недостаточности пьянящей вольности, выделяющей, но и отделяющей нас; прочитал о горечи, о потребности присоединения к людям.

Трудность перевода «Пьяного корабля» состоит не только в неясности и произвольности некоторых его образов. Тут помогли мне специалисты французского языка и литературы, комментарии и толкования темных мест поэмы. Но, сказать по правде, многие объяснения кажутся мне натянутыми или слишком ученными. Видимо, иногда лучше довериться собственной интуиции и течению стиха.

Главная трудность — в плотности, насыщенности строфы Рембо, в темпе развития поэмы, которые передать невозможно.

В России существует довольно основательная традиция перевода «Пьяного корабля». Никому из новых переводчиков теперь уже не придет в голову назвать корабль «хмельным» или «опьяненным». Традиция всегда одновременно и помогает

и мешает. Помогает пониманию, указывает путь, мешает, потому что часто заставляет искать обходные пути, чтобы не повторить уже найденное.

Есть переводы Д. Бродского, П. Антокольского, Б. Лившица, Л. Мартынова, М. Кудинова. Я назвал лишь наиболее известные.

В каждом переводе свои особенности, свои достоинства и, наверное, свои потери. Антокольского отличает яркость темперамента, Лившица — глубина трактовки, Мартынова — своеобразие языка, Кудинова — сопоставление стиха Рембо с традиционной русской поэтикой. Я уважаю все эти работы.

Однако показалось мне, что не все еще исчерпано в оригинале, осталось еще «непереведенное» и «невоплощенное».

Надеюсь, что читатель найдет в моем переводе черты и особенности, отличающие его от предыдущих и дающие ему право на существование.

Когда, от бечевы освободившись, я
Поплыл по стрежням Рек, глухих и непогожих,
На крашеных столбах — мишени для копья —
Кончались моряки под вопли краснокожих.

Теперь уже мой груз не тяготил меня —
Фламандское зерно и а́нглийские ткани,—
Пока кровавая с командой шла возня,
Я плыл, куда влекло, забыв о капитане.

В свирепой толчее летел я без оков,
Как мозг младенца глух, уже другую зиму,
И Полуострова с обрывками швартов,
Шарахаясь во тьму, проскакивали мимо.

Шторм пробуждал меня, возничий жертв морских,
Как пробка на волнах, плясал я десять суток,
Презрев нелепый взор огней береговых,
Среди слепых стихий, утративших рассудок.

В сосновой скорлупе ворочалась волна
И мне была сладка, как мальчику кислица,
Отмыла все следы блевоты и вина
И смыла бак и руль, когда пошла яриться.

С тех пор я был омыт поэзией морей,
Густым настоем звезд и призрачным свеченьем,
Я жрал голубизну, где странствует ничей
Завороженный труп, влеком морским теченьем;

Где вдруг линяет синь от яркости дневной,
И, отгоняя бред, взяв верх над ритмом тусклым,
Огромней ваших лир, мощней, чем чад хмельной,
Горчайшая любовь вскипает рыжим суслом.

Я знаю смерч, бурун, водоворот, борей,
Грозовый небосвод над вечером ревущим,
Рассвет, что всполошен, как стая сизарей;
И видел то, что лишь мерещится живущим.

Я видел низких зорь передрассветный сон,
Сгущенный в синяки мистических видений,
И волны, что дрожат и ходят колесом,
Как лицедеи из старинных представлений.

Я бредил о снегах в зеленоватой мгле,
Я подносил к очам морей мои лобзанья,—
Круговращенье сил, неведомых земле,
Певучих фосфоров двуцветные мерцанья.

Я долго созерцал, как, злобой обуян,
Ревет прибой, похож на стадо в истерии,
Не ведая еще, что дикий Океан
Смиренно припадет к ногам святой Марии.

Вы знаете, я плыл вдоль неземных Флорид,
Там, как цветы, глаза пантер, обличьем сходных
С людьми, и, наклонясь, там радуга парит
Цветною упряжью для табунов подводных.

Я чуял смрад болот, подобье старых мреж,
Где в тростниках гниет скелет Левиафана,
Я видел мертвый штиль, и в нем воды мятеж,
И в мутной глубине жемчужного тумана —

Жар неба, бледный диск, мерцанье ледников
И мели мерзкие внутри заливов грязных,
Где змеи жирные — жратва лесных клопов —
В дурмане падают с дерев винтообразных.

Как детям показать поющих рыб, дорад
И рыбок золотых, не знающих печали!
Я в пене лепестков летел, прохладе рад,
Нездешние ветра полет мой окрыляли.

Порою Океан, устав от полюсов,
Укачивал меня и пеньем монотонным,
Цветною мглой в борта всосаться был готов;
Я был, как женщина, коленопреклоненным...

Почти что остров, я опять пускался в путь,
Влача помет и птиц, пришедших в исступленье;
И осторожный труп, задумавший соснуть,
Попятившись, вползал сквозь хрупкие крепленья.

И вот, осатанев в лазури ветровой,
Я — тот, кто у смерчей заимствовал прическу;
Ганзейский парусник и шлюп сторожевой
Не примут на буксир мой кузов, пьяный в доску;

Я, вольный, мчал в дыму сквозь лиловатый свет,
Кирпичный небосвод тараня, словно стены,
Заляпанные — чтоб посмаковал поэт! —
Сплошь лишаями солнц или соплями пены;

Метался, весь в огнях, безумная доска,
С толпой морских коньков устраивая гонки,
Когда Июль крушил ударом кулака
Ультрамарин небес и прошибал воронки;

Мальштремы слышавший за тридевять округ
И бегемотов гон и стон из их утробы,
Сучивший синеву не покладая рук,
Я начал вдруг скучать по гаваням Европы.

Я видел небеса, что спятили давно,
Меж звездных островов я плыл с астральной пылью.
Неужто в тех ночах ты спишь, окружено
Златою стаей птиц, Грядущее Всесилье?

Я изрыдался! Как ужасен ход времен,
Язвительна луна и беспощадны зори!
Я горечью любви по горло опоен.
Скорей разбейся, киль! Пускай я кану в море!

Нет! Я хотел бы в ту Европу, где малыш
В пахучих сумерках перед канавкой сточной,
Невольно загрустив и вслушиваясь в тишь,
За лодочкой следит, как мотылек, непрочной.

Но больше не могу, уставший от валов,
Опережать суда, летя навстречу бурям,
И не перенесу надменность вымпелов,
И жутко мне глядеть в глаза плавучих тюрем.

■

Критика

А. ЕРМОНСКИЙ

ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕЙ

Заметки о пяти польских романах

В нынешнем июле Народной Польше исполняется сорок лет. Дата знаменательная и в истории страны, и в истории ее литературы, которая, разумеется, не только отражала этап за этапом перипетии возрождения польского государства после столь опустошительной войны, его становления теперь уже на совершенно иных — социалистических основах. Польская литература и сама постепенно делалась иной. Нет, она, конечно же, не началась с победой народной власти сызнова, с чистого листа. Но развивая и обогащая давние национальные традиции, она продолжалась на новых основах, помогая полякам осмыслить путь, по которому они пошли после Июльского манифеста 1944 года.

Характерное, однако, обстоятельство: о чем бы ни писали литераторы — и те, кто взялся за перо до войны или в тяжкие, героические годы оккупации и антифашистского Сопротивления, и те, кто стал профессиональным писателем уже в новой Польше,— они в большинстве своем, каждый, естественно, по-разному, пытались исследовать проблему взаимоотношений человека с историей, проблему выбора им своего места, своей баррикады в ней. Причем история в польской литературе и критике всегда понималась широко — и как далекое прошлое, и как едва-едва отшумевшее, и даже как день сегодняшний, которому прошлым суждено стать уже завтра.

Причин тут немало, и самых различных. Но главная, не исключено, состоит в том, что обучение истории—мысль эту некогда высказал Ярослав Ивашкевич — традиционно облекается в Польше в литературную форму.

Тут уж, как говорится, «виновата» сама история. С конца XVIII столетия, в течение ста с лишним лет, в эпоху так называемых разделов, польская литература выполняла роль духовного наставника, утешителя, силы, сплачивавшей расколотую на три части нацию. И добивалась этого не в последнюю очередь тем, что столь большое значение придавала именно воспитанию историей, старалась (когда удачно, когда — нет) научить людей извлекать из нее уроки. Литература была (и в немалой степени остается в Польше сегодня), если так можно выразиться, самым популярным учебником истории, средством патриотического, гражданского и нравственного образования. Вполне понятно, что поэтому же она нередко бывала и ареной ожесточенных политических споров.

Лет двадцать назад в польской прозе увлечение исторической тематикой вновь стало чуть ли не повальным. Тогда родился даже новый жанр, который кто-то из критиков окрестил «неоисторическим романом». Не берусь судить, насколько содержателен и правомерен с литературоведческой точки зрения сам этот термин. К тому же с терминологическими новациями, как известно, частенько случается так, что они не столько проясняют, сколько затуманивают существо дела. Однако факт остается фактом: произведения, о которых шла речь, действительно отличались — и заметно — от традиционно исторических повествований. Обращение к прошлому отнюдь не было уходом от современности, но, напротив, служило средством вмешательства в нее, когда, подводя черту под минувшим, писатели пытались «рассчитаться» с ним с позиций сегодняшнего дня, его «проклятых вопросов» и задач. Более того: в подобного рода книгах внимание, как правило, сосредоточивалось на исследовании нравственных, этических побуждений, руководивших поступками героев. Причем авторы наделяли их порой способностью мыслить.

свойственной людям второй половины XX столетия, но ставили в обстоятельства, предлагавшиеся полякам ушедшими эпохами.

Такие обстоятельства в польской истории по большей части были драматическими: поляки, как известно, в прошлом веке, например, проиграли все свои восстания. А испытание поражением, думается,— самое страшное испытание, которому подвергает человека превосходящая сила. И далеко не каждый в отдельности его выдерживает. Но польский народ в целом выдержал его. Несомненно, тут велика заслуга польской литературы — от Адама Мицкевича до Стефана Жеромского,— которая, даже обращаясь к трагическим страницам прошедшего, неизменно стремилась «крепить сердца» людей, веру в созидательную силу надежды, в неизбежность победы правды над неправдой, добра над злом. Это было тем более существенно, что «привычка к поражениям» если не породила, то укрепила в XIX столетии две крайние жизненные позиции, ставшие своего рода национальными стереотипами, на которых любили паразитировать разного рода политиканы: с одной стороны — примирение со злом и даже подлаживание к нему, а с другой — отчаянная, не принимающая в расчет никаких реальных фактов борьба против зла или того, что казалось злом, так часто оборачивавшаяся национальной трагедией.

Давно подмечено: мифы вообще легко рождаются, но долго умирают, а потому и стереотипы из сознания людей выветриваются непросто, не сами собой. В Польше литература бывала и своего рода крестной матерью всяческих мифов, предубеждений, предрассудков, и активной, страстной воительницей с ними. В этих заметках речь пойдет о пяти романах, опубликованных в Польше на рубеже 70 — 80-х годов, которые либо уже вышли в русском переводе, либо готовятся к печати издательством «Радуга». Их авторы обращаются к исследованию ситуаций драматических, представлявшихся в свое время (или действительно бывших) безвыходными, безысходными. Создавая свои художественные версии тех или иных событий минувшего, они стремятся очистить память о прошлом от всего наносного, спекулятивного, помешать недругам польского народа, Народной Польши использовать историю в грязных, эгоистических целях. они стараются показать и доказать, что героизм, правильный нравственный выбор, самопожертвование ради общенародного дела никогда не пропадали даром.

■

В третьей и четвертой книжках «Иностранной литературы» за прошлый год был напечатан роман Вацлава Билинского «Конец каникулам», на мой взгляд, одно из лучших произведений этого давно уже работающего в польской литературе писателя. Он принадлежит к поколению, которое помнит и знает войну не по рассказам: В. Билинский начал боевую службу в Войске Польском в 1944 году, а спустя девять лет дебютировал как прозаик в издательстве Министерства обороны ПНР, которому остался верен по сей день. Как и военной теме. Даже в известном, очевидно, нашим читателям романе «Катастрофа» (М., «Прогресс», 1979), который посвящен личным драмам поляков, политическим коллизиям конца 60-х—начала 70-х годов, слышны отголоски минувшей войны. В этой книге В. Билинский одним из первых тогда в польской литературе привлек внимание к «проблеме директоров», как в Польше называют хозяйственных руководителей — и заводских, и министерских. Но «Катастрофа» не просто производственный, а скорее политический роман. К слову сказать, сейчас, спустя восемь лет после его публикации в Польше, яснее видишь, что писатель нащупал тогда некоторые проблемы, которые не потеряли злободневности и до сих пор. Конфликт в романе, завязавшись между людьми, отдавшими Народной Польше по три десятилетия жизни, сражавшимися за нее и в годы войны, разрастается также и из неодинакового, даже противоположного осмысления каждым из них истории, участниками и работниками которой сами они были.

Вернемся, однако, к книге «Конец каникулам». Вацлав Билинский предупреждает читателя, что своим появлением она обязана услышанному автором однажды рассказу о том, как какой-то немецкий солдат в последнюю неделю августа 1939 года перешел на польскую сторону с вестью о надвигающейся агрессии Гитлера. Это и послужило основой сюжетной линии романа. Перебежчик ошеломляет польское командование, сообщая ему точную дату и точное время нападения на Польшу. Разведке поручается выяснить: не провокация ли это фашистов, ищущих лишь повода для обострения отношений и военного конфликта с Польшей.

Разумеется, сегодня, спустя столько лет, и писателю и читателю все совершенно ясно. И потому В. Билинский, создавая собственную художественную версию реального или только правдоподобного события, стремится прежде всего реконструировать социальную и нравственную атмосферу, в которой оно происходило или могло произойти. Это нужно ему, чтобы заставить себя и читателя задуматься над тем, почему так трагически должны были тогда сложиться судьбы перебежчика и тех, кто охранял его, отчего в Варшаве должны были принять немца за агента абвера, вместо того чтобы использовать полученные от него сведения и хотя бы попытаться отодвинуть опасность, уже неотвратимо нависшую и над Польшей, и над всем миром.

Историки, как известно, отвергают гадания о том. «что было бы, если...». Для литературы это не только дозволенный, но и весьма плодотворный прием. В. Билинскому он помог показать — причем с совершенно неожиданной в польской литературе стороны — крах многих «мифов», иллюзий, исторических стереотипов, которые служили своего рода духовными подпорками польского буржуазного общества и которые стали одной из немаловажных причин того, что оно, рухнув, так и не сумело возродиться.

В центре повествования—Адам Коссович, молодой человек из так называемой хоро-

шей семьи, преподаватель гимназии, знаток и любитель Э. Т. А. Гофмана. Летом 1939 года его призывают на действительную службу и направляют переводчиком и референтом по германским делам в одно из отделений «двуйки» — контрразведки польского генерального штаба. И вот именно ему выпадает на долю провести несколько дней — последних мирных дней — в захолустном пограничном городке в обществе молчаливого немца-перебежчика, которого велено держать фактически под домашним арестом.

Адам Коссович, хотя ему и запрещено говорить с пленником на политические темы, проникается к тому неожиданной симпатией, даже сочувствием, он убеждается, правда, скорее интуитивно, что тот говорит правду, а не ведет двойную игру с польской разведкой. Но начальники Адама решают вернуть перебежчика немцам. Однако время уже потеряно: в ночь на 1 сентября, когда эта акция должна была осуществиться, начинается война, и перебежчик вместе с его стражниками попадает в руки нацистов, которые безо всякого разбирательства расстреливают их всех. Такова фабула романа.

Она, похоже, сама по себе меньше всего интересует писателя. Он делает акцент на другом: страшную цену пришлось заплатить в первые дни гитлеровской агрессии тысячам, десяткам тысяч поляков — интеллигентам вроде Адама Коссовича, крестьянам и рабочим, служившим на срочной службе, кадровым военным — за то, чтобы убедиться вдруг в полном банкротстве руководителей «санационной» Польши, приведших страну близорукой и своекорыстной политикой к катастрофе.

Но почему же все-таки *вдруг*? Для В. Билинского это главный вопрос, ради исследования которого, в сущности, он и написал роман. Прямого ответа на него писатель не дает. Но живая, реалистически беспощадная картина польского общества в канун войны подводит читателя к мысли: личная ответственность каждого человека, готовность сделать верный выбор, активное отношение к жизни, а не игра с нею в прятки — это и залог нравственной силы, чистоты общества, и самая надежная преграда злу. Ведь и величайшие в истории человечества войны для миллионов людей, бывших далекими от большой политики, всегда начинались вроде бы вдруг, неожиданно, словно гром среди ясного неба. И об этом тоже напоминает нам сегодня роман В. Билинского «Конец каникулам».

По-иному вспоминает войну Галина Аудерская, председатель Союза польских писателей, сегодня старейшина в литературе Народной Польши. Ее роман «Варшавская сирена» (М., «Радуга», 1983) и у нее на родине, и у нас в стране читатели встретили с живейшим интересом. Хотя написан он в манере традиционной, если не сказать несколько старомодной, что называется, без претензий: это подробная, обстоятельно рассказанная история долгой жизни женщины, ставшей свидетельницей начала второй мировой войны, а затем ее участницей.

Весь секрет, думается, в том, как и зачем рассказана эта история. Галина Аудерская причисляет себя к приверженцам «патриотического, романтического» течения, которое в польской литературе (и вообще, пожалуй, в польской культуре) ярче всего воплотил в своем творчестве Генрих Сенкевич. В «Варшавской сирене»— впрочем, и в таких романах, как «Птичий большак» (1973) и «Бабье лето» (1974),— писательница не ставит прошлое под сомнение, не ревизует его, но стремится принять и передать его таким, каким оно, по ее представлениям, было в действительности. Главное для нее — донести до читателя аромат эпохи, которая была эпохой ее молодости и зрелости, цвет времени, которое было временем самым значительным в собственной ее жизни,— но эпохи и времени, сегодня ставших уже историей.

Галине Аудерской довелось не просто увидеть войну, оккупацию. Она вступила в ряды польского антифашистского Сопротивления, в дни Варшавского восстания 1944 года была контужена. Ее вклад в победу отмечен тремя боевыми наградами.

И на склоне лет Г. Аудерская решила написать обо всем этом, но не воспоминания, а что-то похожее одновременно и на сагу, и на романтическую оду Варшаве и варшавянам. Так родилась «Варшавская сирена» (в подлиннике книга носит более точно соответствующее мысли писательницы название — «Меч сирены»), так родилась и ее героиня — француженка, волею судеб попавшая в Варшаву до войны, которая, пожалуй, и превратила ее в настоящую, как говорится, до мозга костей, варшавянку.

И все же не она главная фигура романа. В центре его — и это могло бы показаться парадоксальным — исторически точная, до скрупулезности верная хроника военного времени в Варшаве. Иностранка понадобилась писательнице для того именно, чтобы ее глазами еще и еще раз увидеть подвиг Варшавы, ее глазами предложить взглянуть на него новым поколениям поляков, заставить их удивиться увиденному и осмыслить его.

Анну-Марию, женщину бесконечно обаятельную, стойкую и целеустремленную, поразил когда-то герб Варшавы — сирена с мечом в руках. Галина Аудерская и сама призналась однажды, что не знает другого города, другой страны, где бы так изображали сирену: только в польской столице она держит в руке высоко занесенный над головой меч, который безмолвно свидетельствует о трудной и прекрасной истории города.

«Варшавская сирена» Г. Аудерской, на мой взгляд, — не просто ода всем, кто, оказавшись на первый взгляд в положении безвыходном, безысходном, вопреки планам и намерениям разного рода политических интриганов, крепко держал в руках меч, всем, кто отстоял честь страны, народа, столицы. Это и наглядный художественный урок того, какой огромной созидательной силой обладает истинный патриотизм, каким несокрушимым оружием становится он в борьбе против неволи, за свободу и независимость родины.

Военная тема в польской литературе, так сказать, в запас не уходит: она постоянно в строю и пользуется традиционно хорошим читательским спросом. К ней до сих пор об-

ращаются и литераторы старших поколений, для которых вторая мировая война оказалась стартом в зрелость, и те, кто пережил ее подростком. Но сегодня и те и другие пишут о войне как о виденном собственными глазами, как о странице собственной судьбы. И тут, наверное, проходит рубеж между темой современной и темой исторической, граница, которая прокладывается как бы на наших глазах. Вторая мировая война, с каждым годом отдаляясь от нас во времени, все больше и определеннее становится не просто прошлым, но и историей. И возвращение к ней по большей части бывает сегодня уже не столько данью беспокойной памяти, сколько потребностью и желанием обратиться к событиям, еще не забытым, но уже достаточно далеким, чтобы можно было оценить и осмыслить их с точки зрения знаний и опыта, накопленных последующими поколениями.

Так это сделал в романе «Сын Валленрода» (1980) Януш Красинский. Писатель принадлежит к поколению, которое вошло в литературу в 50-е годы, он был, несмотря на юный возраст, бойцом Сопротивления, затем попал в нацистский концлагерь.

«Сын Валленрода» — роман о войне, во многом он необычен. «Сегодня я и сам не сумел бы сказать, что в этой книге историческая правда, а что — художественный вымысел», — признается Я. Красинский в предисловии к книге Замысел ее подсказала писателю журналистика: серия очерков о небудничной судьбе поляка, родившегося и выросшего в той части польской Силезии, которая два межвоенных десятилетия была для Польши «заграницей» — сначала веймарской, а затем и гитлеровской Германией.

Взявшись за перо, Януш Красинский изменил фамилию этого человека, многое додумал и придумал. Однако роман его, пожалуй, нельзя отнести к столь распространенной сегодня «литературе факта». Стремление к романтизации героя, к типизации в нем черт характера, судеб тысяч и тысяч его земляков и сверстников во многом обусловило и форму романа. Он фрагментарен: каждая глава рассказывает об одном, что называется, этапном периоде жизни Станислава Альтенберга. Осознание принадлежности к польской общине, польский патриотизм, наконец, стремление служить Польше, над которой нависла угроза тотального уничтожения в годы второй мировой войны,— вот что руководит всеми поступками героя, определяет каждый раз выбор, который постоянно заставляет делать его жизнь. И каждая глава романа — рассказ об очередном таком выборе.

Когда началась война, Альтенберг попытался избежать участи мужчин третьего рейха — службы в вермахте. Но из этого у него ничего не вышло. Герой Януша Красинского не решился отказаться служить фюреру, когда его привезли в гестапо: ведь сказать «нет» — значило бы добровольно выбрать концлагерь и почти неминуемую смерть. Он сказал «да», пишет Я. Красинский, хотя ни одно произнесенное им до сих пор в жизни слово не вызывало в нем большего протеста

Все попытки дезертировать, сдаться в плен во Франции, установить связь с антифашистами кончились неудачей. После нападения Гитлера на Советский Союз Станислав Альтенберг оказывается на Украине — охранником в лагере для советских военнопленных. Здесь он тоже пробует найти путь к партизанам. Его мучит болезненное осознание роли, которую его заставили играть. Что он тут делает? В чужой армии, на чужой, силой захваченной земле?

Эта часть романа написана в манере, близкой к военному детективу, а Альтенберг даже начинает напоминать популярного капитана Клосса из польского телевизионного фильма «Ставка больше, чем жизнь». Станислава, «немца с мягким взглядом», стали примечать, а потом и привечать советские подпольщики. Он все активнее втягивается в их работу, помогая устраивать побеги пленных. Наконец, после того, как Станислав успешно справился с самым сложным заданием, его переправляют в партизанский отряд.

Альтенберг становится разведчиком — сначала в партизанском отряде, а затем и профессионалом: после окончания спецшколы в Москве его забрасывают в Германию. Он вновь надевает ненавистный фашистский мундир, но теперь делает это сознательно: его сбрасывают в тыл врага, на польскую землю, еще оккупированную гитлеровцами. Роковое стечение обстоятельств решает судьбу Станислава: здесь, на родине, он гибнет — гибнет в мундире немецкого унтер-офицера.

«Ты, Альтенберг, немец-изменник?» — спрашивает его гитлеровец. Станислав покачал головой. «И не немец, и не изменник...» — так завершает роман Я. Красинский.

В этой книге, написанной просто и занимательно, есть и любовная интрига, и панорама жизни польской общины в фашистской Германии накануне второй мировой войны, и картины страшных будней гитлеровского концлагеря. Но главное здесь — нелегкая судьба поляка, сражавшегося за свободу своей родины в чужом мундире и под чужим именем. Судьба современного Валленрода. Конрад фон Валленрод был великим магистром Тевтонского ордена. Но для поляков вот уже в течение полутора веков это трагическая и вместе с тем романтическая фигура, созданная воображением Адама Мицкевича. Герой его знаменитой поэмы о Конраде Валленроде, имя которого стало нарицательным, правда, нимало не похож на реально существовавшего в XIV столетии Валленрода. Мицкевич первым в польской литературе заговорил о явлении, названном им патриотизмом неволи — о патриотизме, который побуждает человека (как и литературного Валленрода) прятать лицо под личиной, притворяться своим среди чужих и чужим среди своих в борьбе за свободу и независимость родины, оказавшейся в смертельной опасности.

Победа над фашизмом, в которую внесли вклад и миллионы поляков, в том числе тех, кто сражался в рядах народного Войска Польского, укрепила в литературе принципиально иной мотив. Его можно было назвать, чуть изменив выражение А. Мицкевича, патриотизмом воли, патриотизмом свободы.

Сержант Станислав Родак в романе Збиг-

нева Домино «Пора по домам, ребята» (1981) — фигура весьма типичная и для польской литературы, и для новейшей польской истории. После того как развалилась в 1939 году буржуазная Польша, судьба забросила его, мальчишку, вместе с родителями в Сибирь. Мать вскоре умерла. Отец, как только представилась возможность, отправился на войну. Слова, сказанные им сыну на прощание, так и остались для Сташека завещанием: «Иной дороги, сынок, в Польшу нет. Прости, что оставляю тебя одного. С людьми не пропадешь». И Сташек действительно не пропал. Он прошел нелегкую, но очень добрую, гуманную школу жизни.

Воспоминания о сибирской жизни героя романа (а им в книге отводится немаловажная роль) носят на себе отпечаток и собственного опыта писателя. З. Домино также провел в СССР, в Сибири, годы войны. Он, кстати, написал об этом очень поэтичную, проникнутую сердечной теплотой к советским людям книгу — «Кедровые орешки» (1974). Страницы, рассказывающие о жизни Сташека Родака в Сибири, пожалуй, самые светлые в романе З. Домино и, думается, самые существенные для нашего разговора.

Здесь, в Сибири, начинается подлинное воспитание чувств героя романа, формирование его нравственной, гражданской позиции. Его поначалу просто поражает сила души и бесконечная материнская доброта русских женщин-солдаток, твердость и вера стариков в победу, необыкновенно серьезное, зрелое отношение его сверстников к жизни. Удивление перерастает у Сташека в восхищение, а восхищение — в любовь и признательность к незнакомым, казавшимся сперва совсем чужими людям. И именно это побуждает Сташека-юношу, очень и очень далекого от всякой политики, пристальнее вглядеться в то, что окружает его. Он повзрослел и помудрел в глухой таежной стороне, научился у простых советских людей крепкой человеческой солидарности, умению по-настоящему ценить и по-настоящему любить родину. Это в конце концов и помогает ему найти свое место в борьбе за подлинно свободную, независимую, справедливую Польшу.

Писатель и повзрослевшего Сташека ставит в обстоятельства довольно-таки необычные. О самой войне, о Сташеке-солдате З. Домино рассказывает скупо, так как основное действие романа развивается в первые после войны весну и лето. Батальон, где служил сержант Станислав Родак, после взятия Берлина неожиданно направляют на балтийское побережье, на так называемые Северные земли, исконно польский край, наконец-то вернувшийся в границы новой Польши. И задача батальону ставится отнюдь не боевая — привести в порядок поля и фермы имения, хозяин которого сбежал с нацистами, посеять здесь хлеб, дабы те, кто будет теперь жить на этой земле, смогли собрать первый послевоенный урожай.

Возглавляет и организует столь необычную посевную командир батальона майор Виктор Таманский, сибиряк, работавший до войны в совхозе, человек истинно крестьянского склада души. Советский офицер, командированный, как и многие его товарищи, в Войско Польское после ранения, прошел с ним от Ленино, где Войско Польское получило боевое крещение, до Берлина. Польские солдаты полюбили его, человека долга, патриота и интернационалиста, который не столько словом, сколько делом, личным поведением, своей жизненной позицией помогал закладывать фундамент советско-польской дружбы.

Посевная многому научила Сташека Родака и его однополчан. Но главное — она учила их служить новой, Народной Польше. «Пора по домам, ребята», — напутствовал своих подчиненных демобилизовавшийся Виктор Таманский осенью 1945 года, когда уже заколосился в полях бывшего помещичьего имения посеянный его солдатами хлеб. «Я сегодня, вы, может, завтра или послезавтра. Война кончилась. Пора снова начинать жить по-человечески». И писатель подробно рассказывает о том, сколь труден, порой трагичен был этот переход к миру, к жизни по-человечески». Войско Польское дало герою романа и его товарищам добрую закалку, помогло выбрать верное место в истории — в борьбе за новую Польшу, в борьбе, которая не кончилась в день победы над фашистской Германией.

Однако борьба эта, как известно, и не началась в годы второй мировой войны. Началась она значительно раньше. И вот об одном из ее уже довольно давних этапов напомнил Здислав Романовский в романе «Белое и красное» (1981).

Белое и красное — традиционные польские национальные цвета, цвета флага Народной Польши. Но белое и красное можно истолковать еще и как символ двух диаметрально противоположных жизненных позиций: одна — это позиция национальной ограниченности и национального эгоизма, которую оправдывали, обосновывали и неизменно восхваляли консервативные и реакционные элементы польского общества, обычно кончавшие сотрудничеством с «белыми» силами царской России; другая — позиции, которую занимали и отстаивали передовые демократические силы Польши, позиция интернационализма и мужественной, практической солидарности с «красной» Россией.

Символы эти в книге З. Романовского служат ключом ко всему повествованию, задают ему тон. Это рассказ о том, как извилист и труден оказался путь Чарнацкого, молодого политического ссыльного «с местом пребывания в Якутии», освобожденного Февральской революцией 1917 года,— в польскую революционную роту, а значит, к большевикам, к коммунистам, к новой, еще очень и очень далекой демократической, Народной Польше.

Помощницей Чарнацкому становится тут история. Копаясь в архивах царской охранки (дело происходит в Иркутске), он мучительно раздумывает над тем, какой же выбор должен сделать, чтобы не изменить национальным цветам Польши: оставаться ли нейтральным здесь, в России, не вмешиваться в «драку» белых и красных (так и советует ему кое-кто из местной, иркутской, колонии поляков) или же взять в этой схватке чью-то сторону. Чью?

«За нашу и вашу свободу!» — так коротко и четко сформулировали полтора века

назад польские патриоты общий для народов Польши и России лозунг освободительной, революционной борьбы. История накопила великое множество ярких, волнующих, нередко трагических свидетельств того, как подданные российской империи — русские, поляки, люди других национальностей плечом к плечу, презирая опасности, смерть, выступали против самодержавия. Такая солидарность была своего рода цементом, крепившим и польское, и российское демократическое движение. Но она была и самым действенным противоядием против национализма, шовинизма и великодержавия, школой подлинного интернационального братства.

Передовая Россия неизменно брала сторону польских патриотов. Передовая часть польского общества не только сочувствовала декабристам, Герцену, Чернышевскому, народовольцам, но и принимала активное участие в их революционной работе. С 80-х годов прошлого столетия эти традиции подхватили, развили и обогатили организации, а затем и партии рабочего класса. Поляки внесли немалый вклад в подъем рабочего движения на территории Российской империи. Около ста тысяч поляков сражались за победу Октября. Красные польские полки и роты (о рождении одной из них в Иркутске и идет речь в романе З. Романовского) вели бои на фронтах Гражданской войны.

В «Белом и красном» русская и польская темы тесно переплетаются. Писатель, однако, судит о своих героях не по тому, поляки они или русские. Он судит о них прежде всего по делам, поступкам, жизненному выбору, который они делают. В книге З. Романовского нет «просто» русских и «просто» поляков. Здесь есть русские белогвардейцы и купцы-хищники, русские жандармы и обыватели, но есть и поляки, верно служившие сначала царю, а потом и контрреволюции, есть поляки-шовинисты, ненавидящие все русское, есть поляки, не желающие ввязываться в «русские дела» и активно помогающие тем, кто завтра начнет возводить буржуазную, антинародную и антисоветскую Польшу. И есть русские, поляки, якуты, сербы, немцы, венгры, австрийцы — коммунисты, патриоты, демократы, интернационалисты.

Чарнацкий в книге З. Романовского идет к решению мучительно трудно, но когда принимает его, делает это вполне осознанно, а потому уже и без колебаний. Он следует голосу совести, поддержанной разумом. Как и спустя четверть века, поляки вроде Сташека Родака из упоминавшегося уже романа З. Домино, которые вступили в сформировавшуюся на советской земле I дивизию имени Тадеуша Костюшко, ядро будущего Войска Польского, и, с боями пройдя по родной земле, закончили войну в Берлине на стороне антифашистской коалиции. Это тоже был исторический (и тоже очень для многих нелегкий!) выбор — выбор Народной Польши, друга и союзника СССР.

Есть у З. Романовского такой эпизод. Польский социал-демократ, бывший политический ссыльный, а теперь деятельный работник советской власти в Иркутске, предлагает Чарнацкому провести беседу с бойцами польской революционной роты, которой предстоит отправиться в Якутск устанавливать там власть Советов. Тему беседы он выбирает на первый взгляд далекую от забот и тревог того времени — восстание ссыльных поляков в Прибайкалье в середине 60-х годов прошлого столетия. Мы рассчитываем на то, объясняет он Чарнацкому, что беседа докажет: «Лучшие силы Польши и России сражались и должны сражаться рука об руку. Тогда победа будет им обеспечена».

Так традиции становились политическим оружием. Остаются они им и сегодня. И в жизни, и в современной польской литературе.

■

Заканчивая эти заметки, мне хотелось бы вспомнить об одном прекрасном рассказе Ярослава Ивашкевича, с которым советского читателя познакомила «Иностранная литература» почти десять лет назад. Это были «Сады» — Ярослав Ивашкевич опубликовал их в 1973 году, незадолго до своего восьмидесятилетия. В нынешнем феврале писателю исполнилось бы 90...

«Сады», как может показаться сначала, больше походят на воспоминания, на «обработанные писательской рукой» дневниковые записи. Они пронизаны и пропитаны сожалениями, грустью, смягчаемыми мудрым опытом долгой жизни. Как в одном, довольно давнем уже стихотворении Ярослава Ивашкевича:

Останется пожатье рук,
улыбки свет, забытый взгляд,
воспоминанье давних мук,
и старый лес, и старый сад.

(Перевод М. Павловой)

«Сады» начинаются грустной нотой. Писатель с опаской наблюдает за тем, как огромные пространства земли покрываются поблескивающим стеклом теплиц, не оставляя места ни импровизации, ни неожиданности. Впрочем, в словах этих, не исключено, больше такой естественной у зрелого человека грусти о том, что многое в его жизни уже стало прошлым, больше горечи при мысли об ушедшей молодости, слегка приправленной еще иронией, нежели «черного» пессимизма. И картина эта напоминает ему о садах его детства, юности, зрелости, о садах его жизни. Вспоминая о них, Ярослав Ивашкевич раздумывает о собственном опыте художника, не сразу открывшего и продолжающего бесконечно открывать для себя этот мир импровизации и неожиданности—мир искусства, своего и не своего, в котором, признавался писатель некогда, он по-настоящему чувствует себя как дома.

И не потому ли обращенные в прошлое «Сады» так крепко оказались связанными с современностью? И не потому ли тоже, стремясь быть правильно понятым, писатель счел уместным предварить «Сады» разъяснением, прося не трактовать написанное слишком дословно, как расчетливое свидетельство в пользу тех или иных исторических событий, характеров? Любопытно, что и другая, более поздняя его повесть, «Зарудье»[1], сопровождается подобным же при-

[1] См. журнал «Twórczość», 1975, № 4.

мечанием, в котором Ярослав Ивашкевич настойчиво подчеркивает: «Как и в большинстве рассказов моих последнего периода, здесь переплетается множество подлинных названий, имен, фактов, настроений, складываясь в свободную композицию». Пожалуй, это и есть самая меткая, исчерпывающая характеристика особенностей «малой прозы» Ярослава Ивашкевича, которой, наравне со стихами, он отдавал предпочтение на закате дней.

«Сады» написаны просто, легко, прозрачно. Отрывки, вроде бы совсем ничем друг с другом не связанные, «моментальные снимки» разных лет, словно вытряхнутые из семейного альбома и ласковой рукой небрежно разбросанные по столу, воспоминания «очень личные», рассказывающие о незначительных порой (незначительных для нас, читателей) событиях, случаях, людях. И музыка, много музыки и много о музыке, которая, наверное, в каждом произведении Ярослава Ивашкевича непременно выступает как лицо действующее. И все это вдруг, на наших глазах, срастается воедино. Скрепленные мыслью писателя, отмеченные его активным, гуманистическим отношением к жизни, «моментальные снимки» складываются неожиданным образом в портрет самого автора, смело, доверчиво раскрывающего перед нами душу.

Ярослав Ивашкевич просит не относиться к «Садам» как к источнику абсолютно достоверной исторической информации. А ведь на страницах этого рассказа мы встречаемся с выдающимся польским композитором Каролем Шимановским и с Пабло Нерудой, с виртуозом пианистом Артуром Рубинштейном и с Ильей Эренбургом, с Юлианом Тувимом, американским физиком Робертом Оппенгеймером, Софи Лорен (хотя некоторых мы буквально не успеваем рассмотреть, они появляются на миг, оставляя после себя лишь звучание своего имени). Но на этих же страницах мелькает также множество людей, о которых мы ничего не знаем и ничего не узнаем из «Садов», да и вообще, очевидно, никогда ничего не узнаем. Все они нужны Ярославу Ивашкевичу, потому что они — его друзья, товарищи, сверстники, знакомые или же просто те, с кем когда-то, пусть совсем ненадолго, сводила его судьба. Память осталась, как в строчках Анны Ахматовой:

И все, кого ты вправду любила,
Живыми останутся для тебя.

Но ивашкевичевские «Сады» — не просто прекрасная поэма в прозе, это и размышления писателя о долге и ответственности художника, о его месте и роли в бескомпромиссной борьбе против войны, за мир, за прогресс человечества. Вспоминая, например, о встрече с Робертом Оппенгеймером, Ярослав Ивашкевич приводит и услышанные от него слова: ученый обязан продолжать свои исследования и открывать новое, таков его святой долг, а уж как распорядятся теориями ученого техники — не его дело. «Мудрость Оппенгеймера,— замечает по этому поводу Ярослав Ивашкевич,— не помогала жить, не учила тому, как нужно поступать, дабы избежать всего того, что сам он как раз и придумал».

Мудрость Ярослава Ивашкевича — и она, быть может, то главное, что мы выносим из прогулки по его «Садам»,— мудрость совсем иного рода: осознание реальной ответственности за каждое написанное слово, которое служит единственным и самым строгим, самым справедливым мерилом вклада писателя, художника в общенародное дело, а значит, и в творящуюся на наших глазах историю.

«Мои сады, мои заветы...» — писал когда-то Александр Блок. Перечитывая сегодня ивашкевичевские «Сады», невольно вспоминаешь эту строчку...

◆

СТЕФАН ЦВЕЙГ — ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Новое исследование ученого из ГДР

Стефан Цвейг (1881—1942) пришел к советским читателям в двадцатые годы. Сборники его новелл были изданы в русском переводе в 1923 («Амок») и в 1927 («Смятение чувств») годах. Они принесли выдающемуся австрийскому писателю завидный успех. Вспомним, с каким теплом отзывался о Стефане Цвейге Максим Горький, как охотно он согласился написать предисловие к русскому двенадцатитомному собранию его сочинений (завершено в 1932 году). А «Письмо незнакомки» вызвало в нем целую бурю чувств. Ваш рассказ, писал Максим Горький автору, «взволновал меня до глубины души его потрясающе искренним тоном, его нечеловеческой нежностью отношения к женщине, оригинальностью темы и той магической силой изображения, которая свойственна только истинному художнику. Читая этот рассказ, я смеялся от радости — так хорошо Вы сделали это! И бесстыднейше плакал от сострадания к Вашей героине, от нестерпимого волнения, которое вызывает ее образ и печальная песнь ее сердца» [1]. Эти слова отнюдь не минутный восторженный порыв, часто приводящий к преувеличению. Три года спустя, из Сорренто, Максим Горький напишет Н. П. Рождественской: «Цвейг — замечательный художник и очень талантливый мыслитель. Мне кажется, что до него никто еще не писал о женщине с таким рыцарским уважением и с такой сердечной нежностью к ней. И — ни тени сентиментальности, все — так просто, мудро» [2].

И Стефан Цвейг в мемуарах «Вчерашний мир» (1942) с большой симпатией вспоминал о поездке в Советскую Россию в 1928 году, о встрече с Максимом Горьким, которого высоко ценил как художника и человека. В речи к 60-летию Максима Горького он сказал: «...зоркую память Горького я причисляю к немногим подлинным чудесам нашей эпохи, и я не знаю ничего в современном искусстве, что могло бы хоть отдаленно сравниться с ясностью и точностью его глаза... Благодаря книгам Горького мы можем по-братски понять Россию как близкий, родственный нам мир, без отчужденности, без внутреннего сопротивления, а это и есть наивысший долг писателя — разрушать преграды между людьми, далекое сделать близким и объединить народы с народами, сословия с сословиями в конечном всечеловеческом единстве» [3].

В этом дружеском участии, в сердечных отношениях двух выдающихся мастеров прозы мы и сегодня видим вдохновляющий пример.

Послевоенное поколение наших читателей познакомилось со Стефаном Цвейгом по семитомному собранию его сочинений, изданному 20 лет назад под редакцией Б. Л. Сучкова. Ныне в издательстве «Художественная литература» выходит новое собрание его сочинений в четырех томах. Такие произведения, как «Мария Стюарт», «Магеллан», «Нетерпение сердца», «Шахматная новелла» и другие, давно вошли в наш читательский обиход. Важное место в творчестве Стефана Цвейга занимают также исторические миниатюры, художественные биографии, эссе и очерки, глубоко и тонко раскрывающие многоплановость духовного облика их героев.

Художник безусловно честный и искренний, Стефан Цвейг всегда стремился определять свою позицию по отношению к социальному злу, был убежденным противником войны, выступал в защиту мира и справедливости. Однако идеи буржуазного либерализма, которым он поклонялся, не выдержали испытания жизнью, и Цвейг не мог не сознавать этого. Мощные исторические катаклизмы XX века существенно

[1] М. Горький. Собрание сочинений, т. 29. М., 1955, с. 415.
[2] Там же, с. 487.
[3] С. Цвейг. Собрание сочинений, т. 7. М., 1963, с. 356—359.

влияли на его взгляды. Так было, например, в годы первой мировой войны, когда его вера в либеральные идеалы впервые получила сокрушительный удар. В произведениях тех лет Стефан Цвейг призывал народы покончить с преступной и чудовищной бойней. Но кровь лилась и лилась, и он с горечью убедился в том, что слово писателя само по себе не всемогуще. К пониманию революционного выхода из войны Стефан Цвейг, однако, не пришел.

Поражение революций в Германии и Венгрии, упрочение реакции в Западной Европе усилили кризисные черты мировоззрения Стефана Цвейга и привели его, в частности, к воинствующей аполитичности, отвергающей и позицию буржуазии, и политические устремления народных масс. Элементы упадочничества, чрезмерный интерес к психологически утонченной эротике заметны в ряде его произведений послевоенного периода. Мятущиеся персонажи этих книг разуверились в иллюзиях, в собственных чувственных переживаниях; они охвачены мучительным беспокойством, а судьба все гонит их с места на место, к очередным иллюзиям и очередному краху.

Это духовное смятение и тягостная неуверенность как бы вселились в самого автора, когда у него на родине нагло поднял голову фашизм. Неожиданный стук в дверь и последовавший затем обыск (зальцбургские полицейские искали оружие, якобы спрятанное шуцбундовцами — членами боевых отрядов антифашистского движения) Стефан Цвейг воспринял как недоброе предзнаменование. «После такого официального визита,— писал он в мемуарах,— мой дом разонравился мне, и возникшее чувство подсказывало, что подобные происшествия — всего лишь робкая увертюра к далеко идущим событиям». Писатель тогда же продал дом в Зальцбурге и жил преимущественно в Лондоне, навещая время от времени в Вене свою старую матушку. В 1938 году он эмигрировал окончательно и два года спустя принял английское подданство.

Авторитет в обществе и хорошее материальное положение позволяли Стефану Цвейгу помогать многим соотечественникам — эмигрантам-антифашистам. Вскоре после «аншлюсса», насильственного присоединения Австрии к Германии в 1938 году, он с иронией писал: «Сейчас я не автор, а своего рода бюро, которое делает все возможное, чтобы помочь десяткам австрийцев получить работу, разрешение на въезд, субсидию или договор на книгу. Но уклониться от всего этого я не могу до тех пор, пока комитеты помощи не возьмутся за дело как следует».

Это высказывание позволяет правильно оценить позицию Стефана Цвейга в годы эмиграции. Автор предлагаемой вниманию читателя статьи, талантливый историк и литературовед из ГДР Вольфганг Кислинг, справедливо указывает, что, хотя писатель и не примкнул ни к одной организации эмигрантов, не подписывал политических деклараций и продолжал держаться обособленно, его жизненный путь «не оставляет никаких сомнений в том, на чьей стороне он был. Критерием идейной приверженности Цвейга в первую очередь служит глубоко прочувствованный гуманизм, пронизывающий его творчество».

Да, конечно, борцом Стефана Цвейга не назовешь. Но ведь широкое антифашистское движение 1933—1945 годов отнюдь не было однородным.

Среди эмигрантов оказалось немало людей, жаждавших активной деятельности, они старались объединиться. Наиболее значительные антифашистские центры сформировались в СССР, Франции, Чехословакии, США и Мексике. Судьба Стефана Цвейга, его добровольный уход из жизни показательны как другой общественный феномен, как явление, характеризующее кризис в сознании той части эмигрантов, которые не сумели верно понять движущие силы исторического процесса и полагали, что можно противостоять врагу в одиночку. Прекрасные иллюзии этих одиночек, ощущавших себя защитниками великих этических и эстетических ценностей, попранных фашизмом, вновь обнаружили свою несостоятельность. Их крушение заставляло по-новому задуматься о долге личности, оказавшейся в центре общественных конфликтов, определяющих лицо эпохи. Иным достало сил коренным образом пересмотреть прежний опыт и более действенно включиться в борьбу за светлые идеалы гуманизма и демократии.

Стефан Цвейг таких сил в себе не нашел. Шестидесятилетний писатель откровенно признал это в «Декларации» — прощальном письме, полный текст которого включен в предлагаемую публикацию. Для всех друзей, даже для самых близких, его самоубийство было неожиданным. Ведь совсем недавно, в 1938 году, вышел «Магеллан», книга, проникнутая пафосом человеческого деяния, книга, герой которой способен на подвиг и свершает его, преодолевая нечеловеческие трудности. Правда, и в Петрополисе Цвейга продолжала терзать депрессия. Печальные вести с фронтов наводили на мысль о том, что война продлится еще долгие годы. Историческим оптимизмом писатель не обладал; даже мелкие события неприятного характера легко вызывали у него необоснованные опасения и очень расстраивали. Чутье подсказывало Стефану Цвейгу, что ему не удастся надолго укрыться в бразильской «идиллии», и он счел за лучшее «своевременно и достойно уйти из жизни».

В статье Вольфганга Кислинга подробно рассмотрен трагический финал в Петрополисе. Автор исследования приводит ряд ранее неизвестных деталей, помогающих лучше разобраться в сложной духовной драме Стефана Цвейга, одного из талантливейших художников западноевропейской литературы XX века, который стремился своими произведениями сделать людей «значительно лучшими и несравненно более интересными».

В. ДЕВЕКИН

ВОЛЬФГАНГ КИСЛИНГ

ПУТЬ В ПЕТРОПОЛИС

В течение последних восьми лет напряженной писательской работы, вплоть до 1942 года, Стефан Цвейг, по его собственным словам, целиком отдается любимому делу, незаметно и упорно созидая, претворяя годы в труды. В отличие от многих немецких писателей-эмигрантов, он не знал материальной нужды и тягостной необходимости писать для ящика письменного стола, про запас. Хотя Цвейг и был лишен книжного рынка Германии, в других странах выходили многочисленные издания его книг, прежде всего в переводах, но также и на немецком языке. «Никто из коллег не превзошел его по международной популярности,— утверждал Арнольд Цвейг,— он был вправе называть себя наиболее переводимым из всех нас». За эти восемь лет Стефан Цвейг создал роман «Нетерпение сердца», книгу путевых очерков «Бразилия — страна будущего», биографию Америго Веспуччи, мемуары «Вчерашний мир», а также «Шахматную новеллу» и опубликованную впервые посмертно, в 1946 году, книгу о Бальзаке, которую сам считал своим наиболее значительным произведением.

Какую позицию занимал Цвейг в антифашистской эмиграции? По его собственному высказыванию в последние годы жизни, он был «человеком здравомыслящим, далеким от всякой политики». Арнольд Цвейг тоже считал, что Стефан Цвейг не мог действовать как борец. Да, если единственным доказательством антифашистской позиции считать принадлежность к организации эмигрантов, подпись под политическими заявлениями или даже собственные политические призывы, тогда правы те, кто с давних пор и поныне причисляют Стефана Цвейга к художникам, живущим в башне из слоновой кости, и думают, что он не исполнил свой долг в борьбе с общим врагом. На самом же деле жизненный путь писателя не оставляет никаких сомнений в том, на чьей стороне он был. Критерием идейной приверженности Цвейга в первую очередь служит глубоко прочувствованный гуманизм, пронизывающий его творчество. В общественной жизни к этому присоединялась практическая солидарность с антифашистами и помощь коллегам и другим эмигрантам деньгами и авторитетом, советом и делом. По словам Германа Кестена, «Цвейг годами выплачивал некоторым писателям, например Эрнсту Вайсу и Йозефу Роту, ежемесячное денежное пособие, словно был их издателем. Он буквально спас жизнь многим людям».

Уже в середине тридцатых годов взаимоотношения с единомышленниками стали для Стефана Цвейга трудной проблемой. В редко вспоминаемой впоследствии статье 1934 года «Требование солидарности» он так описывает терзающее писателя противоречие: «Чтобы глубже сосредоточиться на своей работе, он должен полностью отключиться от других дел, отвечать только за себя, собственным умом как можно яснее постигать проблемы своего времени. Чтобы оставаться беспристрастным, он должен стоять в стороне от всякой борьбы, не принадлежать ни к каким группировкам и объединениям. Однако именно воздействие, оказываемое его произведениями, устраняет оторванность писателя от жизни и позволяет ему вновь ощутить связь с реальным миром. Поэт, художник, выражая свое художническое кредо, обращается к другим людям и тем самым дает им право на себя, право предъявлять требования к себе. Поскольку писатель взывает ко всем людям на земле, чтобы сделать их сопричастными своим чувствам и идеям, бесчисленное множество людей обращаются и к нему и, со своей стороны, требуют участия к своим нуждам и судьбам». В заключение Цвейг высказал мнение, что правильно было бы действовать в двояком плане: заниматься созданием духовных ценностей, то есть литературным творчеством, и одновременно трудиться на общественном поприще. Но не каждому отпущены на это силы. Цвейгу кажется, что ему их недостает. Однако он пишет, что никогда не перестанет ощущать запросы времени как требование, предъявленное ему лично. И всегда будет испытывать угрызения совести из-за того, что мало сделал и в одном и в другом плане. «Каждый художник может лишь сам найти для себя путь преодоления этого разлада. Ему надо во всей глубине выстрадать понимание того, в какой мере следует отдать себя служению своему писательскому делу и в какой — своему времени. Никто не может помочь ему, дать совет, как унять эти жгучие, глубочайшие муки совести. Полезно может быть для него лишь одно: взглянуть на друзей и товарищей, которые нашли решение, достойное подражания».

Если в Англии Стефан Цвейг публично почти не выступал, то его поездки через Атлантику накануне второй мировой войны проходили под знаком открытых антифашистских высказываний. Писатель неоднократно получал из многих стран Южной Америки приглашения прочитать там лекции. Но лишь в 1936 году, когда к нему обратились с просьбой принять участие в работе XIV Международного конгресса ПЕН-клуба, который должен был состояться 5—16 сентября в Буэнос-Айресе, он впервые решился поехать в Латинскую Америку.

Из Аргентины, где после завершения конгресса Цвейг выступил с несколькими докладами перед многочисленной аудиторией заинтересованных слушателей, он отправился без особых ожиданий в Бразилию. У него не было почти никакого представления об этой стране, и казалось, что будет вполне достаточно пробыть там дней десять: ведь он же не географ, не собиратель бабочек и не коммерсант. Но Рио-де-

Жанейро оказался одним из сильнейших впечатлений, которые Цвейгу довелось когда-либо в жизни испытать. «Я был очарован,— вспоминает он,— и одновременно потрясен. Потому что передо мной возник не только прекраснейший на свете ландшафт — это неповторимое сочетание моря и гор, города и тропиков, но и совсем новый вид цивилизации... Меня опьянили красота и ощущение счастья. Мои чувства обострились, нервы напряглись, сердце учащенно билось. Мозг неустанно работал, и сколько я ни смотрел вокруг себя, никак не мог вдоволь наглядеться».

По возвращении в Англию Цвейг дал в рассказе «Небольшое путешествие в Бразилию» экзальтированное описание своих впечатлений, прежде всего от бразильской природы. Для рассмотрения социальных условий жизни этой страны уже не осталось места. Писатель не захотел или не сумел увидеть недемократичность и воинственно-антикоммунистическую ориентацию режима президента Гетулио Варгаса. И все же красоты природы, наверно, не оказали бы на Цвейга такого глубокого воздействия, если бы два других, хотя и в корне различных, эмоциональных потрясения не сделали его особенно восприимчивым к окружающему. Такими потрясениями стали изумившее его равенство рас, которое писатель определил как «совсем новый вид цивилизации», и совершенно неожиданная для Цвейга волна уважения, вызванная неизвестной ему дотоле популярностью его книг в Бразилии.

Первая жена писателя, Фредерика, с которой он до самой смерти сохранял дружеские отношения, нашла его по возвращении «более сияющим, чем когда-либо после путешествия, и весьма оживленным». Он привез альбом с многочисленными вырезками из газет, в которых сообщалось о его пребывании в стране и докладах, о том, что послушать писателя собиралось очень много людей: полиции приходилось даже перекрывать движение на улицах. Цвейг решил как можно скорее снова отправиться в Бразилию, уже на более длительный срок, чтобы сознательнее ощутить там радость утраченной в Европе мирной жизни и добрую атмосферу гостеприимства. Он хотел на этот раз лучше подготовиться к путешествию, познакомиться предварительно с историей и культурой страны, ее экономическими возможностями. Намеревался действовать так же, как при работе над биографическими очерками: всесторонне изучить предмет исследования, прочесть основную литературу о нем, полностью овладеть материалом и затем самостоятельно, в своей особенной манере преподнести его. Эта мысль, возникшая, вероятно, в конце 1936 года, привела Цвейга к созданию путевых набросков о Бразилии, его первой и последней книги, посвященной стране, а не выдающейся личности.

Летом 1939 года Цвейг оставил Лондон и переехал в собственный загородный дом в Бате. Здесь он намеревался полностью посвятить себя работе над книгой о Бальзаке, которая должна была стать, по замыслу писателя, главным трудом его жизни. От Рихарда Фриденталя, издавшего в 1946 году цвейговского «Бальзака», мы знаем, что писатель собирался подытожить в этом произведении свой литературный опыт и жизненные наблюдения. «Бальзак казался ему величайшей темой, достойной его самобытного таланта и прямо-таки уготованной ему. Еще с венских времен Цвейг был погружен в произведения Бальзака, в легенду о Бальзаке».

В начале 1940 года писатель снова — в последний раз — отправился на европейский континент. Вернувшись в Англию, он начал собираться в третью после 1933 года американскую поездку, приведшую его сначала на несколько месяцев в Соединенные Штаты. Там он отдавал нуждающимся коллегам по эмиграции гонорары от своих выступлений, хлопотал о спасительных визах для друзей, оказавшихся после военного разгрома Франции в опасности. В Нью-Йорке его потрясло пришедшее из Франции известие о самоубийстве двух писателей: Вальтера Газенклевера и Эрнста Вайса. «Они потеряли терпение,— писал Цвейг давнему другу Паулю Цеху в Буэнос-Айрес.— Надо ли осуждать их за это и обвинять в предательстве? Я буду последним, кто это сделает».

Во время пребывания в Нью-Йорке Цвейг изучил в библиотеках большое количество литературы о Бразилии и составил план будущей книги о стране, куда хотел вернуться, и вернуться за новыми впечатлениями.

В Бразилии повторился тот же бурный прием, что и четыре года назад. Никогда прежде ни одного писателя не чтили там так высоко, как Цвейга. Этому не мешало даже, что португальские переводы, за редкими исключениями, оставляли, по-видимому, желать лучшего. В восторженных сообщениях и высказываниях о том, каким почетом был окружен в Бразилии Цвейг, нет преувеличения. Заслуживающим доверия свидетельством можно считать слова юриста, историка литературы и публициста Эрнста Федера, человека, последним видевшего писателя и его жену, разговаривавшего с ними. «Кому известно мое отношение к Стефану Цвейгу, не поймет меня превратно,— писал Федер,— если я скажу: его чтили в Бразилии как писателя выше, чем он того заслуживал. Я не знал ни одного бразильского дома, составляла ли библиотека хозяев два десятка или две тысячи томов, где бы его творчество не было представлено несколькими книгами».

В октябре 1940 года началась триумфальная поездка Цвейга по Аргентине. Он сделал четыре доклада в Буэнос-Айресе, первый — на испанском языке почти перед тысячной аудиторией. Из-за большого наплыва публики его выступление пришлось транслировать по радио в примыкающие к залу помещения. В Кордове, следующей остановке на пути его следования, разыгралось еще более грандиозное представление. Перед театром, где выступал писатель, были заранее установлены громкоговорители, и поэтому даже те, кто не достал билетов, смогли его услышать. Из Кордовы Цвейг отправился в Санта-Фе, потом в Росарио и Ла-Плату. Государственные и муниципальные чиновники оказывали ему всяческие знаки внимания. Будучи принятым министром иностранных дел Рока, Цвейг попросил взамен почестей для себя лично три аргентинские въездные визы для немецких эмигрантов — и получил их.

Из Англии тем временем пришли тревожные вести. Британским островам угрожало вторжение гитлеровских вооруженных сил. Немецкая авиация бомбила Лондон. «Мне кажется, я никогда больше не смогу вернуться в Европу,— писал Цвейг своей первой жене Фредерике, которой все же удалось переправиться через океан из Франции в Нью-Йорк,— и то, что у меня там осталось, пропадет, прежде всего мой «Бальзак» (на три четверти уже написанный и подготовленный к печати). А эти страны, где я останавливаюсь! Жизнь в отелях лишает меня всякой возможности работать».

Рукопись книги о Бразилии была создана в основном в номере гостиницы. Работа чередовалась с прогулками по Рио. Накопленные во время таких прогулок впечатления превратились в отдельную главу книги. Часто Цвейг собирался выйти всего минут на пятнадцать, однако, влекомый из одной улочки в другую, возвращался лишь спустя несколько часов. В этом городе его всегда переполняли все новые открытия, восторги и никогда не мучило чувство потраченного даром времени.

Вскоре Цвейгу вновь захотелось увидеть расположенный недалеко от Рио Петрополис. Четыре года назад его очаровал этот городок: утопающий в садах и расположенный на высоте почти тысячи метров над уровнем океана, он возник когда-то как летняя резиденция императора. Петрополис показался писателю прелестно-провинциальным и в то же время как бы искусственно сооруженным на этом месте. В сущности, городок совершенно не подходил сюда и все же с годами органично вписался в чуждое окружение. «Не знаю, почему,—замечает писатель в книге о Бразилии,— вспоминаешь немецкий провинциальный городишко. И подумайте, чувство тебя не обманывает. Много десятилетий тому назад бразильский император поселил здесь немецких колонистов, и они построили дома наподобие тех, что были у них на родине, дали немецкие названия улицам и посадили, как у себя дома, в маленьких, нарядных палисадниках герань. Даже императорский дворец выглядит как резиденция какого-нибудь мелкого немецкого князя, чудом вознесенная на бразильскую гору; все приятного, миниатюрного формата...». Уже тогда Цвейг готов был навсегда остаться в Петрополисе, где хорошо для него знакомое переплеталось с недавно обретенной экзотикой. Однако от мысли найти в этой земле вечный покой он был еще далек.

Вернувшись в конце января 1941 года в Нью-Йорк, Цвейг за несколько дней закончил рукопись книги «Бразилия — страна будущего» и разослал ее своим издателям в разных странах. На немецком языке она вышла (до недавнего времени единственный раз) в 1941 году в издательстве «Берман — Фишер» в Стокгольме. В том же году книгу опубликовали на английском в Нью-Йорке, на португальском — в Рио-де-Жанейро и на испанском — в Буэнос-Айресе. Эта работа занимает особое место в творчестве писателя. Выбранные им здесь предмет и манера изложения — переплетение исторического исследования, рассказа и репортажа — не позволяют сравнить ее ни с одной другой его книгой. Она стала выражением любви Цвейга к Бразилии. В ней дан образ страны, которую писатель открыл для себя гораздо позже, чем страна открыла и полюбила его книги.

Однако поистине неисчерпаемые природные и экономические ресурсы Бразилии Цвейг рассматривает в отрыве от ее социальной структуры. Он говорит о гуманности бразильского общества всего лишь на основании восхитившего его там равенства рас.

В романе, биографической книге, в полемике Цвейга всегда раздражала всякая многословность, смущало все неясное и непонятное, все чрезмерно замедленное. Едва переписав набело первый вариант очередной рукописи, он начинал — и в этом Цвейг прежде всего видел залог своего писательского успеха — вычеркивать, сокращать, уплотнять. На суд читателей он отдавал только тщательно отжатую квинтэссенцию. Однако в книге о Бразилии он весьма приблизительно выполнил это им самим установленное для себя требование Эрнст Федер, который наблюдал впечатление, произведенное этой книгой в Бразилии, писал: «Книгу восприняли как признание в любви стране, самое прекрасное из сделанных когда-либо иностранным писателем. И это впечатление усиливалось несомненной искренностью тона. Многие бразильцы и бразилианки говорили мне о глубоком волнении, с каким они ее читали. Не только из-за самого содержания, но и из-за ощущаемого ими внутреннего сходства столь эмоциональной творческой манеры писателя с их собственным складом характера».

В Нью-Йорке Цвейг не нашел покоя, необходимого ему для новой литературной работы. Было слишком много отвлекающих моментов. От одного из них — спасения коллег, которым в Европе угрожала опасность, — он, однако, ни в коем случае не хотел уклоняться. Он продолжал то, что еще раньше пытался осуществлять в Бразилии, хотя и там ему мешали валютные ограничения: переводил денежные суммы в Южную Францию, Северную Африку и Португалию — в отправные и промежуточные порты, откуда можно было отплыть в Америку. Вместе с Эрикой Манн, Германом Кестеном и президентом ПЕН-клуба, французским писателем Жюлем Роменом Стефан Цвейг участвовал в работе руководимого Франком Кингдоном Emergency Rescue Committee, Комитета, занимавшегося сбором денежных средств и получением виз на въезд в США. Писатель выступал на вечерах солидарности, устраивавшихся этим Комитетом, а 15 мая 1941 года вместе с Жюлем Роменом, Сомерсетом Моэмом, Дороти Томпсон, Сигрид Унсет, Морисом Метерлинком, Карло Сфорцей, Хулио Альваресом дель Вайо, Фердинандом Брукнером и Фрицем фон Унру говорил перед почти тысячной аудиторией, собравшейся в нью-йоркском отеле «Балтимор» по случаю учреждения европейского отделения ПЕН-клуба в Америке.

Вскоре после этого Цвейг переехал из многомиллионного Нью-Йорка в расположенный неподалеку Нью-Хейвен. Почти ежедневно он ходил из отеля «Тафт» в библиотеку Йельского университета, чтобы поработать над биографической книгой об

Америго Веспуччи. Через год в издательстве «Вайкинг пресс» вышел ее английский перевод, подготовленный издателем Цвейга Бенджаменом Хюбшем. В Нью-Хейвене писатель начал писать воспоминания о старой Вене, о временах первой мировой войны и о пребывании в Швейцарии. Однако не остановился на этом, а продолжил мемуары, превратив их в развернутую картину жизни вплоть до начала второй мировой войны. Мысль написать о себе пришла Цвейгу впервые в 1937 году, когда он в последний раз приехал из Англии на родину и навестил в Вене свою старую матушку. Однако Зальцбург, где на Капуцинерберг стоял его дом, писатель лишь проехал на поезде, и тогда у него возникло чувство, что он навсегда утратил родину, привычное место жизни и работы.

Книгу «Вчерашний мир» с подзаголовком «Воспоминания европейца» Цвейг написал без помощи каких-либо документов, без освежающих память архивных материалов, понимая, сколь неблагоприятно все это может сказаться на работе, однако под рукой не было ни одного экземпляра собственных книг, ни одного письма от друзей из прошлых лет. В июне и июле 1941 года он работал над воспоминаниями по восемь-девять часов в день, помогала ему жена Лотта. Чрезмерное напряжение вызвало у писателя явное переутомление. Наступило состояние душевной депрессии, усугубившееся печальными известиями о ходе военных действий в Европе. В Соединенных Штатах он страдал от известного равнодушия американской общественности по отношению к деятелям искусства и литературы, эмигрировавшим из оккупированных фашистами стран Европы. Жизнь в США казалась ему механически бездушной, а в Латинской Америке, напротив,— человечной, привлекательной, мирной. Пребывание в Северной Америке бесконечно усилило его потребность в уединении и покое, как он сам писал Паулю Цеху.

Цвейг чувствовал себя чужим и в Нью-Йорке, и в Нью-Хейвене, и в Оссининге. Не он один не сумел обрести в США твердой почвы под ногами. Но кто из европейских писателей, получивших пристанище в Северной Америке, мог себе позволить переехать по собственному выбору в другую страну? Уроженец Австрии, принявший английское подданство, не знавший финансовых затруднений, Стефан Цвейг, у которого, хотя он и чувствовал себя в США непрошеным гостем, была при этом постоянная бразильская виза, имел возможность покинуть не полюбившуюся ему страну.

Гостеприимная для Цвейга Бразилия манила, ее природа и люди все время стояли у него перед глазами. Он тосковал по Петрополису. И тут пришла восторженная телеграмма из Рио. Один из министров официально благодарил писателя за книгу о Бразилии. Разве это не было равносильно приглашению вернуться туда? Не долго думая, Стефан и Лотта Цвейг после короткого пребывания в Нью-Йорке отплыли на океанском пароходе «Уругвай» в Рио-де-Жанейро.

Странная встреча, произошедшая на «Уругвае», державшем курс из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, всецело завладела вниманием писателя. Он познакомился с соотечественником, австрийцем, эмигрировавшим в Южную Америку. Имени этого человека Цвейг не открывает. Называет его д-ром Б., юристом и монархистом, который до насильственного присоединения Австрии к фашистскому рейху и первое время после этого, вплоть до своего ареста, жил тем, что давал юридические консультации некоторым членам бывшей габсбургской династии и управлял имуществом больших монастырей. Д-р Б. рассказал писателю о своем длившемся много месяцев заключении в одном из венских отелей, превращенном в главную резиденцию гестапо. Он был заперт в комнате один, никого не видел, кроме допрашивавших его гестаповцев и охранника, которому не разрешалось разговаривать с арестованным. Заключенного оставили наедине с самим собой и безмолвными предметами — столом, кроватью и умывальником. Без газет и книг, без карандаша и бумаги. На вопрос Цвейга, как он смог все это выдержать, тот ответил, что от безумия его спасла книга с правилами шахматной игры и описанием партий мастеров, случайно попавшаяся в помещении для допросов. Несмотря на то, что он только в детстве немного играл в шахматы, а потом больше к ним не прикасался, книга позволила ему в условиях полной изоляции занять мозг умственной работой и благодаря этому бодро и бдительно держаться перед своими мучителями. Она развила в нем умение сосредоточиваться, хотя играть приходилось лишь с самим собой. Теперь, правда, он «отравлен шахматами», зато не сломлен. Рассказ произвел на писателя сильное впечатление: у него возникла идея создания «Шахматной новеллы», оказавшейся его последним художественным произведением.

Прибыв в Рио, Цвейг снял в Петрополисе на шесть месяцев маленький домик розового цвета с большой верандой. Первое время ушло на то, чтобы там обжиться, и он надеялся, что видимость оседлости пойдет ему на пользу. Цвейг собирался не торопясь закончить автобиографию и одновременно или даже раньше начать что-либо новое. Томясь тоской по родине, он мечтал о своего рода австрийском романе. Писатель понимал, что без новых импульсов его творчество угаснет, как пламя без кислорода.

В подвале снимаемого им дома он обнаружил запыленное издание произведений французского эссеиста XVI века Мишеля Монтеня. Цвейг зачитался им и отложил на время другие книги и даже работу. Его увлекла мысль написать очерк о Монтене. Он смог бы использовать в нем свой опыт работы над книгой об Эразме Роттердамском. Однако писатель не приложил к осуществлению этого замысла должной энергии. Он знал, как трудно будет достать нужную литературу по интересующему вопросу. Страшился браться за новое дело, требующее большой затраты сил. Его мучила невозможность продолжать работу над «Бальзаком» «Мне недостает книг,— писал он Паулю Цеху,— а для некоторых работ — материала, оставленного в Европе. Что бы я ни пытался делать, мне не хватает в той или иной мере документальных

обоснований. Единственным преимуществом Северной Америки было то, что там через четверть часа можно получить в руки любую нужную книгу. Тогда как здесь нам приходится полагаться только на память, довольствоваться случайным. Вероятно, спустя какое-то время мы утратим правильный взгляд на мир».

Несмотря на идиллическое уединение, Цвейг и в Петрополисе не обрел душевного покоя, хотя и называл себя «уже вполне созревшим затворником». Монотонно текущая жизнь, без концертов, театра и общества, наполненная лишь работой, чтением и прогулками, не избавила писателя от усилившихся приступов депрессии. День своего шестидесятилетия, 28 ноября 1941 года, он провел в горах с Лоттой и своим молодым бразильским издателем Кооганом. Цвейг устроил эту прогулку, чтобы избежать поздравлений. Однако в памяти писателя всплывало воспоминание о необычайном торжестве, устроенном в его честь десять лет назад, по случаю пятидесятилетия.

Газетные сообщения с ужасающей очевидностью убеждали Цвейга в том, что война продлится еще долгие годы.

Знакомые, с которыми писатель встречал новый, 1942 год, вспоминают: он будто отгораживался от всего, что могло бы настроить его на оптимистический лад. Обращал внимание главным образом на отрицательные моменты и реагировал на них необычайно остро. Даже мелкие события его очень волновали. По переезде из Рио в Петрополис, например, ему надо было для регистрации нового местожительства сдать в полицию удостоверение личности. Формальность, которая могла бы отнять несколько минут, тянулась неделями. И это вызвало у него необоснованные опасения.

4 февраля 1942 года Цвейг пишет Цеху: «Я закончил наконец работу над автобиографией и думаю, что оставил тем самым документ, который покажет, к чему стремились, что пытались и сумели сделать мы, поколение писателей с самой тяжелой за многие десятилетия и даже столетия судьбой». И добавляет с весьма мрачным намеком: «Какие я возложу теперь на себя новые обязанности, ты скоро услышишь, возможно, из первых рук, но, может быть, и тем окольным путем, который был мне всегда ненавистен...» Рукопись своего духовного завещания — «Вчерашний мир» — писатель послал авиапочтой в Стокгольм в издательство «Берман — Фишер», где в том же 1942 году книга вышла на немецком языке. Цвейгу очень хотелось продолжить работу над «Бальзаком». Однако для этого требовались материалы, оставленные в Англии, в Бате. Он долго не решался просить, чтобы их прислали по почте. Слишком велика была, по его мнению, опасность, что они затеряются в пути, слишком страшна мысль об утрате литературных заготовок, которые он никогда не сможет восстановить. Взятые им с собой за океан и уже почти готовые главы рукописи «Бальзака» лежали в столе, и писатель к ним не прикасался. Однако в начале 1942 года, будучи не в состоянии больше сдержать свое нетерпение, он написал Рихарду Фриденталю в Англию, чтобы тот прислал ему, по крайней мере в копии, часть записей к «Бальзаку».

Цвейга занимало также пережитое его соотечественником, которого он встретил на «Уругвае». Рассказанного д-ром Б. было недостаточно для создания литературного произведения. Чтобы придать художественную глубину этому жизненному материалу, Цвейгу нужно было сопоставить приобретенное узником гестапо умение играть в шахматы с действительностью политических «игр». Наконец он нашел сюжет, где через партию, происходящую на борту пассажирского судна, раскрывалась «шахматная» игра, имеющая политическое значение для всего мира. Безысходная, пессимистическая развязка новеллы отражала душевный кризис самого автора. Примерно в октябре 1941 года Цвейг писал, что сделал наброски небольшой новеллы. Его подтолкнуло к этому чтение книги о шахматах, купленной, чтобы скрасить уединение, и ежедневное переигрывание с Лоттой партий великих мастеров. В январе 1942 года «Шахматная новелла» была, по-видимому, закончена. 8 января писатель передал рукопись Эрнсту Федеру, сопроводив ее письмом. В нем говорилось, что новелла, «правда, пока еще неотредактирована, еще далеко недоработана», но автор был бы весьма признателен, если бы Федер, «как знаток в обоих этих видах искусства — в шахматах и в литературе», высказал «откровенно свои замечания».

В первой половине дня 16 февраля 1942 года (февраль — месяц роз и разгар бразильского лета) Стефан и Лотта Цвейг поехали из Петрополиса в Рио, чтобы по приглашению издателя Коогана побывать на знаменитом тамошнем карнавале. Писатель провел этот день, по всей вероятности, в хорошем настроении среди радостного вихря, кружившего сотни тысяч людей. Утром следующего дня Цвейга охватило сильное беспокойство, настроение резко изменилось. За завтраком он увидел в газете сообщение о капитуляции стратегически важного в военном отношении порта Сингапур, а также прочел о продвижении фашистской армии Роммеля в направлении Суэцкого канала. Печальные вести с театров военных действий на фоне необузданного веселья карнавальных шествий, которые он наблюдал накануне, побудили Цвейга сказать издателю, что он прерывает пребывание в Рио и в тот же день возвращается в Петрополис. Происходившее потом со среды до воскресенья можно восстановить лишь по немногим имеющимся сведениям. Писатель думал теперь, наверно, о последних приготовлениях и распоряжениях. Да притом делал их втайне, чтобы они оставались для окружающих незаметными. Он нанес визит исследователю творчества Монтеня профессору Фортунату Стровскому, жившему в отеле в Петрополисе. С некоторыми знакомыми, например с бразильским писателем Брагой и президентом ПЕН-клуба Клаудио де Сузой, имел ни к чему не обязывающие—для Цвейга это были, возможно, прощания — телефонные разговоры. В субботу писатель посетил нотариуса, чтобы заверить у него завещание. Бенджамену Хюбшу Цвейг послал в Нью-Йорк рукопись «Шахматной новеллы» и написал, что все права на нее

предоставляет издательству «Вайкинг пресс». Утром 21 февраля писатель попросил жену позвонить Федерам и пригласить их вечером прийти, но не к половине девятого, как обычно, а к восьми.

«Когда мы с женой поднялись в назначенный час на веранду высоко расположенного дома,— вспоминает Эрнст Федер,— он сидел у открытого окна своей рабочей комнаты и писал. Это меня очень удивило. Он не имел обыкновения работать по вечерам.

— Мы пришли слишком рано? Помешали вам?

— Нет, нисколько,— ответил он, и мне бросилось в глаза его смущение.

Я и представить себе не мог, что застал его врасплох, когда он писал прощальные письма. Мы провели в этот вечер вместе четыре часа. Я, правда, почувствовал, что у Цвейга более мрачное настроение, чем прежде. Но к нам он отнесся с той же любезностью и с тем же участием, как и всегда. Я принес ему по его просьбе одну свою небольшую работу, которую он хотел прочесть до публикации. Цвейг внимательно просмотрел ее и с извинениями сделал несколько тонких замечаний... Он говорил о своей работе над «Бальзаком»:

— Нет ни одной полной биографии Бальзака. Все, кто этим занимался, умерли, не завершив труда. Я говорил в Париже с Бутероном. И он не напишет ее. И для меня это кончено!

Цвейг вернул четыре тома Монтеня, которые брал у меня.

— Разве у вас теперь есть более полное издание?

— Да,— пробормотал он неуверенно,— я написал уже две главы

Была почти полночь, когда Цвейги проводили своих гостей домой Писатель протянул на прощание руку и сказал улыбаясь, так как почувствовал, что его настроение огорчило друзей:

— Вы уж извините меня за черную меланхолию.— С этими словами он исчез в темноте чарующей летней ночи».

В воскресенье 22 февраля 1942 года это совершилось. Когда его с женой обнаружили мертвыми, было найдено также и прощальное письмо Стефана Цвейга:

«Прежде чем по собственной и свободной воле уйти из жизни, я хотел бы выполнить свой последний долг и сердечно поблагодарить эту чудесную страну — Бразилию — за то, что она приняла меня так гостеприимно. С каждым днем я учился все сильнее любить ее И нигде больше не стал бы строить свою жизнь заново, после того как погиб мир, говорящий на моем родном языке, и моя духовная родина — Европа — сама подвергла себя уничтожению.

Но чтобы в шестидесятилетнем возрасте начать жизнь заново, нужны особые силы. А мои уже исчерпаны долгими годами бездомных скитаний. Поэтому я считаю за лучшее своевременно и достойно уйти из жизни, в которой высшим благом были для меня личная свобода и доставлявшая огромную радость умственная работа.

Приветствую всех моих друзей! Желаю им увидеть утреннюю зарю после долгой ночи! Я, самый нетерпеливый, ухожу раньше их.

Петрополис, 22 февраля 1942 года».

Известие о самоубийстве Стефана Цвейга потрясло своей полной неожиданностью всех лично знавших его людей и огромное множество читателей. От четырех до пяти тысяч человек провожали Стефана Цвейга и его жену к их последнему пристанищу.

Когда все это миновало, в Петрополис на имя д-ра Стефана Цвейга прибыла почтовая бандероль из Бата, Англия. С пометкой, что получатель умер, ее, не распечатывая, отослали обратно В ней были материалы к «Бальзаку», которые с таким нетерпением ждал в тиши своего дома адресат

Самоубийство Стефана Цвейга вызвало немало толков о причинах, побудивших его к этому. Фредерика Цвейг объяснила его решение переутомлением, истощением сил, тем, что он полностью израсходовал себя в работе. Однако для непосвященных оставались скрытыми психологические процессы, предшествовавшие этому поступку. Да и смог ли бы сам Цвейг объяснить их? Конечно, тут было стечение многих неблагоприятных моментов. Но можно выделить одну причину, не обусловленную настроением часа или дня. Несбыточной иллюзией оказалось стремление писателя найти убежище от политики растущей империалистической агрессии и расширяющейся фашистской тирании, желание (в конце концов тщетное, как показывает «Шахматная новелла») всемерно отстраниться от всего, что связано с политикой. Попытка спасти свой внутренний мир, укрывшись в бразильской «идиллии», якобы недосягаемой для бурного водоворота времени, обнаружила полную несостоятельность Чем дальше Цвейг отступал от принципов выдвинутых им самим в статье «Требование солидарности», тем больше усиливался его душевный кризис. Уединенность жизни в Петрополисе не принесла ему желанного покоя. Не было условий и для работы которая одна только могла заставить его забыть все вокруг, ничего не видеть и не слышать Писатель сам лишил себя почвы, необходимой для творческой жизни — единственно приемлемой для Цвейга формы существования. И это сломило его.

Перевод с немецкого О. БОБРОВОЙ

◆

Критика

Михаил Шолохов — гордость советской культуры. Не только произведения его, без которых немыслим теперь круг нашего чтения, но и образ самого писателя — человека чистого, душевного, самоотверженно преданного идее и безмерно талантливого — стали существенным фактом духовного мира советского человека.

Теперь, когда Михаила Александровича нет больше в живых, нам особенно дороги те честные и искренние высказывания о его творчестве, каких немало и в зарубежном литературоведении. Мы предлагаем вниманию читателей одно из них. Эта статья была написана Марьяном Юрковичем в 1957 году в связи с выходом рассказа М. Шолохова «Судьба человека», однако высказанные в ней мысли об истинном гуманизме литературы и подлинном реализме творчества, как нам кажется, и теперь не утратили актуальности.

Нынешняя публикация — это и дань памяти великого советского писателя, и свидетельство нашей благодарности прекрасному югославскому литературоведу и критику, увы, ныне уже покойному, знатоку и поклоннику советской литературы, в частности и творчества М. Шолохова.

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ

ШОЛОХОВ О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА

Голос Михаила Шолохова слышится не часто: периоды молчания от одной книги до другой немалые. Но каждое новое произведение этого русского писателя приковывает взоры и сердца миллионов читателей в его стране и во всем мире глубиной проникновения в самые главные и существенные проблемы нашего времени, чеканной красотой прозы. Весом вклад Шолохова в дальнейшее развитие реализма XX века.

И вот теперь рассказ «Судьба человека» снова напомнил людям о том, что в далекой донской станице работает один из величайших писателей нашей эпохи, еще раз подтвердил самобытность его художественных выразительных средств, неповторимость того чудесного, густого шолоховского слова, которое не забывается, не гаснет в нашей памяти, потому что неразрывно связано с давно утвердившимся в нас представлением о его героях. Но рассказ этот драгоценен для нас не только как свидетельство неувядающей силы художника, выдающегося создателя обобщенного портрета своего современника (человека, который делал революцию и которого делала революция) — этот рассказ дорог нам своей идейной направленностью, мощным и неотвратимым развертыванием перед читателем жизненных дилемм.

Картина, полная тьмы, дыхания смерти и безысходности — только воронка от авиабомбы, наполненная ржавой водой и заросшая вокруг бурьяном по пояс,— ждет героя, русского солдата, там, где оставил он дом, жену и двух дочурок. Его единственный сын тоже погиб — от одной из последних немецких пуль, утром в День Победы. Лишь яма с ржавой водой после стольких лет крови и бесчеловечности. Сможет ли этот исстрадавшийся, раздавленный человек, давно переваливший за свой жизненный полдень, когда-нибудь снова увидеть свет надежды? Никогда, никогда больше радость не блеснет в его глазах, Шолохов это знает. («Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника».) Знает. Лакировка и ура-патриотизм ни в коей мере несвойственны его творчеству. Но именно потому, что он никогда не смотрел на жизнь из окна своего кабинета, потому что он родился и жил со своим героем в одно и то же бурное время, дышал с ним одним воздухом, именно поэтому Шолохов должен был почувствовать и почувствовал, что отчаяние не может быть и не есть его истина. Для Шолохова оно не истина вообще и не одна из множества мрачных истин нашего времени. Отчаяние, по Шолохову, не представляет собой истину даже для человека, в поте лица добывающего свой хлеб, а тем более для того, кто сумел разрушить стены старого мира и начал строить новый. Как писатель-реалист Шолохов не мог не видеть, что в душе этого его современника несмотря ни на что не господствует чувство безнадежности и личной ненужности. Мысль о потерянности и абсурдности существования не может его одолеть, хотя, опять же как реалист, некоторых проявлений этих чувств и этаких мыслей не заметить писатель не мог. Неизбывная печаль поит и орошает черные ростки в душе человека. Но чело-

Наши публикации

МАЙКЛ О'РИОРДАН

ВСПОМИНАЯ БРЕНДАНА БИЭНА

Со дня смерти знаменитого ирландского писателя Брендана Биэна (1923—1964) прошло двадцать лет, но он остается «яркой звездой на ирландском небосклоне», видимой всему миру. Говоря о его жизни и посмертной судьбе, необходимо помнить о числах. Тех, что обозначают годы, им прожитые,— всего сорок один, и тех, что он провел в тюрьмах,— общей сложностью около восьми. Его первые стихи появились в печати, когда Брендану было двенадцать лет. А последнее автобиографическое произведение «Исповедь ирландского мятежника», продиктованное на магнитофон, было расшифровано и издано после смерти писателя. Драматургическое наследие Биэна умещается в одном средних размеров томе. Его прозу составляют две автобиографические повести и три книги очерков. Стихи частично собраны, частично затерялись на страницах малодоступных периодических изданий.

Но и из этого немногого мировую известность ему принесли две пьесы — «Смертник» и «Заложник», закрепившие за ним прочное место в ряду драматургов-классиков,— и повесть «Мальчик из Борстала» (кстати, это — произведения, полностью им законченные, написанные, а не продиктованные, при жизни изданные и поставленные).

И здесь вновь надо напомнить о годах, чтобы представить себе, сколь ускоренным было развитие писателя и как быстро прервался его путь. Первая постановка «Смертника» состоялась в 1954 году, «Заложника» в 1958-м, тогда же был опубликован «Мальчик из Борстала». Всего четыре года плодотворной работы и огромного успеха. В то время у Биэна уже началась тяжелая болезнь, стоившая ему жизни.

За прошедшие двадцать лет опубликованы неизвестные прежде тексты Биэна — наброски, фрагменты, очерки, рассказы,— незаконченные или едва начатые. Они помогают представить, как много неосуществленных замыслов унес он с собой.

Но это малое продолжает жить и даже укрупняться в масштабах. Две пьесы не сходят с театральных подмостков, инсценируется и переводится на многие языки повесть. На русском языке вышла пьеса «Заложник», рассказ «Костюм для конфирмации».

Творчество Биэна автобиографично. В его основе лежит пережитый писателем опыт подпольного республиканского движения и тюремного заключения. Но его книги далеко выходят за опыт единичного бытия, что и составляет секрет их долголетия. В наше время произведения Биэна воспринимаются в непосредственной связи с событиями в Северной Ирландии. Пьеса «Заложник» в новом общественно-политическом контексте звучит как призыв к мирному урегулированию конфликта. Религиозному сектантству и национальной розни в ней противопоставлена социальная общность людей.

Биэна продолжают смотреть, читать, о нем пишут в солидных исследованиях драматургии XX века и вспоминают те, кто знал его лично. А знали его многие, хотя знакомство порой ограничивалось лишь соседством за стойкой бара. Но пишут и об этом. Прекрасный исполнитель баллад, прирожденный рассказчик, он всегда был душой компании, щедрым не только на угощение. Ему завидовали как миллионеру, проматывающему свое состояние,— «он выплеснул в раковину тысячи слов, выбросил сотни теле- и радиопередач».

Славе драматурга сопутствовала скандальная репутация дебошира. Биэн ненавидел мир собственничества, не упускал случая его эпатировать и сам стал его жертвой, «героем» коммерческой прессы, мало интересовавшейся его творчеством, зато подробно освещавшей ту сторону его жизни, которую можно было увидеть в «публичных заведениях»...

Но вот у меня в руках оказался номер журнала ирландских коммунистов «Айриш соушелист», о своих встречах с Бренданом Биэном рассказывает Майкл О'Риордан, видный деятель ирландского и международного рабочего и коммунистического движения, более тридцати лет возглавляющий КПИ. Я познакомилась с ним в ГДР, в Галле, осенью прошлого года, когда здесь проходила четвертая международная конференция на тему: «Ирландия: общество и культура». Эти регулярные конференции (раз в два года) проводит университет имени Мартина Лютера. Их главная распорядительница и заботливая хозяйка — профессор Доротея Зигмунд-Шульце. На сей раз, в «год Маркса», с первым докладом о пятидесятилетней истории Коммунистической партии Ирландии выступил ее Национальный председатель Майкл О'Риордан.

Номер «Айриш соушелист» он вручил мне вместе с другими своими книгами: «Быть может, это будет вам интересно». Прочитав статью в тот же вечер, я сперва почувствовала, что в ней открывается новый, совсем другой Биэн. Нет, не новый, не другой, а все тот же, известный по его собственным произведениям, только теперь высвечиваются детали, прежде остававшиеся в тени. Личность писателя — не позера, каким его так часто рисовали, но и без глянца, чем тоже нередко грешат. В рассказе О'Риордана он предстает в человеческой непосредственности, внутренней смятенности, угаданной при первой же встрече. В воспоминаниях никакого наигрыша, их отличает естественность юмора.

«Про Биэна интересно очень»,— поспешила я сказать утром, здороваясь с Майклом, и заручилась его согласием передать статью журналу «Иностранная литература».

А теперь, когда я еще раз вернулась к Биэну и одновременно прочитала большую, исчерпывающую по полноте материала, публицистически страстную книгу М. О'Риордана «Колонна имени Коннолли» (об ирландских интербригадовцах в Испании, среди которых был и он сам), я понимаю, почему так глубоко удалось ему почувствовать внутренний мир Биэна. Да, у них были разные дороги, но порой они пролегали очень близко. Свою книгу О'Риордан посвятил отцу, который «был против моего отъезда в Испанию, но еще более ему не понравилось, что мы вернулись, оставив в плену своего командира Фрэнка О'Райана». А вот факт из биографии Биэна. Пятнадцатилетним подростком он хотел стать волонтером Интернациональной бригады, тем более что там был Фрэнк О'Райан, прежде командир молодежной организации, в которой состоял Биэн. Но мать перехватила сообщение о том, что он принят, и Биэн так и не узнал, почему не пришел ответ на его заявление.

Книга О'Риордана дает возможность представить, сколь остро переживалась национально-революционная война против фашизма в Испании ирландцами, на памяти которых еще была собственная гражданская война. В то время, как О'Даффи, главарь местных фашистов, «синерубашечников», формировал бригаду для «защиты христианской Испании», на помощь Испанской республике отправлялись отряды ирландских республиканцев. Биэн жадно расспрашивал вернувшегося О'Риордана об Испании. А в ответ на рассказ о бригаде О'Даффи Биэн, как вспоминает в своей книге О'Риордан, сказал: «Эти уж точно войдут в историю. Как-никак единственная на свете армия, которая возвратилась с войны более многочисленной, чем уходила на нее», имея в виду подобранных О'Даффи ирландцев из других иностранных легионов. Разительный контраст: почти половина ирландских республиканцев не вернулась из Испании.

Вспоминая о встречах с Биэном, М. О'Риордан пишет о «дружеском и политическом сближении» с ним. Ирландские коммунисты чувствовали в Биэне союзника, готового прийти на выручку. Вот реплика персонажа одной из пьес Биэна: он не принадлежит к коммунистам, но ему нравится их партия, так как «все толстопузые сволочи, которых я ненавижу, ненавидят красных ... а это значит, что в их партии есть что-то хорошее». Сближение естественное и потому, что в отношении к соотечественникам Биэн не скрывал своих классовых симпатий.

Всех ирландских писателей объединяет обостренное чувство родины. Но у каждого свои личные счеты с ней — о чем они говорят не только в художественной прозе, поэзии, драме, но и более прямо — в жанре путевых очерков, которому продолжают отдавать щедрую дань. Есть и книга под названием «Остров Брендана Биэна». Как подобает путевым очеркам, она ведет по разным местам Ирландии. Но говорит ли автор о севере или юге, восточном или западном побережье, интересуют его не места, а люди. Так называемые «средние классы», с их претензией на респектабельность, вызывают презрение Биэна. Он немало натерпелся от их лицемерных приговоров, как хвалебных, так и хулящих. «Рабочий класс — вот что привязывает меня к Дублину; рабочие — единственные настоящие здесь люди». В их среде он вырос, их язык ввел в литературу. «Биэнизмами» Биэна называют комическую прозу, основанную на диалекте дублинских рабочих, пронизанную балладами и историческими аллюзиями.

Воспроизводя в памяти произведения Биэна и обращаясь теперь к воспоминаниям о нем Майкла О'Риордана, мы увидим, как близко сходятся читательское восприятие этого драматурга, прозаика, поэта и его человеческий облик, запечатленный в живых сценичных картинах.

А. САРУХАНЯН

Впервые я услышал о Брендане Биэне в декабре 1938 года, когда в демобилизационный центр пятнадцатой Интернациональной бригады, в каталонском городе Риполь, пришла политическая литература из Дублина. Среди многого другого был там и августовский номер за 1938 год (№ 4) журнала «Уоркерс рипаблик», издателем которого был Шон Мэррей, в то время Генеральный секретарь Коммунистической партии Ирландии. На одной из страниц я нашел стихотворение «Красный посланец», написанное «шестнадцатилетним рабочим из Дублина»:

Я не пою о громком барабане,
О флагах, в небе весело летящих.
Моя Песнь Песней — о трущобной рвани,
О людях, с голоду рассудок потерявших.
Невинность, добродетель, аскетизм
святой —
не для меня.

Я хронику пишу голодной нищеты,
В ней — изможденных женщин страшные
глаза
И отраженье в них больных детей,
Не видевших ни птиц, ни леса, ни полей.
Я вижу красоту, но только лишь в мечтах
О справедливости для тех, чье бремя —
Из века в век крутить колеса мачехи-
земли
И бедами своими смазывать, не забывая,
время;
В мечтах о городах сгоревших, сере
красной,
Когда из мертвой пыли феникс
безымянный
Восстанет — из города и правды и добра.

Я вижу — гибнет дряхлый мир;
Палач — огонь, великий и неотвратимый;
Я вижу, как рождает погребальный пир
Мир новый, мир неумолимый.
Рабочий, знай, тебе принадлежит земля.
Не раб ты и не тля,
С колен — встань![1]

Под стихотворением стояла подпись: Брендан Биэн. Я, помнится, усомнился тогда в таланте юнца и отнесся к его творению несколько снисходительно, как и подобает взрослому человеку, пару недель назад отметившему свой двадцать первый день рождения.

Открытие

Позднее я узнал, что поскольку он родился в феврале 1923 года, то ему было всего пятнадцать с половиной лет, а в то время даже месяцы имели большое значение. Прочитав же стихотворение до конца, я решительно сказал себе: «У нашей страны еще есть надежда!»

С Биэном мы встретились впервые в Дублине в начале 1939 года. Было это в районном комитете компартии. Помню, он, тогда стройный юноша, все равно выглядел много старше своих лет, к тому же он был совершенно по-взрослому уверен в себе. Он сразу стал расспрашивать меня об Испании, и очень скоро я почувствовал в нем нечто похожее на зависть, хотя никак не мог понять, какой моей мнимой удаче он завидует, — ведь я прошел через тяжелые испытания. Примерно месяц назад я читал одну из последних книжек Биэна и в ней тоже обнаружил сожаление о чем-то неосуществленном. Особенно это заметно в сохранившемся фрагменте романа «Катакомбы», из которого я позволю себе привести отрывок:

Товарищ

«Мы с Сайараном были товарищами по организации «Фианна-бойз», ирландской республиканской молодежной организации, с тех пор, как мне исполнилось двенадцать лет, а потом по ИРА, но тогда и ему и мне уже исполнился двадцать один год. Он учился на третьем курсе и собирался стать врачом, а я малярничал, помогая отцу. Мы с Сайараном выпили... Когда мы уже здорово захмелели, Сайаран — я знал, что так будет,— начал вспоминать детство, «Фианна-бойз», наших командиров Фрэнка О'Райана и Имонна Мак-Гротти, которые записались в Интернациональную бригаду, а нас, четырнадцатилетних, оставили с женщинами и детьми там, где мы, воспитанные несгибаемыми борцами, могли ждать лишь унижения».

После той первой встречи наши с Биэном дороги разошлись, но, по иронии судьбы, конечные их пункты оказались одинаковыми. Он ушел, чтобы изнутри поглядеть на Борстальскую тюрьму в Британии, а потом на тюрьмы Маунтджой и Арборхилл в Дублине. Мой путь закончился в Курра-Гласс, а потом в лагере для интернированных лиц в Тинтауне, откуда я был освобожден незадолго до его появления там.

Когда мы в начале 1947 года увиделись вновь, «холодная война», провозглашенная Уинстоном Черчиллем в Фултоне (Миссури) в марте 1946 года, начинала «набирать скорость». Позднее она вылилась в «горячую войну» в Северной Корее (1950—1953). Главными действующими лицами в ней были американцы, поддерживаемые британскими войсками и подразделениями вооруженных сил Британского содружества наций. Эта война породила маккартизм в США.

«Охота на красных»

Наступило время «охоты на красных», или «охоты на ведьм», когда доносили на друзей, чтобы спасти собственную шкуру. Это было время таких нелепейших карательных мер, как запрет на выезд из США Поля Робсона и въезд в США Чарли Чаплина. Я не говорю уж о трагедии Розенбергов.

Корейская война изображалась тогда как «благородная» попытка «потеснить коммунизм». Некоторые ирландцы тоже оказались в британских войсках — и дело не в том, что они видели себя «крестоносцами». В большинстве случаев они вступали в армию по чисто экономическим причинам или потому, что стали жертвами «промывки мозгов»,— попавшись на удочку расовых предрассудков, они искренне верили, что Британия должна выполнить в Корее свою «цивилизаторскую миссию». Многие, как и следовало ожидать, были убиты — Брендан Биэн написал по этому поводу горькую сатиру «Ирландский парень погибает в Корее»:

[1] Переводы стихов Б. Биэна выполнены Л. Володарской для настоящей публикации. *(Прим. ред.)*

Я не забыл смертельный Голод[1]
и жизнь без сожаленья отдаю.
Спасибо вам, Уинстон Черчилль, —
нет Бэрри Кевина[2] в живых.
Спасибо вам, Уинстон Черчилль,—
ведь с черно-пегими[3] мы как в раю.
Империо, мой Дом, Невесту — в Корее
я от врагов спасу любых.

Я вспомню Лимерикский договор[4],
летя, как дикий гусь[5], вперед.
И Оливера Кромвеля поход,
потом Воскресный день кровавый[6],
И, подогрев в себе гражданский пыл,
я, как ирландский патриот,
Не хуже Хогана[7]-юнца
исполню долг мой правый.

Когда пойду я убивать в окопах нечисть,
рвать желтые кишки, бомбить,
Травить болезнями и огнеметом,
жечь желтую собаку,
Я вспомню Гриффина — отец святой
там, где война святая, должен быть:
Он вашей солдатней, Уинстон, был убит
и брошен в мерзкую клоаку.

Идя в атаку, вспомню я
цивилизатора-убийцу,
Одетого, как я, — в такой же форме
он шел с оружием на стариков,
Колол штыком и женщин и детей,
из Пасхи[8] сделав смерти поставщицу,
Он храбро шел на штурм и брал подвалы,
испуганных людей последний кров.

Готов служить я верой-правдой,
куда б Уинстон ни послал меня,
И благодарности священный долг
я заплачу своею кровью.
Бить коммунистов буду славно:
к военной службе годен я
И с кличем «Аллен, Ларкин и О'Брайен[9]»
всегда за Англию стою с любовью.

Но вот, сраженный пулей большевистской,
я, защищая Запад, в битве пал
В Корее ли, в Малайе ли, в Иране —
земля была английской.
Я знаю, что недаром пролил кровь,
долги свои я Англии отдал.
Креста не хватит перечислить их,
а мне не надо надписи цветистой.

Пусть будет так: за Дрóгеду[10],
за Корк, огнем, объятый,
И за тебя, остриженный ирландец[11],
в зеленую одетый форму.
За тебя я умираю, Англия, спасибо,
жаль Черчилля, я был его солдатом.
Держись! «Боже, спаси королеву» —
когда не будет меня.

Хотя мы напечатали это стихотворение в нашей газете «Айриш уоркерс войс» в октябре 1952 года и перепечатали после смерти Биэна в 1964 году в «Айриш соушелист», оно больше ни разу не появилось ни в одном издании произведений Биэна, хотя обе эти газеты имеются в Национальной библиотеке в Дублине.

[1] Имеется в виду страшный голод 1845—1847 гг. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Бэрри Кевин — участник гражданской войны в Ирландии в 1922—1923 гг.

[3] Карательные отряды, созданные в 1920 году для подавления освободительного движения в Ирландии. Названы так по цвету обмундирования.

[4] Лимерикским договором (1691) завершился многовековой период завоевания Ирландии Англией.

[5] Так называли ирландцев—участников восстания против Англии в XVII веке, покинувших страну после его подавления.

[6] Воскресный день кровавый—в пасхальное воскресенье 24 апреля 1916 года—начало Дублинского восстания против английского колониального владычества.

[7] Игрок в ирландский травяной хоккей, погибший от травм.

[8] См. прим. 6.

[9] Аллен — обширная болотистая местность в Ирландии между реками Шэннон и Лиффи. Здесь символизирует Ирландию. Ларкин Дж. (1876—1947) — деятель ирландского рабочего движения. О' Брайен У (1852—1928) — деятель ирландского национального движения.

[10] Подавление мятежа в Ирландии (1649) Кромвель начал с города Дрогеды.

[11] «Стриженые» — прозвище ирландских повстанцев (XVIII в.).

Обращение

В 1948 году во время всеобщих выборов в Италии доктор Мак-Куэд, католический архиепископ Дублина, сделал по радио специальное заявление. Он обратился к держателям капиталов и к верующим с просьбой помочь итальянским христианским демократам победить на выборах и, соответственно, победить коммунистов. Сбор средств проходил на фабриках, в магазинах, на строительных площадках, на складах, в жилых домах, пока сумма не достигла двадцати тысяч франков. Утренние и вечерние газеты публиковали длинные колонки рекламных объявлений следующего содержания: по просьбе такой-то улицы или таких-то квартир в районной церкви служат мессу за победу на выборах христианских демократов.

О том времени можно написать целую книгу! Удачное объединение лавочников и церковников — и одного из кооперативных обществ как не бывало; издевательств толпы над группой женщин, собиравших подписи против атомной бомбы (женщин обвинили в том, что адреса ирландцев нужны им якобы для передачи Сталину, который таким образом будет точно знать, на какие именно дома сбрасывать атомные бомбы); постоянные публикации на первой странице ныне не существующей «Католик стандард» фотографий членов Ирландской рабочей лиги с указанием их фамилий и профессий явно для того, чтобы подогреть антикоммунистические настроения; увольнения с работы и другие формы измывательств

В эту тревожную пору мы еще больше сблизились с Бренданом.

На всеобщих выборах 1951 года ИРЛ решила выдвинуть меня кандидатом от дублинского юго-западного избирательного округа. Проблемой номер один было найти человека, который бы меня представил, потому что, живя в этом районе, он или она должны были быть готовы к ожидавшей их в будущем враждебности. Вполне возможно, что они могли лишиться работы, так что им пришлось бы пойти на риск, а ведь у этих людей могли быть семьи. Выход был найден, когда Шон Ферлонг, член ИРЛ (ныне — Коммунистической партии), высказал предположение, что Брендан (его сводный брат) все с удовольствием сделает.

Шон взял бланк, который Брендан должен был заполнить, и ушел. День моего выдвижения приближался, а бланк все не

возвращался к нам. Мы уже не знали, что и думать, однако ровно за сутки до рокового дня мы держали в руках документ с четкой подписью рекомендующего: Брендан Биэн, 70 Килдар-роуд, Крамлин, Дублин. С подписью все было в порядке, сама же бумага — с загнутыми краями, мятая, покрытая коричневыми пятнами, словно бы говорила, что ее заполняли едва ли не на краешке стойки в баре. Но времени у нас не было, не позже двенадцати часов следующего дня документ требовалось представить.

Враждебность

За два часа до срока мы были на месте и тотчас ощутили самый зловещий вид враждебности — «респектабельный». Чиновник взял бумагу — и злобное выражение в его глазах (как, коммунисты желают участвовать в выборах?!) сменилось подозрением, когда он увидел ее состояние. Он стал проверять, действительно ли Биэн живет в данном округе, и я услышал, как он присвистнул, после чего торжествующая ухмылка появилась у него на губах, и он сказал:

— Бумага оформлена неправильно. Надо было подписаться не Брендан Биэн, а Брендан Фрэнсис Биэн.

Брендан Фрэнсис Биэн! Совершенно ошеломленные, мы тщетно пытались соотнести буйного, неистового Биэна с благостным образом его святого тезки — Франциска Ассизского.

Мы вежливо удалились, попросив, правда, чистый бланк и заверив чиновника, что найти мистера Биэна и исправить подпись не доставит нам ни малейшего затруднения. На самом деле мы понятия не имели, где искать Брендана в десять тридцать утра, за полтора часа до последнего срока. Тогда мы направились в паб, чтобы сесть и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Один из товарищей, который был с нами, изъявил желание отправиться на поиски Биэна.

Он возвратился минут за двадцать до полудня. На бланке стояла полная подпись Биэна, но, честно говоря, у меня возникли сомнения: а вдруг чиновник опять не поверит в подлинность документа. Чтобы предупредить всякие неожиданности, я обмакнул палец в кружку с пивом и обрызгал бумагу, придав ей вид, который только и мог быть главным доказательством того, что она побывала в собственных руках Биэна. Ее у нас приняли, я потом частенько задавал себе вопрос: хранится ли она все еще в какой-нибудь папке?

Итак, я получил право выставить свою кандидатуру на выборах, но это было лишь началом прочих наших неприятностей. В ближайшее воскресенье во всех церквах было прочитано письмо архиепископа Дублина, разъяснявшее верующим, что каждый поддерживающий меня совершает смертный грех. Газета «Католик стандард» потрудилась: и в городе и в пригородах были расклеены лозунги: «Не голосуйте за красного О'Риордана!» Нам пришлось здорово поработать перед выборами, заклеивая слово «не».

Однако были не только оскорбления. Мой помощник по предвыборной кампании Шон Нолан разослал знаменитым дублинцам письма с просьбой о финансовой и моральной поддержке. Самым знаменитым был Шон О'Кейси, который ответил так: «Письмо от меня! Вы что, хотите погубить человека? Письмо от меня все равно что письмо с Марса!» И закончил послание самым лестным для меня образом: «Ему нечего продавать, кроме своей души, а он этого делать, похоже, не собирается, хотя и будут говорить, что у него нет души, пока он будет продолжать в том же роде». Если читателю интересно, он может найти полный текст этого письма в Полном собрании писем Шона О'Кейси.

Брендан не участвовал в предвыборной кампании. Мы встретились с ним, когда все было позади. Я шел по одной стороне Графтон-стрит, а он мне навстречу по другой. Увидев меня, он закричал:

— Поздравляю, Мик, двести девяносто пять душ — твои!

Наши отношения стали ближе, но чувство, похожее на зависть, о котором я уже говорил, у Брендана все же оставалось. К следующим выборам (в 1954 году) у него завелись деньги и, не желая «быть чем-либо явно связанным со мной», он дал Шону Нолану сто фунтов на кампанию, сопроводив это строгим наказом не говорить «того-то и того-то».

Союзник

Биэн никогда не был членом нашей партии. В 1948 году он то неожиданно появлялся на организационных собраниях ИРЛ, то так же неожиданно исчезал, однако в трудные моменты всегда оказывался рядом. В пору, когда даже само слово «мир» было ругательным, он считал себя обязанным охранять нас на митингах протеста против атомной бомбы и не видел ничего странного в том, чтобы взять кого-нибудь из нас под руку с единственной целью дать почувствовать спрятанный у него под пальто... револьвер.

Однажды он вызвался покрасить наш книжный магазин «Новые книги», который тогда находился на Пирс-стрит, в доме № 16а. Биэн взял паяльную лампу и с ее помощью снял всю старую краску с наружных стен, после чего объявил перерыв на полчаса, продлившийся два месяца. Однако через два месяца он как ни в чем не бывало явился, чтобы продолжить работу. Если же быть до конца точным, надо сказать, что Шон Нолан получил от него открытку с французской маркой: Биэн обещал ему вернуться через десять дней. Потом он иногда заходил к нам, когда ему нужна была пишущая машинка. Он вел тогда колонку в «Айриш пресс».

Биэн всегда стремился доказать, что, не являясь членом нашей партии, он по-своему деятельный революционер. Помню, както раз он пришел ко мне и стал рассказывать, какой скандал разразился в западноберлинском театре, где в 50-х годах шла его пьеса «Смертник». Он даже продемонстрировал мне образцы тех ругательств, которые обрушил на буржуазную публику, холодно принимавшую его пьесу, и уверял меня, что это был акт протеста

против неонацистов. На меня это не произвело должного впечатления, и я честно сказал ему, что не верю, будто все это происходило в действительности. Брендан был в ярости. Через два дня он пришел и сунул мне под нос немецкую газету с его фотографией и подписью под ней: «Скандал в берлинском театре» или что-то в этом роде.

Когда он переехал на Ватерлоо-роуд, затем — на Энглси-роуд, мы еще больше подружились. Я был в то время водителем автобуса, обслуживавшего обе эти улицы. Стоило Биэну войти в салон — и он мгновенно разгонял скуку, но обязательно затевал что-нибудь шумное, например, заводил политическую дискуссию, частенько переходившую в яростную перепалку с другими пассажирами, в которую он втягивал и меня, крича:

— Эй, Мик, скажи им все...

Импровизированные выступления

Иногда он вдруг устраивал импровизированный концерт. У него были две любимые песни: баллада о мадам Маркевич («Красная графиня в зеленом платье») и песня о гражданской войне в России; когда он исполнял ее, то всегда громко выкрикивал последнюю строчку припева: «Товарищ Ленин их позвал — и стали насмерть партизаны!»

Все знали, что Брендан пишет и стихи и прозу по-ирландски, английски и французски, но мало кому, как мне кажется, было известно, что он мог сочинять стихи и на шотландском диалекте. Одно из этих стихотворений напечатала газета «Дейли уоркер» (ныне «Морнинг стар»). Поводом для него послужило двухсотлетие. Роберта Бернса, отмечавшееся в 1959 году. В связи с годовщиной английские власти постарались сделать все возможное, в частности через Би-Би-Си, чтобы представить самого знаменитого шотландского поэта этаким респектабельным и законопослушным господином.

В ответ Шотландский комитет коммунистической партии напечатал брошюру, раскрывавшую непримиримость творческих и жизненных принципов Бернса. Автором брошюры был лидер шотландских коммунистов Джон Росс Кэмпбелл, писавший великолепные передовицы в «Револт он Клайд», редактировавший «Дейли уоркер» и однажды даже соперничавший на выборах с Уинстоном Черчиллем.

Брендан купил брошюру в нашем книжном магазине и, придя от нее в восторг, решил послать «Джонни» Кэмпбеллу, с которым был хорошо знаком, поздравление в стихах. Оно было опубликовано в «Дейли уоркер»:

Товарищи из Шотландского комитета,
Примите из Дублина от брата-поэта
Восторг по поводу вашего памфлета
О Роберте Бернсе. Когда же ханжей свора
Вещает, вещает из старого Эра[14] —
С души воротит от подлого вздора.

Из Эра учит множество господ хороших,
Что Робби не искал в прическах леди вошей
И знал: был чист душой богач усопший;
Он не печалился о нищих,
Зато скорбел о голове Луи
И не хотел глядеть на хлеб и пироги,—
Оплакивая шлюху-короля, совсем забыл о пище.

Но ваш, Джон Кэмпбелл, труд
Освободил от этих пут
Беднягу Робби. Пусть не врут,
Что умер он. У песни нет конца.
Бернс за свободу с нами бьется.
За бедняков вовсю дерется,
Над Би-Би-Си в кулак смеется,
Спасибо, Джонни, вам от Красного бойца.

Редактор колонки Уолтер Холмс напечатал под стихотворением личное извинение перед Бренданом: «Вы, несомненно с неудовольствием, заметите, что из-за малодушия и опасений перед последствиями я заменил одно слово». Какое слово? Наверное, стоило бы провести литературоведческое исследование, найти утерянное слово или дать ему более подходящую замену.

Закат яркой звезды

В марте 1964 года, накануне поездки в СССР, я услышал по радио, что Биэн серьезно болен. Это было похоже на сообщение о его скорой смерти.

На второй день в Москве я был гостем советских журналистов, в разное время работавших в Ирландии. Один из них, Викентий Матвеев, в соавторстве со Львом Шейдиным написал книгу о поездках в Ирландию.

В начале беседы я упомянул о тяжелой болезни Биэна, и тут Матвеев, перебив меня, сказал, что только что получено известие о его смерти. Я был глубоко опечален. При всей своей человеческой и политической непоследовательности Биэн был яркой звездой на ирландском небосклоне.

Мы немного выпили, чтобы помянуть его, и ему, я думаю, это понравилось бы. Потом я стал рассказывать о наших с ним встречах, все меня внимательно слушали, а потом кто-то предложил мне написать некролог для советской газеты. Всю ночь я просидел за машинкой. Некролог появился в «Неделе», и я думаю, что Биэну это понравилось бы еще больше.

[14] Графство в Шотландии.

Перевод с английского Л. ВОЛОДАРСКОЙ

ГОЛЛИВУД: РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЛИ КУЛЬТУРНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ?

В последние годы деятели культуры в разных странах все чаще подвергают критике политику «культурного империализма», «культурной агрессии», проводимую реакционными кругами США. Широко и давно известно, какую роль в проведении этой политики играют американские фильмы «made in Hollywood».

Голливуд — город, Голливуд — «столица американского кино», Голливуд — «фабрика грез»... По-разному писали о нем, по-разному оценивали фильмы, созданные здесь крупнейшими кинофирмами США. Но все чаще теперь, например в Европе, пишут о Голливуде как о прекрасно технически оснащенной машине по производству... «киномакулатуры». Речь идет о фильмах, способных привлечь зрителя блестящей внешней упаковкой и пустых или откровенно реакционных по содержанию. Но претендующих при этом на всеобщее к себе внимание и требующих безусловного восхищения системой, породившей их.

Самоуверенность, граничащая с презрением к тем, кто осмеливается называть вещи своими именами — голливудскую коммерческую продукцию — явлением буржуазной «массовой культуры», не имеющей никакого отношения к подлинному искусству,— всегда была характерна для законодателей «киномоды» в США. Но если раньше об этом предпочитали не говорить вслух, то сейчас поведение «ястребов» из Голливуда становится все более агрессивным. Об этом, например, свидетельствует статья американской журналистки К. Стэбингер «Продажа американских фильмов за границу», опубликованная в одном из номеров журнала «Нью-Йорк таймс мэгэзин» в конце 1983 г.

«По данным Американской киноассоциации /MPAA/ в 1981 году прокат американских фильмов за пределами США и Канады (при чем здесь Канада? Об этом ниже. — В. И.) в 40 иностранных государствах, в основном в странах Западной Европы и в Японии, принес Голливуду прибыль в размере 800 миллионов долларов. Это составляет не менее 40% всех доходов кинопромышленности за год. Если к тому же иметь в виду прибыль от продажи американских фильмов для показа по каналам иностранного телевидения в виде видеокассет и для системы платного телевидения, то цифра доходов достигнет 1 миллиарда долларов. В Японии в списке самых коммерческих картин за всю историю кинопроката в этой стране 8 фильмов — американские; в Испании из 10 самых коммерческих фильмов 9 — американские».

Конечно, приведенные цифры не могут не пленять воображение голливудских магнатов, для которых кино — это именно и прежде всего товар. Будут ли они при этом думать о том, что подсчитывают чужие деньги?..

Да, чужие! Деньги, которые могли бы исправить шаткое экономическое положение многих национальных кинематографий, помочь талантливым кинематографистам, в том числе в Западной Европе и в Японии. Нет, колоссальные суммы «уплывают» за океан... А такие мастера, как Акира Куросава, Масаки Кобаяси и Канэто Синдо (Япония), Микеланджело Антониони и Франческо Рози (Италия), Хуан Антонио Бардем и Луис Берланга (Испания), снова будут лишены возможности работать, не ломая голову над тем, где и на каких условиях найти деньги, необходимые для постановки их новых фильмов. Ведь именно поэтому кинорежиссеры с мировым именем снимают фильмы с большим временным перерывом или вообще в других странах.

Проблема еще более усложняется, если

иметь в виду, что в наши дни демонстрация фильмов американского производства занимает 80% мирового экранного времени!

«В течение последних нескольких лет,— читаем мы в статье,— крупные кинокомпании, занимающиеся как производством, так и прокатом, держат в своих руках права на прокат фильмов, постановку которых они финансировали, и, как правило, стремятся приобрести прокатные права для продажи за границу фильмов независимых продюсеров... Крупные кинокомпании прокатывают за рубежом более 100 фильмов ежегодно».

Что это означает? Не только то, что деньги из карманов все тех же западноевропейцев и японцев перекочевывают в карманы американских кинобизнесменов. Но и то, что неуклонно сокращается экранное время для показа фильмов национального производства. Так образуется «замкнутый круг» — собственные фильмы демонстрируются намного реже, чем американские, поэтому многие из них не окупаются; естественно, уменьшаются финансовые возможности национальной кинопромышленности и, как следствие, постепенно сокращается национальное кинопроизводство. Не в этом ли состоит стратегическая цель Голливуда, который давно стремится стать единственным вершителем «киносудьбы» мира?

«Сейчас Голливуд ищет иностранную аудиторию для своих фильмов более агрессивно, чем когда-либо. Стремление к прибыли не знает географических границ».

Этот вывод автора статьи следует рассмотреть особенно внимательно. Почему речь идет именно о наших днях? Разве в прошлом было иначе? Нет, конечно. Но агрессивность американского кинокапитала сейчас действительно возросла, что связано как с ситуацией внутри самой американской кинопромышленности, так и со стремлением вашингтонской администрации заставить Голливуд служить своим гегемонистским целям. При этом преследуются как интересы экономической выгоды, так и цели, связанные с пропагандой «американского образа жизни». Но, оказывается, идти на это заставляет также экономическое положение в самих США, где рост дороговизны привел к резкому увеличению расходов на производство фильмов. И теперь уже нередки случаи, когда работающие в Голливуде кинематографисты вынуждены искать за границей материальную поддержку, которая позволила бы им осуществить тот или иной кинопроект. Вот это уже новость!

В качестве примера в статье приводится история создания фильма «Отель «Нью-Гэмпшир» (по роману Джона Ирвинга). Постановщик и сопродюсер фильма известный английский режиссер кино и театра Тони Ричардсон (создатель знаменитой, известной также и в нашей стране экранизации романа Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша», в свое время получившей высшую премию Американской киноакадемии — «Оскар») смог собрать в Голливуде лишь 2/3 суммы, необходимой для создания новой картины. И это при том, что ему заранее, еще до начала съемок, пришлось продать право на прокат фильма в США кинокомпании «Орион пикчерс». Тогда Т. Ричардсон через агента по продаже американских фильмов за границу обратился за помощью... к европейцам.

Что касается способов осуществления гегемонистских устремлений современного Голливуда, то они сейчас заметно «совершенствуются». Как известно, в Америке уже давно существует практика проведения допремьерных показов новых фильмов с целью выяснения в первую очередь их коммерческого потенциала. В результате таких просмотров фильмы часто подвергаются перемонтажу, сокращениям и т. д. И вот новость — недавно, как в каком-то провинциальном американском городе (предварительные кинопоказы проводятся именно в «одноэтажной Америке»), такая предварительная демонстрация нового американского фильма «Офицер и джентльмен», предназначенного для показа в Европе, состоялась в Швеции.

Еще одна новость — отныне американские фильмы будут дублироваться на европейские языки под контролем американцев непосредственно в Европе. Заниматься этим будут... ведущие мастера европейского кино. В качестве примера автор статьи в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» назвала известного французского кинорежиссера Бертрана Тавернье. Нам неизвестны причины (хотя о них нетрудно догадаться), заставившие талантливого французского кинематографиста, автора демонстрирующейся в нашей стране серьезной, критической ленты «Преступный репортаж», согласиться на сделанное ему предложение, но ясно, что гораздо выгоднее (для Голливуда) заставить ведущего французского режиссера заниматься дубляжем американской картины, нежели помочь ему в создании собственного фильма.

Правда, Б. Тавернье поручен дубляж ленты весьма уважаемого мастера американского кино. Но что в массе представляют собой голливудские фильмы, демонстрирующиеся на экранах многих стран мира? Увы, это отнюдь не шедевры киноискусства.

«Исторически сложилось так, что агенты обеспечивают продажу за границу фильмов без известных имен, второсортных, дешевых.

И это все еще скорее правило, чем исключение: на ежегодной киноярмарке для иностранных покупателей в марте (1983 года.— В. И.) предлагался лишь незначительный процент фильмов, которые можно считать заслуживающими внимания».

С одной стороны, этот факт шокирует К. Стэбингер. Но тут же она утверждает, ссылаясь на некоего кинобосса, что подобная практика — результат якобы

«стремления зарубежной киноаудитории к потреблению чисто развлекательной продукции».

Вот так, просто и ловко, жертвы голливудской киномакулатуры превращены в ее виновников! При этом автор цитируемой статьи повторяет уже давно переставшее быть оригинальным утверждение о том, что *«голливудские фильмы — это фильмы в*

основном для международной аудитории. Фильмы же других стран имеют более региональный, местный характер».

Это утверждение бросает тень на тех кинематографистов в разных странах, которые считают своим патриотическим долгом создание картин именно национальных, как по содержанию, так и по форме противостоящих массовой голливудской кинопродукции.

Представители национальных культур все более активно выступают против «колонизации душ» (формулировка Ж. Тибо, автора книги «Колонизированная Франция») зрителей и слушателей в их странах, осуществляемой почти полностью американизированной системой массовых коммуникаций. Видит это и автор статьи в «Нью-Йорк таймс мэгэзин»:

«Сейчас экспорт фильмов действительно настолько увеличился, что иностранные правительства забеспокоились. Недавно Европейскому экономическому сообществу было поручено изучить вопрос о том, как импорт американских фильмов влияет на развитие небольших, малодоходных европейских кинематографий, которым тяжело соперничать с Голливудом даже на внутреннем кинорынке».

Но ни очевидные факты агрессивного проникновения Голливуда в систему кинопроизводства и кинопроката в других странах, ни усиление здесь противостояния американской массовой коммерческой кинопродукции не в силах поколебать стереотип мышления людей, уверовавших в то, что именно и только Голливуд — «киностолица» мира.

Конечно, любители продукции Голливуда есть в Западной Германии, в Японии и в других странах. Это они обеспечивают голливудским кинокомпаниям колоссальные прибыли, особенно там, где Голливуд чувствует себя полным хозяином. И здесь мы вернемся к тому месту в статье К. Стэбингер, где говорится о том, что для голливудских бизнесменов нет никакой разницы между собственным и канадским кинорынками, где они тоже чувствуют себя «хозяевами положения».

«Освоение» Канады Голливуд начал очень давно, и постепенно ему удалось сделать эту страну крупнейшей в мире потребительницей американской коммерческой кинопродукции [1]. Ее поставщики уже давно рассматривают канадский кинорынок как внутриамериканский. И они удивляются, когда какой-то канадский кинематографист или журналист напоминает о том, что Канада — не американский штат, но суверенное государство, заинтересованное в развитии национальной культуры, в том числе и своего, самобытного кинематографа. Нет, в представлении американских кинобизнесменов канадцы — это же «почти американцы» и, значит, обязаны смотреть голливудские фильмы.

«Влияние иностранного (читай: американского.— В. И.) кинорынка приняло крайние формы,—пишет в журнале «Канейдиан форум» (февраль 1983 года) С. Газеркул,— 90% общего прокатного времени в Канаде занимает показ американских фильмов...»

Если к тому же иметь в виду, что в Канаде широко демонстрируются английские и французские (особенно в Квебеке) картины, то неудивительно, что на демонстрацию фильмов, сделанных в самой Канаде, остается не более 4—5% общего экранного времени. Например, самые известные канадские ленты производства 1982—1983 гг. показывались: «Приятные воспоминания» (реж. Ф. Манкевич) — одну неделю в одном кинотеатре; «Семья Плюфф» (реж. Ж. Карль, фильм демонстрировался во внеконкурсной программе XIII Международного кинофестиваля в Москве) — в общей сложности три недели в пяти кинотеатрах; «Сорокалетние» (реж. А.-К. Пуарье, фильм также показывался на Московском кинофестивале в 1983 году) — в общей сложности десять недель в трех кинотеатрах. И это при том, что в Канаде более полутора тысяч кинозалов! Что это, как не явная попытка удушить лишь недавно интересно заявившую о себе художественную кинематографию страны?

Кто несет ответственность за это? Именно те круги в Канаде, и не только кинематографические, которым чужды национальные интересы. Готовые восхищаться всем «американским», они стремятся перенести на канадскую почву принципы американского коммерческого кино.

«...Мы хотим снимать коммерческие фильмы на уровне международных развлекательных стандартов»,— заявил, например, крупный канадский продюсер Гарольд Гринберг.

И вот рекорды посещаемости (по канадским масштабам) побивает фильм, поставленный режиссером американского происхождения Бобом Кларком «У «Порки» — сексуальная комедия о «приключениях» американских школьников. Вообще в канадских коммерческих лентах речь чаще всего идет об американцах, а события разворачиваются в США. Вот примеры: «Через всю страну» (в главной роли американский киноактер Ричард Беймер) — история убийства жительницы Филадельфии; «Жаркое прикосновение» (реж. Роже Вадим) — на экране Нью-Йорк и «мастера» по подделке картин; «Билет в рай» — мистический фильм ужасов, события которого разворачиваются в Сан-Франциско; фильмы ужасов режиссера Д. Кроненберга и т. д.

Это о создателях подобных картин известный канадский писатель М. Ричлер сказал:

«Канадские кинопромышленники отличаются невероятно плохим вкусом и одержимы алчностью».

А серьезный кинематографический журнал «Копи зеро», выходящий в Монреале, сделал вполне определенный вывод:

«Кинопромышленность, как таковая, находится в руках спекулянтов».

Зато все как в Голливуде!..

Сознавая свою силу и зная, что всегда могут рассчитывать на «помощь» своих

[1] Об экономическом положении в канадском кино см. статью В. Иванова в «ИЛ», 1983, № 5.

американских партнеров, эти люди, в лице, например, крупного продюсера Дэни Эру, прямо заявляют:

«Мы покончим с теми канадскими продюсерами, которые желают делать стопроцентно канадские фильмы».

А ведь к этим фильмам относятся такие серьезные и талантливые работы, как «Запоздалый восход» (реж. А. Бланшар) и «Охотник» (реж. З. Дален), известные также советским зрителям.

Стремление помешать созданию и прокату демократических по содержанию и реалистических по форме канадских фильмов свидетельствует одновременно о попытках затруднить, задержать процесс развития самобытной канадской культуры. И в этой стране, как и во многих других, преследуется цель распространения «массовой культуры» США как «высшей формы американского влияния» (З. Бжезинский).

«Культурный империализм» США вызывает сегодня все большее беспокойство в мире. Ведь это «влияние» через каналы массовой коммуникации, в том числе и кино, проникало в различные страны в течение многих лет. Но если раньше о необходимости противостоять наступлению американской буржуазной «массовой культуры» говорили лишь единицы, сейчас об этом говорят уже многие.

Французский публицист Жак Тибо:

«Поклонение Соединенным Штатам и американской модели развития ведет нашу страну в тупик».

Канадский писатель Робертсон Дэвис:

«Канада жаждет национальной самостоятельности, которая подразумевает, конечно, и национальную культуру...»

Английский писатель Джеймс Олдридж:

«Политика отлучения западноевропейских стран от культуры, которую при попустительстве монополистической верхушки в западной части нашего континента проводит американский капитализм, сегодня уже не довольствуется сферой социального воздействия. Он идет дальше, угрожая катастрофой ядерной войны».

Выдающийся чилийский кинорежиссер Мигель Литтин (лауреат XIII МКФ в Москве):

«Засилье сугубо коммерческого кино представляет собой одну из главных наших проблем. Такого рода кинематограф, не совместимый ни с нашей культурой, ни с нашими традициями, служит одним из каналов идеологической экспансии империализма».

И чем агрессивнее Соединенные Штаты проводят политику «культурного империализма», тем более в самых разных странах мира растет движение, цель которого — противостоять культурной агрессии, защитить свою национальную самобытность и культуру.

В. ИВАНОВ

УРОКИ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННАЯ ИСПАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

На обложке «Камбио-16», одного из самых популярных в Испании еженедельников, броский заголовок: «Осень-83: что необходимо посмотреть, послушать, прочитать». Раскрыв специальный выпуск, мы увидим редакционное вступление к серии статей о наметившихся в последнее время тенденциях в развитии испанской культуры. Открывается оно следующими словами:

«Говорят, что-то начало наконец меняться в испанской культуре. Так ли это?.. Нужно признать, что да. Постепенно становится ясно, что годы, которые мы из-за происходивших в это время политических преобразований привыкли называть переходным периодом, были и периодом восстановления, а вернее сказать, периодом пробуждения испанской культуры».

Слова эти — своего рода эпиграф к подборке, публикуемой журналом, центральное место в которой отведено литературе. Подобная постановка вопроса журналом «Камбио-16» не случайна. Она возвращает читателя к первым послефранкистским годам, когда страницы испанских газет и журналов буквально захлестнула волна анкет и статей, пересматривающих литературу предыдущих десятилетий и пытающихся определить направление литературного развития в новых исторических условиях. Шло время, и росли недоумение и беспокойство: уход в прошлое франкизма и отмена цензуры не стали толчком к кардинальным переменам в области культуры. В это время и была опубликована статья известного критика Хосе Мария Кастельета[1], в которой он утверждал, что огромные социальные сдвиги породили некоторую растерянность в умонастроении людей и для осознания литературой происходящего в стране необходима временная дистанция. Статья называлась «Время размышлений», и слова эти стали своеобразным девизом, под которым было принято в последние годы рассматри-

[1] Статью Х. М. Кастельета «Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло» см. «ИЛ», 1975, № 11.

вать современную испанскую литературу. Уже привычно звучат нотки разочарования, с которым критики писали об испанском романе, сетуя на то, что он уходит от острейших проблем, стоящих перед страной, и уступает позиции массовой культуре. Поэтому особенно неожиданны выводы «Камбио-16» об итогах литературного года.

Впрочем, утверждения эти не голословны: они вытекают из анализа книг, опубликованных в последнее время. Так, по мнению «Камбио-16»,

«становится серьезной документальная проза, испытавшая немало превратностей судьбы в переходный период».

Говоря о превратностях судьбы, журнал имеет в виду бум политической литературы, литературы свидетельства, последовавший сразу после смерти Франко. Как это ни парадоксально, он способствовал скорее упадку жанра, так как выпускалось огромное количество спекулятивных, поверхностных книг. Их авторы ловко использовали интерес читателей к правдивой информации, которой страна была столько лет лишена. Но вместо нее читатель получал по большей части псевдоразоблачительные книги или написанные наспех однодневки, интерес к которым погас так же быстро, как вспыхнул. Теперь появляются серьезные работы, например, написанные в жанре беллетризированной документалистики книги Хосе Онето «Ночь Техеро» и «Правда о деле Техеро» — о попытке военного переворота и «Последние дни президента» — о причинах, приведших к отставке правительство демократического центра.

В последнее время все большую роль в испанской литературе стал играть детектив, жанр молодой, не имеющий национальных корней. Появившись в 60-е годы, он быстро набирал силу, с самого начала заявив о себе не как развлекательный жанр, а как разновидность социально-политического романа. В послефранкистский период поток детективной литературы необыкновенно вырос: именно эта форма кажется писателям наиболее подходящей, когда речь идет о сложных социально-политических процессах в жизни современной Испании. Неудивительно, что к этому жанру обращаются серьезные писатели. Так, в книге «Харон ждет», первом романе известного испанского философа Фернандо Саватера, причиной гибели героини является ее осведомленность о деятельности крайне правых организаций в Испании, о подготовке ими военного переворота. Роман Мануэля Васкеса Монтальбана «Одиночество менеджера» рассказывает о влиянии транснациональных корпораций не только на экономику страны, но и на ее внешне- и внутриполитический курс.

«Незаметно для всех, — пишет журнал «Камбио-16», — испанский детектив превратился во впечатляющее свидетельство социальных перемен в послефранкистской Испании».

Этот феномен все больше и больше привлекает к себе внимание. О социально-политической значимости испанского детектива говорили участники дискуссии, состоявшейся во время традиционной Мадридской книжной ярмарки, дискуссии, собравшей более тысячи человек:

«Эта особенность определяет и структурную специфику испанского детектива: центр тяжести в нем перенесен с раскрытия преступления — читатель нередко с самого начала знает или достаточно быстро догадывается, кто убийца, — на раскрытие тайных пружин этого преступления».

Минувший год был также годом мемуаристики, которая в последнее время пользуется все большей популярностью. Достаточно сказать, что Национальную премию по литературе в минувшем году получил Франсиско Айала за книгу «Память и забвение», в которой один из старейших писателей-республиканцев рассказывает о периоде своей жизни, непосредственно предшествовавшем эмиграции, и о годах, проведенных вдали от родины.

«И все же, — продолжает обозреватель журнала «Камбио-16»,—лучшим показателем состояния литературы всегда является роман, а испанцам эта осень подарила три новых произведения крупнейших писателей страны — Камило Хосе Селы, Мигеля Делибеса и Хуана Бенета».

Имена эти фигурируют в любой статье, посвященной литературным итогам 1983 года. На них опирается и критик газеты «Паис» Луис Суньен. В статье, помещенной под шапкой «Литературные итоги года», он пишет:

«Для испанского романа уходящий год был удачным, особенно если сравнить его с бледным в литературном отношении 1982 годом. Позитивные сдвиги произошли главным образом благодаря усилиям наших ведущих писателей».

Крупнейшими литературными событиями года газета называет опубликованные осенью романы Камило Хосе Селы «Мазурка для двух мертвецов», «Заржавевшие копья» Хуана Бенета и «Любовные письма шестидесятилетнего ловеласа» Мигеля Делибеса. Что же привлекает внимание критики к этим книгам помимо заслуженной и устоявшейся известности их авторов?

Одна особенность сразу бросается в глаза: все три романа заставляют читателя оглянуться назад, как бы подчеркивая, что без четкого осознания прошлого невозможно последовательное и успешное преобразование сегодняшней Испании. Села показывает атмосферу, сделавшую возможной национальную трагедию, пишет, как считает критик, «свой роман о гражданской войне».

О войне и роман Хуана Бенета «Заржавевшие копья». В новой книге он пытается осуществить давний замысел.

«Я хочу по-своему написать историю гражданской войны, — рассказал Бенет в интервью еженедельнику «Камбио-16»,— потому что ни одна из существующих историй войны меня не удовлетворяет: авторы любой из них, на мой взгляд, отходят от истины».

И романист решил исправить просчеты историков. Свободная романная форма позволяет ему изложить свою концепцию вой-

ны, ее причин, не придерживаясь строго исторических фактов, перенеся события на вымышленную почву.

Итак, два крупных писателя Испании почти одновременно публикуют романы, связанные с гражданской войной. Добавим к тому же, что в 1983 году вышел серьезный, глубокий роман Висенте Сото «Три песеты минувших времен», где острейшие события современности, вплоть до попытки военного переворота в феврале 1981 года, рассматриваются в непосредственной зависимости от событий гражданской войны. Эти же события определяют судьбы героинь нового романа известной каталонской писательницы Марии А. Капмани «Самый голубой цвет», тоже увидевшего свет в минувшем году. А крупнейшую коммерческую премию «Планета» получил в 1983 году писатель Хосе Л. Олайсола за роман «Война генерала Эскобара». Книга посвящена одному из немногих высших чинов испанской жандармерии, воевавших на стороне Республики и расстрелянного франкистами в 1940 году. Что это — случайное совпадение или закономерность? Литературный обозреватель газеты «Паис» считает, что закономерность. Нельзя не согласиться с его утверждением:

«В испанской литературе до сих пор нет произведения, где глубоко и объективно было бы рассказано о событиях тех лет, о причинах войны, ее последствиях для развития страны. Автор любой из книг сознательно ограничивает свою задачу, хотя лучшие из них потрясают эмоциональной достоверностью».

Итак, неисчерпанность темы — одна из причин, заставляющих испанских писателей снова и снова возвращаться к опыту прошлого. Но главное — помнить о нем заставляет и обстановка в стране, возрастающая активность правых. Испанская литература сегодня пытается найти ответ на вопрос, как стала возможна гражданская война, стремится, как пишет газета «Паис», «сделать этические выводы из прошлого». Это необходимо, чтобы помочь избежать ее повторения.

Роман Мигеля Делибеса «Любовные письма шестидесятилетнего ловеласа» не о войне (действие его происходит в 1979 году), но о том, что критик назвал ее последствиями для развития страны. Его герой Эухенио Санс — человек, чей характер и судьба сформированы определенной исторической ситуацией, неразрывно связаны с франкизмом. Правда, когда Франко умирает, от Санса быстро избавляются — фашистское прошлое слишком хорошо всем известно, да и сам он не в состоянии приспособиться к новым порядкам: его образ мыслей, сложившийся в самые тяжелые годы франкизма, остается неизменным. Необыкновенное мастерство Делибеса-романиста в том, что герой книги сам рассказывает о себе — она написана в почти забытом сегодня жанре эпистолярной прозы. Герой не понимает того, насколько собственные слова выдают его сущность, но Делибес рассчитывает, что читатель должен это понять: не только сюжет книги, но и ее художественная структура предполагает и способность делать «этические выводы».

Во время последней книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне был организован «круглый стол»—«Испанская культура сегодня», в работе которого приняли участие министр культуры Испании Хавьер Солана, писатели Хуан Гойтисоло, Хорхе Семпрун, Фернандо Саватер. Рассказывая об этом событии, газета «Паис» приводит слова философа и писателя Фернандо Саватера:

«Раньше нам всем казалось, что после смерти Франко произойдет что-то вроде культурного взрыва, но когда франкизм ушел в прошлое, ничего существенно не изменилось. И тогда всех охватило разочарование... Однако сегодня мы можем сказать, что в области культуры существует новое мироощущение, рожденное теми переменами, что произошли в стране за период демократизации. И это — основа для будущего».

Последние книги прогрессивных испанских писателей — свидетельство того, что, несмотря на активизацию правых сил, литература страны, переосмысляя уроки прошлого, способствует духовному преображению Испании.

Н. МАТЯШ

◆

Наши интервью

Эраклио Сепеда
(Мексика)

Известный писатель, журналист, общественный деятель Эраклио Сепеда родился на юге Мексики. Жизнь этого края — главная тема творчества Эраклио Сепеды.

С писателем беседовала в Москве его соотечественница, аспирантка Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Далия Мендоса.

— Эраклио, как ты начал писать? Что побудило тебя взяться за перо?

— Определяющим стало для меня влияние двух людей: моего отца-писателя, журналиста, человека передовых взглядов, и моего деда, революционера по призванию, участника Мексиканской революции 1910 — 1917 годов и новеллиста. И богатый фольклор моего родного города, истории, которые я с детства слышал вокруг. Они-то и побудили меня взяться за перо и начать писать рассказы, в которых я стремился как можно точнее передать услышанное.

Представь, я с детства знал, что буду писателем, потому, что мне нравилось рассказывать разные истории. В десять лет в школе я издавал газету «Детская душа». Друзьями моего детства были Оскар Олива, Хуан Баньюэлос и Хайме Сабинес — теперь они известные поэты.

Студентом я взялся было за изучение антропологии, чтобы глубже понять мой народ, такой разноликий, а равно и другие народы. Но вместо того чтобы заниматься исследованиями, стал сочинять рассказы. Тогда-то я и убедился, что ученый из меня не получится.

— Что дали тебе как писателю занятия антропологией?

— Антропология вооружила меня методом, дисциплиной, которой мне так не хватало.

— А что такое, по-твоему, рассказ? Как ты относишься к рассказчикам из народа? Чем, на твой взгляд, народные рассказчики мексиканского севера отличаются от рассказчиков юга страны?

— Многое в моем творчестве определил Валентин Эспиноса, один из самых просвещенных людей, каких я только знал, хотя он не умеет ни читать, ни писать. Зато он общается с природой, как истинный крестьянин, наделяя все своими именами — растения, звезды... О себе он говорит, что основное его занятие — «приглядывать за звездами». И еще, что каждое слово — вроде орешка: его нужно расколоть, вынуть изнутри зернышко, попробовать на вкус; а мы обращаемся со словами небрежно, и от этого они теряют свой настоящий смысл. Он говорил мне, что слова нужно отмыть, и тогда мы снова обретем себя.

Рассказчики из народа наделены даром с поразительной легкостью пересказывать разные происшествия, во сто крат обогащая их своей безграничной, свободно облекаемой в слова фантазией. Рассказчики с севера более лаконичны, а южане любят щегольнуть словом: их истории так же пышны, как природа этого края. В их стиле — а тут вполне можно говорить о стиле — есть что-то от барокко.

Писатель-новеллист, как и рассказчик из народа, должен постоянно находиться в гуще людей. Ведь рассказ предполагает слушателя. Рассказываешь тому, кого любишь и уважаешь. Прежде чем написать рассказ, я должен не один раз его пересказать. Рассказ для меня — вроде теста на дрожжах: образы в нем все больше и больше «подымаются», пока не созреют. Тут наступает черед буквы, которая вроде формы для выпечки слова. Теперь самое время остановиться и больше уж не месить: пусть тесто само подходит.

— Ты всегда стремился отыскать новые пути общения с народом. Доказательство тому — твои передачи на радио и созданный тобою «агитационный театр». Расскажи об этом.

— В свое время я участвовал в радиопрограмме «Образование». В зависимости от времени передачи я знал, кто будет слушать мои импровизированные пятиминутные истории. Так родилась книга «Задушевный разговор». В ней я рассказал о своих друзьях, о поездках в Гаванну, в Советский Союз.

Занимаясь вопросами пропаганды, я стремился познакомить народ с законами, используя такие популярные формы, как корридо [1], беседы. Потом я занялся труппой, которая состояла из студентов-практикантов Национального института изящных искусств. Труппа переезжала из селения в селение, а ее участники ходили из дома в дом, словно бродячие комедианты. Наша труппа называлась «Агитационный театр для крестьян». Вначале в наших пьесах выступало пять персонажей: Хуан Безземельный (батрак), Донья Обманщица (плут или шутник), Дон Щеколда (хозяин), Звонкоголосый рожок и ведущий. Все представления были импровизированными, а название спектакля менялось от селения к селению.

Потом мы стали привлекать в наш театр самих крестьян. Обычно в селении живет до двух с половиной тысяч человек, и говорят они на разных индейских языках —

[1] Жанр мексиканской народной баллады.

науатль, чоль, тцетцаль, трики, сохолабаль. Многие крестьяне-актеры стали потом политическими вожаками. Так родились многие независимые театральные труппы, близкие к Объединенной социалистической партии Мексики.

Этот театр решал важные задачи: политико-информационную, педагогическую и этнографическую. Представления имели огромное влияние — никто из жителей селений не мог устоять и не принять в них участия. Представления буквально «заражали» зрителей: на сцене воссоздавались реальные конфликты и проблемы, реально существующие люди из их родного селения, разве что под другими именами. Зрители узнавали героев представления, начинали вскакивать с мест и радостно выкрикивать их настоящие имена. Тут же телеоператоры снимали фильмы об этих представлениях, полных фантазии и изобретательности.

— Расскажи о своей работе в Мексике, в Гаване. Кстати, как ты оказался на Кубе? Что ты написал?

— В 1959 году я вступил в Мексиканскую коммунистическую партию и принял участие в развернувшемся тогда движении железнодорожников. Вскоре я оказался в тюрьме вместе с другими своими товарищами. Мы, молодые писатели, в своих произведениях учились размышлять над приобретенным жизненным опытом, стремились придать слову социальное звучание. В те годы были написаны рассказы, которые вошли в мою первую книгу «Бенсулул». Сначала я публиковал их в журналах, и они были тепло приняты известными нашими писателями Хуаном Рульфо и Росарио Кастельянос. Эта книга, выпущенная университетским издательством в Веракрусе в 1959 году, едва не завоевала премию штата Чьапас, но мне ее не дали из-за моих выступлений в поддержку Кубинской революции.

Тогда же Хосе Антонио Портуондо, известный литературовед и в то время ректор университета провинции Ориенте в Сантьяго-де-Куба, пригласил меня на Кубу преподавать литературу и социологию. Я объяснил Портуондо, что мне осталось сдать последние экзамены и я буду антропологом, на что он мне ответил: «Поедем, и ты будешь мужчиной». Я решился.

В Гаване я преподавал в Школе инструкторов искусства и читал лекции в «Доме Америк»[1]*. На Кубе я впервые ощутил себя латиноамериканцем, почувствовал свои кровные узы с братьями по континенту: мы были не каждый сам по себе, а точно сжатый кулак. Я сделал открытие: мы, латиноамериканцы, очень похожи друг на друга и у нас общий враг. В 1961 году во время американской интервенции на Плая-Хирон я не собирался идти в армию, но, узнав о гибели одного из моих учеников, решил взять в руки оружие. Уже в военной форме, я остановился выпить кофе, который продавала на улице негритянка. Помнится, она мне сказала: «Эй, мексиканец, выпей кофейку. Кто знает, может, в последний раз...» Она не угадала: прожив на Кубе три года, я вернулся в Мексику и рассказал обо всем пережитом.*

В те годы я написал поэму «Асела», она вышла на Кубе в 1962 году, а в 1963 году в Мексике издал сборник стихотворений, написанных на поле боя в дни Плая-Хирон. Он назывался «Боевая рота». В шестидесятые годы у меня вышли также два поэтических сборника: «Взметнувшийся колос» и «Овладение словом».

— Расскажи о своей жизни в Москве, где ты был корреспондентом газеты Мексиканской коммунистической партии «Опосисьон». Что ты тогда написал?

— Я был корреспондентом в Москве с 1964 по 1967 год, одновременно преподавал в университете имени Патриса Лумумбы, выступал с докладами в Доме дружбы с народами зарубежных стран, ездил в Грузию. Меня поразило, что кроме русского языка в каждой из республик существует и развивается свой собственный язык. Я понял, что национальную самобытность вполне можно сочетать с современностью, что интернационального нет без национального.

— А после возвращения в Мексику?

— В семидесятые годы я работал в Государственной дирекции по делам культуры и участвовал в телепрограмме «Песня, рассказ и кисть». Меня увидел Бондарчук и, решив, что я очень похож на Панчо Вилью, пригласил сниматься в своем фильме «Красные колокола». До этого я уже исполнял роль Панчо Вильи в фильме режиссера Ледюка «Рид: мятежная Мексика». В 1972 году во Франции он был признан лучшей иностранной картиной года и получил премию имени Жоржа Садуля. В Мексике он тоже был отмечен премией.

В 1975 году я издал сборник рассказов «Ночной налет», за который получил Национальную премию в области рассказа.

— Над чем ты сейчас работаешь? Каковы планы на будущее?

— Я пишу роман. Поначалу это была семейная хроника, но потом она превратилась в историю всего юго-запада Мексиканской республики на протяжении ста пятидесяти лет.

Когда я рассказываю о жизни крестьян, индейцев, я стараюсь делать это простым и ясным языком, используя истинно мексиканские, народные обороты и выражения. Я избегаю излишней литературной обработки, шлифовки языка, этакой учености и вымороченности стиля. Главное для меня — быть искренним.

Действие романа происходит в поместье, расположенном в гуще сельвы. Основная мысль книги заключается в том, что, каким бы заброшенным ни было твое селение, ветер истории долетит и до него. Можно сказать, что это история всех Эраклио в моей семье, начиная с моего прадедушки, которого также звали Эраклио.

Перевод с испанского Т. КОРОБКИНОЙ

[1] Кубинская общественная организация, основанная в 1959 г. для установления культурных связей со странами Латинской Америки.

Публицистика

НИКИТА ПОКРОВСКИЙ

УЛИЦА ЦВЕТУЩИХ ЛЕСТНИЦ

Три этюда на темы, имеющие отношение к философии

1. Во Дворце конгрессов и за его пределами

XVII Всемирный философский конгресс состоялся в Монреале в конце жаркого августа 1983 года. Начиная с 1900 года раз в пять лет за вычетом лихолетья первой и второй мировых войн собирались всемирные форумы ведущих философов мира, но нынешний во многом стал событием необычным, не укладывающимся в традиционно сложившуюся череду.

Впервые международный симпозиум был посвящен проблемам взаимодействия философии и культуры, это шире раскрыло двери монреальского Дворца конгрессов перед творческой интеллигенцией мира. Стоит хотя бы перечислить основные темы работы конгресса: философское определение идеи культуры; культура и духовные ценности в исторической перспективе; личность и культура в современном мире; философия и культура: перспективы на будущее. Что и говорить, за каждой — своеобразный Монблан интеллектуальных богатств и интеллектуальных проблем, насущных для сегодняшнего дня.

В кризисное для судеб мира время собрались философы; оно само нацеливало на особую ответственность. Быть может, ни один прежний конгресс не оказывался столь близким к бурным политическим коллизиям века.

Правда, подчас субъективные намерения иных участников форума грозили увести в сторону эту подсказываемую временем нацеленность. Так, например, известный западногерманский философ Альвин Димер, президент Международной федерации философских обществ (ныне на этот пост конгресс избрал канадского философа Венана Коши), открывая конгресс и пытаясь наметить его идейные ориентиры, прямо заявил, что философию следует отделить от политики. Что касается «политических споров», раскалывающих мир, то Димер предложил старый позитивистский «нейтрализующий» рецепт — преобразовать язык, терминологию. Скажем, понятие «третий мир» заменить на «другой мир», «права человека» — на «проблемы человека», «мир» — на «сосуществование» и т. д. По мысли представителя философии лингвистического анализа такие «поправки» в конечном счете «смягчат» состояние международных отношений.

Однако оставим в стороне неопозитивистские проекты радикальной реформы языка, они неоднократно критически рассматривались в марксистской литературе[1]. Отметим лишь, что стремление Димера и некоторых других влиятельных западных философов перевести дискуссии в русло отвлеченных академических споров, обратив две с лишним тысячи участников форума в подобие узников некоей заоблачной обители, не имели особого успеха.

Тревожные политические реалии проникали сквозь наглухо закрытые окна и двери (кондиционирование!) здания Дворца конгрессов.

Утром 21 августа перед открытием торжественной сессии дорогу к регистрационной стойке преграждал смуглый молодой человек в роговых очках, облаченный в безупречно отглаженную «тройку». В руках он держал внушительных размеров плакат: «Я из Ливана. Мне отказывают в регистрации. Это дискриминация».

...Доктор философии Али Халлак преподавал до последнего времени в Арабском университете Бейрута. Область его исследований — теория истины у Канта. Впрочем, ныне он едва ли имеет возможность вернуться на родину. Философский факультет университета разгромлен в прямом смысле слова, денег же ему хватило только на билет до Монреаля.

Халлаку отказали в праве присутствовать и выступать на официальных заседаниях: не был уплачен вовремя вступительный взнос. Что ж, с формальной точ-

[1] См., например, «Современная буржуазная философия», гл. XI. М., 1972.

ки зрения в этом не было дискриминации, а с человеческой? В течение почти всех дней работы конгресса среди делегатов, неспешно прогуливавшихся в просторном и светлом фойе, можно было видеть Али Халлака. На нем был тот же отутюженный, элегантный костюм. Только вот манера держаться неуловимо изменилась: усталый взгляд, какая-то отрешенность в движениях, опущенные плечи. Не получивший слова Халлак напрасно пытался найти собеседников среди своих респектабельных западных коллег. Вынимая из сумки скрепленные листки бумаги, он предлагал копии тезисов несостоявшегося доклада. Мало кто брал эти листки (иные, не читая, выбрасывали их), почти никто не выражал желания слушать его сбивчивые речи...

До открытия перспективы конгресса оценивались по-разному.

Кому-то он казался чуть ли не поворотным событием, подлинным всемирным вечевым съездом посланников «науки всех наук» (так называл философию Аристотель). Другие, иронично усмехаясь, пророчили, что конгресс обернется чем-то вроде философского «экстра-шоу», где мало кого будут волновать поиски истины,— большинство, говорили они, предпочтут заботу о собственном престиже...

...На трибуне самого большого зала Дворца конгрессов — Сол Крипке. Имя этого американского логика и философа несколько лет тому назад стало известно всем, кто интересуется современной философией. Крипке высказал несколько чрезвычайно плодотворных идей, касающихся концепций семантики, в частности теории логической референции. Не будем сейчас вторгаться во владения этой сложной и весьма специальной философской дисциплины. Отметим лишь, что редко какая статья по семантике ныне обходится без ссылок на Крипке, по преимуществу комплиментарных.

На конгрессе он гость — гость мимолетный: приехал только на свое пятнадцатиминутное выступление. Занятость? Возможно. Нежелание смешиваться с философской «мелкой сошкой»? Скорее последнее. Ранее он имел славу сверходаренного логика. Теперь чаще о нем говорят другое: Крипке «стоит» сто пятьдесят тысяч долларов в год. Именно столько предложил ему Принстонский университет. Притом не требуя активного преподавания, довольствуясь символическим присутствием в списках профессуры высокопрестижного университета.

И, признаться, Крипке умеет себя подать: этот сорокалетний бородач всегда в центре общего внимания, так сказать «гвоздь программы».

Аудитория (самая большая во Дворце конгрессов) переполнена. Первые ряды сплошь заполнены молодежью. Она ловит любое движение кумира, упиваясь каждым моментом соприсутствия живому «гению». Включены десятки диктофонов. Местное телевидение, поначалу явно игнорировавшее конгресс, опутало зал кабелем переносных камер. Чуть ли не каждую секунду мигают фотовспышки: «Крипке молчит», «Крипке углубился в бумаги», «Крипке похлопывает по плечу Куайна»[2], «Крипке презрительно отвернулся от Стросона»[3], «Крипке идет к трибуне», «Крипке пьет воду из стакана...»

Его выступление — это моноспектакль. Волевая рука мастеровитого постановщика расставила все по местам. И неожиданно падающая интонация, и немыслимые жесты, и «случайные» паузы, и «незапланированное» перемигивание с кем-то из зала... Но что же все-таки сказал Крипке? Ведь он что-то сказал? Почти ничего существенного. Повторял, даже без изменений, свои статьи семилетней давности. Однако неподготовленность Крипке почти никого не разочаровала: недаром же он сегодня стоит сто пятьдесят тысяч в год...

Нескольких специально посвященных ему строк заслуживает само здание Дворца конгрессов — временное вместилище и пристанище коллективного философского интеллекта. Кажется, здесь все максимально приспособлено для работы, все призвано создавать деловую атмосферу. Подвижные, но вполне капитальные на вид внутренние стены могут быстро, чуть ли не на глазах, делить объем здания на малые и большие помещения (от двадцати до шести тысяч «посадочных» мест) в любой комбинации. Фойе, замкнутым кольцом охватывающее залы заседаний, невольно порождает ассоциации с античной базиликой, а философы, с раннего утра до вечера неспешно прогуливающиеся группами по фойе,— с перипатетиками[4]. Впрочем, проектные мощности Дворца на сей раз явно незагружены. Философский конгресс со своими двумя тысячами делегатов не способен конкурировать с проходившими здесь всемирными съездами косметологов (15 тысяч участников), дантистов (13 тысяч) и официальным «чемпионом» — Всемирным конвентом мормонов (20 тысяч).

Что и говорить, философы оказались убыточными во всех отношениях. Рестораны и кафетерии пустуют (перипатетики предпочитают закусывать принесенными из гостиницы бутербродами и запивать их холодной водой со льдом), сувенирные киоски и специализированная продажа марок закрылись после первого же дня конгресса; скучая, подпирают стены агенты экскурсионных фирм. Ничего не поделаешь, «наука наук» требует определенных жертв и со стороны бизнеса.

И все это архитектурно запутанное и многолюдное разноэтажье Дворца «накрыто» ступенчатой застекленной крышей, отдаленно напоминающей о гигант-

[2] Куайн Уиллард Ван Ормон (р. в 1908 г.)— крупный американский логик, математик и философ, представитель так называемого «логического прагматизма».

[3] Стросон Питер Фредерик (р. в 1919 г.)— английский философ, один из наиболее видных современных представителей лингвистического анализа.

[4] Перипатетики (букв. «прогуливающиеся») — ученики и последователи Аристотеля, имевшего обыкновение читать лекции во время многочасовых прогулок.

ской оранжерее. Что ж, быть может, в этом есть свой смысл — Дворцу нужен свой микроклимат, и не только атмосферный.

С севера на него наступает комплекс отелей «Меридьен» — форпост буржуазного процветания в его, можно сказать, инфернальных формах. Высотные здания схвачены в единый пучок лентой торгового центра «Де жарден». Судя по-всему, на сегодняшний день это — высшее достижение канадского гения частного предпринимательства, нынновейший образчик того, «как живут люди». «Настоящие» люди! Но вот ирония ситуации. Бьющая через край кичливая роскошь, кажется, уничтожает саму идею, положенную в основу этого «совершенства» (недаром роскошь часто соседствует с гнилью и умиранием). И утром, и днем, и вечером «Меридьен» и «Де жарден» выглядят устрашающе пустыми. Словно здесь взорвалась нейтронная бомба. Все освещено, полыхает огнями, привлекает томными мелодиями скрытой музыки, обволакивающими запахами неведомых ароматических веществ. Нет лишь людей.

С юга Дворец соседствует с монреальским «сити». Высится бетонная громада редакции «Пресс» — ведущей франкоязычной канадской газеты. Здесь же внушительные, отделанные мрамором, а то и зеркальными черными панелями офисы банков и транснациональных компаний, вроде «ИБМ». Из-за них с некоторой робостью выглядывают два шпиля собора Нотр-Дам, почти полной копии парижского шедевра.

Что касается запада, то это направление уже было однажды полем некоей битвы. Бескрайний «лунный» пустырь — некогда городской квартал — покорно ждет своего завоевателя. Воистину иллюстрация к словам К. Маркса о том, что «культура,— если она развивается стихийно... оставляет после себя пустыню»[5]. Сейчас заборы, ограждающие «пустыню», несут следы политических битв. Целые секции заклеены изощренными антисоветскими листовками. Здесь же броские плакаты польской эмигрантской «Новой «Солидарности». И как бы перечеркивая все эти «художества»— огромные буквы, выведенные от руки: «Свободу Сальвадору».

На восточном направлении жизнь льется через край. «Чайна-таун» — китайский квартал Монреаля — омывает людскими потоками мраморные лестницы Дворца конгрессов. В воскресные дни по его улочкам надо пробираться с осторожностью. То и дело раздаются взрывы «шутих» — мощных и дымных петард. Дети норовят подобраться к тебе со спины и взорвать мощную хлопушку. Таковы обычаи, и надо, видимо, их уважать. Огромный бумажный дракон плывет во главе воскресной процессии. На мраморном парапете Дворца устраиваются музыканты: сейчас начнется концерт рок-музыки. Повсюду слышна только китайская речь. Маленькие и тесные рестораничики выбрасывают на прохожих букеты кулинарных запахов. Но вся эта экзотика восточного быта напоминает о предсмертных судорогах: по решению муниципалитета через год «чайна-таун» будет сметен с лица земли...

Какой бы стерильный микроклимат ни нагнетали мощные кондиционеры Дворца, идейные веяния извне настойчиво прорывались в зал заседаний.

...На трибуну грузно поднимается совершенно седой невысокий пожилой человек. Это — Эммануэль Левинас, известный французский философ, представитель феноменологического и культурантропологического направления. Не желая пользоваться очками, он близоруко подносит к глазам разрозненные листки текста доклада. Несмотря на постоянные напоминания председательствующего, Левинас то и дело забывает о микрофоне и говорит куда-то в сторону. От этого его голос звучит еще глуше и значительнее. Перелистаем конспект, сделанный в зале заседаний...

«...Узкая тропинка, проложенная гуманистической культурой в варварстве человеческого бытия, столь эфемерна, что ни один философ не может гарантировать нам того, что варварство вновь не захлестнет ее. Откуда взялась культура? Биологическая или социальная природа человека вызвала к жизни этот грандиозный феномен? Истоки культуры — в особых глубинных антропологических предпосылках. В самой природе человека как уникальной личности, в «я», заложены тяга к культуре, неиссякаемый порыв к духовному, неизбежно порождающие феномен культуры, выносящий на поверхность лишь разрозненные отблески внутреннего... Задача философии заключена в поисках идеальных структур сознания, феноменов, создающих подлинную культуру, совпадающую со сверхисторической ценностью. В наши дни всепроникающий абсурд насыщает многочисленные проявления культуры... Парадоксы европейской культуры превращаются в воплощения феномена «чудовищного», варварство стоит у порога...»

Эммануэль Левинас — признанный авторитет, на его концепции ориентируются многие молодые философы западных стран. Неизбывная усталость сквозит во всем его облике и, главное, в словах и мыслях. Но не проникновение этой «усталости европейской культуры» (выражение Эдмунда Гуссерля) страшит тех, кто хотел бы организовать «философскую оранжерею» во Дворце конгрессов. Более всего они опасаются другого.

По единогласному решению оргкомитета и по инициативе советских философов на конгрессе был организован коллоквиум, посвященный 165-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти Карла Маркса. Не исключено, что кое-кто из западных «марксологов» имел в этом и свой расчет. Для коллоквиума выделили самый большой зал («быть может, он окажется сиротливо пустым»), в соседней аудитории на то же самое вре-

[5] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 32, с. 45.

мя назначили заседание коллоквиума, посвященного юбилею Карла Ясперса («он, конечно же, привлечет в несколько раз больше слушателей»). Наконец,— и это главное — в качестве двух основных докладчиков назначили «хорошо» зарекомендовавших себя прежде... антимарксистов: иерусалимского профессора Шлому Авинери и недавно исключенного из Коммунистической партии Канады философа Фрэнка Каннингэма.

Но жизнь распорядилась иначе. Коллоквиум по Марксу мгновенно «обесточил» не только конкурирующий коллоквиум по Ясперсу (в его работе участвовало немногим более тридцати делегатов), но все другие, весьма многочисленные секции и семинары, назначенные на это время.

Не более удался и замысел с докладчиками.

Заседание открылось вступительным словом сопредседателя коллоквиума советского академика Т. И. Ойзермана (другим сопредседателем был известный болгарский философ Сава Гановский). Академик Ойзерман, в частности, говорил о том, что участники конгресса собрались не просто для того, чтобы отметить знаменательную историческую дату. Главное, подчеркивал выступающий, состоит в том, что живое, творчески развивающееся учение Маркса успешно претворяется в жизнь, указывая всему человечеству обнадеживающую перспективу окончательного освобождения от всякого угнетения, установления всеобщего мира на нашей планете...

Наступила очередь докладчиков.

У Авинери, по крайней мере, можно было обнаружить разветвленную «мифологическую» концепцию, хотя, бесспорно, и не новую, но дающую возможность полемизировать с ней. В докладе же Каннингэма скорее преобладали антимарксистские «эмоции».

Итак, Авинери принялся тщательно развивать свои идеи. Обратимся к конспекту: «...марксизм — это гениальная теория XIX века, XX век она объяснить не может. Суть марксизма заключена в 11-м тезисе о Фейербахе, где утверждается социально-преобразующая роль философии и философов. Однако именно в этом пункте марксизм не оправдал себя. Сознание рабочего класса XX века лишено «философского измерения»... Маркс фактически не интересовался культурой неевропейских стран и потому был европоцентристом, распространяющим на весь остальной мир модели «викторианской» Европы... Реальности нашей эпохи шире и глубже марксистских положений... Человек, по Марксу, сознательный созидатель жизни. Но эта рациональная, созидательная деятельность человека привела к жестокому экономическому кризису и другим тупикам цивилизации и культуры... Источники марксизма, с одной стороны, в секуляризированной версии христианского поиска спасения, с другой стороны — в вере Просвещения XVIII века в исторический прогресс и человеческое совершенствование...»

Отвечая «критикам» марксизма, глава советской делегации член-корреспондент АН СССР Г. Л. Смирнов отметил, что становление социализма — это суровая история борьбы за выживание, история поиска, но вместе с тем история невиданного творчества и энтузиазма масс. В итоге социализм становится совершеннее, а марксизм — мудрее. Иначе говоря, марксизм в ходе исторических преобразований сам изменяется. При этом весьма важны два обстоятельства. П е р в о е — философия марксизма формировалась как выражение интересов рабочего класса, как учение о неизбежном переходе общества к социализму. В т о р о е — реальный социализм выявил гигантскую жизнеспособность, и без учета его влияния не может рассматриваться теперь ни один сколько-нибудь значительный вопрос международного развития.

Что касается специфических «идей» Авинери, то позднее, оценивая их, Г. Л. Смирнов указал на очевидные противоречия интерпретации марксизма, данной Авинери, на ее несоответствие реальному положению дел в мире. Смысл учения Маркса состоит не только в том, что оно дало научное объяснение социально-экономической реальности века, но и в том, что марксизм научно обосновал социально-преобразующую миссию рабочего класса, создал теорию социалистической революции и указал путь к построению бесклассового общества. Разделять марксизм на дробные части, противопоставляя их друг другу,— бессмысленная попытка. Учение Маркса выковано из «одного куска стали». И тот огромный, постоянно расширяющийся авторитет, которым обладает марксизм в современную эпоху (об этом, в частности, свидетельствует и данный коллоквиум), говорит не только о дани уважения гениальному мыслителю прошлого, но и гениальному мыслителю настоящего и будущего. Если бы марксизм был только «теорией XIX века», то почему именно в наши дни к идейному наследию Маркса обращаются миллионы? Уже не одно десятилетие стремятся «ниспровергатели» марксизма убедить в его «кризисе» или же оградить «подлинного» Маркса от его «догматического» прочтения. Маркс был великим мыслителем и революционером. Он умел, если требовалось, пересматривать собственные выводы под углом зрения новых реальностей, запросов эпохи. Нет никаких оснований говорить об узости социально-исторического мышления великого ученого. Кто, как не Маркс, дал самую впечатляющую и научно неопровержимую диагностику капиталистического общества, его эволюции!..

Неправда, что Маркс будто бы был глух к национально-освободительной борьбе. Об этом свидетельствует, в частности, его внимание к итальянскому, венгерскому, немецкому «вопросам», к проявлениям национальных чувств и настроений. Некорректно говорить о нем и как о европоцентристе. Ни он, ни его сподвижник Энгельс никогда не считали, буд-

то развитие подлинных ценностей науки, искусства, литературы происходит только в Европе. Наоборот, они проявляли исключительный, обостренный интерес к мировой истории во всем ее многообразии. Разумеется, они полагали, что плоды духовной деятельности отдельных наций станут общим достоянием. Но взгляды классиков марксизма были универсальными и потому могут служить базой для критики как европоцентризма, так и концепций культурной исключительности отдельных народов или регионов мира.

И другие выступающие — Э. Хаан (ГДР), П. Митев (НРБ), Т. Фунг (Куба), Е. Марквит (США), Ю. Замошкин (СССР), Р. Фридерик (Канада), Д. Ермоленко (СССР), Г. Парсонс (США), К. Морадес (Колумбия)— единодушно подвергли критике основные положения докладов Авинери и Каннингэма, показав несостоятельность антимарксистского «неклассового» подхода к проблемам классового общества...

Конгресс стремительно проходит свой апогей. С десяти часов утра ежедневно идут пленарные заседания. Имена докладчиков известны, темы дискуссий определены и обозначены в программе. Это внушает участнику ощущение уверенности в том, что он находится на «главной дороге», узнает самое основное. После полудня все меняется. Конгресс растекается на многие десятки «ручейков» — одновременно заседают секции и семинары, «круглые столы» и специализированные философские общества. Как найти самое главное в этом изобилии информации? Какую-то помощь может оказать программка. Но, как выяснилось, названия секций были сформулированы приблизительно, часто речь шла о чем-то весьма отдаленно соответствовавшем первоначально объявленной теме. XVII Всемирный конгресс оказался, по общему мнению, самым «бедным»— Всемирная федерация философских обществ до сих пор не может преодолеть финансовые затруднения, и это прямо сказалось на организации его работы и прежде всего на его информационном обеспечении. Впервые за несколько десятилетий оргкомитетом ни до, ни после конгресса не были изданы тексты выступлений. Так что вновь, как и в глубокой древности, на этом форуме философов торжествовала устная традиция.

После полуденного перерыва по фойе и комнатам Дворца конгрессов начинается «броуновское движение» философов. Посидев в одной аудитории десяток минут, участники перекочевывают в соседнюю: постоянно кажется, что самое главное происходит где-то в другом месте.

Советская делегация сделала все возможное, чтобы внести упорядоченность в сложившуюся ситуацию. Все члены делегации были закреплены за определенными семинарами и секциями. Во время перерывов и вечером проходили краткие «пресс-конференции», где каждый рассказывал о том, что услышал интересного за день. Часто нам помогали наши друзья из других делегаций.

Однажды во время дневного перерыва, когда ярко освещенное солнцем фойе «клубилось» сбивавшимися и таявшими группами оживленно беседующих делегатов, ко мне подошла миловидная молодая женщина в больших очках в металлической оправе. Присмотревшись к стандартной карточке участника конгресса, висевшей на лацкане моей куртки, она принялась перелистывать общий список выступающих с перечнем тем докладов. Наконец, что-то разыскав в нем, она, улыбнувшись, спросила:

— Если не ошибаюсь, ваша тема — одиночество как философское понятие?— И, не дождавшись ответа, представилась: — Корделия Шрамм. Я из Флориды. Преподаватель Флоридского университета в Майами. Еще вчера хотела поговорить с вами. Но здесь на конгрессе человека легче потерять, чем найти.

Доктор философии Корделия Шрамм всю свою жизнь в науке посвятила изучению проблемы человека в философии Фридриха Ницше. Корделия достает из папки ксерокопии. Я перелистываю их: «Ницше об одиночестве», «Одиночество в «Так говорил Заратустра», «Концепция политики у позднего Ницше»... Уже сами формулировки обращают на себя внимание, их не назовешь тривиальными. Позднее в гостинице, прочитав и сами доклады, я ничуть не разочаровался: в них чувствовалась зрелость мысли, некая фундаментальность видения философии рубежа веков.

Утром, нагнав Корделию на эскалаторе Дворца конгрессов, я поделился впечатлением о просмотренных работах и предложил написать на русском языке обзор ее статей и опубликовать в одном из советских философских журналов.

Сначала Корделия искренне обрадовалась. Но потом, помолчав и о чем-то подумав, смущенно заметила: «Прекрасная идея. Огромное спасибо. Но, понимаете ли, может быть, не сейчас. Чуть позднее. Через год-другой». И, снова помолчав, как бы решившись на что-то, добавила: «По правде говоря, мне предстоит избрание на должность профессора. А публикация в Москве... Конечно, формально в этом нет ничего страшного. Академический журнал... Ницше... Но вероятнее всего, это отрицательно скажется на избрании. Как ни заманчиво предложение, но рисковать я не в состоянии. Сейчас у нас найти работу преподавателя просто невозможно».

Конечно, духовное одиночество Фридриха Ницше достойно самого пристального историко-философского внимания. Примечательнее всего, однако, то, что интерес к проблеме одиночества не столь академичен, как может показаться. Тема отчуждения личности, столь характерно и решительно выраженная «доктором Фаустусом», пронизывает всю гуманистически ориентированную западную философию. И надо сказать, что это тот случай, когда дистанция от подлинной социальной реальности до ее отражения в

философском синтезе сокращается до минимума. Сама повседневная жизнь ставит перед философами и философией «проклятые вопросы», ни обойти, ни «снять» которые невозможно.

Одиночество... Где искать его корни? В чем видеть его самые яркие проявления? Быть может, в одиночестве открытом, явном, почти показном? В том, которое рассеяно по монреальским улицам и паркам, по ночному городу?

В Монреале, как и в других городах североамериканского континента, не надо углубляться в трущобные кварталы, чтобы обнаружить проявления «кризиса идентичности» (говоря наукообразным языком), тупиковую безысходность существования.

...На Кэтрин-стрит (монреальской копии нью-йоркского Бродвея) по вечерам раздаются тревожные и умирающие в бетонно-стеклянном поднебесье трели саксофона. Каждый день в семь после полудня саксофонист, бросив под ноги раскрытый футляр от инструмента, погружается в мир музыки. Этот мир — юдоль печали, его убежище, в котором он пытается скрыться от толпы, равнодушно обтекающей музыканта-профессионала. Нет, не грошовая милостыня влечет его на шумный перекресток. Своим искусством он бросает вызов толпе и той силе, которая превращает людей в толпу. Взор музыканта холодно и недвижно пронзает аморфную массу туристов и обывателей, разглядывающих «блаженного».

Глаза другого кричат. На той же Кэтрин-стрит он продает карандаши. Неведомый поводырь выкатывает его инвалидную коляску к прозрачным дверям вестибюля кинотеатра «Палас». «Купите карандаш! Купите карандаш!» И уже отчаявшись: «Я требую, купите карандаш!»

Или, быть может, это десятки молодых и не очень молодых людей, с раннего утра сидящих на парковых скамейках в сквере на площади Искусств. Первое, что обращает на себя внимание, не их одежда (более или менее приличная) и не утренняя бездеятельность, а словно тиражированные на чудовищной фабрике взгляды, устремленные в одну точку — нездешнюю, скрытую за горизонтом. По ночам они перекочевывают к витринам шикарных магазинов, закрывающихся в восемь-девять часов.

Постелив на мраморный парапет, обрамляющий витрину, толстую пачку газетной бумаги (скажем, той же «Пресс» со всеми ее девятью десятками страниц субботне-воскресного выпуска), они устраиваются на ночь, привалившись спиной к парапету и прижавшись щекой к толстому витринному стеклу. А утром ровно в семь тридцать франтоватые молодые продавцы, отомкнув двери магазина и отключив секретную сигнализацию, вежливо прогонят добровольных ночных «стражей». Да они и сами без напоминаний поднимаются и бредут куда-то. А продавцы в элегантных жилетках начинают до первозданного блеска надраивать специальными составами и зеркальные стекла, и мрамор, и медь, и даже часть тротуара перед магазином...

Несколько лет назад полосы канадских газет обошла невеселая история. В убогой квартире на дальней окраине Монреаля водопроводчики обнаружили тело давно умершей пожилой женщины. У нее не оказалось ни родственников, ни друзей. При жизни она никому не была нужна, и смерть ее никого не взволновала. Рядом с постелью лежала объемистая тетрадь-дневник, единственный «собеседник», которому женщина доверяла свои мысли. Впрочем, содержание большинства страниц исчерпывалось одной-единственной записью: «Снова никто не приходил». Эти же слова оказались и последними в тетради.

...По дороге из гостиницы во Дворец конгрессов я нагнал его на Дорчестер-стрит. Со спины было трудно определить возраст человека, но, судя по разбитой и усталой походке, явно под шестьдесят. Поношенный пиджак с чужого плеча, жокейская шапочка на голове, сбитые туристские ботинки. Заглядывая в мусорные ящики, он вылавливал оттуда объедки и складывал в синий пластиковый мешок куски гнилых бананов, недоеденные «гамбургеры», вафельные конусы от мороженого... В садике на Доминион-сквер он остановился и присел на скамейку. Рядом на газоне нежились под солнцем прилетевшие с реки святого Лаврентия чайки. Вобрав аккуратненькие головки в свои крылатые «плечи», они важно созерцали дневное течение жизни. Раскрыв мешок и вывалив его содержание на траву, он стал подзывать чаек. Не привыкшие к такой щедрости, они боязливо завертели головками, потом, немного осмелев, приблизились к благодетелю. Свое одиночество этот человек как бы делил с птицами... Другим не удается и это.

Вместе с канадскими философами-марксистами, активистами общества «Квебек—СССР» мы гуляем по вечернему городу. Собственно, до вечера еще далеко. Окна верхних этажей горят закатным огнем. Мягкий ровный свет растекается по измотанному августовской жарой Монреалю. В качестве гида выступает профессор философии Дэниел Голдстик.

В портовом районе сворачиваем на улицу Сен-Жермен. Некогда это была типичная портовая улица, поясняет Дэниел. Здесь жили портовые служащие, квалифицированные докеры, семьи моряков. Трех-четырехэтажные дома темно-красного кирпича прижались стеной к стене, образуя единый каменный барьер по обе стороны неширокой улицы. Цены на жилье в этом районе были умеренные, зато хозяева домов сполна добирали свое, заселяя каждый квадратный фут. Именно тогда им пришла в голову «счастливая» идея уничтожить все лестницы внутри домов и вынести чугунные марши на фасады. Экономия оказалась нешуточной. Так и жили поколения монреальских портовых служащих и

рабочих, в морозы, дождь и под палящим солнцем пробираясь по чугунным лестницам на свои верхотуры.

Но порт покинул эти места. Остались пирсы, массивно высится параллелепипед крупнейшего в Канаде элеватора, однако прежней шумной жизни нет и в помине. Она кипит в других районах порта. Опустела и улица Сен-Жермен. На долгие десятилетия. До тех пор, пока ее не присмотрели строительные компании, ориентирующиеся на «средний» и «верхний средний» классы. А заодно пришла мода на старину, на старые дома, старую технику, в том числе и на чугунные лестницы. Правда, после реконструкции домов появились и нормальные внутренние лестницы, но и старые никто не собирался спиливать автогеном, напротив, они повышали эстетический престиж улицы, придавая ей оттенок «ретро».

Теперь, правда, лестницы используют по-иному. На ступеньках, перилах и площадках навешены десятки ящиков с цветами, установлены кадки с садовыми деревцами, лестничные марши обвиты диким виноградом. В глубоких шезлонгах сидят владельцы квартир, наслаждаясь красотой дня. «Мы ее так и называем — «улица цветущих лестниц»,— говорит Дэниел Голдстик и добавляет:— Хотите верьте, хотите нет, но это одна из новых-старых достопримечательностей Монреаля».

Заходим в один из домов. Здесь живут знакомые Дэниела. И сразу же хозяева ведут нас на чугунную лестницу.

Мир прекрасен сквозь заросли пестрых и многоцветных петуний, гордых гладиолусов и каких-то иных, неведомых мне цветов. Их ароматы и буйство живых красок погружают в своего рода эйфорию, вытесняя из сознания, пусть и на считанные мгновения, окружающую реальность. Но только на мгновения. Сквозь цветущую стену, отгораживающую нас от внешнего мира, виден противоположный дом, такой же, как наш, и такая же «цветущая лестница». На ней за ящиками с растениями и цветами — человек, сидящий прямо на чугунной площадке. Опускаются сумерки. Ярко вспыхивают во мгле карминные «стоп-сигналы» бесшумно скользящих по улице машин. Человек отрешенно прислонился к кирпичной стене и, не отрываясь, глядит в темнеющее летнее небо. Глядит минуту, две, десять... Ему немало лет. Окна его квартиры не освещены. Там никого нет.

Поймав мой вопрошающий взгляд, хозяин охотно объясняет: «Он выходит на лестницу рано утром и так сидит до глубокой ночи. Хотя мы живем рядом несколько лет, я ни разу не видел эту лестницу без него. У него никого нет... За цветами смотрит фирма». И, проведя рукой по ковру своих петуний, добавляет с гордостью· «И за моими тоже»

Конгресс философов закрывается. С трибуны звучат торжественные речи во славу разума и культуры. Но если снять наушники и прислушаться, можно уловить иные звуки: скрежет металлических конструкций, стук молотков, повизгивание электродрелей. На нижнем этаже Дворца конгрессов монтируется гигантская выставка-шоу концерна «Рено». Она откроется завтра, сразу же после окончания конгресса. «Рено» безразлично, за что голосуют философы этажом выше. «Рено» интересуется только собой. Оно голосует за роскошь, философия «Рено»— сверхпотребление. А одиночество? Такие категории «Рено» во внимание не принимает.

2. Уединение или одиночество?

За пять лет до смерти, в 1946 году, один из виднейших современных западных философов Людвиг Витгенштейн сделал в своем дневнике, казалось бы, малозначительную запись, содержание которой едва ли логически вытекает из всего предшествующего наследия основателя аналитической философии. «В прежние времена,— писал он,— люди уходили в монастыри. Разве они были глупы и грубы? Но все-таки, если они прибегали к подобному средству, чтобы иметь силы жить дальше, то проблема не так проста»[6]. Проблема философского истолкования одиночества, «ухода», действительно весьма непроста. Об этом говорит хотя бы то, что ею «мучились» многие выдающиеся мыслители прошлого. Назовем среди них Диогена Синопского и Сенеку, Аврелия Августина и Блеза Паскаля, Жан-Жака Руссо и Людвига Фейербаха... Однако в этом ряду два философа сравнительно недалекого от нас XIX века могут занять особое место, ибо их концепции в немалой степени предвосхитили трактовки этого сложного и противоречивого феномена в современной буржуазной философии. Речь идет о Генри Дэвиде Торо и Сёрене Киркегоре.

4 июля 1845 года — в День независимости США — американский писатель и мыслитель Генри Торо покинул свой родной город Конкорд (штат Массачусетс) и обосновался истинным отшельником в собственноручно построенной хижине на берегу Уолденского озера, сведя до возможного минимума общение с внешним миром. Так начался прославившийся позднее, уже в XX веке, эксперимент добровольного трудового уединения, подробно изложенный и своеобразно философски обоснованный в книге Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», ставшей ныне классикой американской философии и литературы.

Здесь необходимо сделать пояснение. Рассматривая различные аспекты «ухода» из общества, и сам Торо, и его учитель, философ и писатель Ралф Уолдо Эмерсон, видели цель этого поступка в достижении у е д и н е н и я (solitude). Так названа автором одна из глав «Уолдена». Уединение — важнейшее понятие

[6] L. Wittgenstein. Culture and Value — Vermischte Bemerkungen. Ed. by G. H. von Wright, Oxford. 1980, p. 49.

и в сочинениях позднего Эмерсона, скажем, в сборнике эссе «Society and Solitude». Что касается о д и н о ч е с т в а (loneliness), то оно подразумевает не просто «уход», а устойчивое противостояние личности и общества. Излишне говорить, что далеко не всегда эти понятия взаимоисключают друг друга.

Как «философ-экспериментатор» Торо исходил из стремления доказать на практике неисчерпаемость духовных и физических возможностей личности, которая любыми средствами должна обрести свою независимость (отсюда и неслучайно выбранный день начала эксперимента) от мещанско-буржуазной среды, дабы раскрыть изначально заложенную в человеке духовно-эстетическую и нравственную гармоничность. Чуткий наблюдатель общественной жизни, Торо еще в годы отдаленного пролога грядущей капиталистической индустриализации улавливал дыхание приливных волн стандартизации, урбанизации и антиинтеллектуализации социальной жизни своей страны.

Мировоззрение Торо находилось как бы на пограничье идейных эпох. В нем можно было обнаружить реминисценции раннего буржуазного гуманизма с его оптимизмом и абсолютизацией «свободной личности». И одновременно с этим Торо вполне очевидно выражал дух своей эпохи — эпохи романтизма, отмеченной тяжким отрезвлением относительно возможной «разумности» и «гуманности» общественных отношений, оказавшихся на деле отношениями чисто буржуазными как в сфере материального производства, так и культуры. Поэтому принцип уединения в интерпретации Торо также был отмечен известной двойственностью, он обладал своеобразным «наступательно-оборонительным» характером.

С одной стороны, в нем отчетливо проявилась «наступательная» сторона теории self-reliance («доверия к себе», или, в ином варианте перевода, «опоры личности на свои силы»), разработанной Эмерсоном. Теория эта, корнями уходившая в мировоззренческие установки первых американских переселенцев XVII века, подчеркивала самодостаточность внутреннего мира личности и ее физических возможностей в противостоянии враждебному социальному окружению. Весьма явственные отзвуки этих идей нашли воплощение и в различного рода индивидуалистических экспериментах, предпринятых уже в XX веке.

Однако, с другой стороны, «оборонительность» уединения, соприкасавшегося с одиночеством, проистекала из романтического субъективизма и пессимизма Торо. Несмотря на то что философ мечтал о будущем строе — обществе гармоничных отношений, демократии и труда, мечты эти переплетались с «открытием» печальных истин (явление, в целом характерное для романтизма), скажем, той, что «одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближних». И «сколько ни шагай, это не помогает сближению двух душ. Чья близость более всего необходима нам? Уж конечно не близость самой большой толпы или станции, почты, трактира, молитвенного дома, школы, бакалейной лавки...»[7] Раскрытая и философски обоснованная, эта истина укрепила у Торо убеждение, что в «городе, полном отчаяния», равнодушие и потеря нравственных ориентиров, а также вынужденная обособленность людей становятся модусом всеобщего существования, порождаемым в конечном счете господством частной собственности.

Борьбой этих двух главных мотивов и была отмечена одиссея духа Генри Торо, видевшего в уединении способ преодоления нравственных противоречий личности, ощущающей неполноценность своей морали, но лишенной возможности что-либо сделать в условиях «коварного» города, истинного Молоха, перемалывающего судьбы и надежды.

Универсальное противоядие против нравственной деградации, порождаемой, согласно Торо, господством частной собственности и ростом капиталистических городов, виделось философу в мире девственной природы. Именно она превращает уединенную жизнь беглеца «с того берега» буржуазной цивилизации в исполненное радости постижение эстетической красоты мироздания и нравственной добродетели. «Сколько здоровья и радости,— писал Торо,— несет нам невинная и благодетельная Природа — солнце, ветер, дождь, лето и зима! И сколько в ней сочувствия к человеческому роду!.. Как же мне не ощущать своего родства с землей?»[8] Почти как лозунг или философское кредо прозвучали уже в XX веке слова Торо о том, что в «Дикой Природе заключено спасение всего Мира»[9]. Однако изоляция физическая предполагала и духовную, что предопределило его возвращение через два с лишним года в общество. За порогом уолденской хижины Торо ожидала сложная и бурная стремнина политических сражений за отмену рабства в США, неуклонно приближавшаяся Гражданская война между Севером и Югом. И Торо, по существу отказавшийся от философии уединения, встал, не задумываясь, на сторону народных масс, увидев нравственный идеал в борце за отмену рабства, легендарном Джоне Брауне, казненном плантаторами.

Идейная эволюция Торо была более сложной, нежели прямой переход от философии уединения к активной борьбе за демократию, но отметим один важный аспект, неизменно прослеживающийся и в дальнейшем. Уединение — будь то практическая жизненная позиция или философская концепция — рушится, не выдерживая столкновения с демократическими и революционными движениями, выдвигающими не только политические

[7] Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1979, с. 158.

[8] Там же, с. 90—91.

[9] H. D. Thoreau. The Writings. (Walden Edition), Boston-New York, 1906, vol. 5. p. 224.

цели, но создающими и воплощающими идеал гуманных и гармоничных межличностных отношений.

В то время, когда Торо обосновался на берегу Уолдена, в другой стране и на другом континенте, а по тогдашним понятиям на другом конце света, в далекой Дании создавалась иная своеобразная теория одиночества. Ее автор — Сёрен Киркегор — в силу несчастных коллизий своей судьбы шел к теоретической идее от вполне реальной жизненной ситуации — одиночество в самом центре многолюдного Копенгагена стало с ранних лет его неизменным спутником. Современный воспреемник мотивов философии Киркегора Мартин Бубер отмечал: «Это одиночество нельзя сравнить даже с одиночеством монаха, отшельника: у последнего отказ, по существу, происходит вначале, и хотя он вновь должен достигаться и совершаться, но он не является жизненной темой — а именно ею он является у Киркегора»[10]. Одиночество, по Киркегору,— это совершенно замкнутый мир внутреннего самосознания, мир, принципиально не размыкаемый никем и ничем, кроме бога. Непроницаемая сфера самопознания высвечивается трагическими всполохами «отчаяния» в то время, как устойчивая позиция «я» сводится к вечному молчанию.

В работе с характерным заглавием «Несчастнейший» Киркегор сравнивал людей с «одинокими птицами в ночном безмолвии, собравшимися один-единственный раз, дабы проникнуться назидательным зрелищем ничтожества жизни, медлительности дня и бесконечной длительности времени»[11].

О чем бы ни писал Киркегор — о перипетиях своих душевных терзаний, о библейских сюжетах, о Гегеле, которого он истово ненавидел,— во всем ощущается присутствие некоего круга мыслей, скорее даже мотивов, ставших относительно устойчивой основой мировосприятия датского философа. Выделить их — задача непростая, коль скоро речь идет о философе, принципиально не признававшем рациональное познание и провозгласившем субъективизм высшей целью иррационального и потому «истинного» знания. И все же эти мотивы неукоснительно проступают сквозь ткань текстов Киркегора. Мысль философа неизменно возвращается к темам «абсурдности» бытия, «отчаяния» как неизменного состояния сознания, «заброшенности» человека в мире, «страха» перед неотвратимым концом и т. д.

Всем своим творчеством Киркегор пытался доказать, что эти состояния сознания («экзистенциалы») выражают единственно подлинные черты бытия — а именно индивидуального человеческого бытия, ибо другого философ просто не желал рассматривать. Удивительно ли, что при этом замкнутость личности на своем внутреннем мире представлялась Киркегору важнейшим свойством «духовного человека», который «отличается от нас, людей, тем, что может выдержать изоляцию: он, как духовный человек, стоит выше настолько, насколько он может выдержать изоляцию. Мы, люди, напротив, всегда нуждаемся в других, погибаем, когда не уверены, что находимся в толпе, что мы одного мнения с толпой».

Вступив на путь субъективистского индивидуализма, философ стремится до конца пройти его. Именно поэтому всякая мысль о коллективном, или общественном, разрешении проблем нравственности претит ему и вызывает саркастическое неприятие. Преобразованию может быть подвергнуто только индивидуальное сознание, замкнутое в себе, и ничего более — так считает Киркегор. «Духовный человек», презревший одиночество, по сути дела призывает к исполненному отчаяния бунту на коленях. Хаотичный протест против «мерзостей жизни» имеет, согласно Киркегору, лишь один позитивный исход — обретение веры. Но веры нетрадиционной. Он начисто отрицает церковное христианство с его кричащими противоречиями и парадоксами теологии. Вера Киркегора находит реализацию в сугубо индивидуальной погруженности в иррационалистический образ бога, который единственно может стать собеседником затерянного в мире человека, размыкающим порочный круг одиночества. В сущности, главный тезис Киркегора сводится к формуле: верить в бога абсурдно, вера претит разуму и здравому смыслу, но именно поэтому и надо верить, ибо и сам мир абсурден.

«Духовный человек» Киркегора не стремится покинуть общество. Ему чужда сама мысль о робинзонаде, уединенности. В этом он просто не видит необходимости. Ведь «духовный человек» вовлечен в общество в качестве «постороннего». И подобная, можно сказать субстанциональная, «посторонность» оказывается важнейшей чертой мировоззрения Киркегора.

Такова исходная посылка, а впрочем, и итог иррационалистической трактовки одиночества, выдвинутой Киркегором и развитой его последователями в XX веке. Их совместными усилиями на ниве философии и художественного творчества возводится непреодолимая стена между внутренним миром человека и его общественным бытием, между субъектом и объектом и превыше всего ставится сфера индивидуальных переживаний.

Философские позиции Торо и Киркегора по-своему симптоматичны для буржуазного сознания как в его прошлом, так и настоящем. Оба мыслителя достаточно чутко и болезненно воспринимали нравственно-духовное отчуждение и одиночество, неизменно сопутствующие капиталистическому укладу жизни. Однако если Торо при всех его колебаниях, эскейпистских иллюзиях и вере в «нравственность» природы все же неизменно оставался верен идее демократии и народного суверенитета, которая как глубинный источник питала его мысль, то Кир-

[10] M. Buber. Das dialogische Prinzip. Heidelberg, 1965, S. 199.

[11] С. Киркегор. Несчастнейший. Северный сборник, кн. 4. СПб., 1908, с. 27.

кегор, последовательно отрицая всякую идею коллективности, превращал одиночество в закономерный и непреодолимый в рамках какого бы то ни было общества феномен.

3. Приговор: одиночество

Одиночество принадлежит к числу тех понятий, реальный жизненный смысл которых, казалось бы, отчетливо представляется даже обыденному сознанию, однако эта интуитивная ясность обманчива, ибо она скрывает сложное, подчас противоречивое философское содержание, как бы ускользающее от рационального описания.

Если уединение — важное условие жизни человека, позволяющее ему на время прервать стремительное движение в потоке бытия, остановиться, собраться с мыслями, оглядеться вокруг и посмотреть на самого себя (и в этом смысле оно продуктивно), то одиночество как жизненная позиция — наиболее фундаментальный антипод самим основам человеческого общежития, гуманным межличностным отношениям, в конечном счете самой сущности человека. Ведь недаром Аристотель афористично заметил, что человек вне общества — либо бог, либо зверь. Разумеется, центробежные силы, вырывающие личность из присущего ей социального контекста, обусловлены такими феноменами, как индивидуализм, эгоцентризм, изолированность, отчуждение и т. д., но в итоге все эти факторы, отражающие сложные процессы социального развития общества, приводят к единому результату — к устойчивому состоянию одиночества, связанному с переживанием личностью своей трагической «атомарности», затерянности, никчемности и заброшенности на безбрежных и теряющих для нее смысл просторах социума. В отличие от объективно возникшей изолированности, которая может субъективно и не восприниматься таковой, одиночество прежде всего фиксирует внутренний разлад человека с самим собой, сосредоточение на неполноценности своих отношений с миром «других» людей — иными словами, самоотчуждение.

Тяжкий недуг одиночества всепроникающ и многолик. «Многие люди,— отмечают авторы изданного в США объемистого научного сборника «Анатомия одиночества» социолог У. Снетдер и психолог Т. Джонсон,— испытывают наиболее мучительное состояние одиночества не в физической изолированности, а как раз в центре группы, в кругу семьи, и даже в обществе близких друзей»[12].

Одиночество — противное самой природе человека,— возникнув, становится опасной, весьма коварной болезнью, вызывающей одновременно сострадание и протест.

Бесправие, нищета, голод, угнетение — открытые враги человечества. Их проявления, как правило, очевидны, а потому и борьба с ними принимает характер мощных движений протеста, объединяющих людей, ставящих перед ними общие цели, возвышающих в человеке человеческое.

Иное дело — одиночество. Чаще всего оно не афиширует свое наступление на личность. Тем не менее «одиночество,— пишут У. Снетдер и Т. Джонсон,— становится всепроникающим явлением в нашем обществе. Ярко выраженное одиночество — это главная проблема как в аспекте личного, так и общественного духовного благополучия»[13]. Скрытно и последовательно оно вычленяет отдельную личность из единого организма общества, выдвигает перед ней цель, не совпадающую с объективными интересами общества и исторической необходимостью.

Открытые формы угнетения в буржуазном обществе приводят к возникновению широких масс «униженных и оскорбленных», лишенных доступа к средствам производства и распределению материальных благ, создаваемых их же собственным трудом, но сплоченных именно в силу своей униженности и оскорбленности, и потому эти условия и признаки возникновения одиночества венчаются «кризисом ожидания», утратой какой бы то ни было надежды, разочарованием в возможной перспективе, обрекают внутренний мир человека на опустошенность.

В наши дни одиночество находится словно под «увеличительным стеклом» западной социальной психологии. Достаточно сказать, что с 1932 по 1977 год было опубликовано свыше 200 научных работ различного теоретического «калибра» по проблемам одиночества, притом 92 процента из них — после 1960 года. Американские исследователи Л. Пепло и Д. Перлман отмечают, что при всем разнообразии современных трактовок этого социально-психологического феномена большинство ученых сходятся в признании трех «аксиом». Первое. Одиночество коренится в дефиците социальных связей личности. Второе. Одиночество представляет собой субъективное состояние, не всегда совпадающее с объективной социальной изолированностью. Третье. Состояние одиночества воспринимается личностью негативно и порождает страдание[14].

По мнению Янга, одиночество — это реакция индивида на отсутствие у него своеобразной внешней «опоры», в качестве которой выступают необходимые для него социальные связи. Другой современный психолог, Вейс, подчеркивает, что одиночество не выражается собственно состоянием физической изолированности, но оно показывает отсутствие у индивида особо необходимых ему специфических связей. Салливен видит в одиночестве крайне болезненное и всепроникающее состояние, связанное с со-

[12] The Anatomy of Loneliness. Ed. by J. Hartog. N. Y., 1980, p. 37.

[13] Ibid, p. 34.

[14] Loneliness. A sourcebook of current theory, research and therapy. Ed. by L. A. Pepleau and D. Perlman. N. Y., 1982, p. 3.

вершенно неадекватной реализацией стремления к интимности в межличностном общении. Иной подход осуществляют Дерлега и Маргулис. Они утверждают, что одиночество порождается отсутствием у человека нужного ему социального партнера, способного помочь личности достичь важных в опосредуемых обстоятельствах целей. Одиночество — это непрерывное ожидание подобных социальных контактов. В отличие от многих, Фландерс делает упор на позитивной стороне одиночества, которое в его интерпретации предстает в виде приспособительного механизма обратной связи, выводящей индивида из состояния стабильного стресса и дающей ему более широкое поле социальных контактов. Гордон определяет одиночество как чувство потери ранее предполагавшихся социальных связей. В этом контексте чувство кризисной утраты становится доминирующим. Лейдерман классифицирует одиночество как аффект, выражающий осознание индивидом его отстраненности от других и одновременно необходимости в них.

Подобных и иных характеристик одиночества можно привести довольно много. Между тем, сколь бы ни были сходны или различны трактовки одиночества, их авторам присуще общее стремление: не выходя за рамки сугубо социально-психологической и психотерапевтической методологии, найти некую «золотую» пропорцию субъективного и общественного в личности, ее внутренней и внешней ориентации, стремления к уединению и желания «быть на людях», делить с ними свою радость и горе. Эта «золотая» пропорция и должна, по идее, раз и навсегда решить проблему одиночества, позволяя человеку оставаться самим собою и в себе самом и вместе с тем избегать губительной изоляции от мира «других».

Но достижима ли эта цель? Исходя из приведенных посылок, едва ли. Ибо социальная психология личности, взятая в отрыве от общего контекста общественных отношений, теряет под собой почву, превращается в набор диагнозов и рецептов, ни на что, в сущности, не влияющих.

Буржуазная личность — а именно на Западе в рамках существующего строя одиночество приобрело хронически неизлечимую форму — утрачивает свою сопричастность творческому созиданию и освоению нравственных ценностей. Иными словами, она перестает ощущать себя субъектом морали, ибо этические нормы «конструируются» в надличностной сфере, в качестве которой выступают и средства массовой информации, и коммерческое искусство, и жестоко сформированное общественное мнение. Моральное сознание, таким образом, распадается на сферу «неподлинного» бытия, то есть связанного с регламентированными буржуазным обществом нормами и целями, и сферу бытия «подлинного» — субъективно-интимного.

Погружение человека в микрокосм так называемого «подлинного» бытия выстраивает между личностью и внешним миром невидимую для стороннего наблюдателя, но труднопреодолимую стену одиночества. При этом с неумолимой неизбежностью нравственное сознание «других» людей, само их существование теряет для такой личности самодовлеющую ценность и превращается в некую иллюзорную реальность либо индифферентную, либо, более того, враждебную по отношению к субъекту.

В итоге невосполнимый урон несет такой поистине бесценный феномен межличностного общения, как взаимопонимание, духовно объединяющее людей, сообщающее их отношениям теплоту, то, что принято подразумевать под человечностью. Взаимопонимание в широком смысле, состоящее в чутком осознании личностью черт сходства и неизбежных, вполне естественных черт индивидуальных различий, характеризуется, в первую очередь, обращенностью во вне внутренних ценностных ориентаций субъекта, его стремлением понять другого человека, глубоко коренящейся в «душе» потребностью узнать его судьбу, мысли, стремления. Еще Л. Фейербах отмечал, что «отдельный человек, *как нечто обособленное*, не заключает *человеческой* сущности в *себе ни как* в существе *моральном*, ни как в *мыслящем*. Человеческая *сущность* налицо только в общении, *в единстве человека с человеком*...»[15] Разумеется, утрата взаимопонимания не бывает полной — в противном случае общественная жизнь вообще бы распадалась как таковая. Но его «остаточные» формы, лишенные возвышенных гуманистических ориентиров, концентрируются по преимуществу в сфере утилитарно-рационалистической. «Другой» человек оказывается носителем лишь сугубо «функциональных» ценностей, а потому и желание понять его никогда не идет дальше примитивной потребности обнаружить в нем лишь возможную полезность. Категорический императив И. Канта приобретает звучание, прямо противоположное первоначальному: человек и человечество уже выступают не в качестве цели, а только лишь в качестве средства.

Одиночество логически аккумулирует в себе кризис межличностных коммуникаций и взаимопонимания. В этой связи нельзя не привести слова К. Маркса о том, что видимая независимость индивидов друг от друга, «свобода» их взаимоотношений, которой так гордится буржуазная демократия, «есть только иллюзия и ее правильнее было бы называть безразличием в смысле индифферентности»[16]. В свою очередь подобная повсеместная «индифферентность» (а по существу и одиночество) проистекают из «всеобщего отношения полезности и годности для употребления»[17], выражающего суть межличностных отношений при капитализме.

---

[15] Л. Фейербах. Избранные философские произведения, т. 1. М., 1955, с. 204.
[16] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. 1, с. 107.
[17] Там же, с. 106.

Поиски «нового» гуманизма, стремление найти «подлинное» общение в мире людей, доведенных до последней степени отчаяния жестоким отчуждением и одиночеством, стали на Западе наших дней своеобразным знамением времени. Однако индивидуалистические социально-психологические традиции, имеющие в современном буржуазном обществе давние устойчивые корни, накладывают неизгладимый отпечаток на все осуществляющиеся «эксперименты» и «начинания», не порывающие начисто с существующими принципами буржуазного общественного устройства.

«Неоромантическое» сознание выдвигает идею «коммуны» — объединения «родственных душ», «выпавших» (dropped out) из общества.

Американский социолог Б. Заблоцки «пророчески» провозглашает, что «коммуна — это всеохватная идея, чей час настал»[18]. В серии статей американский ученый-политолог и футуролог Джером Гленн рассказывает о трех различных по своей направленности, но единых в своей «неоромантической» философской основе утопических экспериментах. Их организаторы отказываются признать правомочность каких-либо радикальных изменений структуры современного буржуазного общества. Они живут в контексте сознательно внедряемого иллюзорного идеала «прекрасного» будущего, достижимого на основе абстрактной гуманистической деятельности. Причем этот идеал (а равно и попытки его воплощения, о которых рассказывает Гленн) сочетает в себе близость общины (коммуны) к природе, использование ею новейших инженерно-технологических достижений и насаждение «интегральной» религиозности. Все общины представляют собой образцы объединений харизматического типа, то есть созданных волей одного человека, одержимого мистико-религиозной идеей спасения человечества от гибели и создания «Царства истины» на Земле. Историк У. Ирвин — один из идеологов этого движения — пишет: «...Ауровиль (название экспериментальной общины.— Н.П.) — это центр акселерированной эволюции. Да, все эти планетарные деревни — Аркозанти, Ауровиль, Файндрхорн — представляют собой эволюционные гнезда, в которых мутируются субпопуляции. Зародившаяся в них новая жизнь просачивается в окружающую среду, постепенно создавая экологическую нишу будущего. Сообщаясь с большим миром, эти ниши вызывают в нем экологические всплески, становясь трамплином для прыжка в новое время»[19]. Каждый рабочий день в «планетарной коммуне», каждое событие в жизни общины начинается с мистического ритуала «поиска общения». Это — «атьюнемация» (attunement) — настройка, установление гармонии, обретение группового согласия. Сотни жителей «деревни» — мужчины, женщины, дети, старики, представители многих этнических групп, закрыв глаза и соединив руки, сосредоточенно прислушиваются к «ритму» биения «коллективного сердца» до тех пор, пока не ощутят в себе «звучание» единой ноты. «Атьюнемация» стала главным организационным принципом всей жизни экспериментальной общины «любви и контактов».

Десятки сотен сходных по целям общин существуют в развитых капиталистических странах. Принципы устройства экспериментальных коммун, а равно и формы участия в них могут быть различными, но сама идея «коллективности», положенная в их основу и призванная стать действенной альтернативой отчуждению и одиночеству человека в современном капиталистическом мире, сохраняет относительную устойчивость. Идея эта, несмотря на провозглашаемый ее пропагандистами гуманизм, по сути оказывается превращенной формой тех норм буржуазной морали и общественного устройства, от которых «общинники» недавно бежали сами. Эгоизм буржуазной личности трансформируется в этих экспериментах в «коллективный эгоизм» замкнутой группы, стремящейся создать утопическую робинзонаду в стремнине всепроникающей общественной жизни нашего века.

Об этом, в частности, весьма красноречиво свидетельствуют данные самих же западных социологов. Так, в детальном исследовании принципов устройства и жизни молодежных религиозных общин, входящих в так называемое «иисусово движение» (насчитывавшее в период своего расцвета, в середине 70-х годов, около 3 миллионов человек), Дж. Ричардсон, М. Стюарт и Р. Симмондс отмечают, что отчуждение личности как таковое в общине не преодолевается: «Все материалы (социологических исследований. — Н. П.) говорят о том, что члены этой общины (христианская общинная организация. — Н. П.) испытывали отчуждение... Философия, принятая общиной и подразумевавшая неучастие в жизни общества и одновременно принятие этого общества, сочеталась с молчаливым одобрением основных структур общественной жизни. Такая философия была с готовностью воспринята участниками движения. Они в большинстве своем миролюбивые, кроткие, доброрасположенные, не задающие вопросов люди, и они испытывают отчуждение...»[20].

Неполноценность общения, порождаемая «отчужденной жизнью» (К. Маркс), требует от буржуазных философов и

[18] B. Zablocki. The Joyful Community. An account of the Bruderhof, a communal movement now in its third generation. Chicago and London, 1980, p. 16.

[19] «Futurist», Washington, 1980, vol. 14, № 5, p. 43.

[20] G. T. Richardson. M. W. Stewart, R. B. Simmonds. Organized Miracles. A Study of Contemporary Youth, Communal, Fundamentalist Organizations. New Brunswick, 1979, p. 224.

культурологов «убедительного» обоснования этой неполноценности. Потеря коренных связей с миром провозглашается особым видом «наиболее глубокой» связи с ним.

Так, например, современный американский философ, «гуманистический радикал» Иван Иллич воспевает язык молчания. В частности, он пишет: «Объективное изучение способов передачи значений показало, что гораздо больше передается от одного человека к другому посредством молчания, чем словами... Грамматика молчания — искусство более сложное для изучения, чем грамматика звуков... Человек, который показывает нам, что он понимает ритм нашего молчания, много ближе нам, чем тот, кто думает, что он знает, как говорить»[21]. «Красноречивость молчания», провозглашенная Илличем, абсолютизирует невербальные формы общения, наделяя их особым символическим смыслом. Эта же мысль прослеживается и в статьях, помещенных в сборнике «Познавая межкультурное общение»[22]. Однако философия «пустоты», какие бы аргументы ни выдвигались в ее обоснование, разъединяет людей, превращая их в самодовлеющие мирки субъективности, между которыми нет сущностных связей.

И все же философия пустоты и одиночества продолжает оставаться навязчивой темой буржуазной культуры. Американский эстетик К. Вудвард создает целую цепь далеко идущих рассуждений, исходным пунктом которых служит известное произведение композитора Джона Кейджа «4 минуты 33 секунды», представляющее собой соответствующее по длительности... гробовое молчание симфонического оркестра полного состава.

Эстетика пустоты, молчания, небытия — предмет оживленных дискуссий в современной буржуазной философии искусства, имеющей прямое отношение к области философии коммуникации. Искусство, отказывающееся от формы, стремится к полному освобождению от власти «техники» и ее материальных носителей, якобы неизбежно встающих преградой на пути полного самораскрытия творческого «я» художника. При этом подразумевается, что возникающее в результате искусство без формы устанавливает особый уровень межличностного общения — «коммуникации», столь желанный для отчужденных друг от друга людей. К. Вудвард, исследуя в своей статье, озаглавленной «Искусство и техника искусства: Джон Кейдж, электроника и улучшение мира»[23], эстетику Джона Кейджа, стремится всесторонне обосновать иррационализм современного модернизма, пытаясь при этом облагородить его пространными рассуждениями об антиобывательской направленности «философии молчания». Однако следует иметь в виду, что понятие «антиобывательский» в словаре модернистов нередко употребляется как синоним антиматериальности. Таким образом, обывательскому образу жизни и мышления противопоставляется еще больший спиритуалистический идеализм, ведущий в глубины «экстрарационального общения», презирающий все материальное как таковое и не нарушающий, а усугубляющий затерянность человека в мире.

Мотивы философии одиночества пронизывают современное видение человека и межличностных отношений, рожденное в контексте западной культуры наших дней. Речь идет не только о собственно философской рефлексии в узком смысле слова, но и о широком распространении устойчивых мотивов одиночества во всей современной западной культуре.

«Для художника драма одиночества представляет собой эпизод трагедии, в которой мы все играем и представление которой заканчивается только с нашим уходом в вечность»,— пишет известный французский кинорежиссер Жан Ренуар[24]. Именно искусство с его повышенной восприимчивостью к социально-этическим и психологическим проблемам остро реагирует на влияние индивидуалистической философской позиции, умерщвляющей гуманистические ценности и приводящей художника к драме абсурда и одиночества. «Одиночество — это столь же богатая, сколь и несуществующая тема,— продолжает Жан Ренуар.— Ведь одиночество — это пустота, населенная призраками, которые приходят из нашего прошлого»[25]. «Призрачное» прошлое исподволь, но властно начинает формировать видение настоящего, причем в качестве отчужденной реальности. Эта иллюзорная реальность превращается в доминанту развития творческой индивидуальности художника. Воистину «мертвый тащит живого».

Современное буржуазное искусство далеко не однородно по своей идейной умонастроенности — в нем существуют и, более того, конфликтуют различные веяния и тенденции. Открытый и воинственный антигуманизм, пессимизм, упадничество порождают в рамках самого западного искусства реакцию страстного неприятия «заката» личности и культуры. Подобная гуманистическая умонастроенность определенной части современной интеллигенции, отказывающейся покорно принять гибель человека, задавленного одиночеством, находит свое выражение в эстетическом кредо некоторых современных писателей.

Характерным в этом отношении стал съезд американских писателей, состоявшийся в октябре 1981 года. Согласим-

[21] I. Illich. Celebration of Awareness. Harmondsworth. 1973. p. 41—42.

[22] L. A. Samovar, R. E. Porter, N. C. Jain. Understanding intercultural Communication. Belmont, 1981.

[23] The Myths of Information: Technology and Postindustrial Society. London-Henly, 1980.

[24] Ж. Ренуар. Моя жизнь и мои фильмы. М., 1981, с. 195.

[25] Там же.

ся: говоря о социально-психологическом климате страны, едва ли можно найти более чуткий «индикатор», чем писательская аудитория, которая в том или ином виде улавливает и выражает глубинные настроения и духовные веяния различных слоев общества.

Основной доклад на съезде сделала талантливая негритянская писательница Тони Моррисон. Смысл ее страстного публицистического призыва, обращенного к трехтысячному форуму литераторов, состоял в том, что необходимость объединения писателей США вызвана не только потребностью совместных действий перед лицом книгопечатающей индустрии, но и поисками человеческих контактов в профессиональной среде, разрываемой индивидуалистическими силами, наполненной выстраданным одиночеством. «Мы так убеждены, что знание рождено страданием, что начинаем верить: знание есть страдание. Лично я в этом не уверена...— говорила Тони Моррисон. — Но страдание уже стало частью того, что мы определяем как совершенство, высшее достижение. Как дорог нам этот образ: бесконечно одинокий писатель-индивидуалист, отчужденная личность. Но этот образ поистине таит в себе роковую опасность. Ибо если мы полностью примем его, то так и останемся одинокими, слабыми, разобщенными, уязвимыми. Наша работа особого рода. Необходимое нам уединение может обратиться против нас: так нам легче смириться со своим одиночеством»[26]. Еще и еще раз Тони Моррисон повторяла, что страдание не делает книгу Книгой. «Оно насилует душу и оскорбляет творчество. ...Одиночество, соперничество и горе — неизбежный удел писателей только в том случае, если нет организации, куда бы он мог обратиться за помощью».

Оставим без комментариев несколько идиллическое упование Тони Моррисон на организацию писателей, которая способна решить главные проблемы писательского творчества в США. Отметим главное: неуклонное желание разрушить сферу изолированности и одиночества, окружающую жизнь художника.

Сходные мысли, облеченные в более определенную политическую форму, высказала на съезде другая американская писательница, Марта Тейт: «Мы не можем, как прежде, оставаться аполитичными индивидуалистами, отчужденными друг от друга писателями, склонившимися над своими машинками и с отвращением взирающими на мир. Многое в этом мире вызывает отвращение, и многое предстоит изменить. Если мы хотим создавать литературу, мы должны покончить с гонкой вооружений, мы должны способствовать переменам в мире» [27].

Самореализация заложенных в каждом человеке социальных возможностей, взятая в аспекте межличностных отношений, сводится к важной альтернативе: подлинный коллектив, мобилизующий человека на борьбу за лучшее в себе и в обществе, либо одиночество — в том или ином виде,— приводящее к устойчивой и бесперспективной неудовлетворенности «миром», «судьбой» и завершающееся разрушением личности. В качестве антипода этой второй альтернативе марксизм провозглашает и реализует на практике принцип, согласно которому «только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков, и, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода»[28].

И в этом смысле знаменитое положение «Манифеста Коммунистической партии» о том, что в грядущем бесклассовом обществе свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех, подразумевает окончательное устранение каких бы то ни было причин духовно-нравственного одиночества личности, органично включающейся в свободный коллектив свободных тружеников.

«В пределах коммунистического общества — единственного общества, где самобытное и свободное развитие индивидов перестает быть фразой,— это развитие обусловливается именно связью индивидов, связью, заключающейся отчасти в экономических предпосылках, отчасти в необходимой солидарности свободного развития всех и, наконец, в универсальном характере деятельности индивидов на основе имеющихся производительных сил»[29]. Так звучит один из фундаментальных тезисов марксистской философии человека, обосновывающей необходимость кардинальной перестройки межличностных отношений на базе революционного переустройства всего общественного уклада. Важнейшая черта марксистского понимания человека состоит в требовании создать необходимые социальные условия для всестороннего гармоничного развития личности, формирования свободного, просвещенного и эмансипированного человека. Эта последовательная философская позиция становится альтернативой отчуждению, изоляции, одиночеству, свойственным буржуазному образу жизни и теоретическому обоснованию этого феномена в немарксистской философской культуре.

[26] «Nation», October 24, 1981.

[27] «Daily World», November 12, 1981.

[28] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 75.

[29] Там же, с. 441.

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ПОКУШЕНИЕ НА РЕЙНХАРДА ГЕЙДРИХА

Свидетельства, факты, документы

Монтаж по книге

ЧАСТЬ II

Дорога

Позавтракав, он потянулся и встал. Длинный, тощий, выступающие скулы. Глубоко сидящие глаза казались косыми из-за прищуренных век. Газеты он прочел еще до завтрака; их доставляли из Праги по утрам.

Он подошел к окну. Перед входом в замок уже стоял большой темный «мерседес-бенц». «Клейн точен»,— подумал он и посмотрел на ручные часы. Они показывали начало десятого.

Клейн, его шофер в форме обершарфюрера СС, стоял наготове у машины. Ничего, подождет. Нужно еще раз проверить документы и попрощаться.

Гейдрих прошел в кабинет и сложил бумаги в портфель.

Ему давно пора быть в Граде.

Гейдрих взял портфель и холодным голосом спросил у заглянувшей в дверь дочери:

— Где вы были?

— Во дворе. Герберт нас учил заряжать пистолет...

Он взял дочь за руку, и они вышли из комнаты.

— Где мама?

— Ждет тебя внизу.

Гейдрих поискал взглядом жену. Она стояла в парке и рассматривала огромный ясень.

— Эти деревья здесь не нужны. Мы их спилим!

— Я уезжаю. Чем тебе не нравятся деревья?

— Посадим фруктовые. А эти продадим...

— Оставь их, мало тебе других забот... Мне пора.

Адъютант Гербер Вагниц вышел из домика охраны перемолвиться о чем-то с шофером. Тихо шурша шинами, подъехал второй автомобиль.

Сейчас протектор уедет. А пока он еще прохаживается по газону перед замком. Клейну жарко. Сверкающий «мерседес» ждет. Часы над балюстрадой пробили десять. Обычно в это время он уже давно в пути. Или даже в Граде. Семья Гейдриха возвращается. Последние указания, потом поцелуи.

Ворота раскрыты настежь.

— Все готово?

Обершарфюрер СС Клейн, выпятив грудь, щелкает каблуками. Гейдрих садится рядом с шофером и кивком головы дает ему знак. Клейн включает газ, машина плавно трогается. Часовой берет на караул. Крутой поворот налево, и они выезжают на дорогу.

Гейдрих кладет портфель на колени.

Дорога пересекает деревню, взбирается на холм, поворот, прямой участок, опять поворот, мелькает небольшая роща.

Шум листвы напоминает тихую музыку. Пахнет сыростью и весной.

Светлая зелень деревьев, ярко-желтые цветы вдоль обочин.

За рощей раскинулось открытое поле. Клейн молчал и внимательно следил за дорогой. У Гейдриха тоже не было желания разговаривать. Он взглянул на отцветающие уже деревья, затем открыл портфель и стал перебирать документы.

Вот они повернули на шоссе, здесь ехать было легче. На дороге нигде ни души, лишь перед домиками кое-где копошились старики, да и те, едва завидев темную машину, спешили скрыться в домах.

— Опаздываем.

Окончание. Начало см. в № 5.

Клейн кивает.

— Когда будем в Граде?

— Примерно в 10.50, герр обергруппенфюрер.

— Прибавьте скорость.

Он любил быструю езду.

Стволы деревьев сливаются в серую полосу, листва — в зеленую, сияет яркая голубизна неба. Стрелка часов показывает 10 часов 15 минут.

— Я сказал — прибавьте скорость.— Голос звучит резко.

Клейн кивает. Клейн всегда послушно кивает. Мелькают уже неразличимые дорожные указатели.

Протектор едет.

Ему 38 лет, он в зените власти. Ему 38 лет, и люди трепещут при звуке его имени... Дома выстроились вдоль шоссе, сады играют веселыми красками. Впереди клубы дыма вздымаются над котловиной, в которой лежит Прага.

Машину трясет на брусчатке мостовой.

Сегодня его машина несется по ней, вероятно, в последний раз. Фюрер намекнул, что намерен послать его в другое место, может быть во Францию. Что ж, он и там наведет порядок. Сегодня днем он уже точно будет знать об этом... Клейну дорога знакома до мелочей, еще немного — и она круто повернет вправо. Перед поворотом надо притормозить... Глянув на спидометр, он понемногу убирает ногу с газа. Обогнали трамвай, впереди маячит автомобиль, и больше нигде никого и ничего. Только у дерева стоит парень, почесывается и пускает маленьким зеркальцем солнечных зайчиков. «И мы так развлекались, когда были мальчишками,— вспоминает Клейн,— направляли их девочкам в глаза и хохотали, когда те визжали».

Вот и поворот.

На повороте, подъезжая к остановке, зазвенел встречный трамвай. Из трамвая вышло несколько человек. Какая-то женщина хотела было перейти улицу, но, завидев машину Гейдриха, остановилась посредине. Трамвай потихоньку трогается с остановки и едет вверх. Клейн снова сбавляет газ, поворот плохо просматривается.

Чудный майский день. В садах цветет сирень, перед домом слева красивые яркие клумбы.

Клейн замечает справа на тротуаре мужчин, один из них вдруг пересекает дорогу.

— Черт возьми,— сердится Клейн,— раньше ты не мог сообразить?— И тормозит, сигналя. Гейдрих сердито смотрит на него, и вдруг случилось то, чего никто из них никак не принимал в расчет,— кто-то спрыгивает с тротуара на мостовую. Машина на повороте. Мужчина распахивает плащ. Мороз пробегает по коже Гейдриха. В руках у мужчины автомат. Клейн судорожно сжимает руль. Эх, почему ему не прикажут, что нужно делать: нажать на тормоз или ехать прямо на парня. Проходит доля секунды. Клейн бросает машину на тротуар. Парень целится. Гейдрих совершенно отчетливо видит, что дуло направлено на него.

Покушение?

Пахнет сирень, Клейн идиотски разинул рот. Десять часов тридцать одна минута, может быть тридцать две. Кто теперь считает время на минуты, если жизнь отсчитывает секунды, а дуло направлено прямо в грудь!

Габчик нажал спусковой крючок.

Поворот

Выйдя в то раннее утро из дома, они сразу заторопились.

Небо будто вымыто — ни облачка. У дейвицкого шлагбаума они сели в трамвай. Люди спешили на работу, некоторые читали газеты. Ян сел в углу, а Йозеф — напротив. Они не разговаривали, заранее зная, что будут делать в этот день, они знали каждый свой шаг. Портфели держали в руках. Йозеф аккуратно положил свернутый плащ на колени.

Трамвай еле тащился. Ян посмотрел на часы. До Жижкова далеко, надо пересечь весь город. Наконец они в гараже. Взяв у пана Янечка велосипеды, они прощаются с хозяином. «Что будете сегодня ремонтировать?» Янечек хорошо знает ребят, иногда он беседует с ними о машинах, но сегодня они спешат.

Из Жижкова едут на велосипедах, как будто на работу. Портфели висят на руле. В одном — бомбы, в другом — складной английский автомат, прикрытый сверху травой на случай проверки.

Не доезжая одной остановки до поворота в Кобылисах, оба соскакивают с велосипедов. Здесь их ждет Вальчик.

— Что нового?

— Опалка уже наверху у поворота.

— А как дела у тебя?

— Вот зеркальце. Все как договорились. Буду стоять чуть выше, над вами.

Габчик кивнул. Вальчик уходит.

Поодаль контуры больницы.

Еще нет девяти.

Они снова садятся на велосипеды и едут к повороту.

Здесь перекресток: дорога из Паненске Бржежан идет под небольшой уклон и разветвляется — вправо вниз к Влтаве, куда ездит Гейдрих, и влево — в район Либень.

Гейдрих приедет сверху и на перекрестке повернет вправо. Поворот крутой. Вдоль забора растет кустарник, пушистые ветки слегка затеняют дорогу близ поворота.

Здесь Габчик и Кубиш наконец останавливаются. Один из них прислоняется к фонарю, другой вразвалку выходит на мостовую, чтобы заранее увидеть приближающиеся к повороту машины.

Они в двух метрах друг от друга. Перебросив плащ через руку, Габчик под его прикрытием осторожно собирает автомат, части которого лежали в портфеле. Он делает это ловко и быстро, не глядя... Трава мешает ему, путается между пальцами. И зачем он ее туда напихал? Ни к чему это было.

Кубиш держит портфель. Бомбы не понадобятся, они взяты на крайний случай, на Йозефа и его автомат можно положиться, но если...

Тысяча непредвиденных обстоятельств может помешать выполнению до мелочей разработанного плана.

Гейдрих может, например, ехать с сопровождением. Со второй машиной. Вторая машина — забота Кубиша. А вообще он здесь в резерве и немножко завидует Йо-

зефу. В глубине души он был бы рад поменяться с товарищем местами и держать сейчас под плащом автомат. Он знает, как бы он действовал. Стоял бы, прислонясь к фонарному столбу, а когда машина с двумя флажками, перечеркнутыми свастикой, доедет до поворота, он преградил бы ей путь и нажал на спуск. А пока он здесь всего лишь как подмога. Все это время он должен находиться здесь, и, может, совершенно напрасно.

Кубиш оглядывается: не слишком ли они обращают на себя внимание? Но никто даже не смотрит в их сторону.

Ожидание невыносимо!

Кубиш вытирает вспотевшее лицо.

Кубиш смотрит на Йозефа. В глазах вопрос. Габчик и сам знает, что Гейдриху давно пора проехать, но что поделаешь!

— Будем ждать, пока не приедет!

— А вдруг он поехал другой дорогой?

— Исключено. Его ждут в Граде, а оттуда он поедет на аэродром. Ступай на свое место...

Кубиш отходит в некоторой нерешительности, присаживается на низкий каменный цоколь и старается держаться как можно непринужденнее. Протарахтел пикапчик, развозящий товары по магазинам. Шофер весело подмигнул парням. К остановке трамвая подкатил четырнадцатый номер, затем — третий.

Все ли они учли? Если следом за Гейдрихом идет вторая машина — им обоим крышка! Главное, добежать до велосипедов, которые стоят вон там, неподалеку. А потом — знай крути педали. Йозеф классно стреляет. Пока учились, был лучшим стрелком. Он выдержанный и спокойный. От него в машине никто живым не уйдет. Кубиш оглянулся на Йозефа, тот стоял, подставив лицо солнцу, будто загорал.

Пикапчик проехал назад.

Одиннадцатый час. Как видно, сегодня его что-то задержало. Кубиш машинально отломил веточку, высунувшуюся между планками забора. За забором учреждение, какой-то институт. Он смотрит вверх по шоссе. Там Вальчик, привалившись к дереву, считает воробьев.

Томительное ожидание... Напротив на тротуаре стоит Опалка, делая вид, будто не знает их.

Кубиш осторожно засовывает руку в портфель. Бомбы на месте.

Понадобятся ли они? Вчера он тщательно проверил их. Габчик смазал автомат. Сейчас он держит его под плащом. Ладони вспотели, покрылось потом лицо. Десять часов двадцать минут. Опалка переходит улицу и подходит ближе к ним, Кубиш делает несколько шагов в сторону Йозефа.

— Ты чего?

— Ступай назад, к повороту, вдруг он как раз сейчас даст знак.

— А если он не поедет?

— Поедет. Должен ехать,— говорит Опалка.

Кубиш вздыхает и отходит. На нем темный в полоску костюм. Ему невыносимо жарко. Снова подходит трамвай, из него выходит несколько человек. Двое направились в институт, остальные повернули к больнице, она тут же, за углом.

Десять часов двадцать девять минут.

Кубиш смотрит на Вальчика, и... вдруг его словно ударяет током: Вальчик отпрянул от стены, в руке у него сверкнуло зеркальце. У Кубиша бешено заколотилось сердце. Спокойствие и еще раз спокойствие! Он поворачивается к Габчику и Опалке и негромко восклицает:

— Едет.

Губы Габчика трогает судорожная улыбка, он смотрит на плащ. Все в порядке. И тут он вспоминает о мелочи: у него в портфеле есть чужая кепка. Надо же — забыл надеть, чтобы прикрыть волосы. Теперь поздно. Кубиш стоит у фонарного столба. В эту минуту на повороте появляется машина... Кубиш напряженно всматривается: сопровождения нет, едет одна машина.

Габчик смотрит и кивает головой. Сейчас ему все равно. Он забыл о страхе, о томительных часах ожидания. Он сознает одно: машина приближается.

Наконец-то!

Со стороны моста, дребезжа, подходит трамвай. Вот незадача. Остановка рядом, сойдет много людей...

Раздумывать некогда. Опалка перебегает на другую сторону. Кубиш стоит, опершись о столб. Десять тридцать. Большой «мерседес» приближается, а в нем... Рядом с шофером сидит Гейдрих. Надменный Гейдрих с застывшим лицом и рыбьими глазами.

И тут на мостовую выскакивает Габчик, отбрасывает плащ в сторону, направляет автомат точно в рыбьи глаза. Он спокоен, уверен. Одна секунда, которая длится вечность.

Стреляй!..

Машина в двух-трех шагах от Габчика — шофер уставился на автомат, словно не понимая, что случится в следующее мгновение, он судорожно сжимает руль, но бежать некуда, и в этот момент Габчик нажимает на спуск.

Тишина...

«Мерседес» продолжает свой путь. Гейдрих, побледнев, хватается за пистолет на поясе, не сводя глаз с человека, словно бы застывшего в удивлении на мостовой с давшим осечку автоматом в руках. Теперь очередь за Кубишем.

Все происходит молниеносно: не глядя, сунул руку в портфель. Нащупывает знакомый предмет, снимает с предохранителя — и бросает бомбу...

Небольшой предмет птицей летит по воздуху. Очнувшись от оцепенения, Габчик отбрасывает бесполезное оружие и кидается наутек. В синем небе он видит летящую бомбу. Машина едет, не останавливаясь. Она уже на десять — пятнадцать шагов впереди, тут Гейдрих встает с сиденья и что-то кричит Клейну. Солнце светит, и никто еще ничего не знает.

Десять часов тридцать одна минута. Грохочет взрыв.

Покушение на имперского протектора Рейнхарда Гейдриха состоялось.

ЧАСТЬ III

Свидетельство первой женщины

Меня мучил ревматизм, и я ездила в больницу на Буловке на грязевые ванны.

Вот и 27 мая 1942 года я отправилась туда, мечтая занять очередь до одиннадцати, чтобы попасть до обеденного перерыва.

Еду я на третьем трамвае снизу, от Влтавы, стою на площадке.

В гору трамвай еле тащится, вот и моя остановка, тут мне пересаживаться на четырнадцатый, идущий до больницы.

Обхожу трамвай, чтоб перейти на другую сторону,— там за углом остановка четырнадцатого. Только сделала два-три шага по мостовой, как из-за поворота выскочила машина с флажками на крыле и повернула вниз. Я остановилась — пускай, думаю, проедет, из-за больных ног я не могла быстро ходить.

Стою я почти на середине мостовой и пережидаю. Когда она была метрах в десяти, шофер зыркнул на меня, а я вижу — на другой стороне улицы трое мужчин. Да, их было трое. Вдруг один из них как будто что-то вспомнил и побежал через мостовую ко мне, прямо перед носом у машины. Шоферу пришлось притормозить. Мужчина — затрудняюсь сказать, сколько ему было лет и как он выглядел,— перебежал и скрылся где-то у меня за спиной. Машина замедлила ход, и тут с тротуара на мостовую выскочил второй. он держал что-то в руках. Потом я узнала, что это был автомат. Все произошло очень быстро, в считанные секунды. И вдруг махнул рукой третий — и раздался страшный взрыв.

Повалил дым, мне запорошило глаза пылью и каким-то сеном, только это было не сено, а набивка из сиденья той машины.

Правое бедро пронзила резкая боль, по ноге потекла кровь. Из машины выскочил немец и начал стрелять по тем мужчинам, а второй немец тоже хотел стрелять, но он держался за спину, пошатнулся и не смог выстрелить. А первый немец помчался за мужчинами и стрелял на ходу. Они отстреливались, потом один из них вскочил на велосипед и покатил к Либени, а другой исчез за углом, откуда появилась машина. Я потихоньку дошла до тротуара и сама говорю себе: «Иди, не гляди по сторонам, в машине-то ведь были немцы». Доплелась я до остановки четырнадцатого, нога болела страшно, дождавшись своего трамвая, я кое-как вскарабкалась по ступенькам и поехала в больницу. Ванны мне никакой не делали, только противостолбнячный укол; рану промыли, перевязали и спросили, что случилось. Я ответила, что какие-то немцы стреляли. Отдохнула немного и поскорее вернулась домой.

А днем я узнала, что это было покушение на Гейдриха, и сильно испугалась, особенно потом, когда по радио объявили, что разыскивают женщину, которая была свидетельницей покушения и которую перевязывали в больнице на Буловке.

От осколка той бомбы у меня на всю жизнь остался шрам. Тогда рана сильно болела, и в трамвае кондукторша мне сказала: «Да что это с вами? Поглядите — лужа крови натекла». А это от осколка.

По радио снова передали, чтоб женщина, раненная при взрыве бомбы, явилась в гестапо. Я не шла, думала: может, пронесет. Где там! В понедельник, примерно в половине пятого утра, звонят в дверь. Открываю — на пороге стоят два гестаповца. Пошли, давай, и почему это я не явилась, раз объявляли, что меня ищут? В гестапо меня избили за то, что я, мол, была с теми мужчинами в сговоре. А я им на это, что у меня ревматизм и воспаление суставов, пускай справятся в карточке у доктора Пршеровского, к которому я ходила в больницу на Буловку, и что, значит, на тот день, 27 мая, я была записана на прием.

Они продержали меня в гестапо шесть дней, несколько раз допрашивали, но я твердила одно и то же. На шестой день меня отпустили, но велели дать подписку, что я буду молчать и никому никогда не скажу, о чем меня спрашивали, что со мной делали.

Я подписала, и меня выпустили.

Сегодня я уж больше ничего не помню: на тротуаре стояли трое мужчин, потом был взрыв, а на земле я увидела портфель, плащ и еще что-то.

Свидетельство угольщика

Ну, скажу я вам, это было утречко! У меня тогда была лавка. Я торговал брикетами, оставским углем, кладненским. Тащу это я в тот день свою тележку — и вдруг как жахнет!

Испугался я, чего говорить, сплюнул и смотрю, что там такое. А там, наверху, значит, у поворота, ехала машина, и какой-то малый бросил в нее гранату или еще что-то, уж не знаю. Второй хотел стрелять по ней, а у него вышла осечка. Женщина какая-то шла, да после взрыва убежала, а я стою и жду, что дальше будет.

Один из них — рраз — вскочил на велосипед и помчался в сторону Либени. Со лба у него кровь так и капала. Второй бросился за угол, а за ним Гейдрихов шофер. Палили они друг по дружке прямо как ковбои. Малый добег до перекрестка, а тут я стою, аккурат у тротуара. Надо думать, он не соображал, куда дальше податься, и увидел мясную лавку. А про лавку я вам вот что расскажу. Невидная такая лавчонка, вход в нее по ступенькам вниз. А хозяин ее — мясник Браунер, у него свояк какой-то в гестапо служил. Малый запыхался весь, лавку увидел — и шасть туда! Почем он знал, что мясник — за фашистов.

Браунер вышел из лавки, смотрит по сторонам, и тут же прибегает шофер Гейдриха, а за ним ломовик какой-то, может, шофер его прихватил по дороге, пригрозил пистолетом, чтоб он, значит, помог ему ловить. Браунер и показал им на лавку. Вон мол, где он.

И пошло! Шофер спрятался за столбом ограды и ну палить почем зря. А малый из лавки стрелял, он, видать, получше стрелок был, потому как шофер скоро схватился за ногу и упал. Он как увидел — который в лавке-то,— выскочил на улицу, растрепанный такой, и бегом в мою сторону, а за ним ломовик и Браунер, ему шофер свой пистолет дал, только мясник не знал, как из него стрелять. Парень промчался мимо меня, я аж присел, но заметил-таки, что он совсем молодой. Он пробежал мимо, свернул к виллам и исчез. Когда меня потом допрашивали в гестапо, говорили, почему, ты его не схватил. Так

он же с револьвером был, а я с пустыми руками, сказал я им.

Свидетельство второй женщины

Стоял прекрасный весенний день. Чистое голубое небо, деревья все распустились, пахнут цветы. Муж уехал на работу, а я взяла томик стихов и вышла позагорать в сад. Мы живем чуть ниже поворота, где произошло покушение.

Лежу, и что-то меня стало клонить ко сну. Солнышко пригревало, было так чудесно, что я забыла и о войне, и обо всех напастях.

Вдруг раздался сильный взрыв, и меня это сразу вернуло к действительности. Я вскочила и выбежала на улицу, но ничего не увидела — ни дыма, ни огня.

У поворота находился исследовательский институт, и первое, о чем я подумала — не случилось ли там какой-нибудь беды. Тут я вижу — от поворота бежит женщина с криком:

— Господи Иисусе, наш Гейдрих, наш Гейдрих...

Я спросила, что случилось, а она ответила, что совершено покушение и что он, наверно, убит. А соседка напротив сказала:

— Слава богу...

Назавтра ее арестовали вместе со всей семьей, а потом всех их казнили. За одобрение покушения. А донесла на них женщина, которая сама же нам все и рассказала, жена прежнего шофера Гейдриха, который жил в вилле по соседству.

Мимо не спеша шли люди, откуда-то сверху доносились выстрелы, но сам поворот от моего дома не виден. Внезапно из боковой улицы появился Габчик. Как вам его описать?.. Невысокий, глаза широко открыты, в вытянутой руке пистолет, развевающийся галстук. Он бежал, задыхаясь, и всем своим видом обращал на себя внимание. Понятно, тогда я не знала, кто он и причастен ли к покушению, но подумала, что он имеет к нему отношение. У него был такой дикий вид. Он выбежал из переулка, где находилась лавка мясника Браунера. Потом говорили, что там у Габчика была перестрелка с Клейном, шофером Гейдриха.

Габчик на миг задержался на углу — как мне показалось, не зная, куда податься,— всего две-три секунды. Он взглянул вверх и, наверно, только теперь сообразил, что находится совсем рядом с перекрестком, где произошло покушение, что он, убегая, сделал круг; тут он ринулся в обратном направлении, вниз, по трамвайным рельсам к Влтаве. Миновав трамвайную остановку и пивную, он исчез где-то в квартале вилл.

Все это произошло в течение нескольких минут. Затрудняюсь даже сказать, сколько времени прошло с момента, когда я вскочила с шезлонга, и до того, как Габчик исчез где-то среди садов.

Меня всю трясло от волнения, и тут уж было не до стихов. Утро так по-дурацки было испорчено, я не знала, куда себя деть. Вернувшись в дом, я стала названивать по телефону, чтобы хоть с кем-нибудь поделиться. До сих пор не могу понять, почему я позвонила своему сапожнику, который жил на Виноградах, то есть почти в другом конце города. Я лепетала что-то испуганно и бессвязно. Позже при встрече сапожник сказал мне, что я говорила как помешанная.

И вот еще что: в нашем доме жила женщина, наполовину немка. Сын ее служил в нацистской армии, сама она была с немцами заодно. Примерно через час или два после покушения, вернувшись домой, она рассказала, что находилась в обувном магазине «Батя» на Либени, как вдруг к дверям подъехал окровавленный человек. Оставив у входа велосипед, он тут же исчез. Она подождала, что будет дальше, и вскоре за велосипедом прибежала какая-то девочка. Тут явно есть какая-то связь с покушением, твердила немка из нашего дома и поспешила заявить об этом властям. На следующий день к ней пришли гестаповцы и снова расспрашивали ее об этом велосипеде и о девочке. К. Г. Франк выдал ей потом денежную премию и какую-то медаль.

Из ее показаний нацисты узнали, что Кубиш был в Либени, оставил возле магазина «Батя» велосипед, узнали и о девочке, которая забрала велосипед. Позднее они свезли девочек со всего Либеньского района на допрос во «Дворец Печека».

Свидетельство первого шофера

«Чтоб тебе провалиться...» — подумал я, но делать было нечего. Пришлось остановиться. Сбежалась целая толпа, у тротуара стоял темный «мерседес». Видно, авария. А та женщина, которая меня остановила, раздраженно сказала:

— Здесь совершили покушение...

— Покушение?

— Да, там господин протектор, отвезите его в больницу на Буловку.

— Я не могу, у меня груз.

— Так выкиньте его. И побыстрей! Он ранен...

Только этого мне не хватало. Больно мне надо отвозить Гейдриха! А не поеду — меня арестуют. Рядом со мной сидел грузчик. Он пожал плечами, и мы не спеша вылезли из машины. Пикап, на котором я ехал, был забит коробками конфет. Мы ведь во время войны из сахара и дрожжей гнали самогонку и, скажу я вам, очень крепкую. Торговец, снабжавший нас дрожжами, попросил меня в порядке одолжения отвезти эти коробки с конфетами. Ехали мы от Тройского моста вверх к району Кобылисы и по дороге попали в эту дурацкую историю.

— Нам некуда торопиться,— намекнул я грузчику, и он кивнул.

Открыв дверцы, мы принялись сгружать коробки. Вид у нас со стороны был как в замедленном фильме. Наискосок от меня стоял «мерседес» — и около кучка людей. Гейдрих стоял, опираясь о машину, весь бледный и держался за бок. Блондинка, которая меня остановила, вертелась вокруг него и все время что-то тараторила ему по-немецки, но он смотрел словно сквозь нее и не слушал. Тех, кто совершил покушение, я вовсе не видел. Они сразу же убежали. Я слышал, что разговор идет о

них. «Молодцы ребята,— подумал я,— так этому Гейдриху, сволочи, и надо».

Мы вытащили уже несколько коробок, когда подъехал малолитражный фургон «татра». Женщина остановила и ее. Машина была пустая, и она потребовала, чтоб «татра» отвезла Гейдриха, дело, мол, срочное.

«Ну,— подумал я,— слава богу, пронесло». Подмигнул я грузчику, мы засунули наши коробки с конфетами обратно и поскорее убрались прочь.

Свидетельство второго шофера

Мне тогда ужасно не повезло. Я работал шофером в транспортной конторе «Голан» примерно с 1941 года, а до этого — у меховщика Кршижа в районе Вышеграда. У «Голана» я занимался доставкой товаров, фургончик у меня был совсем махонький.

В тот день машину арендовала какая-то частная фирма, изготовлявшая мастику для паркета и гуталин. Я взял груз со склада, рядом со мной сел экспедитор фирмы, и мы тронулись.

Нам надо было развести груз в разные места Либени и Кобылис.

Помнится, сначала мы проехали перекресток, где потом все это произошло. Те ребята, конечно, там уже ожидали, но кому это могло прийти в голову? Дальше мы отправились вниз, к Влтаве. Справа был магазинчик, где мы оставили часть груза. Я проехал еще немного вперед вниз, развернулся и поехал уже по другой стороне дороги назад, к перекрестку. Метров за двести с половиной до него мы снова остановились, кажется, у москательной лавки, экспедитор с квитанциями пошел к хозяину, я потом помог снять и занести в лавку ящики с гуталином, и тут грохнул взрыв.

— Ну и жахнуло, видать, баллон у грузовика,— сказал экспедитор.

— Пожалуй, посильнее,— отвечаю я.

— Вроде где-то у перекрестка.

Шоссе в этом месте идет под уклон, и нам не было видно, что случилось вверху. Мы спокойно подняли борта, закрепили два-три ящика, которые у нас еще остались. Сели в кабину, и он заглянул в свои бумаги — куда еще ехать.

— Теперь давай наверх, за перекрестком выгрузим последнее.

Я дал газ, и мы тронулись. Метров через сто пятьдесят — двести на дорогу выбегает какая-то блондинка и требует, чтобы я остановился.

— Что случилось?

— Покушение!

— Ну и что?

— Вы отвезете господина обергруппенфюрера в больницу.

— А почему я?

— У вас свободная машина.

Я не нашелся что возразить, промямлил только, что у меня в кузове паркетная мастика, и, мол, неудобно везти протектора рядом с вонючими ящиками, и лучше было бы остановить легковую машину, но немка крикнула:

— Поторопитесь!

В это время Гейдрих с помощью полицейского доковылял до нашего фургона, видно было, как он изо всех сил старается держаться прямо.

— Посадите его с шофером,— посоветовал кто-то.

Озираясь, как подстреленный зверь, Гейдрих очень осторожно влез на сиденье — он все хватался за бок, по спине у него текла кровь, и одежда была разорвана. Роста он был высокого, и ему пришлось согнуться, чтобы поместиться в низкой кабине.

Экспедитор и полицейский забрались назад, в кузов.

Мы тронулись.

В одной руке Гейдрих держал пистолет, в другой — портфель, не спускал с него глаз и все время прижимал к себе.

До того, как мы узнали о случившемся, мы ехали от Влтавы в гору к перекрестку навстречу машине Гейдриха. Когда его стали сажать ко мне, я развернулся и подъехал прямо к его «мерседесу», и теперь мы опять двигались под гору. Едем. Он молчит. Я молчу. Страшно мне было, сами понимаете, представьте: рядом сидит протектор, спина у него в крови, в руке пистолет. Почем знать, что ему взбредет в голову...

Тут я сообразил, что самая короткая дорога в больницу на Буловке — через перекресток, значит, надо вернуться назад и оттуда свернуть вправо. Я сделал круг внизу перед мостом и снова поехал в гору. Гейдрих насторожился и даже выпрямился, поняв, что возвращаемся, и спрашивает:

— Wohin fahren wir?[1]

Я по-немецки не очень хорошо разумею, но тут понял, что спрашивает, куда мы едем, а я ну никак не могу вспомнить, как по-немецки будет «больница». Сейчас-то я знаю, а тогда до того обалдел, что только пожал плечами. Гейдрих снова что-то крикнул и наставил на меня пистолет. В этот момент мы были уже на прежнем месте, там, где я его посадил. Я остановился, подбежала та немка — блондинка, он начал орать на нее, а она на меня:

— Куда это вы едете?

— Мне надо было внизу развернуться, а здесь, на перекрестке, поверну вправо. Это самый близкий путь.

Она ему перевела, а он снова что-то сказал ей. Оказывается, ему тяжело сидеть, кабина очень низкая, сказала она мне. А я подумал: «Ну и пусть катится отсюда!» Полицейский помог ему забраться в кузов, где были ящики. Положили мы его на живот между ящиками с гуталином и мастикой. Там здорово воняло. Он потребовал свой портфель, и экспедитор передал портфель в кузов. Потом Гейдрих одной рукой закрыл лицо, а другой рукой схватился за бок.

Полицейский сел возле него на ящик, а экспедитор перебрался ко мне в кабину. Мы благополучно доехали до больницы и сдали его персоналу. Гейдрих был желтый, как лимон, и еле стоял на ногах.

---

[1] Куда мы едем? (*нем.*)

Свидетельство садовника из Паненске Бржежан

Мы в Бржежанах узнали о покушении перед полуднем. Госпожа Гейдрих только собиралась идти с детьми к обеду, когда ей сообщил об этом адъютант Вагниц. Говорили, что она восприняла это известие хладнокровно. Это была не женщина, а сплошной лед и расчет. Скупая и бесчувственная. Позже, когда футболисты, возвращаясь после воскресной игры, случайно задавили ее сына — прошло уже немало времени после смерти Гейдриха,— знаете, что она сделала?

Мальчик лежал в цинковом гробу в зале среди хризантем, потом его похоронили в склепе в парке. И когда его хоронили, она распорядилась, чтоб мы все эти хризантемы продали в цветочные магазины Праги!

Она на этом неплохо заработала... Я мужчина, и на многое мне наплевать, но тогда у меня прямо мороз по коже пробежал.

Или вот еще, в коридорах замка висели оленьи рога. Она их продала какой-то фабрике на пуговицы... А прекрасные деревья в парке? Она приказала их вырубить, древесину выгодно продала и вместо ясеней посадила яблони и груши, чтобы, мол, были фрукты, которые можно выгодно сбывать... Больше можно и не рассказывать, хотя подобных примеров я помню много. Пока я у них служил, мне поневоле приходилось с ними сталкиваться близко. Гейдриху принадлежали оба замка: нижний, где они жили, и верхний, мимо которого он каждый день проезжал, направляясь в Прагу, в Град.

Они жили роскошно.

Кроме меня у них служили две горничные, кухарка, помощница кухарки и управитель, в основном чехи. Иногда по вечерам мы тайком слушали иностранное радио, но надо было держать ухо востро.

Я служил садовником и выполнял разные ремонтные работы.

Потом они провели центральное отопление, и я стал истопником, а в свободное время меня заставляли помогать на кухне.

Гейдрих время от времени устраивал охоту на фазанов и приглашал гостей, а мне приказали печь рогалики, чего я в жизни никогда не делал. Но когда на карту поставлена жизнь, всему научишься. И хлеб печь. Жена Гейдриха приказала мне замесить тесто для хлеба. Заказала какой-то грехемский или как он там еще называется. Я понятия не имел, что это такое, но ничего, съели все, что я испек. Но однажды, когда увидела, как я, собственно, все это делаю, страшно разозлилась и устроила мне скандал.

Эсэсовцев было здесь десять или двенадцать. Они жили во флигеле у ворот и охраняли замок.

Тот день, 27 мая 1942 года, я помню хорошо, потому что тут был настоящий сумасшедший дом.

С раннего утра я работал возле верхнего замка — там были грядки с овощами. Я набрал овощей, помыл их, нарвал охапку шпината и спустился по дороге к нижнему замку. Иду и вижу — машина Гейдриха отъехала от подъезда замка и направляется к воротам. Поскольку от нас требовали, чтоб мы приветствовали своих хозяев арийским приветствием, то есть поднятой рукой, мы избегали их как только могли.

И тут я успел спрятаться за каменными чудовищами, что стоят у входа,— притаился, чтоб не здороваться. Он промчался мимо, и я вошел в ворота. Герберт Вагниц, адъютант Гейдриха, как раз собирался ехать следом за шефом. Машина стояла наготове, и он о чем-то говорил с шофером. Вагниц был интересный парень. Конечно, эсэсовец, но получше других; он на нас не орал.

Он видит, что я иду с кучей шпината и овощами, и спрашивает меня, на кухню ли я все это несу. «Куда же еще?»— думаю я про себя, а вслух говорю:

— Да. А вы провожаете пана протектора? — Вижу, что он в хорошем настроении.

— Да,— он ответил по-немецки и оправил мундир.

Не раз, бывало, Вагниц подвозил меня до верхнего замка. Я уже говорил, что дорога в Прагу идет мимо него. Я расхрабрился и попросил:

— Господин адъютант, я сейчас отнесу эти овощи на кухню, а потом мне надо опять в верхний замок. Не захватите меня? У меня там много работы...

Вагниц махнул рукой:

— Только поторопитесь...

Я вошел в дом. Тут стояла приятная прохлада. На кухне я положил свою ношу и собрался уже идти, да кухарка задержала меня каким-то разговором, я уж не помню о чем. Я немного замешкался, а когда вышел во двор, Вагница возле машины не было. Тоже, видно, куда-то отошел.

Наконец он появился. Мы сели и поехали.

День стоял прекрасный. Кругом молодая зелень. Мы проехали деревню — там несколько поворотов, потом поднялись в гору, он подвез меня к входу, я поблагодарил его, и он покатил дальше к Праге вслед за Гейдрихом. Не знаю, как они в тот день договорились. Может, он должен был ехать прямо на аэродром, может быть, тоже в Град. Как бы то ни было, он отправился в путь с большим опозданием... и потому машина Гейдриха оказалась у поворота, где произошло покушение, одна.

Все утро я работал в огороде, а в полдень снова спустился в нижний замок и там все узнал. Об этом покушении. Жена Гейдриха была беременна, и горничная сказала, что у нее может случиться нервный припадок. Да хозяйка наша была не из слабых. Говорят, она только сказала пару крепких слов о чешском народе и еще выше задрала голову. Гейдриха торжественно хоронили в Берлине. Жена на похороны не поехала, послала обоих сыновей. Помню еще, что когда горничная собирала их вещи, провожая на пражский аэродром — они летели специальным самолетом,— то мать напоминала, чтоб не забыли петрушку и морковь, которую они везли в Берлин. Уж не знаю, в подарок или на продажу.

А в 1945 году, когда рейх затрещал по всем швам, сюда приехал Гиммлер, небритый и усталый. Они заперлись с хозяйкой в одной из комнат и о чем-то говорили.

На другой день эта баба приказала переделать один из грузовиков в фургон, распорядилась перебить всю птицу — гусей и кур, погрузила их и еще несколько мешков зерна и картошки и в начале апреля укатила вместе с гувернанткой, детьми и Вагницем куда-то на запад.

Перед отъездом она собрала всю обслугу и сказала, что, дескать, через полтора месяца вернется... Из склепа забрала с собой гроб сына.

Свидетельство подполковника того времени

Мы с нетерпением ждали этого дня, знали, что к нам, в Бузулук, приедет Клемент Готвальд. Во второй половине дня 27 мая 1942 года между двумя и четырьмя часами он должен был выступить в местном кинотеатре. Мы собрались там все, кроме тех, кто был в отъезде или занят на службе. В зал набилось полно народу. С Готвальдом приехал и сидел в президиуме Вацлав Копецкий, потом еще Кроснарж и Врбенский[1]. Я сидел в первом ряду и делал пометки для себя. Насколько помню, речь шла о трех основных проблемах. Во-первых, чтобы все без исключения шли в бой, надо не хитрить, а воевать. Во-вторых, быть всегда на стороне Советского Союза. И, наконец, Готвальд говорил о том, какой будет наша страна после войны.

После его выступления должны были начаться прения, но, как водится, никто не решался взять слово первым. Тогда я поднял руку и вышел на трибуну. Говорил о том, что мы выступаем против немецкого фашизма единым фронтом и что одной лояльности по отношению к Советскому Союзу недостаточно — мы хотим остаться с ним друзьями на всю жизнь.

Насколько я помню, во время работы актива мы еще не знали о покушении. Должно быть, известие пришло позднее. После актива мы перешли в столовую и там еще долго продолжалось обсуждение... Если бы мы узнали о покушении на активе, представляю себе, какой бы начался шум и ликование. Такое я бы запомнил. Весть о нем распространилась вечером. У нас было несколько радиоприемников, у них постоянно кто-то дежурил. Мы слушали Прагу, Москву, Лондон и ежедневно издавали краткий бюллетень новостей. На следующий день, 28 мая, этому событию был посвящен специальный выпуск...

Новость произвела огромное впечатление. «Здорово все получилось, наш народ дал отпор фашистам»,— говорили мы радостно. Успех этого предприятия поднял дух народа, явился моральной поддержкой. Однако вставал вопрос: каждое боевое задание надо выполнять с минимальными потерями и я спрашивал себя: «Оправданы ли такие огромные потери? С одной стороны — мощный моральный стимул, с другой — такая цена...» Мысль эта не давала покоя мне не верилось, что Бенеш дал согласие на покушение, разве что он преследовал узкие и корыстные интересы Лондона. Ведь он всегда противился боевым действиям. Вся политика лондонского правительства являла полную противоположность нашей. Мы на Востоке хотели, чтобы Родина сражалась, чтобы за каждым деревом, образно говоря, стоял партизан. Бенеш выступал против, он утверждал, что территория нашей страны не годится для партизанской войны. Линия руководства Чехословацкой коммунистической партии, находящегося в Москве, была ясна: бить фашистов. Линия эмигрантского правительства в Лондоне — выжидать...

Монолог женщины из дома в районе Жижкова

Я даже не знаю, с какого конца начать. В тот день, когда произошло покушение, я провожала брата, который приезжал с ребенком в Прагу в больницу. Только я вернулась с вокзала, у нас появился Кубиш. На нем был синий плащ железнодорожника. Вид у него был измученный, он сразу лег на диван.

— Что с Малышом? — спросил он, имея в виду Габчика.

— Вчера, после взрыва, он был у Зеленки,— сказал муж.— Попросил у его жены плащ. К нам не заходил. А жена Зеленки говорила, что он принес ей букетик фиалок и потом как будто отправился к Фафекам.

У Кубиша вся грудь была в крови. Муж вынул пинцетом осколки. Он сделал ему перевязку и дал чистую нижнюю рубашку, а потом позвал Зеленку. Не успели Кубиш и Зеленка перемолвиться несколькими словами, как в дверь позвонили. Это был Шварц.

Кубиш рассказал, как все произошло.

— Вальчик подал нам знак с опозданием.

— Куда вы теперь направитесь? — спросил муж.

— Не беспокойтесь. У меня кое-что припасено,— сказал пан учитель.

Потом муж вышел, чтобы не мешать им. Примерно через час они кончили свои разговоры.

Я пришла домой с вокзала и говорю пану Зеленке:

— Кто-нибудь из тех ребят мог бы заночевать у нас. Если явится гестапо, он сможет перелезть через вентиляционный колодец ванной комнаты в соседнюю пустую квартиру.

Там жила еврейская семья, но ее отправили в Терезин.

Учитель покачал головой:

— Мы нашли кое-что понадежнее, не беспокойтесь. Все будут укрыты так, что никто их не найдет. Но если у вас есть теплое белье, дайте его Зеленке. Там будет холодно.

Муж дал ему шерстяное белье, бритвенный прибор и буханку хлеба. Ребята попрощались, и все разошлись. Пан Зеленка — к себе домой, наверх, а они — к трамваю.

Мы не знали, где их укрыли. Позднее пан учитель рассказал, что первым в тайник добрался Зелинка — Шварц. Еще в

---

[1] Копецкий Вацлав (1897—1961). Кроснарж Иозеф (1891—1968) — чехословацкие деятели, руководители КПЧ в 1945—1951 гг., члены московского руководства КПЧ.

Врбенский Богуслав (1882—1944) — чехословацкий общественный деятель, один из участников создания 1-го Чехословацкого корпуса.

тот же день, когда был у нас, то есть в четверг. Остальные собрались там в пятницу и в субботу, и последним — Опалка, несколько дней спустя.

То, о чем еще не говорилось

Напрашивается вопрос: удастся ли когда-нибудь пролить свет на все неясности, связанные с покушением? Ведь показания свидетелей зачастую субъективны, каждому из них известна лишь какая-то частность, свидетели небеспристрастны...

К сожалению, в таких документах, как шифровки «Либуши», нет точных данных о проведении самого покушения. Бартош передавал 29 мая: «На некоторое время вынужден сократить передачи до двух раз в неделю. Подробностей о покушении не получил, поскольку сразу же было прекращено пассажирское сообщение».

И в следующей депеше в Лондон от 4 июня не приводится новых данных.

Попробуем же воссоздать весь день 27 мая 1942 года. Что мы знаем о нем?

Известно точное время и место покушения. Известно, кто его совершил.

Мы знаем, что на повороте стояли Габчик, автомат которого дал осечку, и Кубиш, который бросил бомбу. А кто им помогал?

Вот тут мнения расходятся. Совсем рядом проехал трамвай, окна которого были выбиты взрывной волной; каждый из его пассажиров помнит событие по-разному. В суматохе они даже толком не разобрались, что именно произошло, один из них видел нападавшего слева, другой, наоборот,— справа. Но вот сведения о ранении Вальчика совпадают.

Хозяйка дома, где ночевал Вальчик, вспоминала, что простыня и подушка, на которых он спал, пропитались кровью. Жижковский, привратник, к которому Вальчик переехал на следующий день, тоже говорил, что на брюках парашютиста виднелись пятна крови.

Об этом сообщала и жена свидетеля из Пардубице: «На следующий день, 28 мая, я уезжала из Праги уже с сообщениями для «Либуши» о покушении, которые Вальчик передал мне в квартире Моравцов. Он сидел в кухне на кушетке и не вставал, должно быть, не хотел, чтобы я заметила его ранение. Сказал только, что подвернул ногу. По дороге на вокзал я увидела расклеенные плакаты с его фотографией, о чем ни он, ни Моравцовы еще не знали. Я позвонила им с вокзала словно невзначай — сказала, чтобы они вышли на улицу посмотреть, что делается. Однако до сих пор еще ни в каких материалах о покушении не говорилось о том, что Вальчик тоже попал под обстрел. Как это могло произойти? Предположим, он ждал выше поворота, подал знак зеркальцем, побежал к месту действия и оказался там вскоре после взрыва. В этот момент Кубиш и Габчик уже бежали. Кубиш с лицом, израненным осколками, бросился к стоявшему неподалеку велосипеду, вскочил на него и помчался вниз в Либень. Габчик, по-видимому, не смог добежать до велосипеда из-за толпы и ринулся вверх за поворот, откуда приехал Гейдрих, но потом свернул в первую улицу налево... В таком случае Габчик, которого преследовал шофер Клейн, должен был бы бежать навстречу Вальчику. Габчик иногда оборачивался и стрелял в гнавшегося за ним Клейна. Тут Вальчик мог прийти на помощь Габчику. В перестрелке Клейн был ранен...

Но это — гипотеза...

Любопытно, что нацистское сообщение о покушении говорит лишь об одном террористе, которого преследовал Клейн. Возможно, шофер в волнении не заметил второго стрелявшего в него человека, который спустился с горы, то есть Вальчика.

Тем не менее нацисты считали, что на месте покушения были по меньшей мере трое нападавших. Во время следствия они разработали ситуационный план «преступления на повороте» и нарисовали три заштрихованные фигуры: человек с бомбой, человек с автоматом и человек с зеркальцем.

План этот в гестапо изготовили в процессе следствия, это подтверждается и тем фактом, что гестапо тогда еще не называло имен парашютистов, оно их еще не знало... Их выдал гестаповцам предатель Чурда, но это произошло несколько позже.

А вот кто стоял на повороте выше Вальчика? Учитель химии вспоминает, что там был и Опалка...

Жена свидетеля из Пардубице утверждает: «Насколько я помню, помощь Вальчика в покушении отвергли из-за его очень приметных крашеных волос. Определенно там был Атя Моравец, но лишь для подстраховки. Кубиш с Габчиком намерены были провести эту акцию вдвоем...»

И все-таки кто же еще в ту роковую минуту находился на повороте? К уже названным именам: Вальчик, Ярослав Смрж, Атя Моравец или Опалка добавляется еще одно — Франтишек Пехачек.

Кто это?

Давайте вспомним тот монолог учителя химии, где Индра рассказывает о первой встрече с Кубишем в квартире Пехачека в районе Смихова. Дело, вероятно, не ограничилось одной встречей.

20 июня Пехачек был арестован вместе с братьями и племянником.

Итак, вниз по шоссе уехал на велосипеде Кубиш, на середине улицы стоял с пистолетом в руке раненый Гейдрих, по третьей улице бежал Габчик; подоспевший Вальчик, вероятно, поддержал Габчика стрельбой и остался на противоположном тротуаре. Шофер Клейн, тяжело дыша, пытался догнать Габчика, и перед Вальчиком оставался только один свободный путь — между виллами на окраине... Пехачек и другие, если они там были, могли затеряться в толпе.

Показания второго шофера, отвозившего Гейдриха в больницу, имеют продолжение. Оставив протектора в больнице, шофер с фургоном вернулся назад на перекресток. Здесь его остановил садовод (приятель шофера) — у его забора стоял перед покушением велосипед — и попросил об услуге.

— У меня тут люди, которых надо отправить отсюда. Это связано с покушением,— сказал садовод.

Шофер согласился, хотя развез еще не

всю мастику по адресам. Из сада вышли несколько мужчин, садовод дал им в руки венки — они, мол, едут на похороны,— и они поехали. Внизу их остановил патруль, но они объяснили, что спешат на Ольшанское кладбище... Они и в самом деле направились туда, шофер остановился у ворот, они поблагодарили его и ушли, оставив венки в машине. Вот и все. Это выглядит слишком романтично. Если это были Атя, Опалка или Пехачек, разве не могли они просто уйти?

Но и жена свидетеля из Пардубице вспоминает, будто слышала «что-то похожее еще тогда». Подробностей она не помнит, но «венки и Ольшанское кладбище» действительно упоминались...

Однако женщина, задетая осколком бомбы Кубиша, непосредственная свидетельница покушения, утверждала, что видела на углу трех мужчин, а не двух. Третий якобы перебежал улицу перед самой машиной с Гейдрихом. Кто это был? Опалка? Кубиш?

Как развертывались события на самом деле?

По словам женщины из Жижкова, Кубиш сетовал на то, что Вальчик подал им знак в последний момент. А не могло ли получиться так, что все трое — Габчик, Кубиш и кто-то третий,— занятые разговором, заметили условный знак с запозданием, поэтому Кубиш вовремя не успел добежать до своего места на другой стороне улицы, где ему следовало находиться в соответствии с разработанным планом?

Но даже если бы Вальчик опоздал их предупредить, все равно должно было пройти какое-то время, прежде чем машина доехала до поворота, а из рассказа раненой женщины мы знаем, что третий перебежал дорогу прямо перед машиной, как будто хотел заставить ее притормозить.

Если это был Опалка, почему он не вступил в перестрелку? Почему не завершил начатое Кубишем? Ведь Гейдрих остался один, когда шофер бросился в погоню за Габчиком, и немцев рядом не было, только чехи... И ведь мы даже не знаем, кто стрелял! Вот тут и возникает проблема — как был ранен Вальчик? То, что мы читали в главе «Поворот»,— это фантазия автора. Точную реконструкцию покушения трудно воспроизвести. Ни Габчик, ни Кубиш не оставили никаких записей, а воспоминания свидетелей неточны.

Если мы захотим проследить действия Кубиша и Габчика после покушения, мы снова столкнемся с противоречиями.

Взять хотя бы Кубиша. Он поехал вниз, в Либень, оставил велосипед у магазина «Батя» и пешком отправился на квартиру семьи Новаков, где хозяйка оказала ему медицинскую помощь. Здесь Кубиш будто бы переоделся в форму железнодорожника, что было вполне вероятно,— Новак работал на железной дороге. Однако участник Сопротивления из Дейвице дает такие сведения: по словам Кубиша, он умылся у Новаков и пошел на квартиру знакомого железнодорожника, где переоделся в форму путейца, взял и синюю фуражку и отправился на другую явку к женщине-врачу, где Кубишу постирали рубашку и вытащили оставшиеся осколки.

Кубиш беседовал с соседом, участником Сопротивления Кршикланом, запершись с ним в комнате. Сохранились записи Кршиклана, где мы читаем следующее: «26 мая 1942 года ребята съездили налегке в Бржежаны, где часто бывали и ранее, но о цели этих поездок никому не говорили...»

Пишет он и о том, что парашютисты якобы посетили Бржежаны еще и в день покушения: «И... после утреннего осмотра Бржежан Кубиш и Габчик стояли наготове в назначенном месте уже с девяти часов... Оттуда Габчик несколько раз звонил по телефону Фафекам... На мой прямой вопрос Кубиш ответил, что **покушение они осуществили с Габчиком только вдвоем...»**

Эта фраза в записях даже подчеркнута. И далее: «После покушения Зденек (Габчик) пошел к Фафекам, там сделал теплую ванну для ноги, которую поранил, когда прыгал через забор. Он также выкрасил волосы в более светлый цвет настоем ромашки. А потом вместе с Либенкой, своей невестой, пошел в магазин и купил новую зеленую шляпу. На углу Карловой площади и Рессловой улицы к Габчику подошел офицер-эсэсовец, приняв, из-за шляпы, Зденека за немца, и попросил огонька. Царственным жестом Зденек поднес зажигалку к его сигарете. В ту ночь Зденек ночевал у Фафеков. Ярослав (то есть Кубиш) пришел в Дейвице с отекшим до неузнаваемости лицом и забинтованным глазом. Надо было извлечь все до малейшего осколочка — бомба была отравленной. Он был спокоен, как всегда, и рассказал, что утром 27 мая 1942 года они вдвоем со Зденеком «были в Бржежанах, чтобы убедиться, что Гейдрих еще дома и поедет на службу. Потом мы потихоньку поехали на велосипедах обратно в Прагу... На перекрестке сошли с велосипедов, поставили их на условленное место, а сами встали у трамвайной остановки, где Зденек вслепую собрал в портфеле разобранный на три части автомат, прикрывая портфель плащом. Ждали мы долго, возможно привлекая к себе внимание...»

Собирая воедино все показания и известные факты, не забудем и схему нацистской следственной комиссии, где указан и третий «мужчина с зеркальцем». Быть может, Кубиш, говоря Кршиклану о том, что они действовали вдвоем, намеревался прикрыть остальных, что вполне вероятно.

Необходимо также прояснить вопрос об убежище парашютистов. Церковь на Рессловой улице была не первым вариантом, сначала хотели переправить ребят в Будские леса, спрятать в склепе Вифлеемской часовни на Жижкове, а в итоге, после обсуждения всех вариантов, остановились на церкви Кирилла и Мефодия.

Не до конца ясно, где находились Габчик и Кубиш до того, как оказались в склепе церкви; мы знаем только, со слов капеллана Петршека, что в понедельник 1 июня «утром в церковь пришел седьмой мужчина; он показал удостоверение личности на фамилию Выскочил и остался».

А Выскочил — это Габчик.

Кубиш, по показаниям капеллана, пробрался в подземелье еще в субботу; «во-

круг глаза у него был синяк, ему необходима будет помощь врача».

Итак, покушение состоялось, достоверность отдельных показаний свидетелей различна, наша цель другая — создать общую картину: ведь все монологи отражают отношение чешского народа к фашизму.

Четвертый монолог историка

Очнувшись от изумления, нацисты начали действовать. В 12.15 Франк звонит Гитлеру и докладывает о покушении. Фюрер беснуется, узнав, что Гейдрих ехал без сопровождения, и назначает Франка временно исполняющим обязанности протектора, запретив ему ездить без охраны и пообещав прислать бронированную машину. Далее он потребовал найти «преступников», обещать награду в один миллион имперских марок тому, кто поможет их обнаружить, и, наконец, он отдал приказ расстреливать всякого, кто знает, но не сообщает какие-либо факты, относящиеся к покушению. Он предложил немедленно арестовать и расстрелять для устрашения 10 000 подозрительных чехов.

Во второй половине дня Франк на основании указаний Гитлера издает постановление, в котором сообщается, что 27 мая 1942 года в Праге было совершено покушение на исполняющего обязанности имперского протектора, обергруппенфюрера СС Гейдриха. За поимку преступников назначается награда в 10 миллионов крон, а за оказание им помощи грозит расстрел.

В Праге вводится осадное положение. С 21 часа 27 мая до 6 часов утра 28 мая прекращается движение всего транспорта, «всякий, кто... в указанное время появится на улице, будет расстрелян, если не остановится по первому требованию».

Так начался один из самых кровавых периодов новой чешской истории.

К. Г. Франк сообщил по телетайпу Гиммлеру о введении чрезвычайного положения, тот выразил согласие с проведенными мероприятиями и потребовал, чтобы из 10 000 заложников в ту же ночь 100 «главнейших» врагов рейха были расстреляны для устрашения.

Поздно вечером 27 мая по радио было передано новое сообщение о распространении особого положения на весь так называемый протекторат Чехии и Моравии. На следующий день после покушения, 28 мая, Франк вылетает специальным самолетом к Гитлеру, чтобы лично доложить об уже принятых мерах.

27 мая Гитлер требовал от Франка ареста 10 000 человек и их казни, но Франк, соглашаясь немедленно расстрелять вместе с семьями тех, кто что-нибудь знал о готовящемся покушении или содействовал его участникам, предлагает все же не проводить «никаких массовых арестов»: он считал эту меру в данный момент невыгодной для рейха, способной вызвать впечатление, будто речь идет о всеобщем восстании. Предпочтительнее говорить об «отдельных акциях».

Гитлер согласился.

Тем временем в Пражский Град прибыл Курт Далюге, уполномоченный вести дела протектората. Оглашаются списки первых десятков расстрелянных. Нацистам пока неизвестно, кто совершил покушение. Потом они заинтересовались таинственным мужчиной из Пардубице, фотографию которого обнаружили у убитого штабс-капитана Моравека. Незнакомец, бармен пардубицкого отеля, мог иметь отношение к покушению. Они угадали верно. И еще 28 мая на всех стенах появляется объявление с фотографией: «100 000 крон вознаграждения».

Был назван Вальчик. Внешность его описывается следующим образом: рост примерно 1 м 65 см, волосы белокурые, зачесаны назад и немного спадают на правую сторону так, что создается впечатление пробора. Лицо круглое, здорового румяного цвета, чистое (родинок нет), бритое. Голубые глаза, нормальный нос и маленькие уши.

Сообщения о его местопребывании за вознаграждение в 100 000 крон принимаются в главном управлении гестапо по адресу: Прага II, Бредовская улица, 20, телефон 20041, добавочный 156; а также в любом полицейском участке.

Однако сами нацисты понимали, что гипотеза «Вальчик — преступник» несколько рискованная, поэтому в объявлении, содержащем неточности относительно места и даты рождения Вальчика и т. д., на всякий случай вообще не было указано, почему он разыскивается.

Вместе с тем начались допросы непосредственных свидетелей. В гестапо были доставлены пассажиры трамвая, жители прилегающих домов, случайные прохожие — одним словом, все, кто мог видеть «преступников».

Исследовались вещи, которые Кубиш и Габчик оставили на злополучном месте. Проводилось широкое дознание.

В день отбытия Франка в Берлин за его подписью вышло новое объявление, в котором за поимку преступников было обещано 10 миллионов крон.

Таким образом, нетрудно определить, что в этот момент было известно нацистам. Они сообщали о двух непосредственных участниках покушения, описывали их приметы. Нацисты располагали вещественными доказательствами, подобранными на месте взрыва: светлый бежевый плащ, два портфеля — в одном из них лежала кепка, — женский велосипед.

Вещи были выставлены в витрине обувного магазина «Батя» на Вацлавской площади.

Все домовладельцы, хозяева отелей и т. д. по всей территории протектората, начиная с 28 мая 1942 года, обязаны были немедленно зарегистрировать всех проживающих у них лиц, до сих пор не зарегистрированных в полиции. Невыполнение этого предписания каралось смертью.

В этом сообщении события излагались обстоятельно и довольно точно. Здесь уже нет ни слова о Вальчике. Приметы Кубиша и Габчика верны. К счастью, полиция не смогла по заводскому номеру определить последнего владельца женского велосипеда.

Позднее, 31 мая, нацисты дополнили описание внешности участников покушения, но некоторые отличительные приметы Ку-

биша приписаны Габчику; сообщалось, что один из террористов ранен в лицо.

Вот сведения, имевшиеся в распоряжении гестапо в конце мая 1942 года, но легко ли найти владельца по портфелю, зашитому черной ниткой? Или по поношенной кепке из универмага «Била лабуть». Нацисты, конечно, это понимали, но они надеялись, что найдется предатель, знающий больше этого.

Документы государственной тайной полиции показывают, что поиски шли полным ходом. В ночь с 27 на 28 мая 1942 года в Праге была проведена большая облава силами четырех с половиной тысяч полицейских, эсэсовцев, а также трех батальонов вермахта. Город был блокирован, произведены обыски квартир, прочесаны улицы, дворы.

Второй монолог архивариуса

Вместо иудиных сребреников Чурда получил миллионы. И наконец в 1947 году от чехословацкого суда — по «заслугам» — петлю.

О его предательстве сохранился документ, датированный 25 июня 1942 года и подписанный штандартенфюрером СС Гешке (он возглавлял пражское гестапо). Документ предназначался Далюге и Франку.

В нем сообщается, что 16 июня 1942 года в главное управление гестапо в Праге явился некий Карел Чурда, 1911 года рождения, подсобный рабочий. Он заявил, что якобы узнал один из выставленных в витрине портфелей. Гестапо установило, что показания Чурды вполне достоверны. Выяснилось, что Чурда и сам является парашютистом, заброшенным на территорию протектората в ночь с 28 на 29 марта 1942 года вместе с пятью другими агентами. Он показал, что в портфеле должен находиться английский автомат. Приметы описанного им парашютиста совпадали с приметами Йозефа Габчика (подпольная кличка «Зденек»), нынешнее местопребывание которого Чурде было неизвестно. Этот донос через 36 часов вывел гестапо на участников покушения, и в последующие пять часов они были уничтожены. Чурда высказал также предположение, что вторым участником покушения может быть близкий друг Габчика Ян Кубиш (подпольная кличка «Ота Навратил»).

Впрочем, по английскому оружию и взрывчатке, найденным на месте преступления, стало ясно, что покушение осуществлено парашютистами.

На дальнейших допросах Чурда выдал часть известных ему агентов и подпольных явок. В результате был установлен владелец портфеля, а также женского велосипеда, которые, как выяснилось, были переданы в пользование соответственно «Оте», то есть Кубишу и «Зденеку», то есть Габчику. Таким образом, участие их в покушении является доказанным.

Из этого сообщения, предназначавшегося Далюге и Франку, явствует, что без Чурды следствие не получило бы никакого «положительного» результата.

Чурда сообщает нацистам имена Габчика и Кубиша, которые не были им известны.

Затем гестапо обнаружило их убежище в церкви Кирилла и Мефодия, или, как ее называли нацисты, Карла Боромейского, то есть то, чего Чурда не знал.

Он выдал семь явок, люди были немедленно схвачены, возможно, под пытками кто-то из них и проговорился.

Для довершения всей картины приведем некоторые из показаний Карела Чурды, данные чехословацким следственным органам в июне 1945 года:

«16 июня 1942 года я поехал в Прагу и явился в гестапо во «Дворце Печека» на Бредовской улице. Там меня допросили. Мне предъявили фотографии нескольких парашютистов и спросили, знаю ли я их. Я узнал всех. Это были фотографии подпоручика Пехала, младшего сержанта Коларжика, ротмистра Микеша, сержанта Герика, но им я сказал, что никого не знаю. Они меня избили и предостерегли, что Герик работает на них и что они осведомлены лучше, чем я думаю. Тогда я сознался, что знаю этих людей...

Я признался также, что сам являюсь парашютистом... Рассказал им свою биографию, а потом выдал лиц, у которых скрывался и которые мне помогали...»

Кто бы под пытками ни навел нацистов на след к церкви — кровавая нить потянулась от Чурды. Он явился добровольно.

Впоследствии он изменил фамилию, получил миллионы, стал осведомителем гестапо, женился на нацистке и начал новую жизнь. Свое благополучие он построил на страданиях и крови сотен расстрелянных и замученных.

Чурда получил по заслугам, но разве наказание соответствовало его вине? И разве не были соучастниками его преступления те, кто легкомысленно послал его в Чехословакию, хотя заранее знал о его продажной натуре?

Когда Чурда был в Англии, чехословацкие военнослужащие, проходившие подготовку вместе с ним, писали тогдашнему министру обороны, генералу Ингру, обращая внимание министра на ненадежность Чурды, они писали, что у него «имеется склонность к пьянству, что он несерьезный человек, пытался в английских семьях заниматься брачными аферами, восторгается Гитлером и, наконец, признался, что сглупил, бежав за границу, тогда как надо было остаться в протекторате и служить в правительственных войсках или в жандармерии...»

Министр Ингр передал письмо в разведотдел Министерства национальной обороны полковнику Франтишеку Моравцу, а тот сделал пометку на полях копии, что Чурда тем не менее отличный спортсмен и физически вынослив, поэтому может быть послан... Так что совесть начальника чехословацкой разведслужбы в Лондоне и вправду чиста...

Что рассказал свидетель в первый раз

Я чех, но жил в пограничье[1]. Всю жизнь мне не везло, часто менял работу

[1] Здесь имеется в виду северо-западная область Чехии у Судетских гор, до 1945 г. населенная в основном немцами.

не по своей воле. Когда в Судетскую область вошли немцы, я бежал в Прагу, сперва служил в полицейском комиссариате на Виноградах, а в августе 1939 года меня взяли переводчиком в гестапо, в отдел по борьбе со шпионажем.

Я перепугался, а один мой знакомый сказал:

— Иди туда и помогай людям.

Легко ему было говорить... Жизнь моя постоянно висела там на волоске. Флейшер, начальник этого отдела, прямо сказал мне:

— Ваши родители немцы, почему же вы пишете себя чехом?

— Потому что я чех, господин комиссар...

— Подумайте хорошенько. Вам что, в концлагерь захотелось?

Короче, я подумал тогда и... согласился. «Может, и правда смогу чем помочь»,— убеждал я себя. Другой на моем месте, может, и вообразил бы себя героем и отправился в концлагерь. Но я на такое не способен.

Я понемногу осваивался, приглядывался, прощупывал своего шефа. Флейшер был типичный садист, человек невежественный и грубый, он истязал людей, чтобы добиться сведений.

В те дни я узнал и нацистского офицера по фамилии Тюммель, с подпольной кличкой «Хольм». Он был смуглый и черноволосый, с черными усиками и проницательным взглядом. Говорили, что по профессии он был пекарь из Саксонии, но тем не менее занимал высокий пост в Праге. Он был хорошо знаком с Флейшером, и, насколько я знаю, Флейшер давал ему читать показания заключенных и разные важные материалы. Этот Хольм был особенный человек. Позднее гестаповцы его арестовали: говорят, будто он был английским шпионом. Флейшер ему верил, и Хольм часто носил из гестапо домой копии разных документов.

Немцы обнаружили утечку секретной информации и повели розыски шпионов. Однажды арестовали в пригороде Либерец какого-то высокопоставленного чиновника, привезли его в наручниках в Прагу, однако дело кончилось конфузом. Его отпустили, и Флейшер имел крупные неприятности. Ему и в голову не приходило, что человек, которого он ищет, был Хольм... Как-то Флейшер дал мне перевести письмо из-за границы. На открытке была печать, кажется белградская. Флейшера поздравляли «три мушкетера». Это были Моравек, Машин и Балабан, те, кого искали гестаповцы и не могли поймать. Флейшер бесновался, придирался ко всему, злился. Про себя я смеялся, но, конечно, не догадывался, что все это, вероятно, подстроил Хольм. Он часто бывал по делам на Балканах. В Белграде купил открытки, в Праге дал их этим трем агентам подписать, а когда опять поехал в Белград, бросил их там в ящик. А Флейшер все твердил:

— Неужели они в Белграде?

В конце концов нацисты арестовали Хольма. Наверное, на него указал один чешский офицер после того, как его отделали на допросе гестаповцы. Он описал им немца, которому передавал крупные денежные вознаграждения за шпионские сведения.

По приметам подозрение пало на Хольма. Под пытками он сознался.

Моравек и Хольм долго работали вместе. Однажды Хольм сообщил Флейшеру адрес Моравека, чтобы тем самым вызвать больше доверия к себе, но сам предупредил Моравека, и гестаповцы обнаружили лишь пустую квартиру, где посреди комнаты стояли две мусорные корзины, на одной была записка: «Для Геббельса», а на другой: «Для Геринга»...

После нападения на Гейдриха я переводил доносы, время от времени поступавшие в гестапо. В большинстве случаев они были анонимные и не имели отношения к покушению. Бывало, что соседи, поссорившись, писали друг на друга в гестапо, что, мол, у соседа скрываются парашютисты, и так далее.

Но один из этих доносов я запомнил: анонимный осведомитель писал, что у учителя Зеленки из Вршовиц живут парашютисты. На него сразу обратили внимание. Каждое письмо перлюстрировалось, поэтому ни одного я не мог ликвидировать. Я собирался хотя бы предупредить Зеленку, но делу был дан быстрый ход. В кабинете появился человек, назвался Чурдой и столько всего наговорил, что трудно себе представить!

У него были пухлые губы, толстые щеки и бегающие глаза. Мне несколько раз приходилось переводить его сообщения. Както раз мы ненадолго остались вдвоем, и я спросил:

— Зачем вы это сделали?

— Я не мог смотреть на убийства невинных людей,— сказал он.

— А теперь вы довольны? Думаете, что убийства прекратятся?

Он с удивлением посмотрел на меня и не ответил. Мне было противно: зачем я с ним вообще заговорил? Это был просто трус, жаждущий денег. Когда я потом снова его переводил, он смотрел на меня с удивлением. Я испугался, как бы не попасться на заметку, моя ирония могла мне дорого обойтись. К тому же Флейшер недолюбливал меня, даже устраивал за мной слежку.

Ну а теперь о Чурде. Насколько мне известно, он выдал почти всех — и тех, кто ему помогал, и женщину, у которой он прятался в вентиляционной шахте, и семью Моравцов на Жижкове. О церкви на Рессловой улице он, вероятно, не знал. Но Панвицу достаточно было услышать фамилию пани Моравцовой, как он тут же велел туда собираться.

— Поедете с нами,— обратился он ко мне.

— У меня тут работа, господин комиссар...

— Подождет. Будьте готовы.

Сейчас трудно вспомнить все точно, но было далеко за полночь, чуточку уже светало, 17 июня в среду...

Выехали мы на нескольких машинах и направились в район Жижкова. Комиссар был как гончий пес, которого пустили по следу. Он весь трясся от возбуждения

и подгонял шофера. Мне велено было находиться у него под рукой.

Проехав перекресток «У Булгара», мы повернули вверх на гору. На магазинах еще не были подняты шторы, но люди в домах уже просыпались.

Мы остановились.

«Чего здесь надо Чурде?»— удивился я, увидев его, но размышлять было некогда. Флейшер помчался к парадной двери и начал яростно трезвонить, топчась на месте и с беспокойством оглядываясь вокруг. Руку он держал на пистолете. Никто не шел. Он выругался и снова позвонил.

Наконец дверь отперла женщина, наверное привратница. Она хотела что-то спросить, но комиссар оттолкнул ее и ворвался в дом. Все двинулись за ним.

У лифта он остановился.

— Где живут Моравцовы?— спросил он, а я должен был переводить.

Привратница дрожала, возможно от холода. Она испуганно что-то прошептала, потом, немного опомнившись, назвала этаж. И вдруг громко закричала:

— Хотите ехать на лифте?

Не знаю почему, но в тот момент я подумал, что она не без умысла громко произносит слова, хочет предупредить тех, наверху. Может быть, мне это только показалось. Флейшер, к счастью, ничего не заметил. Я перевел, но он махнул рукой и понесся вверх по лестнице, перескакивая через несколько ступенек.

Она спросила еще, запереть ли дом, но он крикнул:

— Убирайтесь к себе и не суйтесь куда не следует!

На площадке наверху он осмотрел надписи на дверях, нашел ту, что надо, и нажал кнопку. В квартире было тихо, потом послышались шаги, дверь открыли. Комиссар ворвался в переднюю, его люди за ним. Мне приказали оставаться у входа.

Минут через пять за мной пришли. Лицом к стене стояли трое: старик, женщина и юноша. Это были Моравцы.

Флейшер кипел от злости. Гестаповцы перевернули все вверх дном, но никаких парашютистов не нашли. Пан Моравец ответил:

— Я ничего не знаю...

— Ты у меня вспомнишь!— закричал Флейшер и исчез в соседней комнате.

— Мне нужно в туалет,— прошептала Моравцова.

Стоявший рядом гестаповец сказал ей что-то грубое и ударил ее.

Потом он пошел к Флейшеру, я остался с ними один. Моравцова схватилась за стену.

— Идите быстрей, пани,— сказал я, хотя не имел на это права.

Она поблагодарила и вышла. Тут же появился комиссар:

— Где женщина?

— Ей нужно было в туалет...

Он бросил на меня яростный взгляд:

— Идиот...— и, поспешив к туалету, выбил дверь. Пани Моравцова стояла, как-то странно улыбаясь. Потом ее лицо задергалось, и она медленно стала падать.

— Воды!— взревел Флейшер.

Ничего не помогло. Она проглотила ампулу с ядом.

— Вы за это еще получите!— орал он на меня.

Старика и парнишку — это был Атя — увели в ночном белье.

Мы уехали.

Комиссар приказал мне никуда не отлучаться из канцелярии. На допрос Ати меня не вызывали.

Это был ужасный день. Но я даже не мог предположить, что ждет меня впереди.

Что рассказал свидетель во второй раз

Сижу. Думал, меня вызовут переводить. Но было не до меня, все носились вверх-вниз по этажам. Что-то случилось.

Я собрался пойти поесть, как в дверях появился Панвиц и приказал:

— Едем!

На улице стояло несколько машин. Мы ехали той же улицей, что и на рассвете. Остановились неподалеку от дома, где жили Моравцы, но вошли в другой дом, почти напротив.

Поднявшись по лестнице, Флейшер позвонил. Раздались шаги, и кто-то посмотрел на нас изнутри в глазок. Панвиц, заметив это, разъярился, и гестаповцы, разбежавшись, навалились на дверь. Дверь затрещала, но ее тут же открыли — на пороге стояла женщина, а по коридору убегал мужчина. Один из гестаповцев выстрелил из револьвера. Я выскочил на лестницу и заметил табличку на дверях: «Ян Зеленка, учитель...»

Из ванной донесся мужской голос. Он крикнул по-немецки:

— Не стреляйте! Я выхожу.

Из ванной вышел пан Зеленка, сделал два или три шага. Панвиц бросился к нему, но в тот же момент Зеленка споткнулся, взмахнул руками и упал.

Он проглотил яд.

Беготня по лестницам в гестапо не прекращалась и на другой день.

В час или в два ночи объявили, что скоро выезжаем.

— Куда?— спросил я первого попавшегося гестаповца.

— Брать тех террористов...

Раннее утро. 18 июня 1942 года. Последний день, на который Франк назначил свою операцию. Иначе... Едем к Карловой площади, останавливаемся в начале Рессловой улицы. Невдалеке стоит церковь Кирилла и Мефодия. Вся округа уже была плотно оцеплена отрядами СС и гестапо.

— Прибыли!— шепчет Панвиц и направляется к церкви, мы — за ним.

Все тихо и спокойно. Ясное июньское утро.

Я оглядываюсь. Вокруг вооруженные до зубов солдаты.

К церкви примыкают с двух сторон дома. Вход в церковь из боковой улицы. Рядом — двери к церковному сторожу. Один из гестаповцев звонит, и опять проходит целая вечность, пока на пороге появляется человек. Его сразу же кулаком сбива-

ют наземь и надевают наручники. В конце коридора еще одна дверь.

— Что там?

Получив ключ, Панвиц несется к ней по коридору и через черный ход проходит со своими людьми в церковный неф.

Я остался сзади. Панвиц со свитой в церкви, и вдруг сверху, с хоров, раздалась стрельба! Это было неожиданно. Во всяком случае для меня. Панвиц так уверенно сюда шел, он явно не ждал нападения с хоров!

Один из раненых взвыл от боли.

Панвиц крикнул, чтоб отступали в коридор, а мне велел убраться в соседний дом и там ждать.

На улице нарастало напряжение. Из окна дома напротив — кажется, там была какая-то школа — высунулся ствол пулемета и оттуда сразу начали стрелять по хорам. Перед церковью поставили небольшую пушку.

Я ушел в дом, где находилось техническое училище.

О том, что произошло в церкви, могу рассказать только с чужих слов.

Сначала Панвиц хотел их взять живыми, но понял, что из этого ничего не выйдет.

Приказы атаковать повторялись без конца. Засевшие на хорах были отличными стрелками, и эсэсовцам не очень-то хотелось подставляться.

На галерее, тянувшейся вдоль окон, оборонялись трое.

Командир эсэсовцев приказал применить гранаты. Из соседнего дома я отчетливо слышал взрывы.

Внезапно наверху все смолкло. В церкви наступила зловещая тишина. Эсэсовцы немного выждали, а потом взбежали по винтовой лестнице наверх и там нашли трех парашютистов, лежавших в луже крови.

Их стащили вниз. Один был мертв, двое других в агонии. Их срочно отправили в больницу.

Было шесть или семь часов, точно не знаю.

Вдруг откуда-то привезли Чурду и Атика Моравца. Их подвели к мертвому парашютисту для опознания. Ведь Панвиц понятия не имел, кто прячется в церкви.

Чурда молчал. Потом прошептал:

— Опалка...

А в церкви между тем искали путь, ведущий в подземелье. На улице гугнил мегафон, обещая осажденным пощаду, если они сдадутся. Значит, кто-то еще оставался в подземелье. Люди, засевшие там, сначала молчали, а теперь начали обороняться и делали это умело. Чурду подвели к вентиляционному оконцу склепа: он должен был призвать тех, внизу, прекратить сопротивление. Атя Моравец отказался.

Парашютисты ответили новыми выстрелами. Теперь они знали, кто их предал.

Когда не помог ни мегафон, ни стрельба, были вызваны пожарные...

Я был шофером пожарной машины

Я работал тогда на авиазаводе и в пожарной охране оказался случайно.

В тот день я дежурил. Сутки. Ночь прошла спокойно, без воздушной тревоги.

Дежурство мое кончалось, я радовался, что скоро пойду домой.

И вдруг — тревога! Общий сбор!

Начальнику позвонили, и он приказал мне: «Давай дуй на «Карлак». То есть на Карлову площадь. Я дал газ, и не успели оглянуться, как прибыли на Карлову площадь,— дыма нигде не было видно, но кругом полно эсэсовцев. Нам это показалось странным. Тут подошел наш начальник и сказал, что в церкви на Рессловой улице засели люди, убившие Гейдриха, и что их надо выгнать оттуда водой.

— На нас не рассчитывайте,— буркнул кто-то.

Начальник разозлился:

— Кто это сказал?

Все молчали.

— Посмотрите: кругом гестаповцы. Они вмиг вам мозги вправят.

Наш начальник был отпетый негодяй. После освобождения в 1945 году его судили как коллаборациониста.

— И поторапливайтесь,— добавил он.

На тротуаре лежал мертвый. Уже потом я узнал, что трое парашютистов оборонялись на хорах. Одному из них гранатой оторвало ноги. Его повезли в больницу, но по дороге он скончался. Другой, тоже тяжело раненный, умер, не приходя в сознание. Третий лежал на тротуаре.

Эсэсовцы стреляли, но редкая из пуль попадала в маленькое вентиляционное оконце склепа, остальные отскакивали от стен. Какой-то офицер спросил, кто из нас знает расположение подвалов под церковью. Есть ли там коридоры и как проходит канализация? Мы молчали и пожимали плечами.

Наш начальник велел одному из пожарных взять молот, вдоль церковной стены осторожно подобраться к оконцу и выбить закрывающую его решетку. Парень пошел. Не думаю, чтоб ему хотелось, и я с ужасом спросил себя: что бы сделал я на его месте?

Опять же — все случайность. Он вылез вперед, чтобы получше все видеть, а ему сунули в руки молот. Попробовал бы он не пойти — тут же забрали бы, а назавтра его фамилия красовалась бы в списках тех, кто одобрял покушение и расстрелян. Волей-неволей он предпочел пробраться к окошку.

Два-три удара молотом — и решетка выпала из оконца. Сам Франк похвалил его, а нам было тошно.

Немцы хотели забросать подземелье гранатами со слезоточивым газом и потом забить отверстие матрасом. Только у тех, внутри, имелась приставная лестница. Гранаты они выкинули назад, а лестницей выбили из окна матрас. И без остановки стреляли, так что эсэсовцы боялись даже подползти к матрасу.

Потом нам приказали направить в оконце луч прожектора, чтобы ослепить их. Но не успели мы наладить прожектор, как осажденные вывели его из строя.

— Мы их выкурим!— объявил наш шеф, сволочь, и велел всунуть в оконце трубу. Но парашютисты той же лестничкой, к

счастью, выбили и трубу. Тут кто-то сообразил: надо их затопить...

Да... Нашим ребятам велели установить насосы и натянуть шланги, а концы сунули в оконце.

Парашютисты своей лестничкой выбили шланги наружу, и они вывалились на тротуар. Эсэсовец велел снова засунуть их в отдушину, но через несколько секунд шланги снова оказались на тротуаре...

Подошел Франк. Он был в ярости, ругался, сопел, а мы посмеивались — про себя, конечно: смех в открытую стоил бы жизни!

Вдруг опять-таки случайность — пуля отбила от стены церкви кусок камня, и осколком мне поранило глаз. У меня появился предлог улизнуть, хотя бы на время. Нескольких пожарных послали внутрь храма: оказывается, нашли в полу плиту, под которой скрывался ход в подземелье. Они взяли молоты и для вида колотили по этой плите. Тем дело и кончилось.

Шло время. Не знаю, который был час, но снова появился Франк, он что-то кричал, но что — я не понимал. Злился, наверное, что так долго ничего не могут сделать, и боялся, как бы парашютисты за это время не удрали каким-нибудь подземным ходом к Влтаве, оставив у оконца одного, чтоб отстреливался и прикрывал их.

О чем рассказал свидетель в третий раз

Я сидел в здании технического училища и по временам слышал треск выстрелов. Было ясно, что, если осажденные не уйдут по канализационным каналам, им конец. Но вместе с тем я знал, что нацисты растянулись вдоль всей набережной Влтавы и караулят все выходы из каналов.

Ко мне подбежал эсэсовец и позвал внутрь.

Я вошел, как и первый раз, через боковую дверь. Церковь выглядела как после землетрясения.

Примерно в трех метрах от главного входа группа эсэсовцев и гестаповцев склонилась над каким-то отверстием, довольно узким, через которое взрослый человек протиснулся бы с трудом.

— Что-то вы не спешите, — строго сказал мне гестаповец.

Над дырой в полу стоял какой-то человек и переводил на чешский слова Панвица. Человек старался держаться подальше от отверстия: сложив ладони у рта и чуть наклонившись, он кричал вниз:

— Сдавайтесь! Вам ничего не будет!

Внизу наступила тишина, потом прогремели два выстрела. Ясный ответ! Затем Панвиц кивнул эсэсовцу, и тот привел человека в наручниках. С виду он походил на священника. Мне сказали, что это Петршек, капеллан. Комиссар приказал ему убедить тех, внизу, в подземелье, сложить оружие...

Капеллан молчал. Глаза его лихорадочно блестели, лицо у него было измученное, видимо его били.

— Торопись, у нас мало времени,— крикнул Панвиц.

Петршек посмотрел на нас, потом подошел почти вплотную к дыре и сказал:

— Тут вот говорят, что вам следует сдаться. Вам будто бы нечего опасаться, с вами будут обращаться, как с военнопленными...

Снизу отозвался громкий голос:

— Мы — чехи! Мы никогда не сдадимся, слышите? Никогда!

Второй голос из склепа повторил:

— Никогда!

И снова грянули выстрелы. Петршек и Панвиц отпрянули от дыры.

Наверху на хорах все было тихо. На усыпанном гильзами полу темнели пятна крови. Осажденным объявили через мегафон ультиматум: «Если не сдадитесь, вся церковь будет уничтожена. И вы погибнете под развалинами!» Но внизу знали только один ответ — выстрелы.

Снаружи по тротуару ходил взад-вперед Франк.

Эсэсовцы догадались скатать ковер, покрывавший весь пол церкви. Панвицу сказали, что в подземелье должен вести настоящий вход, а не только та дыра, через которую пролезали парашютисты. Ведь когда-то вниз, в склеп, спускали гробы.

Каменная плита оказалась перед алтарем.

Эсэсовцы поколдовали над плитой — видимо, заложили взрывчатку, затем всех нас выгнали в коридор. Грохнул взрыв, плита раскололась пополам, под ней открылись ступени.

Эсэсовцы группой несколько раз штурмовали подземелье, но неудачно — они спотыкались в темноте о тела своих же убитых и в панике отступали, бросив на лестнице раненых.

Одному из пожарных удалось зацепить лестничку и вытащить ее. Пожарные стали качать воду в подземелье мотором, а по лестнице от алтаря спускались эсэсовцы...

Прибывала вода, усиливались и атаки. Одну группу сменяла другая. Вниз полетели гранаты, подпрыгивая на ступеньках, они падали вниз, и взрывы их приглушала вода.

А парашютисты стреляли неутомимо. Но как долго могло это продолжаться?

И вдруг около полудня все стихло. Эсэсовцы исчезли в склепе. Вскоре офицер, мокрый до колен, вылез оттуда с криком:

— Конец!

Тела мертвых парашютистов вынесли в церковь, а затем на улицу. Окровавленные лица, мокрая одежда — застрелившись, они падали в воду.

Я спустился в склеп. Там был полумрак, и я зажег спичку. Склеп был залит водой.

По воде плавали бумаги, я зажег еще одну спичку и увидел, что это разорванные деньги. И документы, наверно, тоже. Все кругом было забрызгано кровью.

Они сражались до последнего патрона, самый последний оставили для себя. Под окошечком, которое вело на улицу, они пытались делать подкоп под стену, чтобы пробраться в систему канализации, но за

фундаментом церкви наткнулись на землю и поняли, что обречены.

Пятый монолог историка

Мы приближаемся к завершению всей истории.

Пунктуальный пражский чиновник занес в книгу регистрации смертей, том I за 1942 год, под номером 348, Рейнхарда Тристана Гейдриха.

Такой же исполнительный судейский чиновник внес в реестр 29 сентября 1942 года приговор военно-полевого суда в Праге, по которому 252 чешских патриота были осуждены на смерть за укрывательство или содействие парашютистам.

В число этих 252 не входят жители Лидице, Лежаков, Бернартице и других уничтоженных фашистами сел и деревень. В первые же недели было казнено свыше двух тысяч людей, самым яростным преследованиям подвергались коммунисты-подпольщики. В Кратком курсе истории КПЧ об этом говорится следующее:

«Преемник Гейдриха, новый исполняющий обязанности протектора, Курт Далюге по приказу Гитлера развязал в стране жесточайший террор. В Праге было снова введено осадное положение, были казнены тысячи чехов, стерты с лица земли Лидице и Лежаки... Тяжкий урон в результате террора оккупантов понесла коммунистическая партия. Еще до покушения на Гейдриха нацистам удалось арестовать Юлиуса Фучика. Во время осадного положения в их руки попал Ян Зика [1], вскоре после него были арестованы и казнены другие члены подпольного руководства КПЧ. Некоммунистическое движение Сопротивления, не выдержав нацистских репрессий, практически перестало существовать. Но тысячи коммунистов продолжали антифашистскую борьбу и в тюрьмах гестапо, где подавали пример непреклонности и преданности делу. Они жили как герои и умирали как герои. В концентрационных лагерях международные подпольные коммунистические организации также являлись единственной организованной силой и ядром сопротивления заключенных».

3 сентября 1942 года состоялся суд над капелланом Владимиром Петршеком, священником Вацлавом Чиклем, председателем совета старейшин православной церкви Яном Сонневендом и епископом Гораздом, в миру Матеем Павликом... Все они были казнены. Месть нацистов была беспощадной.

День 18 июня, когда истекал ультиматум Франка чешскому народу, стал роковым для парашютистов. Как стало известно позднее, на следующий день их должны были переправить за пределы Праги и, возможно, им удалось бы спастись.

Но вернемся к операции «Церковь». По документам в ней приняло участие 19 офицеров, 740 младших офицеров и рядовых, позже к ним присоединились 25 эсэсовцев и моторизованная часть. Операция началась в 2 часа ночи. Церковь была окружена широким двойным кольцом.

После четырех часов ночи гестаповцы во главе с Панвицом и в сопровождении переводчика вошли в заднюю галерею. Началась перестрелка. В донесении штандартенфюрера СС Гешке от 25 июня Далюге и Франку говорится:

«18 июня 1942 года в 4.15 центральным управлением гестапо в Праге была предпринята операция с целью обыска катакомб церкви... Уже через несколько минут после проникновения команды центрального управления гестапо в главный неф по ней была открыта стрельба с галереи и с хоров церкви. В течение нескольких часов предпринимались безуспешные попытки захватить противников живыми; трое из них хорошо укрепились на галерее за большими колоннами, и четверо скрывались в подземелье. Поскольку эти попытки не имели надежды на успех или были бы связаны с большими потерями, так как противник оборонялся и бомбами, от этого намерения пришлось отказаться, сопротивление противника было сломлено ударным отрядом войск СС, вооруженным автоматами и ручными гранатами. Пять террористов было найдено мертвыми, двое, один из которых являлся участником покушения (бросал бомбу), еще некоторое время жили, но в сознание так и не пришли...

Обнаруженные в церкви боеприпасы, матрасы, одеяла, одежда, белье, продукты питания и предметы повседневной необходимости свидетельствуют о том, что преступникам содействовал широкий круг людей. О происходившем знали приходский священник, капеллан, сторож и служитель приходской канцелярии... О том, что помощь шла и от верховного духовенства, свидетельствует тот факт, что епископ церкви Горазд знал о положении вещей за несколько дней до появления гестапо... тем не менее о случившемся не сообщил, несмотря на объявленную угрозу сурового наказания. Капеллан Петршек принудил церковного сторожа Орнеста к молчанию, заставив его перед алтарем... поклясться на Библии...»

Таково официальное донесение, значительно упрощающее события.

В другом донесении, от 23 июня, описывается бой в церкви после того, как ударный отряд СС получил задание взять преступников — число которых не было известно — живыми. Выполнение задания было затруднено тем, что из церковного нефа на хоры вела вертикальная винтовая лестница, выход из которой наверху оборонял один из преступников. «Командир ударного отряда, умело разместив группы с ручными гранатами и пулеметами, под прикрытием огня проник на хоры... После двухчасовой перестрелки три преступника, находившиеся на хорах, были задержаны и арестованы...»

Как мы видим, парашютисты не испугались огромного перевеса сил противника и дрались как герои. Мы знаем также точное время: бой за церковь — точнее, за ее галерею — продолжался вплоть до 7 часов. Заключительные слова донесения —

[1] Ян Зика (1903—1942) — деятель КПЧ, во время оккупации член второго подпольного ЦК КПЧ. Был смертельно ранен при аресте.

неумелая попытка доказать, что парашютисты были «задержаны и арестованы», то есть якобы взяты живыми. На самом деле «задержали и арестовали» одного убитого и двух умирающих, которые скончались, так и не произнеся ни слова...

Готовясь штурмовать церковь, нацисты не имели представления о том, сколько здесь скрывается парашютистов, и начали дальнейшие поиски только после того, как наткнулись на четвертый костюм. Можно себе представить, что чувствовали сидевшие внизу осажденные, которые бездействовали во время боя. Их товарищи стреляли, а они молчали в надежде, что нацисты не узнают о них.

Далее в донесении описывается бой за овладение подземельем. Несколько раз осажденным предлагали сдаться. Однако те отвечали: «Никогда!»

В донесении говорится о всевозможных способах, с помощью которых нацисты пытались захватить подземелье: слезоточивый газ, вода, ручные гранаты... Героизм парашютистов был беспримерным.

Не помогла и вода: уровень ее поднимался медленно, по-видимому, внизу имелся сток.

Самое страшное — у парашютистов кончались боеприпасы.

«...в склепе были найдены четыре мертвых преступника. Помимо тяжелых ранений у некоторых были прострелены головы, что свидетельствует о том, что они... застрелились».

Затопленная церковь опустела.

Ковер, на котором лежали ее погибшие защитники, увезли. Тротуар вымыли. Но игра еще не кончилась.

В Пардубице продолжала действовать «Либуша». Радист Потучек все еще садился вечером к аппарату и вел передачу. Командир Бартош слег с обострением ревматизма. Из Праги приехал учитель Индра и отправил супругов, у которых жил Фреда, в деревню — отдохнуть от постоянного нервного напряжения. Бартош, как только понемногу начал ходить, тоже покинул Пардубице. «Либуша» вела передачи из деревни Лежаки.

Но Чурда выдал и пардубицкую явку. Гестаповцы дознались, куда выехали супруги, и арестовали их, а в их доме в Пардубице устроили засаду. В квартиру привели арестованную жену свидетеля из Пардубице: они стремились взять Бартоша живым, и она должна была открыть ему дверь... Однако они не знали условного знака: в случае опасности оконная штора в угловой комнате должна быть спущена. В тот день немилосердно палило солнце, и жена свидетеля из Пардубице как бы мимоходом опустила штору в угловой комнате, а сама села в кресло. За дверьми ждали наготове гестаповцы с пистолетами.

Бартош не явился.

Женщину увезли, а засаду оставили. К вечеру гестаповцы подняли штору.

Томительно тянулось время.

Вдруг у входной двери на тротуаре кто-то нажал звонок. Гестаповец бросился к окну, и в то же мгновение Бартош увидел его, повернулся и побежал, гестаповцы выскочили из дому и бросились в погоню. Завязалась перестрелка, и когда Бартош — подпольная кличка Мотычка — понял, что скрыться не удастся, он выстрелил в себя.

Гестаповцы немедленно отвезли его в больницу и пытались сохранить ему жизнь, чтобы заставить говорить,— он умер, не приходя в сознание.

Казалось, что поиски остальных парашютистов зашли в тупик, но тут вмешалась жестокая случайность. Или неосторожность. Гестапо наткнулось на красную тетрадь Бартоша — его дневник, где он записывал содержание всех переговоров, радиограммы из Лондона, имена...

Это грозило смертью десяткам людей.

После гибели командира группы «Сильвер А» капитана Бартоша из всей группы в живых остался один Потучек. Он добрался до Богдашина у Червени-Костельца. 26 июня «Либуша» передала оттуда последнюю, неоконченную радиограмму:

«Прошу сообщить пароль от цифры 895-97 этим шифром. Деревня Лежаки... где находилась моя станция, стерта с лица земли. Помогавшие нам люди арестованы Фред пропал... Я остался один...»

Трагедия достигает кульминации. В Праге почти все арестованы и ждут смерти. Лидице и Лежаки уничтожены. Потучек тщетно разыскивает своего уже погибшего командира.

Богдашин окружают, но Потучеку еще удается пробиться, он бежит, его преследуют, и 2 июля 1942 года недалеко от Пардубице он был убит...

Количество арестованных все растет. Группа «Индра» разгромлена — каждый день новые жертвы.

Но мучительнее всего была неопределенность.

Многие из подпольщиков погибли, когда пытались восстановить связи и выяснить обстановку...

Погибли парашютисты, погибли тысячи чехов. Народ заплатил жестокую цену за покушение.

Убийство Гейдриха доказало всему миру, что чешский народ не покорился нацизму и борется. Президенту Бенешу покушение принесло ценный морально-политический капитал (на это он и рассчитывал), оплаченный, однако, слишком большой кровью. Вместе с тем, несмотря на тяжелейшие потери, нанесенные силам Сопротивления, нацисты не смогли сломить противодействие чешского народа, хотя на некоторое время его активность снизилась. Покушение стало грозным антифашистским судом чешского народа над оккупантами. Именно это прозвучало в выступлении Клемента Готвальда из Москвы на чешском языке 6 июня 1942 года:

«Дорогие друзья, товарищи, братья и сестры, находящиеся там, на родине, первые наши слова обращены к тем, пока еще неизвестным героям, которые уничтожили кровавого палача Рейнхарда Гейдриха, освободили тем самым человеческое общество от одного из самых страшных гитлеровских изуверов и прославили звание чеха во всем мире... Весть о смелом нападении на негодяя Гейдриха застала нас — депутатов Копецкого, Кроснаржа и меня — в чехословацкой военной части, которая формируется на территории Советского

Союза. Там же дошли до нас сведения о первых смертоносных репрессиях, которые гитлеровцы, обуянные бешеной злобой, обрушивают на чехов, не имевших никакого отношения к нападению на Гейдриха, на людей, чьей единственной виной являлось то, что они — чехи. И наши солдаты просили вам передать, что они клянутся воевать до тех пор, пока не отомстят за все жертвы, пока гитлеровские убийцы не расплатятся за каждую каплю пролитой чешской крови.

Дорогие друзья! Расправой над Гейдрихом наш народ доказал всему миру, что, несмотря на все ужасы длительной немецкой оккупации, он несокрушим и несломлен, а его ненависть к иноземным захватчикам непримирима... Неизвестные герои, сразившие Гейдриха, не только отплатили за пролитую чешскую кровь, они отомстили также за бесчисленные жертвы, понесенные другими европейскими народами... В этом смысле выстрелы в Праге по Гейдриху могут быть расценены как сигнал к началу наступления порабощенных стран на позиции немецких оккупантов по всей захваченной ими территории.

Дорогие друзья! Устранением Гейдриха, этого главного палача всех европейских народов, наш народ заслужил великую похвалу, однако вместе с тем он взял на себя и огромное обязательство. Обязательство не ослабевать в бою, выстоять до конца, сознавая, что окончательная победа нашего правого и святого дела не так уж далека... Сейчас речь идет о том, чтобы народ не сошел со своего пути и не остановился на полдороге. Наш народ не одинок. Великая Советская Армия и героические советские партизаны наносят гитлеровским ордам сокрушительные удары. Английские летчики сеют смерть над немецкими городами. Английские и американские армии готовятся к открытию второго фронта на Западе. По всей оккупированной Европе от Греции, Югославии через Францию и до Норвегии звучит единый призыв: «Смерть немецким оккупантам!» Нет, мы не одиноки. Весь мир борется вместе с нами, чтобы приблизить конец гитлеровской тирании».

Да, героизм, отвага и страдания нашего народа явились сигналом и мощным стимулом для других порабощенных народов. В Москве газеты «Правда», «Красная Звезда» и «Известия» высоко оценивали тот факт, что чешский народ не удалось заставить ни замолчать, ни покориться. Васил Коларов, бывший генеральный секретарь Коммунистического Интернационала, выступая по радио, сказал: «Выстрелы в Праге самым убедительным образом доказали полный крах попыток гитлеровских бандитов сломить дух свободолюбивых народов... Покушение на Гейдриха является новым доказательством героизма чешского народа...» В Лондоне, Вашингтоне или в оккупированной Франции (где подпольная «Юманите» написала: «Французы! По примеру братского чешского народа — в бой против фашистских убийц!»), во всех уголках мира звучало восхищение отважными сыновьями и дочерьми чешского народа, не склонившими головы перед нацизмом. Именно так оценивает этот период «История Коммунистической партии Чехословакии». В ней отмечается и другая сторона происшедших событий:

«Народ увидел в покушении справедливый акт возмездия. Мировая общественность была глубоко взволнована. Возросла решимость порабощенных народов к активной борьбе. Однако тот факт, что покушение было проведено как изолированная акция, не связанная тесно с движением Сопротивления всего народа, дал возможность оккупантам развязать бешеный террор...»

В этом состоял трагизм покушения.

В течение многих часов тела парашютистов лежали на улице перед церковью Кирилла и Мефодия. Вот имена этих героев: Ян Кубиш, Йозеф Габчик, Йозеф Вальчик, Адольф Опалка, Ярослав Шварц, Ян Грубый и Йозеф Бублик. Их объединила смерть. Она объединила и их помощников: семью «тети» Моравцовой, Зеленки-Гайского, семью Кходловых, Пехкачеков, Новаков, Фафеков, Сватошовых, Войтишеков... О сотнях других мы знаем только, что их всех отправили в товарных вагонах из Терезина в Маутхаузен. На бойню...

Прага, 27 мая 1977 г.

Перевод с чешского В. ПАРХИТЬКО

◆

Антирубрика

УИЛЬЯМ САРОЯН (США)

РАЗВЕ СЕГОДНЯ НЕ ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ?

Перевод с английского ЕВГЕНИИ ШВАРЦ

Одна мысль посещает меня непрестанно: сегодня тот самый день.

Но каждый раз оказывается, что не тот, хотя иногда это почти тот самый день.

Сегодня я напишу настоящее, сегодня мне не придется думать, как это сделать, это выйдет само собой, я просто не смогу ничего испортить; великий день, мой день, день моей непогрешимости.

Меня все время мучает вопрос: кто придумывает шутки?

По-моему, никто этого не знает. Шутки не возникают сами по себе, но никто никогда не пытался проследить, кто же их придумывает.

И еще я нередко задумываюсь — это уже мысли совсем иного порядка,— задумываюсь о других писателях, старых моих друзьях или старых моих врагах.

Одного из них я знаю уже тридцать три года, он прекрасный читатель, клянусь, гораздо лучший читатель, чем писатель; он перестал писать тридцать лет назад, хотя до сих пор ведет себя так, будто и не переставал, и считает, что все эти годы он в отличной форме и пишет замечательные книги. Этот писатель, прочитав книгу, вскакивает в машину и несется десять миль к другому писателю, чтобы сказать ему: «Я не могу читать Уильяма Фолкнера, парень понятия не имеет, как писать, он, видно, никогда не перечитывает того, что пишет, у него даже нет знаков препинания, я просто заставил себя прочитать его новую книгу, но читать ее невозможно».

— Тогда зачем ты ее читал?

— Святилище! Неотвратимо, как вопль горбуна из «Собора Парижской богоматери», кстати, «Святилище» — это название книги, хотя мне она им не показалась.

А еще через несколько лет тот же писатель промчался четыреста миль, чтобы поговорить о писателе, который сунул себе в горло дробовик и застрелился.

— Как они это делают?

— Не знаю.

— Зачем они это делают?

— Не знаю.

А потом мне вспомнился другой писатель, который не только не умел писать, но не умел и читать, правда, тому, что он умел делать, он посвятил восемь лет кряду, а после этого сердце не выдержало, и его жена стала вдовой, а двое детей — наполовину сиротами. А занимался он вот чем: он писал киносценарии, но делал это серьезно — в том, верно, и был секрет его успеха, потому что те, кто снимает фильмы, любят относиться к делу серьезно. Было бы ужасно, если бы все, за исключением, может быть, меня, не относились к работе серьезно.

Возьмем, к примеру, театр: идет спектакль, актеры что-то представляют, зал рукоплещет, актеров снова и снова вызывают на сцену — я не могу воспринимать это всерьез; мне жаль драматурга, который в ту минуту воображает, что все это его заслуга, мне жаль актеров, которые с достоинством упиваются аплодисментами; при виде такого зрелища у меня слезы навертываются на глаза, но все это вместе выглядит как шутка, хотя я не знаю никого, кто бы воспринимал это как шутку.

Все всё воспринимают всерьез. Пойдите в парикмахерскую подстричься и вы увидите, с какой важностью парикмахер относится к своему делу, — он воображает, что сооружает вам какую-то необыкновенную прическу, да и себя он мнит необыкновенной персоной, словно он не из тех бездельников, которые пьют укрепляющие средства для волос и держатся на работе не более десяти лет. Он относится к стрижке и бритью серьезно, ему кажется, что к этому нельзя не относиться серьезно. Если научить орангутанга стричь вдвое быстрее и вдвое лучше, парикмахер

скажет: «Парня загипнотизировали. Пройдет гипноз, и его работе будет грош цена».

Когда я встал сегодня утром, я воскликнул: «Сегодня тот самый день!»

Если я побрит, мне все равно, как я выгляжу. Словно старому бродяге, что стоит в обеденный перерыв в дверях опустевшего магазина. Мне все равно потому, что я знаю правду: я молод, я красив, я писатель и сегодня мой день. По радио пел Чабби Чекер, и я запел вместе с ним: «Обмакника, мама, печенье в варенье».

А потом встал под душ; но, может быть, кого-то смущает, что этому мужчине уже пятьдесят пять? Меня не смущает. Дайте мне выпить чашечку кофе и выкурить сигарету без фильтра, и вы увидите.

Писать? Старина, да я могу одним махом написать Святую Библию, но сначала надо попробовать сделать одним махом шесть-семь других дел, так что Библию сегодня писать не буду, бог с ней! Могу написать хоть Евангелие. Спорим на чашку черного кофе, две чашки, три, на весь свет, на утро, на жизнь, на меня — видели когда-нибудь такие ставки?

Выпиваю первую чашку кофе, открываю новенькую пачку «Честерфилда», вынимаю новенькую сигарету, чиркаю спичкой, зажигаю сигарету глубокая затяжка: «Старина, сегодня тот самый день».

Идеи? Сколько угодно. Характеры? Такие характеры не снились ни одному писателю. А там внутри табачный дым обволакивает спящих собак и они начинают радостно прыгать и рваться в погоню за коварным рыжим лисенком — сегодня мы поймаем и этого писателя, и собаку, и лисенка, и мастерство, и все прочее. Нас ничто не остановит, и все у нас будет как в первый раз; да, и за прекрасный гонорар. И не найдется на свете редактора, который, перелистав мою рукопись, посмеет заявить (как обычно заявляет, принимая себя всерьез): «Нам понравилось начало, середина, пожалуй, неровная, но когда мы дочитали до конца, у нас создалось впечатление, что нас надули». Вместо этого он скажет: «Ладно только будьте благоразумны в отношении гонорара. Мы можем предложить вам не больше трех миллионов дважды в неделю, это все-таки деньги. И не забывайте, что у вас всего лишь рассказ; если хотите начистоту, нам бы хотелось заполучить его, хотя никто из нас не может понять, почему нам так хочется, поэтому будьте разумны в отношении денег, которые вам за него хочется».

Целых сорок четыре минуты длился тот самый день. Это был не только день, которого я ждал всю жизнь, это был день, которого ждет каждый, и я чувствовал себя избранником тем самым, к кому этот день придет в конце концов. Я настолько чувствовал себя избранником, что даже в силах был выносить свое собственное «я», во всем сомневающееся, ни во что не верящее, утрюмое, презренное, усталое и пресыщенное, «я», которое вечно бормочет себе под нос: «Не надо отчаиваться».

Мне хотелось быть доброжелательным даже к нему, моему ленивому, толстому «я», если возможно, даже великодушным, безразличным к его оскорблениям, быть таким же, как оно, неприхотливым, таким, каким оно было всегда, и мне хотелось, чтоб это мое «я» знало, что я не чувствую ни малейшего превосходства над ним: «Пусть идет с нами, почему бы нет?» Не знающее границ благородство, нескончаемая доброта, бесконечное христианское смирение.

Настало утро, старина, и все кругом ожило. Где-то проснулся подсолнечник, и вокруг него закружила пчела, закружила над золотистыми, смеющимися солнцу, желтыми лепестками, пчела, опьяненная дурманящим запахом и ослепительными красками. Снова все как прежде, да, старина? Все как в былые времена, словно по расписанию, правда? Сегодня должен быть тот самый день. Что за шутки, что за истории, что за характеры, что за развлечения, что за искусство, что за смех, что за чтиво, что за прекрасное чтиво и каких оно родит читателей, тьму полумертвых, полусонных дураков оно превратит во вдумчивых, редкостных читателей.

Усадите меня за мой старый стол, за мою старую пишущую машинку, и вы увидите, что произойдет, несмотря на мои пятьдесят пять, несмотря на мою ужасную хромоту с 1939 года (лишь недавно я перестал обращать на нее внимание), несмотря на хронический катар, давно не замечаемый, на полуглухое правое ухо, которое, правда, отлично слышит «Обмакни-ка, мама, печенье в варенье» на подслеповатый правый глаз, которым, правда, прекрасно можно пользоваться в дополнение к левому, подведите меня к пачке хорошей старой чистой бумаги — и вы увидите, как шесть-семь страниц заболнятся волшебством.

Сюжет? Кому нужен сюжет? Форма, целостность, стиль? Кому они нужны? Когда мир рождается вновь, старина, назавтра приходит тот самый день, а сегодня и есть завтра, ненадолго отложенное, всего на пятьдесят лет из-за дождя, гриппа, школы, работы, войны, кино, новостей, великих новостей, последних новостей, но больше его откладывать не станут, теперь, наконец, оно настало, точно по расписанию, как обещано, безотлагательное, насущное, как четвертая чашечка кофе, насущное и вечное, и все потому что есть я, невиннейший из простаков, необразованный писатель, безграмотный основатель единственного в своем роде жанра, низвергатель форм, не признающий ни рассказы, ни романы, ни эссе, ни судебные иски, ни завещания, ни бесплатные брошюры о счастливой жизни на пенсию в сто долларов, ни прейскуранты, ни каталоги, ни справочники, ни телефонные книги.

Кофе считают вредным потому, что в нем нефть, из-за которой начинается язва, сигареты — потому, что вызывают рак, мир — потому, что он ничтожен, стремление жить вредно потому, что жить глупо и потом все равно это ненадолго. Верить вредно потому, что это неоправданно. Ждать чего-то хорошего от наступающего дня вредно потому, что эти ожидания еще никогда не сбывались. Забывать о хромоте, катаре, тугоухости и подслеповатости вредно потому, что все они здесь при мне, ухмыляются и только того и ждут, чтобы в любую минуту со мной разделаться. Помнить шутки, развлечения, своих подружек

и наших общих с ними детей вредно потому, что где все это теперь, где они все теперь? Вредно все потому, что все всегда вредно, этого не знают лишь писатели, они никогда этого не усвоят, они отказываются это понять, они тупее тупиц и не устают повторять: «Сегодня тот самый день», не принимая никого и ничего всерьез, кроме этого самого дня, так что тут все яснее ясного.

Итак, писатель садится, итак, я сел, итак, кто-то там сел двенадцать часов назад в шесть утра в Сан-Франциско, еще затемно, «Обмакни-ка, мама, печенье в варенье», да, кстати, как насчет ребят, которые сочиняют песни, и заодно тех, которые их поют?

Обычно я ложусь в час ночи, просыпаюсь в три, включаю транзистор, и вот они все снова со мной, презираемые Клифтоном Фейдиманом, высмеянные Марией Маннес, снова все они, взывающие к погоне за рыжим лисенком и совершенно безразличные к финансовому кризису, обсуждаемому в «Сатердей ревью», к обнищанию, которое распространяется все шире потому, что никто не понимает его неотвратимости: Элвис Пресли, Рей Чарльз, Фетс Домино, Чабби Чекер и всякие разные девочки, премилые девочки, которые поют о том, что «он бродячее чудо» или «я не буду твоей, разве что ты придешь немедля».

Никто из тех, кто хоть что-нибудь значит, не испытывает никакой гордости за всех этих певцов и певичек, но ведь, что греха таить, они о чем-то рассказывают, а мы, писатели,— нет. Мы создаем произведения искусства, мы испытываем чувство превосходства, мы читали Стендаля, читали ведь, правда? Мы обо всем осведомлены, не правда ли? Мы пишем рассказы, романы, пьесы, стихи, блестящие передовицы, не правда ли, мы учились в серьезных школах и все это принимали всерьез?

А я горжусь ими, этими певцами. Я даже горжусь девчушками, которые собирались группами и скандировали биттлзам, четырем забавным ливерпульским ребятам, которые додумались, как можно обойтись без парикмахера, и вообще об этом не думать, и притом, наверно, даже не понимают своего счастья. Я горжусь Джоном Кашем, Ферли Хаски Марвином Рейнуотером и Питом Сигером. «Тик-так»,—поет Пит в три часа утра, все они вышли из этого «тик-так», все эти милые ребята, которые идут к парикмахеру и тут же сами становятся парикмахерами и относятся к этому серьезно. И я горжусь здоровым толстым парнем, моим собственным другом — не могу вспомнить его имени,— который однажды позвонил мне, когда посчитал, что это необходимо, и сказал: «Чем же мне тебе помочь, старина?» — то есть не сказал, а пропел (он никогда не упускал случая вставить строчку из песни), «и меня прошибла горькая слеза». А потом однажды я услышал, как он поет это по радио, и тоже запел эти строчки вместе с сыном и дочерью — мы ехали в такси по Чикаго,— и негр-шофер обернулся к нам и засмеялся: «Сэр, да это же моя любимая песня». Но лучше Берла Ивса не поет никто, даже Боб Уиллс, даже «Чикагские повесы», когда поют «Розу из Нью-Сан-Антонио», даже «Сыновья первых поселенцев», когда поют «Искусство, как ты прекрасно». Да, певцам это доступно, и у них это получается. И у шутников, и у комедиантов — тоже, а вот почти у всех остальных — нет.

Был тот самый день, и я решился, хотя это было нелепо, безнадежно и бесполезно, и я знал об этом, как тот финн в телевизоре на Девятых зимних Олимпийских играх в Инсбруке, который застыл с опущенной головой на площадке трамплина и про которого комментатор спросил чемпионку по лыжам: «Он что, молится?» Я чувствовал вместе с тем финном, как нелепо, невозможно, никчемно, глупо и смешно прыгнуть не лучше всех, чтоб тебя настигли, как глупого рыжего лисенка, того, что смеялся; и тут финн поднял голову, распрямил грудь и пошел. Я помню, как он сорвался с места и устремился вперед. Он ринулся в этот лучший в мире прыжок, и я тогда понял вместе с ним, что это возможно и что я тоже должен попробовать, и даже если я при этом разобьюсь в кровь, в этом тоже будет смысл, потому что тебе никогда такого не сделать, пока ты не попытаешься это сделать, пока ты не совершишь эту чертову попытку.

Сегодня, как только я выпрыгнул из постели, я начал считать в обратном порядке. Я начал чуть ли не с миллиона и дошел почти до цели: восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск.

Что же случилось?

Ничего. Тогда попробуй еще раз. Три, два, один, пуск. Ничего.

Почему?

Разве сегодня не тот самый день? Что же случилось с этим днем?

Однажды кто-то прохрипел с пластинки: «Я видел, как умнейшие люди моего времени сходили с ума», но даже когда я первый раз услышал это — первый раз был и последний, мне было предостаточно, я не поверил: подумаешь, звуковой аргумент, хотя и не совсем голословный. Все сходят с ума, кончают с собой, попадают в тюрьму или умирают, и считается, что это вина... чья вина это считается? Вина сукиных сынов с Мэдисон авеню, словно те никогда не сходят с ума, не кончают с собой, не попадают в тюрьму и не умирают. А ведь и с ними такое бывает. Единственное, чего не бывает: они никогда не провозглашают, что это вина поэтов, которые бубнят свои стихи на пластинках.

Попробуем еще раз. Три, два, один, пуск.

Опять ничего, может быть, лучше начать сначала, с миллиона, с суммы, которую все энергичные американские мальчики предполагают зарабатывать за год или за два до того, как станут президентами. Пока я считал с миллиона, прошел почти час, хотя я и все время перескакивал, однако по-прежнему все без толку, и мне почудилось, будто время догадалось, чья это была вина. Догадалось за шестьдесят шесть сотых секунды: это была моя вина. Я выбрал неверную, глупую профессию: ничего не принимать всерьез. Надо было выбрать какое-то практическое занятие. Профессия писателя — совсем не то, что нужно, она вредна для здоровья, как курение, она подавляет желание жить и ждать чего-то от жизни.

Что случилось с этим днем? Что случилось с шутками? Что случилось с писателями, которых я все время вспоминал? «Они ушли»,— как поет Ферлин Хаски.

Что ж, ушли так ушли, поищем этот день в другом месте. Итак, я покинул свой стол, машинку, пачку чистой бумаги и поехал к морю. Приехал на пляж, а там ни души, даже японцы не удят рыбу. Я бродил, смотрел, слушал, собирал камушки и щепки. И ничего. Из-за вязкого песка начала болеть нога, ухо стало глохнуть, подслеповатый глаз затуманился, и надо мной закружили чайки, низко-низко, как будто у меня было чем их угостить или как будто я и вправду был избранником и им было велено кружить над моей головой, чтобы возвестить об этом.

Я слонялся весь день голодный, с сигаретным привкусом во рту, почти такой же заросший, как один из этих биттлзов, без конца вспоминая о мертвых, которые в воспоминаниях казались живыми, снова и снова возвращаясь к 1928, 1932, 1934 годам, когда еще не было войны, не было бомбы, когда все смеялись, когда еще не было смерти, в те дни даже мертвые не умирали и люди шли хоронить с мыслью: «Тебе там будет хорошо, Джо». А когда солнце стало садиться в море, я отправился назад к своему кофе, к своим сигаретам, письменному столу, машинке, чистой бумаге; и черт подери, это был чудесный день, хотя и не тот самый день. Мне было хорошо, и какие уж тут оправдания, и виноват-то во всем я один; но день прошел, снова прошел.

Что ж поделаешь. Я вот не умею петь, а мне бы так хотелось. Мои песни не очень-то хороши, и я не собираюсь их больше записывать, я их отпускаю на волю. Я не умею читать, потому что я писатель; моя профессия — писать, но писать я тоже не умею. То есть писать-то я умею, но я не умею писать, старина. Все умеют писать, и все пишут, но после стольких прошедших лет я не могу писать, я не знаю как. То есть я знаю как, но я не знаю как. Я подумал, надо вам сказать об этом. Так что все в порядке и не потому, что завтра придет другой день, вовсе нет, потому что на самом деле это совсем не так, завтра не придет другой день, завтра будет тот же самый день, но когда тебе минуло пятьдесят пять, единственное, наверно, почему тебе хорошо, это потому, что у тебя есть вчера, всегда неведомое и необъяснимое; а разве вчера, старина, не был великий день? Тогда давай начнем все сначала, поговорим, как бывало прошлым летом, «Обмакни-ка, мама, печенье в варенье».

ХОДФРИД БОМАНС (Голландия)

РАССКАЗЫ

Перевод с голландского ИГОРЯ БРАТУСЯ

Ясновидящий

Уже много раз я видел лицо профессора Ностальдини — знаменитого оккультиста и ясновидца — на афишных тумбах Харлема. Он был облачен в черное сатиновое одеяние с широкими свободными рукавами и кожаным ремнем на талии. Конечно, все это могло быть и трюком. Но его проникновенный, сверлящий, проникающий до самых печенок взгляд,— он не обманывал. Это был, чувствовалось сразу, человек исключительных оккультных дарований. Разве не он сказал моей тетке за пустяковую сумму в десять гульденов, что видит темные тучи на ее горизонте, но что в конечном счете все прояснится? Более того, разве не он заверил моего племянника, что в его жизни будут дождливые дни, но что он не должен беспокоиться, потому что настанут и солнечные минуты? Самое поразительное произошло с моим соседом, который и сказал-то о себе только, что он не коренной европеец, и, к своему невыразимому изумлению, услышал, что за спиной у него пять трудных лет. Это решило дело. Такую титаническую личность следовало немедленно посетить.

Когда я стоял перед скромным домом оккультиста в Ломбардном переулке, честно признаюсь, меня поначалу охватило чувство сомнения: неужели это и есть жилище профессора? Сам ученый сидел без пиджака у окна и в этом домашнем наряде вышел мне навстречу.

— Заходите,— сказал он непринужденно,— что толку стоять на улице.

Оккультист провел меня в боковую комнату и удалился, чтобы переодеться. В комнатке, выходившей окнами во двор, было очень темно, и, вероятно, поэтому прошло некоторое время, прежде чем я обнаружил второго человека, который находился здесь же. Это был невысокий толстый мужчина в сапогах, белом мундире с золотыми эполетами и треуголке. Правую руку он держал за пазухой. Казалось, он был несколько смущен моим присутствием. Профессор кивнул мне.

— Садитесь,— сказал он,— я должен сосредоточиться. Он закрыл глаза, просидел

так три минуты, потом открыл их и тихо произнес:

— Теперь я могу все.

Я поздравил его.

— Начнем с нескольких несложных телепатических опытов. Я скажу, о чем вы думаете в данную минуту. Дайте мне вашу руку. Так. Главное, не волнуйтесь. С вами ничего не случится. Вы думаете сейчас: нужно платить ему сразу или по окончании сеанса? Верно?

— Нет, профессор.

— Тогда вы должны были об этом думать! И я отвечу: сейчас!

— А сколько, профессор?

— Я знал, что вы спросите об этом. Полагаюсь на вашу справедливость.

Я протянул ему десятку.

— Две,— прошептал оккультист.— Благодарю вас. А теперь продолжим. Дайте-ка мне купюру в двадцать пять гульденов. Я кладу ее за дверью в коридоре, видите? Так, теперь мы закрываем дверь. Хорошо. Подождем минуту. Правильно. Встаньте и посмотрите, лежит ли она еще там.

Я открыл дверь и обомлел: купюра исчезла. Сомнамбулист улыбнулся.

— Дайте-ка мне купюру в сто гульденов,— сказал он непринужденно.— Видите? Я кладу ее перед вами на стол. Вот она. Теперь мы оба закрываем глаза. Думайте только о розах. Правильно. Ну, а теперь откройте глаза.

Я посмотрел. Купюры не было.

— Замечательно то,— продолжал парагност, улыбаясь моему изумлению,— что деньги никогда не возвращаются к прежним владельцам. Как бы мы ни старались. А теперь я почитаю вам по руке. Положите спокойно руку на стол. Ничего не случится.— Хиромант несколько мгновений напряженно всматривался.— Эта рука,— сказал он наконец,— принадлежит сравнительно молодому человеку. Кроме того, она немытая.

Я не мог скрыть удивления: и то и другое было правдой. Иллюзионист наклонился ниже к моей руке и пристально посмотрел на ладонь.

— Вы очень доверчивы,— вдруг произнес он.— Вы принимаете на веру все, что вам ни скажут. Этого делать не следует.

— Хорошо, профессор.

— Скажу больше,— продолжал парагност, поднимая мой мизинец и заглядывая под него.— Хотя это и будет неприятно. Вы — круглый болван.

Я остолбенел. Именно это мне всегда говорили мои друзья.

— Вы должны остерегаться своей доверчивости,— закончил ясновидец, отпуская мою руку.— А теперь призовем кого-нибудь.

— Если вы будете так любезны, профессор.

— Вы не возражаете против Наполеона?

— У меня нет определенного желания, профессор.

— Ну, тогда Наполеона,— продолжал ясновидящий, зевая,— так уж повелось. Стукните по столу.

Тут же вошел Бонапарт.

— Мы с этим господином уже виделись,— произнес он недовольно.

— Тогда произошла ошибка,— сказал профессор спокойно,— ступай, Виллем.

Парагност закрыл за ним дверь, и бодро высморкался.

— У меня отличный контакт с вами,— сказал он, пряча носовой платок.— Мне нравится тип людей, к которому вы принадлежите. Вы очень медиамичны. Вы должны приходить ко мне чаще. А теперь попробуем предсказать будущее.

— Я жду, профессор.

— Итак, сидите спокойно и ни о чем не думайте. Это ведь будет вам нетрудно, а?

— Да, профессор.

— Я так и знал. Хорошо. Спокойно, я должен сосредоточиться. Так. Я вижу девушку. Молоденькую. Через два года вы женитесь.

— Я уже женат, профессор.

— Конечно, конечно. Я не это имею в виду. Вы женитесь снова.

— Но я женат уже второй раз, профессор.

— Конечно, конечно,— продолжал психометрист, проявляя некоторые признаки беспокойства,— я знал это еще до того, как вы вошли. Но я не это имею в виду. Я говорю в эманативном смысле. У вас еще есть контакт со мной?

— Нет, профессор.

— Ну, тогда оставим эту тему. Боюсь, что она слишком сложна. Может, обратимся теперь к прошлому?

— С удовольствием, профессор.

— Тогда нужно доплатить — сказал ясновидец,— одним воздухом не проживешь.

— Возьмите, пожалуйста, сами, профессор,— попросил я почтительно, кладя бумажник на стол.— Мне очень неудобно самому определять сумму.

Ясновидец вытряхнул содержимое на стол и вернул мне пустой кошелек.

— Так будет лучше для обеих сторон,— сказал он, пересчитывая банкноты.— В вашем прошлом я вижу различные фазы и этапы. Фазу детства, фазу отрочества и фазу юности. Вы ощущаете контакт со мной?

— Да, профессор,— ответил я, заглядывая в свой кошелек,— но у меня совсем больше нет денег.

— Порядок,— бодро продолжал медиамист,— потому что они у меня. В первой фазе, я вижу вас очень маленьким, я бы сказал, ребенком. Правильно?

Я молчал, пораженный. Он попал в самую точку.

— Во второй,— продолжал телепат,— я вижу вас побольше. Вижу волчок, обруч, цветные шарики. Я слышу шум школьного класса. Как насчет контакта?

Я безмолвно кивнул.

— В третьей фазе,— продолжал парагност, напряженно соображая,— вижу, как вы идете под руку, я бы сказал, с особой женского пола. Но боже, ее образ расплывается. Но вот появляется другой. Это ваша вторая жена. Она возместит вам потерю первой. Она очаровательна, хотя (тут лицо парагмиста мрачнеет) у нее и есть свои маленькие недостатки. Как насчет контакта?

— Профессор,— сказал я, поднимаясь,— это невероятно, это сверхъестественно. Это выше моих сил. Я пошел

— Если вы отсюда пойдете налево, — произнес эманист, провожая меня до двери,— то можете сесть на пятый трамвай. Он будет набит битком. С задней площадки вам будут кричать, что мест нет. Не обращайте внимания. Всегда найдется щель, куда можно втиснуться. Карманники попытаются в толкучке вытащить у вас кошелек. Не бойтесь. У вас нет ни малейшего основания для беспокойства.

Париж

Две вещи, с которых средний нидерландец начинает знакомство с Парижем,— это Эйфелева башня и гробница Наполеона. В первом случае за двадцать франков поднимаешься вверх, во втором — за ту же плату спускаешься вниз. В обоих случаях видишь нечто нелепое. У нелепости есть степени и разновидности. Гробница великого императора нелепа своей роскошью, Эйфелева башня — отсутствием фантазии. Поэтому очень хорошо, что средний нидерландец начинает свое пребывание в Париже с этих двух крайностей. Таким образом он утверждается в своем звании среднего. Именно между этими двумя крайностями вновь обретаются совершенная гармония и таинственное душевное равновесие, которые встречаются только в Нидерландах и при въезде в Париж подвергаются опасности.

Поскольку я ничем не отличаюсь от среднего нидерландца, да и не хочу отличаться, я благочестиво совершил оба паломничества. Особенно Эйфелева башня доставила мне много сюрпризов. Прежде всего я обнаружил, поднявшись по миллиону ступенек пешком, что это можно сделать на лифте. Я совершил данное открытие, стоя наверху. Все возрастающее удивление на лицах служителей, встречавшихся на каждом новом витке, постепенно переходившее в выражение глубокого почтения, предстало теперь в другом свете. На последнем повороте один из них подошел ко мне и, указывая на меня присутствующим, крепко пожал руку. «Это нидерландец»,— сказал он таким тоном, как будто демонстрировал редчайший вид насекомого.

Как же все это выглядит там, наверху? Должен сказать, одна особенность весьма поучительна для любознательного туриста. Под самой макушкой есть еще маленькая лесенка, не больше пяти метров. Чтобы подняться по ней, нужно заплатить дополнительно десять франков. Именно потому, что этот незначительный подъем — ничто в сравнении с уже достигнутой головокружительной высотой, он свидетельствует о глубоком знании человеческой натуры. Он взывает к самому благородному из всех французских качеств — склонности к героическому. Лишь немногие поднимались по этой лесенке; большинство довольствовалось достигнутой площадкой и располагалось на удобных скамейках, откуда открывался вид на гигантское чернильное пятно, именуемое Парижем. А те немногие смельчаки, стремившиеся выше, попадали в нечто похожее на клетку для птиц, где они с большим трудом могли удержаться на ветру. Все они, без исключения, обладали отважными сердцами. По-видимому, для них отвлеченность понятия «слава» выше (и в буквальном смысле тоже), чем здравость суждений. Я не принадлежал к числу сумасбродов и пожалел об этом, когда был уже внизу.

Самое сильное впечатление, которое производит Эйфелева башня, когда стоишь наверху, — такое же, которое испытываешь, находясь внизу: изрядная высота. Таким образом, затраченные усилия остаются невознагражденными. Следующая мысль, рождающаяся в голове у туриста: скорее бы обратно вниз. Однако это желание нужно немедленно подавить. И тогда последует... вознаграждение. Вы увидите, что от Парижа-то вовсе ничего и не остается. На такой безумной высоте прекрасный город сморщивается... превращаясь в дымящуюся мусорную кучу. Муниципалитет Парижа постарался урегулировать эту проблему, установив на балюстраде подзорные трубы, через которые можно вернуть потерянный рай. И правда, взглянув через эти трубы, получаешь впечатление, как будто стоишь на обычной колокольне. Есть даже один огромный телескоп, благодаря его сложной системе линз создается впечатление, будто стоишь на крыше обыкновенного дома. Вероятно, светлым умам ближайших веков предназначено создать оптический прибор такой тонкой конструкции, что можно вообразить себя стоящим на земле. С этого момента абсурдность Эйфелевой башни станет совершенно очевидной. И никто уже не будет забираться на эту махину, чтобы с ее вершины увидеть точно то же, что и у ее подножья.

И только нидерландцы будут подниматься на башню с упорством некоторых видов муравьев, которые еще долгое время неудержимо поворачивают налево, хотя блюдечко с сахаром давно стоит в другом месте. Уже и сейчас, уважаемые соотечественники, дело дошло до того, что на Эйфелевой башне встречается гораздо больше нидерландцев, чем французов. Но тогда она станет местом встречи наших сердец, и мы вывесим на флагштоке наш нидерландский трехцветный флаг и закрепимся там навсегда.

Недавно в залах Академии художеств СССР проходила международная выставка. Ее название «Сатира и юмор в борьбе за мир» говорит само за себя. Нет сейчас темы актуальней.

Выставка четвертая по счету.

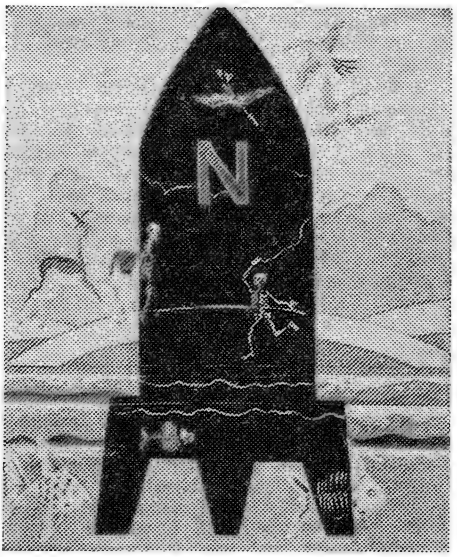
Строгое жюри, председателем которого был известный датский художник Херлуф Бидструп, просмотрело более трех тысяч работ. Из них было отобрано восемьсот лучших.

Выставка убедительно показывает стремление художников всех стран к миру и разрядке международной напряженности.

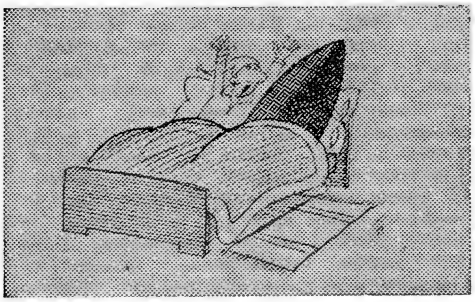
География ее обширна, и это доказывает, что нет на земле уголка, где не понимали бы важность борьбы с войной с агрессивной политикой США.

Золотые медали были присуждены художникам Кубы, журналу «Уленшпигель» (ГДР) и журналу «Крокодил» (СССР).

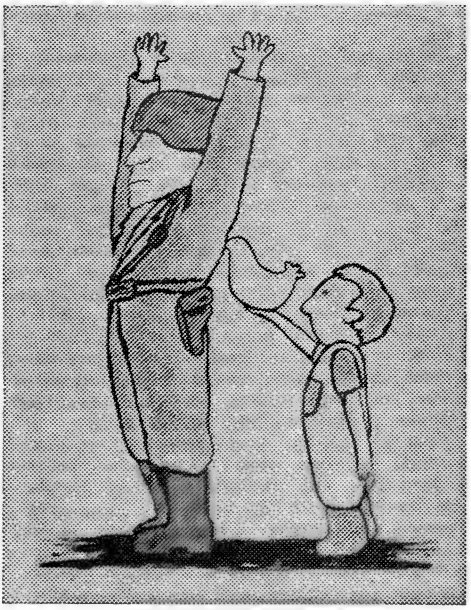
Е. ЧЕРНЯЕВ



ЦЕРЕНДЖИН БАЯНЗУЛ-БАЙДЫ. МНР. Без слов.

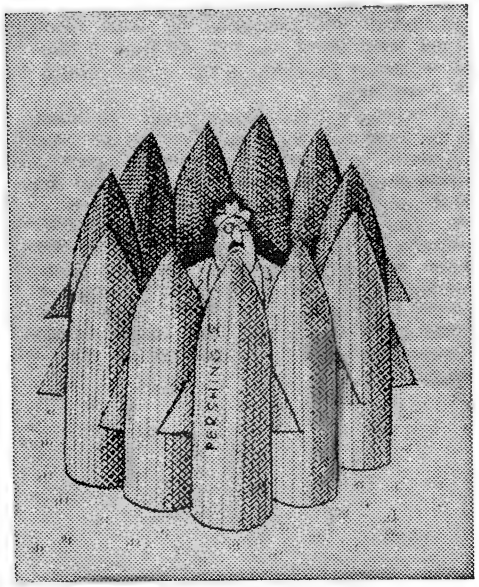


ВИЛЬЯМ ФРАНЦИСКО МАРТИНЕС. Куба. Маленький солдат мира.



АНАСТАСОВ ГЕОРГИ. Болгария. Западноевропейское утро.

АНАСТАСОВ ГЕОРГИ. Болгария. Окружи себя не высоким забором, а хорошим соседом.



К нашим иллюстрациям

Эдгар Дега

К 150-летию со дня рождения

Эдгар Дега — удивительная и чем-то загадочная фигура во французском изобразительном искусстве, за которой закрепилось случайно оброненное одним критиком название «импрессионист». Да был ли он настоящим импрессионистом? Конечно, он изображал мимолетности бытия, останавливал мгновения, но делал это совсем иным способом, чем его друзья и сподвижники, «праведные» импрессионисты: Мане, Писарро, Ренуар, Моне. Они работали с натуры, он — только по памяти. Он хотел, чтобы воспоминания и фантазия были «свободны от тирании правды». Под «правдой» он подразумевал буквальность. Он чужд и другому основополагающему принципу импрессионизма: писать исключительно на пленэре, при естественном освещении, чтобы солнечный свет окутывал натуру. Дега никогда не писал на природе, лишь в интерьере, любил искусственное освещение мастерской. Он возводил это в принцип, считая, что на воздухе художнику не следует писать. «А как же месье Ренуар?» — спросили его однажды. «Месье Ренуар,— с нажимом ответил Дега,— может писать где хочет». Но другим он отказывал в этом праве. Что не мешало ему отдавать должное «затворнику» Тулуз-Лотреку и немыслимому вне пейзажа Полю Гогену. Правда, у Гогена не найдешь ни той дымки, что окутывает пейзажи Моне, ни ренуаровского солнца, ни влажной атмосферы Писарро, его фигуры как бы наклеены на пейзаж. Впрочем, Гоген и числится по другому ведомству — постимпрессионизму.

Дега, наверное, самый совершенный среди современных ему художников. На Сезанне и Ван-Гоге лежит печать гениальности, но и они не достигли высочайшего профессионализма Эдгара Дега, которого все же гением не назовешь. У них есть удачи и неудачи, уровень мастерства колеблется, ощутим настойчивый поиск, а с ним и нестабильность. Ван-Гог позволял себе чудовищные ляпсусы: на одном из знаменитых его пейзажей человеческие фигуры отбрасывают фиолетовые тени, а деревья за их спинами лишены теней, как злосчастный герой печальной сказки Шамиссо. С Дега такого случиться не могло, он мастер до кончиков ногтей. Тяга к совершенству отравляла ему жизнь: он без конца переписывал, поправлял свои картины, а проданные откупал назад, чтобы еще над ними поработать. При этом ни одно полотно, ни одна пастель не производят впечатления вымученности, они словно созданы на одном дыхании. Им не пресытишься, от него не устанешь, как от других мастеров не меньшего таланта и даже бóльшей яркости, а ведь он довольно однообразен: балерины, балерины и еще раз балерины — настоящая балетомания! Что еще? Прачки, прачки, прачки; моющиеся, именно моющиеся, а не купающиеся женщины; жокеи, жокеи, жокеи, два-три жанра, несколько портретов. Но чаще всего при

имени Дега возникают «сухие мышцы балерин». Его любовь к балету явно антинекрасовского толка, «муза гнева и печали» была способна и на такое: «...перед балетом я преклонился ниц. Готов я быть поэтом прелестных танцовщиц!». Дега тоже был их поэтом, но до чего же не восторженным, не упоенным, не очарованным, не преклоняющимся ниц. Всю печаль жизни выразил он через танцующих, разминающихся, отрабатывающих па или поникших в крайней усталости девушек. Какие грациозные, милые и какие жалкие, обобранные создания!

Несчастный калека Тулуз-Лотрек воспринимал обитательниц публичного дома эстетически, он любовался их вульгарной красочностью, бесстыдством. Дега относится к молоденьким балеринам с нежностью и состраданием. Он самый сдержанный и самый печальный художник во французском искусстве прошлого века. Он рано проглянул за мишурой и блеском безмерную грусть окружающего мира и постепенно пришел к полному отъединению от него. Дега был из дому богатым человеком (правда, потом, выручая брата, потерял значительную часть состояния), но не гнался за благами жизни, желая лишь одного: чтоб ему не мешали заниматься своим единственным делом.

Казалось бы, что за странная особенность — искать печаль там, где от века зрится праздник, развлечение, легкость, наслаждение. Но он обнаруживал совсем иное в перетруженных щиколотках, напрягшихся икрах, вскинутых тонких руках. И не нужно было персонифицировать ту власть, которая держала в кулаке бедных тружениц,— все общество виновато перед ними.

Чтобы стать настоящим большим художником, не обязательно знать жизнь во всех ее аспектах, надо знать глубоко, до дна, хоть какую-то ее частицу. Разрабатывая территориально малый участок, можно добиться великих результатов: чудесным образом твоя сосредоточенность на вовсе не главном, не первостепенном, потянет за собой, словно на буксире, все мироздание. В этом чудо современника Дега — Марселя Пруста, без конца блуждавшего в расслабляющей суете высшего света и создавшего не только новую прозу, но и на редкость выразительный образ своей эпохи. Нечто подобное произошло и с Дега: балерины, прачки, жокеи, женщины, занятые туалетом, парочка в бистро, а как много сказано о французской жизни его века, да и только ли о французской!.. Вот она — тайна подтекста, когда так мало на поверхности и так много в глубине.

Мне вспомнилась парочка в бистро. Бесконечные восторги изливались на знаменитое полотно Пикассо, изображающее гимнаста и гимнастку за столиком, плечом к плечу, но душой поврозь. Каждый глядит в свою далекую пустоту, не замечая другого. Это признано совершенным воплощением отчужденности. Ту же тему вычитываю я в картине Э. Дега «Абсент». В ней нет плакатной броскости, однозначности и лаконизма Пикассо, но в бесхитростной композиции предстает то, что выше символа,— сама жизнь. В унылой, поникшей паре, тоже разобщенной в близости своей, больше истинной человеческой горечи. Акробаты спаяны своей опасной цирковой работой, они до смерти надоели друг другу, но им не разорвать сковывающей их цепи, один без другого ничего не стоит. Людей, сидящих за абсентом и не замечающих друг друга, спаяла обреченность привычки, нужды, рутины. У застенчивого и резкого, вечно неудовлетворенного сделанным и беспощадно строгого к другим, желчного и насмешливого нелюдима Дега было горячее сердце, отзывчивое на чужую печаль, горе, тоску, усталость, одиночество.

Эдгар Дега, сын своего времени, ничего не утратил в иной эпохе. Он звучит современнее не только многих своих сверстников, но и куда более поздних художников. Его ненарядное, целомудренное искусство сохранило в наши дни все свое печальное очарование. А ведь он родился в 1834 году, при Луи-Филиппе. Но время и впрямь относительная категория и в научном, и в философском, и в житейском смысле. Дега был так давно и так недавно. Он умер в 1917 году, но как художник — гораздо раньше, пораженный почти полной слепотой. Он не превратился в историческую достопримечательность, в памятник, в почтенную руину; скупой на средства выражения, четкий, совершенный мастер, Дега — часть нашей душевной жизни, нашей печали и нашей доброты.

ЮРИЙ НАГИБИН

◆

Среди книг

Издано в СССР

«ПОДНИМАЮСЬ ПО СТРОЧКАМ-СТУПЕНЯМ...»

Трудны сычуаньские тропы. Из китайской поэзии 50-х и 80-х годов. Перевод с китайского Л. Черкасского. Предисловие Н. Федоренко. Москва, «Радуга», 1983.

Название сборника емко и многозначительно: так озаглавлено одно из лучших стихотворений книги, заставляющее вспомнить знаменитые стихи великого Ли Бо, с которыми оно перекликается и спорит; то же самое можно сказать и о нелегких судьбах китайской поэзии XX века в целом. Труднодоступны и нередко опасны горные дороги далекой юго-западной провинции Сычуань — и трудным, тернистым был путь, пройденный новой китайской поэзией за шесть с половиной десятков лет ее существования.

Она родилась на рубеже 10-х и 20-х годов нашего века, на волне мощного антиимпериалистического и антифеодального подъема, охватившего тогда Китай, в ходе упорной борьбы со всем старым и отжившим за современную, демократическую культуру. Отталкиваясь от традиций прошлого, преодолевая их и развивая все, что в них было лучшим, настойчиво осваивая опыт и достижения зарубежной поэзии, поэты-новаторы 20-х и 30-х годов — Го Можо, Сюй Чжимо, Вэнь Идо, Ай Цин, Тянь Цзянь и другие — совершили подлинную революцию, радикально обновив язык, содержание и формы китайской поэзии, открыв перед нею широкие перспективы дальнейшего развития. Не их вина, что эти возможности были впоследствии реализованы лишь отчасти и что новая китайская поэзия и до сего дня сказала далеко не все, что могла и должна была сказать.

Победа народной революции в 1949 г. и образование Китайской Народной Республики создали, казалось бы, самые благоприятные условия для расцвета культуры — и поэзии как неотъемлемой ее части. Именно в эти годы в литературу пришло молодое поколение талантливых поэтов, настойчиво искавших пути сближения поэзии с народной песней. Однако подъем оказался кратковременным. Его приостановила нескончаемая череда проработочных кампаний и репрессии, обрушившиеся на деятелей культуры уже с конца 50-х годов. А с началом «культурной революции» всякая подлинно культурная деятельность в стране была насильственно прервана более чем на десяток лет. Практически прекратила на это время свое существование и китайская поэзия — поэты проходили «трудовое перевоспитание»... Только с конца 70-х годов они вновь получили возможность вернуться к творчеству. Но страшное лихолетье «культурной революции» не могло пройти для них бесследно: одни безвременно ушли из жизни, другие — и таких немало — после всего, что им довелось пережить, превратились в собственную тень. Сычуаньские тропы и впрямь оказались трудными...

Составитель и переводчик настоящего сборника Л. Черкасский давно и плодотворно работает над исследованием и переводом китайской поэзии, а также над изучением русско-китайских литературных связей и проблем поэтического перевода. Ему принадлежит ряд монографий — в их числе солидный труд о новой китайской поэзии [1] и единственное пока в своем роде исследование о китайских переводах поэзии Маяковского [2]. Ему же принадлежат многочисленные переводы из китайских поэтов нашего века и классиков [3]. Лучшие переводческие работы Л. Черкасского отличают превосходное владение материалом, живость и естественность языка, неизмен-

[1] Новая китайская поэзия (20—30-е годы). М., 1972.
[2] Маяковский в Китае. М., 1976.
[3] Красный прибой. М., 1964; Дождливая аллея. Китайская лирика 20—30-х годов. М., 1969; Пятая стража. Китайская лирика 30—40-х годов. М., 1975; Сорок поэтов. Китайская лирика 20—40-х годов. М., 1978; Сорок поэтов. Китайская лирика 20—40-х годов. М., 1978; Цао Чжи. Семь печалей. М., 1973 и др.

ная близость к подлиннику. Новая книга, объединившая его переводы разных лет, состоит из двух основных разделов: поэзия 50-х и поэзия 70-х — начала 80-х годов (не считая небольших дополнительных разделов: «Из китайских народных песен», «Из тибетских народных песен», «Китайские народные загадки»). В обстоятельном предисловии к сборнику Н. Т. Федоренко дана общая картина развития китайской поэзии на протяжении последних десятилетий и содержатся краткие характеристики творческого пути многих из представленных в книге поэтов. А в ней представлены и именитые ветераны: Го Можо и Ай Цин, Тянь Цзянь и Ли Цзи, Кэ Чжунпин и Цзан Кэцзя; и те, кто в 50-е годы только начинали свой путь в литературе: Вэнь Цзе и Шао Яньсян, Гу Гун и Янь И; и те, кто пришли в нее в самые последние годы, но уже успели обратить на себя внимание читателей и критики: Ло Гэнъе, Ляо Ляо и другие.

Два главных раздела книги ярко контрастны — как контрастны и те времена, когда родились вошедшие в них стихи.

Поэзия 50-х годов полна надежды и оптимизма, пафоса великих социальных перемен и грандиозных преобразований, совершавшихся в стране после победы народной революции. Она славит борцов, строителей, первопроходцев, созидателей новой жизни.

Одна из ведущих ее тем — интернациональное братство народов. Потому так естественны приветственные строки поэта Юань Шуйпо, обращенные к Индии («Тебе, Индия!»), или стихи Го Можо, навеянные египетскими впечатлениями («Стихи о Египте»), стихи Ай Цина о Латинской Америке («По Южной Америке») или о поездке его в Советский Союз (отрывок из поэмы «Рубиновые звезды»). В те годы народный Китай и Советский Союз стояли рядом — неудивительно, что многие стихи сборника посвящены теме китайско-советской дружбы. Немало китайских поэтов побывало тогда в нашей стране, и строки их полны впечатлений о радушии и гостеприимстве советских людей; они писали в своих стихах о Москве и о Красной площади, об Октябрьской революции и полете Юрия Гагарина, о братской помощи советского народа Китаю и о его подвиге в годы Великой Отечественной войны.

Многие строки китайских поэтов 50-х годов посвящены русской и советской культуре, Пушкину и Маяковскому — как наиболее известным и почитаемым в Китае из всех наших поэтов. Особенно близок и дорог им Маяковский.

Пять томов
твоих сочинений,
Пять томов
на моем столе.
Поднимаюсь
по строчкам-ступеням
И шагаю
по всей земле,—

писал Ли Ин в поэме «Песня наших сердец».

Между стихами 50-х и стихами 70—80-х годов пролег трагический, на долгие годы растянувшийся рубеж «культурной революции». И тон стихов стал совсем иным: юношеский энтузиазм и мажорные звучания уступили место нелегким раздумьям, настойчивым попыткам еще и еще раз осмыслить трудный опыт горького лихолетья, всерьез разобраться — что же случилось в те недобрые годы с людьми и страной. Примером могут послужить стихи Ай Цина, вернувшегося к творчеству после двадцатилетнего вынужденного молчания. Эти два десятилетия оказались пробелом не только в личной творческой биографии поэта, но и, увы, в жизни всей страны:

В пору боли горечи и бед
Потеряли не четыре года
Десять лет и снова десять лет
Холостого хода

Молодых ужасен был удел
Стариков мучительна дорога
Страшный незаполненный пробел
Времени земного

(«Жизнь и время»)

И слова из стихотворения Ай Цина «Горький опыт» воспринимаются как логический вывод, подсказанный всем пережитым и испытанным в эти тяжелые годы:

Нужно все перевернуть
Что стояло вверх ногами

Действительно, слишком часто в годы левацких экспериментов черное выдавалось за белое, а белое — за черное.

Горькой исповедью вчерашнего хунвэйбина, ныне прозревшего и ужаснувшегося содеянным, но и обвинением в адрес «растлителей души молодежи» звучат строки из стихотворения Ляо Ляо «Мы — невиновны!»:

Мы сеяли рис с приходом весны,
Надрывали,
ругаясь,
глотки,
Лицом холодны,
Душой холодны,
Товарищи-одногодки.
Любовь подозрительна,
черт возьми!
Боялись
слово сказать
опечаленно:
Любимая,
видя
твой пессимизм,
На тебя донесет начальству.
Стали сердца
Тверды, как базальт,
Под солнцем —
темным уродом,
А недовольных —
руки назад —
Волокли
к тюремным воротам.
Текла,
солона,
не морская вода —
Кровь
по рукам
молодежи зеленой;
Мы сохраним
в сердцах
навсегда
Вкус
этой крови соленой!

Так говорит поэт от имени «потерянного поколения» 60—70-х годов, поколения с искалеченной судьбой, ставшего слепым орудием преступных замыслов и, на свою беду, слишком поздно это уразумевшего. И недаром стихам предпослан красноречивый эпиграф: «Десять лет молодежь Китая ежеминутно и ежечасно была несчастна».

Но горькие воспоминания естественно и закономерно сочетаются со стремлением

решительно и навсегда покончить с бесславным прошлым, убрать с дороги все, что мешает идти вперед. Непримиримостью к еще непреодоленным недостаткам исполнена программная поэма Ло Гэнъе «Я недоволен!», почти полностью представленная в сборнике. Жаждой возрождения к новой жизни исполнено и заключительное стихотворение У Лицзюня «Песня духа»:

Я бешено завидую тебе,
Живой,
Идущий человек!
. . . . . .
Хочу с вокресшими людьми
Пахать
Живое поле.

Эти строки написаны от имени безвременно погибших, от имени тех, кто не пережил «десятилетней смуты». Но строки эти пробуждают надежду. Они говорят о том, что китайская поэзия, после всех постигших ее бед и испытаний, возвращается к жизни, чтобы вновь, как в лучшие свои времена, достойно служить своему народу.

В. СУХОРУКОВ

УРОК МАСТЕРА

Шервуд Андерсон. Избранное. Составление и предисловие М. Ландора. Москва, «Художественная литература», 1983.

«По-моему, Шервуд Андерсон — отец всего нашего поколения, Хемингуэя, Эрскина Колдуэлла, Томаса Вулфа, Дос Пассоса. Конечно, Марк Твен в этом смысле всем нам дедушка. Но Шервуд Андерсон, по моему мнению, еще должен быть поставлен на подобающее ему место в американской литературе»,— слова эти принадлежат Уильяму Фолкнеру, для писательской судьбы которого знакомство с Андерсоном — человеком и художником — оказалось во многом определяющим. «Андерсон — единственный писатель, у которого я чему-то научился»,— с присущей ему категоричностью заявил как-то Томас Вулф. А когда журналист, бравший в 1963 году интервью у Джона Стейнбека, заметил: «Так называемый век американского романа создали четверо или пятеро писателей: Фолкнер, Хемингуэй, Дос Пассос и, конечно, вы...» — Стейнбек возразил: «Нет, его создали только двое: Шервуд Андерсон и Драйзер. Все пошло от них».

В литературной истории Америки Андерсону выпала роль реформатора и обновителя, наставника целого литературного поколения. Среди тех, кто учился у него,— Фолкнер и Хемингуэй, Стейнбек и Вулф, Сароян и Колдуэлл, Кэтрин Энн Портер и Натанаэл Уэст, если вспомнить только самых талантливых и известных

Андерсон полемически отталкивался от той «фабульной новеллы», новеллы-анекдота, что в Америке начала века пользовалась особой популярностью и свое наиболее удачное воплощение обрела у О. Генри. Андерсон высоко ценил мастерство О. Генри, но слишком отчетливо видел ту черту, за которой открытие начинало превращаться в общее место, штамп, а то и просто самопародию. Новелла-анекдот решительно не устраивала Андерсона — и прежде всего своим условно-игровым характером, когда реальность становилась податливым материалом для авторской изобретательности, когда проблемы и судьбы, типичные для Америки тех лет, заслонялись эффектными поворотами фабулы.

Книга новелл «Уайнсбург, Огайо», опубликованная в 1919 году (и целиком включенная в рецензируемый однотомник), произвела впечатление разорвавшейся бомбы, ознаменовала начало литературного бунта. В ней не было ни всепобеждающих героев, ни головокружительных перипетий, не было и счастливых концовок, да и вообще концовок в привычном смысле слова не было — рассказы внезапно начинались и столь же внезапно обрывались, и судьбы героев оставались незавершенными. У каждого из персонажей «Уайнсбурга» — своя странность, своя чудинка, отделяющая их от прочих, вполне нормальных и довольных собой горожан. Выбирая в герои неудачников и аутсайдеров, Андерсон отрицал сложившийся в предшествующей новеллистической традиции тип героя, реализовывавшего себя в действии, умевшего подчинять своей воле обстоятельства и других людей. У большинства персонажей этой «книги о нелепых людях» (если воспользоваться названием вводной главы-новеллы) — своя драма, своя причуда, замыкающая его в стенах одиночества, которое одновременно и защищает от внешнего мира, и, с другой стороны, мешает персонажу наладить с ним нормальные отношения. Судьба личности, пребывающей в разладе с миром, и составляет тот центр, вокруг которого выстраивались и новеллы «Уайнсбурга», и рассказы последующих трех сборников, также вполне удачно представленных в этом сборнике (можно, правда, пожалеть, что в него не вошли две важные для понимания творчества писателя новеллы «Уроженка Новой Англии» и «Из ниоткуда в ничто»). У андерсоновских «нелепых людей» за внешней странностью скрывается то самое неповторимое индивидуальное начало, которое, напоминает автор, порой печальным образом отсутствует у представителей мира расчета и вечно озабоченной деловитости. Однако стремление человека быть самостоятельной личностью — субъектом, а не объектом, художником, а не ремесленником, творцом, а не исполнителем — может поставить его в ситуацию, подобную той, в которой оказался Крыло Бидлбаум (новелла «Руки»). Бывший школьный учитель, вынужденный в результате непонимания со стороны всех добропорядочных обывателей прервать преподавательскую деятельность, он доживает свой век в Уайнсбурге, где снискал славу благодаря умелым рукам: «Ими Крыло Бидлбаум собирал до тринадцати ведер клубники за день. Они стали его отличительной особенностью, ими он прославился. Из-за них же еще нелепее выглядела эта и без того нелепая и неясная личность. Уайнсбург гордился руками Бидлбаума так же, как гордился новым каменным домом банкира Уайта или Тони Типом, гнедым рысаком Уэсли Мойра...» Повествователь эпически сообщает «только факты», никак не комментируя рассказанного, между тем

ирония здесь налицо: надо было бы не гордиться, а печалиться, что незаурядная творческая личность волей обстоятельств оказалась превращенной в машину для собирания ягод.

Вроде бы вполне бесхитростная история в контексте андерсоновской прозы в конечном итоге соотносится с социальной действительностью. «Руки» — это не только психологический этюд, не только притча о непонимании. Рассказ отражает тот самый процесс отчуждения, порождаемого буржуазным характером отношений, когда от человека требуют быть максимально похожим на механизм (когда нужны «только руки», как в новелле Андерсона), а если он все же пытается выказать «немашинные свойства», то ему тут же дают понять, что он плохой механизм, а раз так, то надеяться на хорошее к себе отношение не следует.

Новеллистика Андерсона при всей ее внешней камерности так или иначе всегда обращена к актуальнейшим проблемам. «Человек, сделавший себя сам» — начавший с нуля и многого достигший благодаря оптимизму и трудолюбию,— популярная фигура идеологии «американизма» Рассматривая этот миф в новелле «Яйцо», Андерсон предлагает свой вариант, повествуя о человеке, который пытался «сделать себя» по широко рекламируемому образцу, а вместо этого разрушил свою личность, ибо поверил в ценности, личности враждебные. И снова успех новеллы определяется безошибочно выбранным «окольным способом» раскрытия темы. Странным и навязчивым образом во всех начинаниях героя, непременным действующим лицом и роковой силой, с неуклонным постоянством разрушающей его надежды, оказывается... самое обыкновенное куриное яйцо.

Решив разбогатеть на разведении цыплят и потерпев неудачу (цыплята дохли, вопреки всем резонам «истинно американского оптимизма»), герой открывает закусочную, но и она не приносит прибыли. Полагая, что это от недостатка жизнерадостности, герой начинает всеми способами развлекать немногочисленных посетителей. Среди достопримечательностей — банки с заспиртованными цыплятами-уродцами, наследие эпохи куроводческой деятельности, но гвоздь программы состоит в проталкивании яйца сквозь горлышко бутылки В кульминационной сцене, однако, герой терпит фиаско в прямом смысле слова: яйцо не проталкивается сквозь узкое горлышко, когда же он применяет силу, оно лопается, вызывая смех единственного зрителя и бессильную ярость горе-фокусника.

«Куриная символика» в новелле выполняет самые разные функции, не только фарсово снижая «героическую» гему открытых возможностей Америки. В природе, напоминает автор, проблема деформации решается просто: если цыпленок рождается с двумя головами, он нежизнеспособен. Иное дело — та внутренняя деформация личности, которая возникает в результате ее столкновений с дурным социальным укладом: она не угрожает физическому существованию, хотя и является причиной душевных драм. В новеллах Уайнсбургского цикла Андерсон знакомил читателей с теми, кто, с точки зрения «нормальных американцев», был «не в порядке», но сохранял притом человечность, неповторимость. В новелле «Яйцо» в центре повествования человек, страстно желающий быть «как все», взыскующий, так сказать, «нормы» и в движении к этому стандарту теряющий свою человеческую естественность. Как это постоянно случается в новеллах Андерсона, сюжет «Яйца» имеет еще один план, связанный с важнейшей для Андерсона проблемой «взаимоотношения» писателя и его материала. В этом смысле беллетристика, писательство вообще в чем-то сродни — не без иронии подчеркивает Андерсон — фокусу с яйцом: если не хватает «колдовства» (творческой интуиции), не выручит «сила». Чуда не получится. Хрупкая скорлупа-оболочка («видимость», заключающая внутри себя «сущность» — зародыш, жизнь в потенции) под грубым нажимом лопается, сущность является, да только в качестве новой и весьма жалкой видимости — клейкой, пачкающей массы. Ироническое торжество яйца над неуклюжими попытками человека «укротить» его очевидно. Похожим образом, по Андерсону, многоликая, изменчивая, доступная простому наблюдению и в то же время умело скрывающая тайны реальность торжествует над писателями, пытающимися втиснуть ее многообразие в прокрустово ложе фабульных схем.

В нашей стране Андерсона переводили неоднократно, тем не менее вышедший однотомник включает очень много новых переводов. Шервуд Андерсон всегда был среди тех англоязычных писателей, что нелегко поддавались переводу. На первый взгляд ситуация парадоксальная: в отличие от Твена он не пользовался просторечием и диалектом, в отличие от Фолкнера он избегал сложных синтаксических построений, в отличие от Хемингуэя он не злоупотреблял «подтекстом». Но попытки точно следовать за подлинником успеха не приносили, если переводчик упускал (или не замечал) столь характерную для Андерсона несколько остраненную эпическую интонацию, напоминавшую го библейские ритмы, то сказ. Андерсоновский повествователь — это как бы не очень искушенный в сложностях человеческой психологии наблюдатель, которому хочется поделиться увиденным и продуманным, чтобы, выговорившись, наконец-то разобраться в смысле случившегося. Этот повествователь постоянно отрицает за собой роль «поэта», призванного говорить красиво. За этой позицией — полемика Андерсона с «изящной словесностью» и ее чересчур удаленными от живой жизни формами. В результате «наивного» вглядывания в происходящее андерсоновского рассказчика рождается новая художественная форма, при всей своей кажущейся простоте обладающая достаточно сложной организацией, создающая образ мира многомерного, открывающегося читателю в богатстве его проявлений, которые и самим автором до конца не изучены, но лишь намечены контурами.

В последнее время документальный жанр на Западе весьма успешно конкурирует с литературой вымысла, нередко обретая масштабы истинной художественности. Андер-

сон одним из первых в американской прозе XX века разглядел немалые возможности документалистики. Его «Записная книжка» (1924), «История рассказчика» (1926, русск. перев. 1935), «Мемуары» (1942), отрывки из которых впервые изданы в переводе Н. Волжиной, были новым словом, утверждали немалые возможности жанра, переживающего ныне эпоху подлинного расцвета.

Из переводов необходимо отметить и работу М. Лорие и В. Голышева, переведшего почти единолично уайнсбургский цикл. И в то же время возникает вопрос: почему не целиком? Коль скоро составитель и редакция считают (и совершенно справедливо) «Уайнсбург» единством гораздо более тесным, чем собрание отдельных новелл, то так ли уж в данном случае нужна помощь еще двух переводчиков, на долю которых приходится шесть небольших новелл?

Андерсон был писателем нелегкой судьбы. Поздно начав писать (его первый роман вышел в 1916 году, когда ему было сорок лет), он уже через три года — после публикации «Уайнсбурга» — стал национальным классиком, а еще через несколько лет его стали ниспровергать и развенчивать не менее энергично, чем незадолго до этого хвалили. На какое-то время блестящие достижения литературного поколения, пришедшего вслед за Андерсоном и во многом своими победами обязанного ему, заслонили от читателей и критиков его собственные открытия. О них, однако, впоследствии напомнили те, кто с гордостью причисляли себя к его школе, да и обращение к лучшему из написанного им говорит красноречивее оценок литературных экспертов: Андерсон по-прежнему способен волновать, радовать, вдохновлять.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

Издано за рубежом

ПРОЗА ЧИКАЙИ У ТАМ СИ

Tchicaya U Tam' Si. Les cancrelats. Paris, Albin Michel, 1980.
Tchicaya U Tam' Si. Les mäduses ou Les orties de mer. Paris, Albin Michel, 1982.

Чикайя У Там Си. Тараканы. 1980. Чикайя У Там Си. Медузы, или Морская крапива. 1982.

Конголезскому писателю Жозефу Феликсу Чикайе У Там Си не было тридцати (родился он в 1931 году), когда известность его перешагнула границы не только страны, но и континента. В семидесятых годах поэтические сборники Чикайи У Там Си выходили и переиздавались в Англии и в Америке. Многие его стихотворения были переведены и на русский язык. Когда в начале восьмидесятых поэт попробовал писать прозу, его рассказы стали охотно печатать самые крупные французские газеты и журналы.

Сегодня Чикайя У Там Си — автор более десятка сборников стихов, двух пьес, книги «Африканская легенда», сборника новелл «Сухая рука» и двух романов «Тараканы» и «Медузы, или Морская крапива», о которых и пойдет речь.

Пресса никогда не обходила вниманием поэтические книги Чикайи, однако романы его вызвали еще больший интерес. Вот как представил читателям роман писателя «Тараканы» французский еженедельник «Революсьон», посвятив целую полосу «Медузам...»: «Стрелка литературного компаса,— сказано в статье,— с севера повернула на 180°, теперь она смотрит на юг. Аргентина, Африка, точнее, Конго». «Тараканы» — безусловно, роман антиколониальный, колониальная система в действии показана в нем со всех сторон. Это и одно из самых интересных произведений о деколонизации, хотя впрямую о ней не говорится. Издательская лента, опоясывающая книгу, гласит: «Роман-парабола большого африканского поэта», и на сей раз (чаще издательские аннотации лишь вводят в заблуждение) за этими словами скрывается большой смысл. Потому что «Тараканы» — это и историческая драма о трагической судьбе народа, шире — Африки, и сага о трех поколениях одной семьи, и лирическая поэма в прозе, ибо прозаик в этом произведении остался и поэтом. Отходя немного в сторону, скажу сразу, чтобы название не интриговало понапрасну: тараканов на страницах романа почти нет. Для автора тараканы — своего рода символ непреходящего бытия, поразительной жизнестойкости. Этот роман — размышление о том, что есть человек и как он выживает, когда это вроде бы и невозможно.

Искусство Чикайи У Там Си характеризуется счастливым сплавом двух культур, носителем которых он является. Его отец сыграл большую роль в истории своей страны, поскольку был представителем от Конго во французском парламенте. Поэт приехал во Францию в 1946 году и, как показывают его книги, принадлежит к тому поколению, которое хорошо помнит трудный переход от колонии к относительной автономности, затем к независимости. Обычно, справедливо отметил известнейший литературовед Юбер Жуэн, «язык чужой культуры (пришедшей извне) отделяет человека, на ней взращенного, от своего народа,— если только этот язык и речь (что случается крайне редко) не подчинены традициям и обычаям, всему тому особенному и оригинальному, что отличает родную культуру... И это как раз случай Чикаи У Там Си...»

Оба романа его характерны тем, что автор как бы един в двух лицах: он и пишет роман, и остается по отношению к нему критиком. Рецензируя его книги, почти никто не упускает случая назвать текст тканью повествования. И действительно, это выражение буквально напрашивается. Ткань эта орнаментальна, порой сурова, порой причудлива, но всегда прочна. И в какой-то момент нелегкого поначалу чтения и погружения в книгу все вдруг проясняется, ибо

подчинено логике движения, ходу истории и жизненным линиям главных героев. Умело выстроенное повествование в «Тараканах» увлекает за собой, несмотря на большое количество лирических отступлений и звучащих время от времени авторских резюме, возвратов в прошлое, вставных новелл. Часто в авторских сентенциях смысл, с одной стороны, затемняется, а с другой — намеренно расширяется, но никогда пословицы или резюме не бывают назойливыми, они, как и проза Чикайи У Там Си, окрашены юмором, иронией.

Сюжетная основа, скрепляющая роман, в котором воспроизводятся африканские будни, ритуалы и обычаи, — эпопея семьи, генеалогическое дерево которой раскидывает свои ветви на все романное пространство. Действие книги происходит в первой половине нашего века, захватывая и предыдущий. В центре повествования судьбы Софи (София — мудрость, символика имен играет здесь немаловажную роль) и Проспера (процветающего) — детей Тома Ндунду, отправившегося в 1890 году во Францию в качестве слуги колониального чиновника Шарля де Л'Эско. (Заметим, что сцены жизни в метрополии написаны мастерски: буквально несколькими репликами создаются запоминающиеся характеры, прекрасно воссоздана атмосфера конца века.) В 1900 году тоска по родине заставляет Тома Ндунду вернуться в Лоанго (Конго). Однако волею судеб оказывается он там только в 1910, вдовцом с двумя детьми. Сценой прихода корабля в порт и открывается роман. Но в 1916 году Том попадает в автокатастрофу и оставляет детей сиротами без какого-то ни было состояния. Старший брат Тома, не простивший ему отъезда и недовольный тем, что его дети воспитываются в монастырской школе, немедленно забирает их оттуда.

Глава «Ордалия» (божий суд) показывает кровавую расправу коменданта Шартриана — практически полновластного хозяина Лоанго — над совершенно невиновной женщиной, пришедшей с жалобой, что у нее отняли единственную курицу-несушку. В эпиграфе к роману приведена загадка-поговорка банту — «таракан пришел пожаловаться в куриный суд». Параллель не нуждается в расшифровке. За жалобу коменданту (на него же самого — куры нужны были мадам Шартриан для приема) женщина поплатилась жизнью. Эту «ордалию» с ужасом наблюдает недавно приехавший французский чиновник, сын Шарля де Л'Эско.

Тем временем Софи подросла, и дядюшка не чает сбыть юную девушку с рук. И случай представляется. Софи приглянулась Жану де Л'Эско, и не без угрызений совести — во Франции у него жена и дети — он поселяет Софи у себя. Вскоре и Проспер становится его боем. В 1921 году, замученный малярией, младший де Л'Эско возвращается во Францию, оставив средства Софи, которые позволяют ей купить дом.

Проспер поступает в помощники португальцу, хозяину лавки, но четыре года беспорочной службы прерываются голословным, позорным обвинением в воровстве. Без суда и следствия его увозят на каторжные работы в грузовике, шофер которого Люфва-Люмбу (герой будущей книги «Медузы...») спасает юношу.

Три года Проспер скрывается от властей, повествование строится вокруг Софи, ее соседок, приятельниц, родственников. Читатель узнает о привычках, суевериях, путанице, образовавшейся в умах и душах людей: несмотря на то, что попытки христианизации Лоанго относятся еще к пятнадцатому веку, в первой половине двадцатого в сознании рядового африканца отрывочные католические представления путаются с языческими.

Год 1945-й. Софи приезжает в Браззавиль к брату, добившемуся определенного положения, и застает безрадостную картину. У Проспера — жена Жюльетта, про которую друзья говорят, что она «из чистого золота», двое детей — мальчик и девочка, но он пьянствует, почти не бывает дома. Как в свое время и его отец, Проспер выбился из своего круга, не обрел новых друзей и чувствует себя «больным».

Отчаянным поступком Жюльетта заставляет Проспера остановиться в своем скольжении вниз. Он замечает наконец и бурную общественную жизнь, кипящую вокруг него. Война окончена. Впереди выборы. Проспер вместе с друзьями принимает участие в политических собраниях. Администрация, правда, внесла цензурные изменения в знаменитый лозунг, висящий повсюду: исключено слово «свобода». Зато можно отстаивать равенство и братство. «Эта ампутация, нанесенная девизу Республики, в общем-то не имела значения... это было похоже на мечту сумасшедшего... Носильщик Окана, король тележек, будет тоже гражданином, как и господин Мерлан! Было отчего потерять голову!»

Финал книги остается открытым.

В романе «Медузы, или Морская крапива», в отличие от первой книги, медленное, спокойное повествование сменяется, по выражению одного из критиков, «галопом». Время непосредственного действия — июнь 1944-го. Место развития бурных и трагических событий — Пуэнт-Нуар.

Из троих друзей двое гибнут от насильственной смерти, третий найден без сознания. Все произошедшее укладывается в три дня. Эленга — машинист локомотива, участник забастовки, застрелен полицейскими почти случайно — выстрел был сделан скорее для острастки, чтобы другим было неповадно. Муэндо, рабочий лесопильни, в отчаянии от известия о смерти друга, гибнет, попав под циркульную пилу. И, наконец, третий, служащий Генеральной компании Нижнего Конго, Люамбу, известный как Люфва-Люмбу, возвращаясь через кладбище к себе домой, падает без сознания возле свежей могилы Эленги.

Изложенный событийный ряд выстраивается лишь к концу книги, когда проступает остов ее сюжета. А построена она весьма причудливо. Определить разновидность ее жанра очень трудно — это и детектив, и яркая сатира на элитарное общество местных «образованных», мечущихся между христианской религией и колдунами; но это и поэтическая притча, размышление о поисках пути в жизни, о месте человека в ней.

Имя героя переводится дословно как

«Смерть-песня». И потому Люамбу считают виновником двух смертей — «он и подружился с Эленгой и Муэндо, чтобы их убить». Поскольку Люамбу — человек крайне неординарный (он гораздо культурнее тех, кто его окружает), жители в Пуэнт-Нуаре видят в нем какую-то непонятную силу, нечто вроде колдуна. У страха глаза, как известно, велики, и непосредственный начальник Люамбу даже сходит с ума от страха. Любое мелкое происшествие обрастает невероятным количеством таинственных и необъяснимых деталей. Они, однако, как правило, скоро разъясняются. И здесь один из ключей (кстати говоря, это своего рода «роман с ключом»—«Roman àclé»), с помощью которого раскрываются загадки в романе. В большинстве случаев для самых необычайных происшествий находятся самые реалистические мотивировки. И наоборот, самое, казалось бы, достоверное оказывается блефом, фантазией, мифом. Иногда этот прием обнажается — одно и то же событие автор показывает с разных сторон.

Часто в воспоминаниях героев или в их сновидениях отыскивается смысл происходящего наяву. Однако, рассказывая о Люамбу, автор с самого начала предупреждает: «В жизни этого человека очень много вопросительных знаков». Читатель узнает, что герой был женат, имел ребенка. Чувство вины по отношению к своим близким (жена сорвалась в реку вместе с ребенком в очередном многодневном переходе-побеге из одного места в другое, кстати, так и неясно, почему Люамбу время от времени меняет место жительства и профессию и бежит, беря с собой «Младенца и Матерь его») не позволяет ему ответить на любовь сестры Эленги. Герой, быть может, бежит от самого себя. Чикайя У Там Си намеренно мистифицирует читателя.

В одной из первых главок, рисуя поэтичную (будто из сказки о Спящей красавице) картину застывшего крохотного царства вокруг распростертого на своей кровати героя, автор рассказывает, что «кома его длилась пятьдесят лет», и добавляет: «А может, она продлилась бы и сто лет, это было бы нормально, потому что такой человек мог бы противостоять и смерти, и никто бы не удивился, ведь...» На этом —обрыв. Автор делает вид, что готов даже назвать улицу в Пуэнт-Нуаре, где находится это царство, но не может вспомнить ее название.

После гибели друзей Люамбу не может найти в себе силы жить дальше. Уже заболевая, во сне он идет в Массаби, откуда родом вся его семья. Просыпаясь, он задумывается: «Неужели цель всего путешествия бессильно наблюдать, как безумная луна прожигает до крови, до костей человека, который переполнен радостью? Кому протянуть руку, когда ты больше ничего не можешь?»

Совсем недавно, всего три страшных дня назад, Люамбу протянул руку помощи и спас на берегу моря сумасшедшего. Рыбаки едва не забили юродивого до смерти, потому что он дразнил их, кривлялся, припля сывал над их уловом — в тот день сети полны были медуз, рыба ушла. Видимо, заглавие надо понимать как символ бесплодности, никчемности усилий и в то же время ответственности за это, расплаты, ведь медузы жгутся. Вероятно, так надо понимать и финал: автор не убивает своего героя, он оставляет его между жизнью и смертью.

Трагедийный, возвышающий пафос книги противостоит безнадежности и подавленности. Недаром ее последняя фраза, где содержится труднопереводимая игра слов, звучит примерно так: «Перед лицом жизни лица не теряют».

Т. ВОРСАНОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ АННЫ

Marie-Clair Blais. Visions d'Anna. Montréal, «Stanké», 1982.

Мари-Клер Блэ. Видения Анны. 1982.

«Любовь и искусство — вот те ценности, которые помогают людям выжить». Эти слова Мари-Клер Блэ, сказанные в одном из интервью, дают возможность яснее понять творчество известной канадской писательницы. Искусство для нее — это не только отражение действительности или способ самовыражения, искусство — это борьба со смертью, чью угрозу она постоянно ощущает. Прошлое полно войн и насилия, в настоящем — нависшее над землею смертоносное «черное облако», будущее — будет ли? И все-таки надо жить. Какой бы трудной ни была жизнь — человек должен выстоять, несмотря ни на что.

К этому горькому мужеству Мари-Клер Блэ шла долгим и трудным путем. С момента ее дебюта (в 1959 году) и вплоть до недавнего времени критики единодушно признавали ее книги «самыми черными во всей квебекской литературе». Утрата смысла жизни, неизбежный трагизм человеческого бытия, эсхатологические предчувствия — все эти мотивы, широко распространенные в современном западном искусстве, постоянно звучат в ее творчестве. При том, что действие большинства книг происходит во французской Канаде, Блэ почти не уделяет внимания национальным чертам и особенностям. Проблемы, которые ее волнуют, выходят за национальные границы — это проблемы, общие для всего западного мира и даже для человечества в целом, поскольку речь идет о жизни на земле и о смерти, которая угрожает планете.

Известность за пределами Канады писательнице принес роман «Сезон из жизни Эмманюэля» (1965). Он был удостоен премии Медичи — одной из крупнейших литературных премий Франции, переведен на большинство европейских языков и экранизирован. Этот мрачный, поистине «черный» роман рассказывает о жизни и смерти Жана, подростка, одаренного незаурядным поэтическим талантом, и об убогом, беспросветном существовании его нищей семьи. «Сезон», в который происходит действие,— зима, и вся атмосфера романа пронизана страшным холодом замораживающим не только тела, но и души. Потому-то и умирает Жан, что душа его — обостренно-чувствительная и восприимчивая — не может вынести холода и трагичности жизни

Экзистенциальным ужасом наполнен и «Давид Стерн» (1967) — книга о юности с ее максимализмом и тщетными поисками. Трое героев разными путями приходят к одному и тому же безнадежному выводу: жизнь бессмысленна, совершенство невозможно, справедливости нет; если бог существует, то он, несомненно, безумен. Поистине «жизнь — это место, где жить нельзя», а смерть дарует освобождение. И единственное, что человек может,— сам выбрать свою смерть. Отчаявшиеся, но не смирившиеся мальчики делают этот выбор: двое кончают с собой, причем один из них совершает самосожжение в знак протеста против социальной несправедливости, третий, которого тот же протест приводит к конфронтации с обществом, воровству и преступлениям, погибает в стычке с полицией.

На взгляд Блэ, мир таков, что гибель идеалистов закономерна и едва ли не неизбежна. Однако смерть, самоубийство — дорога, ведущая в никуда. Конец 60-х — 70-е годы прошли для писательницы в напряженных поисках выхода из экзистенциального тупика. А поскольку добропорядочное общество с его уютным конформизмом, благополучием — как материальным, так и душевным — вызывает глубокое неприятие Блэ, она обращается к «маргинальным» персонажам, отщепенцам, добровольным изгоям, чей образ жизни идет вразрез с общепринятыми нормами и с уголовным кодексом. Парадоксально, что именно здесь, на задворках морали и этики, Мари-Клер Блэ обрела действительные ценности, пришла к пониманию того, что любовь, доброта, тепло все же что-то значат.

Но как же беспомощно добро перед лицом страданий! Майк Анджели, герой романа «Глухой в городе» (1980), хотел бы помочь несчастным, что собрались под крышей «Отеля путешественников», но что он может сделать? Только принести в номер кофе и сказать: «Пейте, пока горячий!» И вызвать раздражение тех, кому хочет помочь. Стена непонимания разделяет персонажей романа. Каждый занят только собой, погружен в свое несчастье. Никто никого не любит — и все страдают от равнодушия окружающих. И, терзаясь своей беспомощностью, мечется между ними Майк...

«Отель путешественников» символизирует для писательницы всю планету, населенную одинокими и усталыми путниками, чье странствие не имеет смысла, а жизнь так уязвима и беззащитна. Тема смерти — одна из постоянных в творчестве Блэ. Смерть воспринимается ею как освобождение от ужаса жизни и одновременно как абсолютное проявление этого ужаса, жестокого абсурда и насилия, которые царят в мире. Не случайно в ее книгах смерть почти всегда насильственная или преждевременная. Умирает от туберкулеза герой «Сезона из жизни Эмманюэля», болен раком Майк.

«Глухой в городе» написан как бы на едином дыхании, без глав, без абзацев. Воспоминания, обрывки мыслей, самые сокровенные переживания и случайные наблюдения перемешаны в потоке сознания героев, глазами которых показано все происходящее. Майк, чей внимательный взгляд видит печать страданий на лицах, готовящаяся к самоубийству Флоранс Грэй, Юдит Ланг, профессор философии, тоску которой не могут утолить никакие философские изыскания,— каждый ведет свою тему, вступающую в контрапунктическую перекличку с другими голосами, а все вместе складывается в своеобразную симфонию отчаяния. Время из реального становится индивидуальным, зависимым от сознания персонажей. Границы между прошлым и настоящим стираются, дни сжимаются, а секунды растягиваются. Собственно, время действия романа — секунда, понадобившаяся Флоранс Грэй, чтобы спустить курок,— секунда, растянувшаяся на годы, в течение которых она шла к самоубийству, и вместившая жизни тех, с кем случай свел Флоранс в ее последнем пристанище.

Любовь и искусство помогают людям выжить — это убеждение Блэ реализуется в судьбах ее персонажей. Умирание Флоранс началось тогда, когда она перестала воспринимать живопись — в сущности, она умерла в тот момент, когда душа ее ослепла. Анну, героиню последнего романа Блэ, спасает любовь. Но прежде чем вступить на путь, ведущий к спасению, Анна должна была пройти через ад объективной жизни и ад своих субъективных переживаний. Бессмысленность человеческого бытия, несправедливость и несовершенство мира мучают героиню, как личное горе. Груз безнадежного, беспросветного отчаяния настолько тяжел, что она постепенно утрачивает чувствительность к боли, а вместе с нею и волю к жизни; отчаяние сменяется равнодушием и пустотой. «В сердце Анны не было ни радости, ни боли... это была пустота, холодная и спокойная...» С этих слов начинается роман — блуждание героини по дорогам ее воспоминаний, кружение по путям тех бесплодных поисков, которые и опустошили ее душу.

Снова и снова Анна вспоминает свое долгое путешествие через весь континент, от Канады до Мексики, вспоминает случайных спутников по бродяжничеству, аутсайдеров, для которых безнравственность и жестокость общества служат оправданием собственной безнравственности и жестокости. Снова и снова пытается восстановить в памяти облик человека, который, кажется, любил ее, но память сохранила лишь воспоминание о ворохе одежды на стуле. Снова и снова она возвращается в мыслях на роскошную виллу с ухоженным садом и бассейном, где живет со своей новой семьей ее отец; снова видит его играющего посреди цветов с дочкой Сильвией, но и эта «прелестная картинка» омрачена угрозой смерти, перед лицом которой особенно отчетливо видна непрочность счастья. Даже двухлетняя Сильвия — и та смутно чувствует приближение катастрофы: недаром на ее рисунке изображено нависшее над спящими в траве папой и дочкой «черное облако» — зловещий символ, предостерегающее memento mori.

Пути, на которых героиня надеялась обрести выход, оказались тупиковыми. Не вовне, но внутри себя человек должен найти основания, чтобы жить. Возрождение Анны к жизни совершается через пробуждение в ней человечности, способности понять и почувствовать боль другого. Сострадание к матери пробуждает душу героини от сонного оцепенения и заставляет «покинуть свой

остров». Возвращение Анны домой — это возвращение к извечным ценностям добра и любви.

Тот же путь — от отчаяния к надежде — проделывает и тринадцатилетняя Мишель, и нищая, замученная, уставшая от жизни Рига. Сюжетно линии трех героинь связаны в достаточной мере случайно. Мишель — пациентка психиатрической клиники, где работает мать Анны. Появление Риты композиционно обусловлено тем, что ее дорога в какой-то момент пересеклась с дорогой одного из спутников Анны. Но помимо этой чисто внешней, событийной связи существует глубокая внутренняя связь между героинями. В «Видениях Анны» Блэ снова применяет свой излюбленный прием — параллельное развитие нескольких тем, которые звучат в одной тональности и приходят к единому разрешению. Но если пятнадцать лет назад, в «Давиде Стерне», таким образом трижды утверждалась смерть, то сейчас это троекратное повторение направлено на утверждение жизни. Возвращается домой Анна; Мишель, поняв, что она виновата в страданиях родителей, плачет слезами раскаяния и очищения; страх лишиться сына заставляет Риту понять, что не все еще в жизни потеряло для нее цену. В простых словах Риты, обращенных к усталому ребенку, звучит выстраданное утверждение жизни: «Идем дальше, мой мальчик, наш путь с тобой еще только начался».

Л. ЗЛОБИНА

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

David Storey. A Prodigal Child. London, Cape, 1982.

Дэвид Стори. Блудный сын. 1982.

Русским читателям знаком роман Дэвида Стори «Сэвилл»[1] — история шахтерского сына из Йоркшира, который становится интеллигентом, заплатив за это очень дорого — отчужденностью и от родительского дома, и от новой социальной среды, одиночеством, душевной неприкаянностью, а главное — ранним душевным очерствением. Пространное, скрупулезно разработанное в своих бытовых и психологических подробностях повествование это заканчивалось отъездом Колина Сэвилла в Лондон. Он хочет стать поэтом — классическая ситуация,— а старший брат его Эндрю, умерший семи лет от роду, странный мальчик, то и дело сбегавший из дома, отправляясь неизвестно куда, прекрасно рисовал; но вряд ли ему удалось бы раскрыть свой дар, останься он в живых. Когда подросший Колин обнаружил школьный альбом с рисунками брата и многое узнал о нем от родителей, он стал ощущать некую глубинную, мистическую связь между собой и так рано покинувшим их дом чудо-ребенком. И в новом романе Стори, появившемся шесть лет спустя, связь эта ощутима: можно предположить, что Брайен Морли, годы детства и юности которого прослежены писателем,— Эндрю Сэвилл, которому удалось вырасти и в какой-то мере «осуществиться». Само заглавие романа, кстати, можно перевести двояко: «блудный сын» (вернее — «блудное дитя») и «чудо-ребенок». Если Эндрю убегал из бедного родительского коттеджа в шахтерском поселке, повинуясь безотчетной тяге, которую сам он не мог ни понять, ни объяснить, то Брайен, не испытывающий подобной склонности к бродяжничеству, по сути «уходит из дома» гораздо раньше, чем это произошло в действительности. С детских лет он живет в семье как бы внутренним эмигрантом, живет в кругу своих стойких фантазий, сосредоточенный на крепнущей убежденности, что если он и не подкидыш, то, во всяком случае, судьба предназначила ему иную жизнь. Неожиданно проявившийся дар к рисунку и скульптуре лишь отчасти объясняет стремление Брайена «подняться» над скудной и грубой действительностью, выбраться из своего окружения. Это не примитивный голый карьеризм, обращенный к материальной цели; здесь речь идет о поглощенности искусством и трудной жизни души подростка, на которого рано «свалилась» радостная и мучительная влюбленность во взрослую женщину. Но суть темы не меняется — в потомственной рабочей семье (отец Брайена работает у богатого фермера, а не в шахте, однако быт, житейские проблемы и даже сама семейная атмосфера — все это почти как у Сэвиллов) растет если не совсем чужое, то во многом чуждое существо. Сам Брайен до поры до времени воспринимает эту ситуацию эгоцентрично; он слеп и глух и к подспудным будничным драмам домашней жизни семьи Морли, и к тому, как воспринимают его отчуждение родители и брат. Но в том, как складываются отношения с сыном, в большой мере виновны (если считать это виной, ведь делалось это ради мальчика) сами родители, которые согласились отдать его в семью Корригена — владельца мебельной фирмы, живущего в соседнем городе. Там Брайен и учился в привилегированной школе, платили за него те же Корригены, бездетная чета, очень привязавшаяся к нему. Домой в поселок он наезжал лишь в конце недели и на каникулах.

С Корригенами Брайен познакомился на ферме Спенсера, у которого всю свою жизнь после демобилизации (он был в молодости кадровым военным, сержантом) проработал его отец. Сестра Спенсера Фэй, когда-то служанка, выйдя замуж за богатого Корригена, стала обольстительной, импульсивной и несколько неврастеничной дамой со скандальной репутацией. Приехав в гости к брату (Брайен бывал на ферме — помогал отцу и играл с Маргарет, дочерью Спенсеров), она сразу же пленила мальчика, заняв в его воображении вакантное место принцессы. И для нее он становится не просто «подопечным», но своего рода пажом, вовлекаемым подчас в перипетии любовной жизни миссис Корриген, добродетелью не отличающейся. Постепенно, по мере того как Брайен подрастает, собственные их отношения обретают характер «романный», хотя и платонический. Эта линия играет приметную роль в повествовании, охватывающем около двадцати лет жизни Брайена, его родных и прочих дей-

[1] Москва. «Прогресс», 1979.

ствующих лиц: с конца 20-х годов, когда Морли поселились в тесном домике, построенном муниципалитетом в Стейнфорт-эстейт, на месте былых вересковых пустошей, и до начала 50-х (заключительные страницы рассказывают о празднике в поселке в честь коронации Елизаветы II). Многое произошло в Англии за эти двадцать лет, была и война... Один из фрагментов романа изображает бомбежку пригородного района вилл: Брайен и Фэй спасаются в убежище, устроенном в саду Корригенов, а затем возвращаются на виллу которая почти не пострадала,— обошлось выбитыми стеклами...

Мы сказали: «один из фрагментов» не случайно. Вся книга представляет собой как бы цепь фрагментов, соединенных тонкой, неотчетливой нитью. Поэтому само действие, в «Сэвилле» движущееся медлительно и вместе с тем уплотненно, осязаемо, обретает здесь прерывистость и даже внутреннее развитие сюжета — история становления личности молодого художника — оказывается построенным на натяжках. Д. Стори и здесь не отказывается от пристального бытописания, обычно выразительного и точного, но все эти бытовые сцены и эпизоды не опираются на повествовательный фундамент, а словно повисают в пространстве. Да и сам Брайен, предстающий обычно в поступках, а не в словах (он неизменно скован и молчалив, а разговоры его предельно лаконичны), наделен мыслями, звучащими в высшей степени книжно. в них как-то трудно поверить.

Это — наблюдения, относящиеся к художественному миру, который автор пытается создать в книге, видимо поставив перед собой определенные литературные задачи: добиться компактности, лаконизма, многозначной, но и аскетичной графичности. Создается впечатление, что в общем он потерпел неудачу, хотя некоторые фигуры (старший Морли, Спенсер, его дочь Маргарет) очерчены смелой рукой и оживают на наших глазах. Однако это не спасает положения — Брайен Морли так и остается в сути своей героем-схемой, иллюстрацией к заданной идее. И поэтому сама идея — очень важная и несомненно новая для писателя — превращается в декларативный пассаж под занавес.

Тема «ухода из дома» — то есть разрыва (либо попыток разрыва) молодого англичанина из рабочей среды, получившего образование, со своими социальными классовыми корнями — центральная и ведущая, ключевая тема творчества Дэвида Стори. Теперь, после семи опубликованных им романов и ряда пьес, сомневаться в этом не приходится. А вариаций было множество, но сближало их между собой неизменно пессимистическое отношение автора к этой проблеме. Разумеется, он не ратовал за то, чтобы рабочая молодежь прочно «сидела дома» а лучшие сыны ее отказывались от образования, дабы не становиться сынами блудными. И все же в поле его художественного зрения всегда оказывались если и не прямые неудачники, то люди, изрядно пострадавшие, поплатившиеся душевной ущербностью за внешний успех, за возможность приобщения к интеллектуальной жизни.

Иначе задуман финал «Блудного сына». После семилетнего пребывания в «заколдованном замке» Корригенов и традиционной поездки в Лондон (где, как мы узнаем из слов Маргарет, его скульптуры замечены и даже попали в частные коллекции) Брайен возвращается в отчий дом, осознав что «именно здесь — мое королевство... королевство сердца». В финальной главке Брайен и Маргарет сидят на кухне в домике семьи Морли, пока местные жители празднуют на лугу день коронации. Маргарет, очевидно, заменит Фэй (уже изрядно состарившуюся) в личной судьбе Брайена, а любит его она с детских лет.

Будь эта история рассказана убедительнее, такой финал показался бы вполне естественным. Но это, к сожалению, не получается и приходится верить автору на слово.

И. ЛЕВИДОВА

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА»

Так назвал свою новую пьесу известный австрийский писатель и драматург Томас Бернхард.

«Вновь перед нами монологический диалог»,— пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Георг Хензель. В пьесе всего два персонажа, и оба «мастера поговорить сами с собой», как выразился один из них. Это два брата, в прошлом артисты. Обоим уже за семьдесят. Дважды в неделю они видятся друг с другом. По вторникам Роберт приходит к Карлу, по четвергам — Карл к Роберту. Они ведут долгие разговоры о себе, о своей жизни — но больше всего о покойной Матильде, женщине, которая тридцать лет жила с Карлом.

Карл и сейчас еще крепок. Всю жизнь он не давал поблажки ни себе, ни другим, он был жонглером и все стремился к совершенству. Однако его строгость, педантизм, чрезмерность требований отравляли жизнь окружающим. Теперь он вынужден задать себе вопрос: не стала ли Матильда жертвой его деспотизма?

Карл так и не находит ответа, хотя чувствует, что в чем-то ошибся. Что-то упустил в жизни. Его обманывало внешнее спокойствие Матильды. Между тем она, живя с ним, страдала и любила не его, а брата.

Роберт когда-то мог стать большим артистом. Он мечтал сыграть короля Лира, но так и не сумел осуществить своей мечты. Теперь уже поздно, он стал забывать текст пьесы, его мучают болезни. Карл высокомерно называет его ипохондриком. Но покойная Матильда знала, какой прекрасный, великодушный человек Роберт. Недаром ему, а не Карлу она завещала свой летний домик. Карл мог лишь понимать, но не любить, Роберт умел и понимать и любить — как Матильда, которая, не появляясь на сцене, оказывается, в сущности, главной героиней пьесы. «В конечном счете, — пишет Георг Хензель, — Роберт предстает прозорливым и сильным, а Карл — слепым и слабым».

Перед нами не просто пьеса, пишет швейцарский еженедельник «Вельтвохе», а «протокол безысходной жизненной ситуации», в которой по-разному пытаются утвердиться два одиноких человека.

АЛЖИР

КНИГА О МУЛУДЕ ФЕРАУНЕ

Как сообщает журнал «ИБЛА», парижское издательство «Сей» опубликовало книгу литературоведа Мари-Элен Шез «Мулуд Фераун». Книга представляет собой исследование жизни и творчества выдающегося алжирского писателя, одного из основоположников современной алжирской прозы Мулуда Фераун (1913—1962), злодейски убитого фашистующими бандами ОАС накануне провозглашения независимости страны.

Творческое наследие Фераун включает три романа, очерки, дневник, письма. Все это рассматривается в исследовании Мари-Элен Шез, которая с симпатией прослеживает «судьбу человека, выступавшего от имени самых обездоленных, во имя правды, во имя мира».

ВЕНГРИЯ

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Вышло посмертное издание книги Антала Гидаша «Я возвращаюсь», в которую вошли стихи, до сих пор нигде не публиковавшиеся. Среди них есть и написанные поэтом в юности, и в пору, когда он жил вдали от родины, и созданные им незадолго до своей кончины.

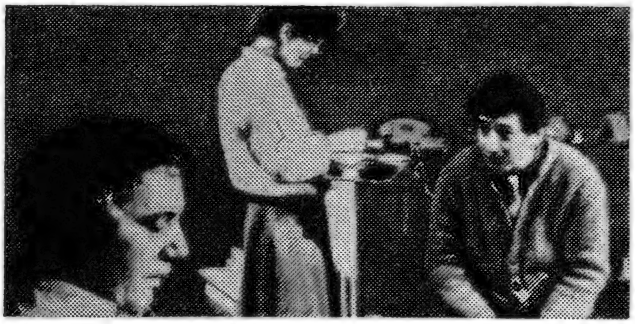
Своими впечатлениями о сборнике «Я возвращаюсь» поделился на страницах газеты «Непсабадшаг» поэт Эрвин Хаваш. Его маленькое эссе так и называется: «Об Антале Гидаше. Заметки на полях одного поэтического сборника».

Хаваш пишет, что лично встречался с Гидашем всего лишь несколько раз, в основном по разным издательским делам. «Тем не менее, думается, что я знал его — знал по книгам, по выступлениям, по стихам. Читал я их не только по своей служебной обязанности, мне очень хотелось как можно больше узнать о его полной событиями жизни и о его творчестве», — отмечает Хаваш.

«Нередко случалось, — продолжает он, — что, беря с полки книгу Гидаша, я испытывал чувство, будто окунулся в историю. Однажды я спросил Гидаша в связи с его сборником «Строки, исходившие мир», насколько тесно в книге переплелись нити личной судьбы и времени, и он мне ответил, что все, о чем в данной книге повествуется, происходило и на озере Балатон, и на Дунае, и на Неве, и на Иртыше, и на Амуре... И что его личная жизнь немножко «цитирует» историю».

Почти четыреста произведений этой книги: стихов и лирических зарисовок о любви, о жизни, о смерти, о взлетах души и ее борениях, заботливо собранных воедино Агнессой Кун и Тольдьеши Ласлоне, ясно и определенно выражают суть жизни и творчества поэта — ответственность.

И в поступках и в творчестве Гидаша очень ярко проявляется национальное



«Эндре Веси — один из самобытнейших венгерских писателей. Многообразен его талант: он пишет романы, новеллы, драмы, стихи, радио- и телевизионные пьесы (творчество Веси известно советским читателям по книге «Избранное», изд-во «Прогресс», 1981 г.). Все его произведения отличают гражданственность, актуальность и художественная правда», — пишет критик Габор Саболчи на страницах газеты «Непсабадшаг» в связи с постановкой в театре «Ятексин» новой комедии Эндре Веси «Желтый телефон», в которой отображается жизнь одного из научно-исследовательских институтов.

На снимке: сцена из спектакля «Желтый телефон».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжиказ»)

ского переворота. Многие писатели, при всем различии позиций, почувствовали в это время необходимость включиться в борьбу против фашизма. Писатели революционной, социалистической направленности должны были в условиях эмиграции по-новому задуматься над ситуацией, сложившейся в международном рабочем движении; очень остро встала перед ними проблема читательского адреса. Авторы исследования детально, углубленно анализируют произведения И. Р. Бехера, Б. Брехта, Э. Э. Киша, написанные в 1933—1935 гг. Обращаясь к сложным, недостаточно изученным писательским судьбам, вводя в обиход много нового материала, они разбирают творчество Клауса Манна, Оскара Мария Графа, Эрнста Отвальта, Ивана Голля. Много внимания уделяется также антифашистской литературной критике, спорам вокруг книг А. Зегерс, Б. Брехта, Г. Марквицы. Авторы исследования стремятся показать деятельность немецких литерато-

и интернациональное, подчеркивается в эссе. Где бы он ни жил, какой бы небосвод ни был над ним, Гидаш всегда оставался венгром, сыном своей родины.

«Прекрасна книга «Я возвращаюсь», — пишет в заключение Эрвин Хаваш, — ее читаешь как обращение, как завещание».

Пьеса Райнера Кериала «Георгсберг» поставлена в берлинском театре имени Максима Горького режиссер Вольфрам Кремпель). Журналист Себастьян Хеверкамп по заданию редакции едет в горный район Георгсберг, где он вырос. Он встречается со многими людьми: партийными работниками, бургомистрами, руководителями фабрики, рабочими. «Это пьеса,— пишет рецензент в газете «Нойес Дойчланд»,— о нашей современности и о наших современниках».

На снимке: Хильмар Бауман и Рената Райнеке, исполнители главных ролей в спектакле «Георгсберг».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

ГДР

«КТО ПИШЕТ — ДЕЙСТВУЕТ»

Коллектив ученых, объединенных в Институте истории литературы при Академии наук ГДР, целеустремленно работает над проблемами антифашистской литературы, немецкой и зарубежной. Этим проблемам посвящена и новая книга, вышедшая в издательстве «Ауфбау», она называется «Кто пишет — действует» и носит подзаголовок «Стратегия и методы литературной работы до и после 1933 года». Лозунг, стоящий в заголовке книги, заимствован из передовой статьи антифашистского журнала «Нойе дойче блеттер», который начал выходить в Праге в 1933 году и стал наиболее ранним органом немецких писателей в эмиграции.

Редактор коллективного исследования и автор ряда статей — Сильвия Шленштедт. В числе авторов также С. Барк, Д. Шленштедт, Д. Шиллер, В. Кляйн и советский литературовед Л. Будагова. Авторы ставят себе задачу — проанализировать те сдвиги, поиски, процессы идейно-творческой дифференциации, которые произошли в немецкой литературе после гитлеров-

ров-антифашистов в международном контексте, — поэтому в книгу включены этюды о творчестве В. Незвала, Ж.-Р. Блока, австрийского поэта Т. Крамера.

Заключительная глава книги посвящена анализу итогов Парижского конгресса писателей в защиту культуры, полная стенограмма которого, тщательно выверенная и прокомментированная, опубликована недавно тем же Институтом. Книга «Кто пишет — действует» представляет серьезный творческий вклад ученых ГДР в историю антифашистской литературы.

На снимке: Агга Гайслер, исполнительница роли Анны в фильме «Тукума».

(Газета «Ланд ог фольк»)

ГРЕЦИЯ

Йоргос Фарсакидис, видный греческий художник-коммунист, девятнадцать лет проведший в лагерях смерти в Эгейском море, запечатлел эти страшные годы в многочисленных гравюрах, картинах, рисунках. Значительное место в его творчестве занимает тема защиты детей от ужасов фашизма.

На снимке, взятом из альбома, изданного Коммунистической партией Греции, — одна из работ Йоргоса Фарсакидиса — «Мать».

ДАНИЯ

О ДАТЧАНАХ И ГРЕНЛАНДЦАХ В ГРЕНЛАНДИИ

Тысячу лет тому назад викинг Эйрик Рыжий поплыл на запад и открыл Гренландию, положив тем самым начало заселению ее колонистами. И вот уже в наши дни в Гренландию отправляется датчанин Эрик и заново открывает ее. Эрик — главный герой фильма «Тукума», снятого известным режиссером Палле Кьерульффом-Шмидтом, который после пятнадцатилетнего перерыва снова вернулся в кинематограф. Появления его новой картины ждали с нетерпением: с тех пор как Лек Фишер и Эрик Баллинг выпустили в 1956 году кинокомедию «Кивиток», в Дании не было создано ни одного художественного фильма о датчанах и гренландцах в Гренландии.

Эрик (его роль сыграл Томас Айе) пускается в путешествие, прежде всего чтобы выяснить обстоятельства смерти своего брата Бруно — тот разбился на планере. «Тукума» — прозвище, которым гренландцы наделили Бруно, означающее «тот, кто слишком занят» (по их мнению, это характерная черта датчан). Постигая, путем проб и ошибок, жизнь острова, Эрик завоевывает доверие местных жителей и обзаводится добрыми друзьями. Возможно даже, Эрик навсегда останется в Гренландии — настолько она завладела его сердцем.

Картина получила высокую оценку критики. Как пишет рецензент «Ланд ог фольк», «Тукума» — прекрасный, проникновенный фильм о том, как живут сегодня гренландцы, как хранят они свои обычаи, наконец, о том, как ценны и необходимы в отношениях между людьми искренность и взаимное уважение.

Палле Кьерульфф-Шмидт привлек к участию в съемках немало гренландцев, как непрофессиональных актеров, так и участников театра-студии «Тукак» (см. «ИЛ», 1983, № 10). Среди последних — Расмус Люберт и Агга Гайслер, выступившие в роли мужа и жены — друзей Эрика (Расмус Люберт, кроме того, — автор музыки, прозвучавшей на экране). В интервью корреспонденту «Ланд ог фольк» Агга Гайслер сказала, что фильм доставил ей большую радость. «В нем нет ни излишней романтики, ни надуманных проблем. Он показывает, что датчане и гренландцы могут отлично ужиться друг с другом, несмотря на различия между ними, и учит, что каждой нации присуще чувство собственного достоинства».

Агга Гайслер подчеркнула, что фильм этот особенно важен для датчан, ибо он разрушает бытующее в стране представление о гренландцах как о людях примитивных, наделенных всяческими пороками. «Надеюсь,— заключила она, — что датские зрители посмотрят на Гренландию новыми глазами».

ЕГИПЕТ

«СКРЫТЫЙ ЛИК ЕВЫ»

В Париже вышел французский перевод книги египетской писательницы и социолога Наваль Саадави «Скрытый лик Евы». Доктор медицины Саадави впервые получила известность как писательница в 1965 году, когда была опубликована ее книга «Записки женщины-врача». Эта книга заслужила в свое время широкое одобрение как за свои высокие литературные достоинства, так и за смелость и остроту, с которыми в ней рассматривались женские проблемы. За свои прогрессивные политические убеждения Саадави впоследствии подвергалась тюремному заключению.

Книга «Скрытый лик Евы» вышла впервые на арабском языке в Каире в 1977 году. Вскоре был опубликован ее английский перевод, который писательница сопроводила обширным введением, рассчитанным специально на западного читателя. Французское издание книги в определенной мере учитывает запросы французской читающей публики.

В книге «Скрытый лик Евы» ставятся важные проблемы. В ней приводятся потрясающие факты обскурантизма и невежества в вопросах пола, а также проституции и сексуальных преступлений. Автор делает экскурс в историю арабских традиций и обычаев, цитируя религиозные источники и произведения художественной литературы, рассказывает о пионерах борьбы за освобождение женщины и ее права на труд. Как считает Саадави, причина угнетения женщин кроется в классовом характере общества и отсталой патриархальной системе. Она призывает арабских женщин объединиться в политическую силу и вести борьбу за собственное освобождение.

ФИЛЬМ О ДЖАВАХАРЛАЛЕ НЕРУ

«Жаркая осень с запахом манго» — так назвали свою первую совместную работу, посвященную выдающемуся политическому и общественному деятелю нашего времени Джавахарлалу Неру, чехословацкие и индийские кинематографисты. Журнал «Филм а дивадло» публикует репортаж Яны Коциановой о съемках этого фильма.

Это двадцать шестая работа крупного чешского кинорежиссера Иржи Секвенса. Советские зрители знают его по фильмам «Оловянный хлеб», «Непобежденные», «Бегство из тени», «Покушение», «Хроника жаркого лета». С индийской стороны над фильмом работали: режиссер Басу Бхаттачария, одну из главных ролей играет виднейший современный индийский поэт и друг Джавахарлала Неру Хариндранат Чаттопадхайя. Главную женскую роль в фильме сыграла чехословацкая актриса Яна Шульцова.

Известно, что в 1938 году Джавахарлал Неру незадолго до мюнхенских событий посетил Чехословакию. Пребывание его в этой стране, его отношение к Европе, к демократии и миру, его почти пророческое предвидение грядущих событий и должны были послужить основой для будущего фильма. Но создателям картины рамки документального кино показались тесными для раскрытия внутреннего мира одного из выдающихся политических деятелей нашей эпохи. Так возник игровой фильм с семью документальными «заставками», а точнее сказать — «фильм в фильме». Сам Джавахарлал Неру в фильме не появляется, но вся картина пронизана его мыслями и заповедями.

Вот что сказал режиссер фильма Иржи Секвенс корреспонденту журнала «Филм а дивадло»: «Я принадлежу к тому поколению, которое помнит Неру и значение его деятельности... Я восхищаюсь человеком, который не только выполнял свою огромную историко-политическую миссию, но и обладал таким творческим потенциалом, как мало кто из политиков или писателей. Его мысли — это не исторические реликвии. Слова Неру, направленные против цинизма, равнодушия, нетерпимости, звучат и сейчас.

Что я хотел сказать этим фильмом? Показать богатство внутреннего мира отдельного человека, жизнь которого может служить примером всем людям. Что я хотел подчеркнуть в характере Неру? Беспредельную веру в возможности человека, в его силу и волю при преодолении трудностей, веру в осуществление мечты человечества о мире».

ИСПАНИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПОПУЛЯРНОГО РОМАНА

Режиссер Гонсало Эрральде закончил съемки фильма по роману известного испанского писателя Хуана Марсе «Последние вечера с Тересой». Эта книга, впервые опубликованная в 1967 году, имела огромный успех и выдержала около десяти переизданий, став одним из самых популярных романов послевоенной Испании.

Героиня романа, девушка из обеспеченной буржуазной семьи, заражена модными в то время (действие происходит в конце 50-х годов) в ее среде «левыми» настроениями и хочет принять участие в том, что она принимает за подпольную борьбу. Случайно она знакомится с Марио, женихом своей служанки. Приняв этого молодого человека, мечтающего о легкой жизни, а пока подрабатывающего перепродажей ворованных мотоциклов, за рабочего, Тереса влюбляется в него. Марио, в свою очередь, надеется использовать эту возможность, чтобы стать своим в мире Тересы, ее родителей и друзей. Однако, благодаря стечению обстоятельств, выясняется истинная природа занятий Марио и — в то же время — незрелость и надуманность «левых» убеждений Тересы. Роман заканчивается разрывом молодых людей: каждый из них остается в привычной ему социальной среде.

Успех романа Марсе объясняется, конечно же, не сюжетом книги, в которой рассказана достаточно незатейливая житейская история, а тем, насколько точно и выразительно удалось автору передать дух того времени, настроение людей, очарование старой Барселоны. Именно это привлекло к роману и внимание кинематографистов. Сценарий фильма написан Хуаном Марсе, который в интервью газете «Паис» сказал, что главное для него было сохранить верность не тексту, а эмоциональной наполненности образов. Поэтому он намеренно не перечитывал роман, а все диалоги героев написал заново. В фильме также изменены хронологические рамки: действие его происходит в течение нескольких летних месяцев, а не полутора лет, как в книге.

ИТАЛИЯ

ПОЭТ О ТВОРЧЕСТВЕ И О СЕБЕ

Андреа Дзандзотто, одному из крупнейших поэтов сегодняшней Италии, вручена в Милане премия имени Монтале. В интервью, данном по этому поводу еженедельнику «Панорама», А. Дзандзотто говорит о своем отношении к творчеству, о тенденциях развития современной поэзии, о процессах, происходящих в итальянском литературном языке.

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения великого чилийского поэта Пабло Неруды.
На снимке: портрет Пабло Неруды, созданный другом поэта — итальянским художником и писателем Карло Леви.

(Газета «Паэзе сера»)

Поэт вспоминает, что люди его родного городка Пьеве-ди-Солиго и окрестная природа с ее «парадом холмов» помогли ему, вернувшемуся с войны в состоянии глубокого душевного кризиса, ощутить себя творческой личностью. Проявляя глубокий профессиональный интерес к литературным процессам и проблемам, Дзандзотто, однако, официальным дискуссиям и конгрессам предпочитает более интимный обмен мнениями с коллегами: письма (многие годы он вел литературную переписку с В. Серени) или собрания «в узком домашнем кругу при уютном свете настольной лампы».

«К итальянскому языку,— говорит А. Дзандзотто, — я отношусь точно так же, как относились к нему несколько веков назад: для меня это язык бельканто, язык, сопричастный высокой культуре». Поэтический язык А. Дзандзотто сложен, он состоит из разных стилистических компонентов: тут и диалект, который, по мнению поэта, несет не только экспрессивную, но и социальную нагрузку; и церковная латынь, трансформировавшаяся в устах простых итальянских женщин в интереснейшие неологизмы; и язык, понятный лишь двоим; и голоса улицы, и щебет птиц. «Язык то же пламя, как и человеческая психика».

«Поэзия — израненное, истерзанное тело, но в наше тревожное время все чаще наблюдается стремление поэтов к отстраненности, к спокойному, примирительному языку. В этом я вижу симптом скрытой болезни. Поэзия молодых похожа на красивые цветы, которые при ближайшем рассмотрении оказываются сделанными из акрила»...

«Поэзия — очень обособленная страна, — говорит в заключение А. Дзандзотто,— и трудно найти к ней дорогу. Поэтические фестивали, публичные чтения стихов, столь распространенные в последние годы, могут приблизить человека к поэзии, но потом он все равно должен сам разобраться в тексте».

Мариза Фабри. одна из популярных актрис страны, работала с такими крупными режиссерами, как Лука Ранкони и Джорджо Стеллер. В последней своей работе она выступила одновременно как драматург, режиссер и единственная исполнительница. Ее моноспектакль «Голос» — об угрозе мировой войны, в него включены произведения Гомера, Еврипида, Вергилия и поэма современного американского поэта Грегори Корсо «Бомба».
На снимке: Мариза Фабри.

(Газета «Унита»)

НИНО РОТА — «ГОЛОС» РЕЖИССЕРОВ

По сообщению газеты «Корьера делла сера», в издательстве «Латерца» вышла книга Пьера Марко Де Санти «Музыка Нино Рота». 10 апреля 1984 года исполнилось пять лет со дня смерти известного миланского композитора, написавшего музыку ко всем фильмам Федерико Феллини (от «Белого шейха» до «Репетиции оркестра») и ставшего музыкальным «alter ego» режиссера.

Нельзя забывать, пишет газета, и о сотрудничестве Нино Рота со многими другими знаменитыми режиссерами, такими, как Висконти, Дзеффирелли, Коппола, Латтуада, Моничелли, Эдуардо, Петри, Бондарчук.

В книге Де Санти читатель впервые получит возможность проследить весь творческий путь композитора. Помимо музыки для кино им созданы сонаты, прелюдии, симфонии, два балета, лирическая драма. Нино Рота за создание музыки к фильмам был удостоен премии Оскара. В книгу «Музыка Нино Рота» с предисловием Феллини вошло много фотографий, воспоминаний, интервью, в ней приводится дискография, а также перечень всех произведений композитора.

КАНАДА

«СЕКРЕТ СИНЕЙ БОРОДЫ»

Так называется выпущенный в издательстве «Макклеланд энд Стюарт» сборник коротких рассказов Маргарет Этвуд (см. «ИЛ», 1977, № 2 и 1983, № 2). Для большинства читателей в Канаде, пишет журнал «Букс ин Кенэда», Этвуд — прежде всего автор горьких и честных социально-психологических романов, воссоздающих обыденную жизнь современной канадской семьи. Другие же отдают предпочтение великолепной лирике Этвуд, считая ее бесспорным лидером новейшей англо-канадской поэзии. А студенты, изучающие историю канадской словесности, знают Этвуд как тонкого и вдумчивого литературного критика, автора ряда исследований, давно вошедших в университетские программы.

Прозаик, поэтесса и критик, Этвуд постоянно обращается к одному и тому же кругу волнующих ее проблем, которые касаются закономерностей человеческих взаимоотношений, психологии человеческого общения. Главный ее литературоведческий труд называется «Выживание» — так, по мнению Этвуд, формулируется важнейшая проблема «удела человеческого» в Канаде. В давнюю пору освоения канадских просторов человек боролся за физическое выживание в условиях дикой, агрессивной природы. В сегодняшней Канаде, в обществе «массового потребления», человек ведет столь же бескомпромиссную борьбу за выживание нравственное, за спасение себя как личности.

Двенадцать рассказов, составивших сборник «Секрет Синей Бороды», — это отдельные эпизоды трудной, мучительной борьбы личности за свой суверенитет, за сохранение своей цельности, ценности. Излюбленная тема Этвуд — единоборство женщины и мужчины, поединок полов, стремление женщины противостоять порабощающей воле своего партнера. Эту тему Этвуд определила для себя уже в первом своем романе «Лакомый кусочек», который переведен и на русский язык. Осталась верна писательница ей и в новой книге рассказов. Заглавная новелла иронически воссоздает отношения мужа и жены как поединок сказочного злодея Синей Бороды со своими жертвами, которых он с беспредельной жестокостью уничтожает. Вариациями на «тему Синей Бороды» являются мужские персонажи и в других рассказах.

Отмечая высокое стилистическое мастерство Этвуд-новеллистки, ее умение изобразить тончайшие нюансы психологии, автор рецензии в журнале «Букс ин Кенэда» вместе с тем отмечает в этих рассказах и некоторое однообразие, «заданность» конфликтных ситуаций. Лучшими, по его мнению, оказались как раз те рассказы, где Этвуд выходит за рамки «своей» темы — темы распада буржуазной семьи.

МАРОККО

РОМАН-ЛЕГЕНДА

По сообщениям арабской прессы, в Бейруте опубликован новый роман известного марокканского писателя Мбарека Рабиа «Бадр Заманихи».

Мбарену Рабиа принадлежит несколько сборников рассказов и романов, посвященных главным образом современной тематике, за которые писатель не раз удостаивался литературных премий.

«Бадр Заманихи», по словам обозревателя журнала «Аль-Мактаба аль-арабийя», — это роман-легенда, стиль которого вызывает в памяти сказки «Тысячи и одной ночи» и «Жизнеописание Антары Ибн Шаддада».

«ИСПОВЕДЬ» ТАХАРА БЕН ДЖЕЛЛУНА

Во французском издательстве «Сёй» вышел новый роман Тахара Бен Джеллуна «Исповедь». Книга марокканского писателя несомненно автобиографична. Герой «Исповеди», как и сам Джеллун, родился в Фесе в начале сороковых годов, занимался преподавательской деятельностью в Танжере, затем переехал в Париж. На своей родине Тахар Бен Джеллун бывает лишь изредка. Лишившись корней, писатель, по мнению критика «Лир», пытается в литературном творчестве найти средство вернуться к культурным истокам своей страны, осмыслить свою личность.

Плыть по течению своих воспоминаний — увлекательное, но опасное занятие, пишет рецензент «Магазин литтерэр» Пьер Мишель. То, что воодушевляет автора, может нагонять скуку на читателей. Но Тахар Бен Джеллун счастливо избежал всех ловушек автобиографического любования. Его книга читается легко, что достигается искусным монтажом эпизодов романа, где нашли отражение самые разнообразные события современной жизни, в том числе ливанская трагедия. «Мученикам Бейрута писатель посвятил великолепные страницы, полные бессильного гнева... Еще никогда, замечает Пьер Мишель, Тахар Бен Джеллун не достигал такого мастерства в стиле и органичности повествования». «Пишет ли автор о своем детстве, о трепете листьев лимонного дерева во дворе материнского дома в Фесе, о прелести женщины или о ливанской войне, он это делает мастерски»,— таково мнение «Монд».

НОВЫЙ РОМАН ДРИССА ШРАЙБИ

Журнал «ИБЛА» сообщает о выходе в свет нового романа известного марокканского писателя Дриса Шрайби «Мать-весна». Автор рецензии на этот роман, критик Ж. Деже, пишет, что если в своем предыдущем произведении «Расследование на месте» (Париж, 1981) Шрайби обращался к марокканской деревне, к человеку земли, высмеивая городскую бюрократию, то в «Матери-весне» он обращается к древней памяти народа.

Действие романа происходит в конце VII века н. э., когда берберские племена Марокко впервые столкнулись с арабо-мусульманскими завоевателями, предводительствуемыми полководцем Окбой Ибн-Нафи. В романе, по словам рецензента, затрагиваются не только взаимоотношения берберов с арабами — в нем рассматривается проблема судеб национальных меньшинств вообще. Главное же в романе — это поиски человеком своего подлинного лица, своих исторических корней.

МОНГОЛИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Газета «Утга зохиол урлаг» («Литература и искусство») сообщает о пленуме Союза писателей МНР. На пленуме был заслушан доклад заместителя председателя Правления СП МНР Д. Гармы «Время, ответственность. дисциплина, социальная активность писателя», а также доклад С. Эрдэнэ «Проблема идейности и мастерства в произведениях молодых писателей».

В докладе Д. Гармы проанализированы достижения монгольских литераторов за 1983 год, когда было создано значительно больше произведений, отражающих крупные события современности, проблемы войны и мира. Успешно развивается публицистическая поэзия, свидетельством чего могут служить поэмы — «Повествование о героях» Б. Бэгзсурэна, «Боги и люди» Д. Пурэвдоржа. Писатели постоянно ведут творческий поиск. Попытками новаторства отмечены сборники стихов, получивших положительную оценку критиков: «Цветы Керулена» П. Бадарач, «Всадник» Т. Очирху, «Журавли» Д. Цодола, «Стальные стремена» Б. Хурэлбаатара.

На современном этапе социалистического строительства особенно возрастает роль прозы. Из ста книг, вышедших в 1983 году, — 45 наименований прозаических произведений, в том числе 12 романов и 30 повестей. В последнее время возросло внимание литераторов к исторической теме. Писатели создают крупные эпические произведения, в которых нарисована яркая картина общественной жизни страны. Это прежде всего такие романы последнего года, как «Гнев сердца» Ж. Пурэва, «Земля» Д. Мама, «Круг жизни» С. Эрдэнэ, «Певучие пески» С. Дашдоорова.

Д. Гарма в своем докладе отметил также успехи в развитии детской литературы. 1983, 1984 и 1985 годы объявлены в Монголии «годами школьника».

Вышли произведения, которые сразу же получили высокую оценку маленьких читателей: «Вечный огненный цветок» Ч. Нацагдоржа, «Шестьдесят цыплят» С. Надмида, «Письма без адреса» Г. Жанчива.

Разнообразятся жанры и темы произведений для театра и кино. Значительным вкладом в репертуар театров стали пьесы Э. Оюун «Любовь», С. Удвал «Три незабываемых года».

Широкий читательский интерес вызвали литературоведческие работы Г. Жамсаранжава «За поиском поиск», Д. Олзийбаяра «Современность, литература, образ коммуниста». Ч. Дагвадоржа «Развитие темы рабочего класса в современной монгольской литературе».

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

НОВЫЕ КНИГИ

В народно-демократическом Йемене недавно создано новое государственное книжное издательство «Дар аль-Хамадани» (аль-Хамадани — выдающийся йеменский ис-

---

Творчество монгольского художника Д. Пушкина многопланово, но самым излюбленным жанром для него является графика. Линогравюра занимает основное место среди работ мастера.
На снимке: работа Д. Пушкина «В Гоби».

(Газета «Утга зохиол урлаг»)

торик, живший в X веке). Издательством уже выпущен ряд книг йеменских и иностранных авторов. Среди них, как сообщает аденская газета «Ас-Саури», — документальная книга под названием «Огненные дни. Бейрут». В ней собраны свидетельские показания ряда ливанских, палестинских и других арабских литераторов — очевидцев израильской агрессии против Ливана и осады Бейрута летом 1982 года. (Эти статьи и очерки первоначально публиковались в газете ливанских коммунистов «Ан-Нида» в период с июня по сентябрь 1982 года.)

Опубликована также книга йеменского писателя и публициста Мухаммеда Салеха Хиды «Современные проблемы йеменской культуры», в которой рассматриваются актуальные задачи культурного строительства в стране.

В числе переводных работ, выпущенных издательством, «Ас-Саури» называет книгу «Тихий Дон не спокоен» — сборник статей советских авторов, посвященных М. Шолохову, и роман американского писателя Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», переведенный известным арабским писателем Галибом Хальсой.

НИДЕРЛАНДЫ

ЛЕТОПИСЕЦ НАШЕЙ ЭПОХИ

Так называют критики голландского кинорежиссера Йориса Ивенса, отметившего недавно свое 85-летие. Один из крупнейших мастеров мировой кинодокументалистики, Йорис Ивенс заявил о себе в конце 20-х — начале 30-х годов. Уже в первых фильмах Ивенса четко выявились его социалистическое мировоззрение и солидарность с простыми тружениками, о жизни которых он рассказывал.

Выпустив картину «Боринаж» (1933) — о забастовке шахтеров крупного угольного бассейна, — Ивенс стал неугоден тогдашнему голландскому правительству и был вынужден покинуть родину. Домой он вернулся лишь в 1966 году. За это время Ивенс объездил со своей кинокамерой почти весь мир, побывал в самых горячих точках нашей планеты.

В 1937 году в соавторстве с Хемингуэем он создал одну из самых знаменитых своих кинолент «Испанская земля» — фильм о боях под Мадридом был снят на передовой.

Йвенс приезжал и в Советский Союз. В 1932 году на экраны вышла его «Песнь о героях», посвященная строителям Магнитки. В период второй мировой войны он снял в СССР фильм «Наш русский фронт» — о вторжении немецко-фашистских захватчиков, где звучала музыка тогда еще молодого Дмитрия Шостаковича и Ганса Эйслера, будущего автора Национального гимна ГДР.

После войны Ивенс много работал в странах социалистического содружества. В 1945 году он выпустил «Песню великих рек» — большую, интернациональную по своему духу картину о людях, населяющих берега шести крупнейших рек земного шара. За эту картину и всю творческую деятельность Ивенс был награжден международной премией Мира. В Англии же на этот фильм наложили запрет из-за его демократической направленности.

Документальные ленты о Кубинской революции, о Чили, о борьбе вьетнамского народа против американской агрессии — за эти работы Йорис Ивенс первым из зарубежных кинематографистов был удостоен в 1968 г. международной Ленинской премии. На церемонии награждения Ивенс сказал, что мир на земле — отнюдь не недостижимая мечта, это итог победы прогрессивных сил над силами реакции.

Еще в военные годы Ивенс написал книгу воспоминаний, однако рукопись была утеряна. И только двадцать лет спустя ее неожиданно обнаружили в одном из лондонских литературных архивов. Книга Ивенса «Кинокамера и я» увидела свет в 1969 году.

Йорис Ивенс создал бесценную кинолетопись нашей эпохи. Прокладывая в кинематографе путь документальному жанру, он никогда не поступался своими политическими убеждениями. «Вклад Ивенса в кинодокументалистику, — подчеркивает рецензент газеты «Ланд ог фольк», — столь же значителен, как и вклад в художественную публицистику Эгона Эрвина Киша».

НИКАРАГУА

КИНОСЦЕНАРИЙ ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА

Издательство «Нуэва Никарагуа» выпустило в свет киносценарий известного колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса «Да здравствует Сандино!».

В нем рассказывается о смелой операции, осуществленной группой бойцов-сандинистов под командованием Хуана Хосе Кеседы в декабре 1974 года, — штурме и захвате укрепленной виллы приспешника диктатора Хосе Мариа Кастильо.

«В полном напряженного драматизма и динамики киносценарии запечатлены подвиги рядовых никарагуанцев, претворяющих в жизнь заветы вероломно убитого в 1934 году «генерала свободных людей» Аугусто Сесаро Сандино, — отмечает рецензент журнала «Каса де лас Америкас».— С присущим ему мастерством Габриэль Гарсиа Маркес создал образы представителей разных слоев никарагуанского общества того времени, проникновенно раскрыв социальные и психологические мотивы их деятельности».

Рецензент подчеркивает, что документальный в своей основе киносценарий отразил существенные этапы начала важнейшего периода в истории Сандинистского фронта, который ознаменовался победой революции.

На снимке: Йорис Ивенс со своей кинокамерой.

(Газета «Ланд ог фольк»)

НОРВЕГИЯ

ЮБИЛЕЙ АННЕ КАТРИНЕ ВЕСТЛИ

Недавно норвежская общественность с большой теплотой отмечала 30-летие творческой деятельности Анне Катрине Вестли. Первая ее книга, вышедшая в 1953 году — «Уле-Александр — Тилимбом — Тилимбом», — открыла, по выражению критики, новую эпоху в норвежской детской литературе. Ее имя известно в Норвегии каждому, и популярность ее можно сравнить только с популярностью Астрид Линдгрен. В переводе на русский язык выходили ее книги: «Аврора из корпуса С», «Восемь детей и грузовик», «Гюро».

Отвечая на упреки критики об «идеализированных взрослых», писательница заявила: «Взрослых, родителей, я изобразила такими, какими они должны быть...» Читатели-подростки писали в своих письмах Вестли, что они хотели бы стать такими взрослыми, каких она изобразила в своих книгах. А это явное свидетельство того, что книги Вестли доходят до сердца юного читателя и заставляют его серьезно задуматься о многом. Дружба, взаимопонимание, взаимопомощь — вот главные непреходящие ценности, по мнению писательницы. И к ним она постоянно стремится приобщить читателей.

Это ощутимо и на каждой странице новой, недавно начатой писательницей серии книг о мальчике Каосе и его друге Бьёрнаре. Друзей поражает сообщение о том, что на земле запасы атомного оружия таковы, что его вполне достаточно, чтобы уничтожить всю нашу планету. «Нет такого закона, чтобы разрушить нашу землю», — твердо заявляет Каос. «Нет такого закона», — еще раз повторяет мальчик. Согласно замыслу детей, добрые и благородные инопланетяне должны увезти на ракетах с земли все оружие. Каос и Бьёрнар рисуют своеобразную схему того, как это должно произойти. Ребята решают сбросить пакет с рисунками схемы с высокой горы, чтобы он попал в атмосферу и достиг инопланетян. Но пакет падает в небольшое озерцо. Отец Каоса, утешая мальчиков, говорит, что инопланетяне с помощью своих приборов, наверное, найдут его и здесь. Но еще важнее, чтобы и люди на земле сами взялись за решение своих проблем. Отец Каоса достает пакет и относит в редакцию местной газеты, которая публикует схему, нарисованную детьми.

В последних книгах писательницы со всей остротой звучит антивоенная тема. «Главное, чтобы на земле был мир, мы должны беречь нашу планету», — говорит она своим читателям, и детям и взрослым.

ИСТОРИЯ НОРВЕЖСКОГО ИСКУССТВА

В издательстве «Гюльдендаль» вышли два последних тома — шестой и седьмой — «Истории норвежского искусства». Ими издательство завершило выпуск фундаментальной академической монографии, подготовленной коллективом авторов.

«История искусства всегда требует строгого отбора, соблюдения точной хронологической перспективы»,— пишет рецензент газеты «Дагбладет» Ян Брокманн. В последних двух томах прослежены основные направления развития архитектуры, живописи, скульптуры. Норвежское искусство XX века, естественно, испытывало влияния общеевропейской культуры, но все же шло своими путями. В то время как модернизм в европейском искусстве занял прочные позиции, молодое норвежское искусство постепенно обретало самостоятельность, собственный голос, стремясь отразить события и явления большого общественного масштаба.

Статьи и обзоры Трюгве Нергарда, Ханса Якоба Бруна, Харальда Флора и других специалистов дают представление о национальной самобытности и гуманистической направленности норвежской культуры XX века.

ПОЛЬША

«ИВАШКЕВИЧ»

Так коротко, была названа выставка в Литературном музее в Варшаве, посвященная девяностолетию со дня рождения выдающегося польского прозаика, поэта, драматурга, эссеиста, переводчика, бессменного редактора журнала «Твурчость», председателя Союза писателей ПНР, депутата Сейма, пламенного борца за мир.

Выставка, отмечает газета «Трибуна люду», была задумана ее устроителями как «путешествие Ивашкевича по жизни», которое открывается книгой «Путешествие в Польшу» («ИЛ», 1978, № 8), полной любви к родному краю. Рядом с книгой — афиша литературного вечера кружка «Скамандр» (1919), портреты Ивашкевича кисти разных художников, его фотографии, квитанции о получении продуктов, доставленных подпольным комитетом в в Стависко, где писателя застала война, снимок усадьбы, которая стала местом конспиративных собраний варшавской интеллигенции, прибежищем для многих терпевших бедствия в страшные годы оккупации.

В следующем разделе представлена книга «Путешествие по Италии» («ИЛ», 1978, № 2). В ней рассказывается о многочисленных поездках писателя в эту страну, которую он превосходно знал; ему были дороги ее обычаи, ее культура.

«Путешествие для Ивашкевича, — писал один из критиков, — прежде всего великий нравственный поиск, который требует огромных знаний, эмоционального накала, сопоставления своего опыта с богатством всего человеческого опыта, отдачи всех сил, чтобы справиться с обилием новых впечатлений и мыслей».

Большой интерес вызвал раздел «Ленинград». В этот город писатель попал впервые в семидесятилетнем возрасте и был настолько очарован «надневской сто-

---

Четверть века уже существует в Познани народный ансамбль песни и пляски «Велькопольска». За это время он дал 1500 представлений в Польше и за рубежом.
На снимке: участники ансамбля.

(Газета «Трибуна люду»)

лицей», что решил создать книгу о польских и русских писателях и поэтах, некогда живших там. Так появилась книга «Петербург» («ИЛ», 1976, № 11), в которую включены эссе о Пушкине, Мицкевиче, Достоевском, Блоке, Виткевиче, воссоздающие атмосферу литературного и художественного мира, в котором жили и творили польские и русские классики.

Потом следуют «путешествия» по Скандинавии, результатом чего явилась книга «Очерки скандинавской литературы», по Латинской Америке — это и встреча и дружба с чилийским поэтом Пабло Неруда. Ежегодные поездки в Париж Ярослав Ивашкевич уже не считал «путешествиями»: настолько он хорошо знал страну, ее писателей, ее художников, чьи картины были представлены на выставке и составили, как пишет газета «Трибуна люду», «мини-галерею».

На выставке помимо книг писателя было множество фотографий, на которых запечатлены встречи с самыми разными людьми во многих странах, его выступления на международных форумах. Выдающийся сын своей страны, награжденный многими отечественными и зарубежными орденами, он, будучи членом Всемирного Совета Мира, лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», последовательно боролся за то, чтобы человечество никогда не узнало всех ужасов войны.

Выставка в Литературном музее явилась данью глубокого уважения памяти выдающегося писателя и общественного деятеля.

ПОРТУГАЛИЯ

ДАНЬ ПАМЯТИ

Как сообщает португальская «Диарио», издательство «Сиркуло де лейтореш» выпустило в свет первый том Полного собрания сочинений Акилину Рибейру, которое выйдет в течение ближайших месяцев общим тиражом около двух миллионов экземпляров. Это издание приурочено к двадцатой годовщине со дня смерти писателя.

На церемонии, посвященной выходу в свет первого тома, выступил автор предисловия, известный португальский писатель Урбано Тавареш Родригеш. Он говорил о многосторонней творческой деятельности Акилину Рибейру, о его глубоком реализме, в который органично вплетаются фантастические элементы. Затем Урбано Тавареш Родригеш коснулся двух аспектов творчества Акилину Рибейру: его «городских» романов, и в частности «Черного Архангела», в котором ярко отображены первые годы республики и зарождение фашизма, а также романов «деревенских», повествующих о жизни простых тружеников.

Говоря о последнем периоде творчества Акилину Рибейру, Урбано Тавареш Родригеш подчеркнул, что его сопротивление фашистскому режиму особенно проявилось в романе «Когда воют волки», знакомом и советскому читателю (издво «Иностранная литература», 1963 год).

Всеми выступавшими на церемонии было отмечено, что издание Полного собрания сочинений Акилину Рибейру — лучший способ почтить память писателя.

РУМЫНИЯ

ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖАНРА

Румынская печать широко отметила 120-летие со дня выхода в свет романа «Старые и новые мироеды», которому принадлежит особое место в истории румынской литературы. Его автор — Николае Филимон (1819—1865) — писатель, впервые сумевший воплотить принципы зарождающегося реалистического искусства в жанре большого эпического повествования. Явившись создателем первого, подлинно реалистического романа, Филимон вошел в историю румынской литературы как основоположник романного жанра.

Роман «Старые и новые мироеды» (переведен на русский язык в 1954 г.) дает широкую картину общественной жизни Дунайских княжеств начала XIX века. Используя возможности жанра, автор создает правдивую социальную фреску с живыми персонажами, поставленными в сложные жизненные ситуации. Филимон резко критикует старых хозяев жизни — бояр и сурово обличает нарождающихся буржуа. Как отмечается в статьях, посвященных знаменательной дате, Филимона по праву можно назвать и автором первого румынского «романа нравов». И хотя писателю еще не вполне удалось отойти от романтического мироощущения (о чем свидетельствует, например, концовка романа, где добро торжествует над злом, а сами злодеи наказаны), роман, как подчеркивает рецензент еженедельника «Ромыния литераре», бесспорно, имеет большое значение как с точки зрения идейного содержания, так и с точки зрения художественной реализации.

«Старые и новые мироеды» — это произведение, с появлением которого в румынской литературе обретает силу реалистическое направление, давшее жизнь творчеству таких писателей, как Караджале, Славич, Садовяну.

США

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАЛ...»

Литературный успех пришел к Ричарду Прайсу, едва он — еще в пору студенчества — успел опубликовать свой первый роман «Скитальцы» (1974), рассказывающий о подростках Бронкса. После этого Прайс один за другим выпускает романы «Кровные братья» (1976) и «Дамский угодник» (1978), где остается верен избранной теме: город и жизненные искания молодого человека. (Примечательно, что первые два романа Прайса были экранизированы.)

В издательстве «Саймон энд Шустер» увидела свет его последняя, во многом автобиографичная книга под названием «Возможности», герой которой также занят поисками своего «я». В связи с новой публикацией Ричард Прайс дал интервью журналу «Сатердей ревью», где, в частности, сказал:

«Я восхищаюсь такими писателями, как Роберт Стоун, который способен охватить широкую панораму действительности и даже создать целую страну, что он и сделал в романе «Флаг в честь рассвета»... Я же пишу лишь о том, что хорошо знаю, поскольку люблю абсолютную точность во всем. И хотя описываемый мною мир невелик, надеюсь, что его отзвуки достигнут слуха самого массового читателя... Я хочу, чтобы читатель знал: живут на свете такие люди, подростки — рабочие из Бронкса, строители, разносчики. Стремлюсь запечатлеть их на бумаге, чтобы, увидев их, читатель сам решил, кто же они такие».

Всякое видение мира, по мнению Прайса, — это политическая позиция. «Больше всего меня заставляют размышлять о положении человека в обществе книги, проникнутые огромным сочувствием к людям».

Прайс с горечью отмечает, что для многих его сверстников, талантливых людей, выросших в бедных кварталах и трущобах, занятие искусством — непозволительная роскошь: «Если молодые писатели лишены возможности зарабатывать на жизнь литературным трудом и у них нет никаких других источников дохода, то бросают писать именно представители национальных меньшинств и бедноты. В результате их воздействие на развитие американской литературы все уменьшается и уменьшается. И в том жизненном материале, который призвана фиксировать литерату-

ра, образуется заметная брешь».

Литературное творчество Ричард Прайс охарактеризовал как процесс непрерывного роста: «Если ты окунешься в работу прежде, чем дашь себе труд научиться чему-нибудь новому, то начнешь повторяться. Вот почему затор в работе так мучителен для писателя... Но самое худшее, когда писатель как бы соревнуется с самим собой, одним глазом поглядывая на часы, другим — на жизнь».

В заключение интервью Прайс сослался на высказывание Джойс Кэрол Оутс о том, что писатель должен обладать чувством собственного достоинства. «Это сущая правда, — подтвердил Прайс. — Нельзя писать, ориентируясь на мнения иных критиков, иначе станешь писать им в угоду».

ФРАНЦИЯ

ВОКРУГ ФИЛЬМА «ЛЮБОВЬ СВАНА»

На экранах Франции демонстрируется фильм западногерманского режиссера Фолькера Шлёндорффа «Любовь Свана» («ИЛ». 1983, № 4).

Фолькер Шлёндорфф сказал корреспонденту газеты «Юманите», что не хотел делать ни «импрессионистический», ни тем более «антикварный» фильм о конце XIX столетия. Из полифонии сюжетных линий произведения Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» он выбрал лишь одну, которую и попытался проанализировать, — описание любви Шарля Свана и Одетты де Креси, в конечном счете разрушающей одного из партнеров. Авторы экранизации, сказал Шлёндорфф, заведомо оставили идею о воплощении грандиозной социальной фрески, ибо их волновал не столько упадок аристократии, сколько трансформация и исчезновение у ее представителей глубоких и искренних чувств. «Остались одни ритуалы, смысл которых развеял ветер потребительства. Мир денди и снобов как раз и объединял первых «профессионалов потребления», и Сван — его жертва».

«Для меня Пруст не утомительное чтение длинных периодов, а нечто проникающее в самое сердце. Я стремился к тому, чтобы зрители восприняли фильм эмоционально, а не как произведение «чистого» искусства».

Фильм вызвал много откликов. Все критики единодушно отмечают смелость немецкого режиссера, «отважившегося принять вызов заранее проигранного пари».

«Прустовский сюжет в фильме обрастает множеством психологических подробностей, из которых складываются образы противоречивых персонажей, — пишет в «Юманите» Жиль Ле Морван. — Трудность экранизации романа с его неповторимыми метафорами, с прустовским искусством воспоминаний явилась своего рода испытанием для кинематографа. Переход романного письма в кинематографическое заведомо не может удовлетворить в случае с Прустом».

«Разноречивые отклики на фильм связаны с тем,— отмечает в «Юманите» Мишель Буэ, — что истовые почитатели Пруста делят мир на тех, кто читал его романы, и тех, кто не читал. Маниакальный фанатизм прустианцев привел к тому, что, возможно, ни одна книга мировой литературы не имеет стольких «жертв». С этой точки зрения волшебство романиста осталось в фильме нераскрытым. Авторы экранизации ограничились лишь одним эпизодом романа, однако магию прустовского стиля, само «дыхание», «приливы и отливы» повествования фильм был не способен отразить».

На снимке: Ален Делон в роли Шарлюса.

(Журнал «Премьер»)

ФРГ

ИНТЕРВЬЮ ВОЛЬФДИТРИХА ШНУРРЕ

«В Германии происходит много такого, о чем следует писать, поэтому постоянно пребываешь в состоянии продуктивного гнева, именно «продуктивного», ибо сам по себе гнев — ничто. Ярость сильнее гнева, но и ярость— ничто, если она не находит применения. Надо— и это уже дело писательского воображения — облечь происходящее и пережитое в определенную форму».

Так известный западногерманский писатель, лауреат многих литературных премий, последняя из которых — имени Г. Бюхнера — присуждена ему в прошлом году, В. Шнурре ответил на вопросы журналистов о том, что заставляет его вот уже 38 лет заниматься литературной деятельностью.

В 1981 году В. Шнурре опубликовал роман «Несчастный случай», тема которого — фашистское прошлое Германии. «Не слишком ли неумолимо звучит в романе призыв: «Не забывайте!», не слишком ли суровые требования предъявляет автор к немцам сегодня, столько лет спустя напоминая им о непомерном грузе истории, который лежит на их плечах?» — спрашивают журналисты писателя.

«Конечно, требования очень суровые, — говорит В. Шнурре.— Но я выступаю от имени мертвых, хотя никто мне это не поручал. Мы не должны забывать о пережитом кошмаре, мы должны помнить про груды ботинок, груды очков, оставшиеся после тех, кто погиб в газовых камерах. И когда я, думая о своем будущем читателе, спрашивал себя, имею ли я право напоминать ему о прошлом, у меня не возникало сомнений: не только имею право — обязан. Вспоминая начало своей литературной деятельности, Шнурре рассказывает, что в первые послевоенные годы, остро ощущая свою ответственность за будущее, он отдал много сил журналистике, статьями и репортажами борясь против возрождения военной мощи Западной Германии. Что касается чисто писательских проблем — пришлось начинать на пустом месте. Многих понятий—таких как «храбрость», «любовь к родине»— больше не существовало: они были запятнаны, запачканы фашизмом, так же как и слова, обозначающие эти понятия. Писать было страшно, но не писать было невозможно. Все нужно было менять в корне. «Мы, пришедшие в литературу после войны, писали похоже: отрывистыми простыми предложениями, боясь соединить союзом «и» казавшиеся нам несоединимыми понятия, боясь употребить существительное, скомпрометировавшее себя в недавнем прошлом. И вдруг настоящее открытие: в языке остались глубинные пласты, до которых не добрались нацисты, надо их только найти».

«По натуре я пессимист,— говорит в своем интервью В. Шнурре,— но писать, руководствуясь одним пессимизмом, нельзя. Наверное, когда теряешь последнюю веру в людей, надо бросать писать. Здоровое начало, которое есть в моем пессимизме, заставляет меня писать о том, что я знаю. Это как присяга, как долг, как утешение. Я должен найти способ воплотить в литературной форме то, что считаю важным, что кажется мне опасным или неприемлемым».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПАСТУШОНОК ИЗ ДОЛИНЫ»

Франтишек Влачил, один из лучших чехословацких режиссеров, отметил свое шестидесятилетие фильмом «Пастушонок из долины».

Фильм создан по одноименному роману заслуженного писателя Чехословакии Ладислава Фукса. В нем рассказывается история девятилетнего мальчугана, не умевшего читать и писать, для которого школа является только лишь мечтой.

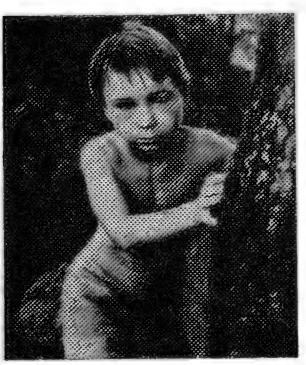
Действие происходит год спустя после окончания второй мировой войны, среди валашских гор и лугов в деревне, откуда пастушонок ежедневно выгоняет стадо коров, и где еще нет электричества и водопровода, и где дедушка пастушонка только по большим праздникам зажигает керосиновую лампу.

Фильм нам показывает два диаметрально различных мира. Мир бедного пастушонка, его слепого дедушки, его матери и мир богатых, который в фильме представляют староста и кулак Потоцкий. Режиссер покоряюще интересно изображает поэтический мир бедного пастушонка, которого прекрасно сыграл Властимил Дрбал. И хотя в фильме много грустного, зрителю ясно, что отзвучали колокола прошлого и что бедного, по-детски впечатлительного и чувствительного пастушонка ожидает новая лучшая жизнь.

«Фильм «Пастушонок из долины» заслуженно относится к тому самому лучшему, что сегодня имеется в нашем кино. Он привлекает зрителя своей неподдельной убедительностью, красотой истинно художественного произведения», — отметил кинотеоретик и критик Ян Клемент.

На снимке: Властимил Дрбал в роли пастушонка.

(Газета «Руде право»)



НАДЕЖНЫЙ ГИД И ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Вышел в свет очередной, пятый номер ежегодника «Панорама чешской литературы» за 1983 год. Издающийся на всех основных европейских языках, он служит для зарубежных читателей надежным пособием для ознакомления с тенденциями развития чешской литературы сегодняшнего дня.

Общую тональность сборника — внимание к актуальным проблемам времени — определяет «Открытое письмо» чехословацких писателей своим западным коллегам, посвященное задачам и назначению литературы в сложной, напряженной международной обстановке начала 80-х годов. Оно содержит в себе призыв направить творческие усилия писателей «на пробуждение человеческой совести, мужества и ответственности, стремления к счастливой, плодотворной жизни и ее постоянному обогащению, к взаимопониманию с другими народами».

Мысль о высоком назначении литературы служить делу прогресса и народного блага нашла своеобразное преломление в материалах о 100-летии со дня рождения Ярослава Гашека, юбилей которого, по решению ЮНЕСКО, отмечался как событие международного значения.

В опубликованных в сборнике высказываниях о Гашеке писателей и общественных деятелей разных стран в первую очередь подчеркивается антимилитаристская, антиимпериалистическая направленность творческого наследия писателя, его близость к народу.

Обзоры чешской прозы (Таны Грзаловой) и чешской поэзии (Милана Благинки) дают возможность читателю ориентироваться в обильном «литературном урожае» Чехии начала 80-х годов. В сборнике помещены отрывки из ряда романов, получивших широкое признание читателей: «Адам и Ева» Яна Козака, «Баллада о грустном боксере» Йозефа Кадлеца, «Скальпель, пожалуйста» Вали Стыблювой и других.

Знакомя читателей с некоторыми наиболее значительными произведениями, Г. Грзалова отмечает, что в противоположность 70-м годам, когда в чешской прозе преобладал исторический жанр, в начале 80-х годов ведущее место заняла современная тематика.

Оценивая общий настрой чешской прозы начала 80-х годов, Г. Грзалова пишет: «Писателям есть что сказать, они сознают свою ответственность за моральный климат сегодняшнего дня за судьбы мира».

О сопричастности к «тревогам мира» также и лучших образцов чешской поэзии пишет в своем обзоре М. Благинк. Наряду с завоевавшими уже признание читателей поэтами Карелом Сысом («Американский счет»), Йозефом Петерка («Автобиография волка»), Михалом Черником («Промежуточный возраст») автор обзора останавливается и на первых сборниках молодых поэтов (Зденека Ригера, например), на изданиях новых поэтических переводов (Аполлинера, Есенина, Ивашкевича, Гильена), переизданиях классических образцов чешской поэзии XX века (Петра Безруча, С.-К. Неймана, Фр. Грубина) и некоторых поэтических памятников мировой классики («Илиады» Гомера).

ШВЕЙЦАРИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН ГАНСА ВОЛЬШЛЕГЕРА

Еще в 1962 году швейцарский писатель Ганс Вольшлегер завершил работу над романом «Наросты на сердце, или Дело Адамса». Однако лишь двадцать лет спустя его книга смогла найти издателя. Способствовал этому громадный успех, который принес Вольшлегеру осуществленный им перевод знаменитого романа Джеймса Джойса «Улисс». Критика назвала этот перевод «одним из самых выдающихся в истории немецкой литературы».

Роман «Наросты на сердце, или Дело Адамса», увидевший теперь свет в цюрихском издательстве Хаффманс, предлагает читателю дневниковые записи некоего Михаэля Адамса за 1950 год, когда герой после пятнадцатилетней эмиграции вернулся в родной город Бамберг. Одновременно с дневником Адамс пишет эссе о И. С. Бахе, о природе власти, а также привлекает материалы, оставшиеся после смерти отца. Эти разные планы повествования перемешаны друг с другом так, что сам Адамс порой не может их различить. Явь мешается здесь со сном, современность — с воспоминаниями.

Критик Кристоф Найдхарт, рецензирующий книгу на страницах еженедельника «Вельтвохе», вспоминает по этому поводу, как еще в 1979 году ныне покойный теоретик литературы Арно Шмидт сетовал на пристрастие современных немецких прозаиков к «повествовательным структурам начала века». В данном случае он бы не мог этого сказать, замечает рецензент. Структура и язык романа Вольшлегера крайне своеобразны, во многом экспериментальны. Сомнения издателей, столь долго не решавшихся его напечатать, видимо, можно понять. Нечто подобное происходило в свое время и с романом Джойса.

«Великие книги говорят с читателем на собственном языке, — заявляет Михаэль Адамс в одном из программных пассажей книги. — Потому они и стоят особняком; но, читая их, мы словно вспоминаем что-то знакомое».

Герой употребляет в книге придуманные им самим слова, сокращения. Текст нередко обрывается на середине фразы, даже на середине слова. Домысливать недосказанное, комбинировать фрагменты предоставляется самому читателю.

Своеобразна у Вольшлегера «музыкальная концепция текста». Разной громкости звучания и разной интонации соответствуют разные размеры и типы шрифта. Многое в повествовании выявляется для читателя лишь после повторного прочтения.

«Несомненно, это трудный текст, его не прочтешь для вечернего отдыха», — замечает рецензент. Тем не менее роман Вольшлегера уже нашел немало поклонников. «Тому, кто не пожалеет усилий, он сулит великолепное читательское приключение», — заключает критик.

ШВЕЦИЯ

«ЧТО ДЕЛАТЬ?» НА ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ

Около ста лет назад в Швеции вышел первый перевод романа выдающегося русского революционера-демократа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Роман был высоко оценен тогдашней прогрессивной общественностью страны. Классик шведской литературы Август Стриндберг отозвался о нем так: «В моем творчестве эта книга произвела переворот». Хотя перевод «Что делать?» и позволил Стриндбергу сделать такие выводы, он отличался целым рядом недостатков: книга вышла с большими сокращениями и представляла собой перевод с немецкого издания.

И вот недавно в шведском издательстве «Арбетаркультур» вышло второе издание романа Чернышевского на шведском языке. На этот раз перевод, выполненный опытным переводчиком Бу-Йораном Дальбергом, сделан с языка оригинала и без единой купюры. Бу-Йоран Дальберг является одновременно и автором обстоятельного предисловия, в котором он рассказывает историю создания романа и раскрывает его культурно-историческое значение.

Выход в свет «Что делать?» в Швеции встретил горячий прием в прогрессивной прессе. По мнению рецензента коммунистической газеты «Ню даг», издание такого романа в современных условиях капиталистического мира можно расценивать как гражданский подвиг со стороны издательства «Арбетаркультур».

ЯПОНИЯ

НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

В этом году на японском острове Хоккайдо начинается широкая кампания, направленная на сохранение древнего фольклора айнов, пишет газета «Акахата». Айны (или айну) — коренное население самого северного острова Японского архипелага. Они заметно отличаются от японцев как внешностью, так и традициями, обычаями, фольклором. Этнографы до сих пор ломают копья в спорах о происхождении айнов, некоторые ученые убеждены в их европеидной принадлежности.

Но каким бы загадочным ни казался этот народ, все исследователи единодушно отмечают богатство и своеобразие айнского фольклора. Японские власти с начала XIX века настойчиво стремились ассимилировать айнов, японизировать их культуру. Исконным хозяевам Хоккайдо запрещали носить национальную одежду, следовать обрядам их дедов и прадедов, наносить на тело татуировку, их заставляли брать японские имена и фамилии, мужчин обязывали брить бороды... В айнских селениях насаждался японский язык.

Эта политика насильственной японизации принесла свои недобрые плоды: некогда многочисленная народность сейчас насчитывает примерно 20 тысяч человек, а по другим данным — около 7 тысяч! На грани исчезновения оказалась и айнская культура. Сейчас, пишет «Акахата», молодежь почти не поет национальных песен «упоно», не танцует «римая», не играет на музыкальном инструменте айнов «муккури», забывает красивые древние легенды своих предков. В течение столетий айнский фольклор передавался от поколения к поколению изустно, поскольку язык айнов не имеет письменности. Но ныне, отмечает газета, лишь старшее поколение хранит традиции, помнит песни и сказания.

Президент хоккайдоского общества «Утари» Гиити Номура заявил в интервью корреспонденту «Акахаты», что его организация намерена предпринять срочные и решительные меры, чтобы сохранить для будущих поколений айнскую культуру.

◆

Авторы этого номера

АНДРЕ СТИЛЬ — ANDRÉ STIL (род. в 1921 г.)

Французский писатель, публицист, общественный деятель; член Академии Гонкуров. В годы войны участвовал в движении Сопротивления. Автор романов и сборников рассказов, многие из которых переведены на русский и другие языки народов нашей страны. Среди них романы «Первый удар», за который писатель удостоен Государственной премии СССР, «Мы будем любить друг друга завтра», «Обвал» («ИЛ», 1961, № 4, 5), «Последние четверть часа», «Роман-сон», сборники рассказов «Сена» вышла в море», «Боль», «Вид на небо», «Забытые цветы» и др. В последние годы писатель опубликовал романы «Бог — это ребенок» («Dieu est un enfant», 1979), «Сердечный человек» («L'homme de cœur», 1982), «Летние кварталы» («Les Quartiers d'été», 1984).

Роман «Милый доктор» вышел в Париже в издательстве «Грассе» в 1980 г. («Le médecin de charme». Paris, Bernard Grasset, 1980).

ДИДЕРИК ЙОХАННЕС ОППЕРМАН — DIDERIÇK JOHANNES OPPERMAN (род. в 1914 г.)

Южноафриканский поэт, драматург, литературовед. Лауреат многих литературных премий. Пишет на африкаанс. Окончил университет Наталя, работал учителем, занимался журналистикой. Составитель наиболее полной антологии «Большая книга стихотворений» (поэзии африкаанс). Автор поэтических сборников «Священные быки» («Heilige beeste», 1945), «Девять звезд над Ниневией» («Negbster oor Ninovie», 1947), «Цветок и хаос» («Bloem en baaierd», 1956), «Игра в бабки» («Dolosse», 1963), «Смесь» («Kuns-mis», 1964), стихотворных драм «Периандр из Коринфа» («Periandros van Korinth», 1954), «Чужедалье» («Vergelegen», 1956) и многих литературоведческих исследований.

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Каменный ангел» («Engel nit klip», 1950), «...и К°» (1970) и антологии «Большая книга стихотворений» («Groot verseboek», Kaapstad, 1978).

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.)

Советский поэт-переводчик. В его переводах публиковались стихи Д. Китса, Д. Р. Киплинга, Р. М. Рильке, многих нидерландских поэтов, а также южноафриканских поэтов, пишущих на африкаанс,— Эйс Криге, Ингрид Йонкер, Д. Й. Оппермана и др.

ЮЛИУС БАЛЦО — JULIUS BALCO (род. в 1948 г.)

Словацкий писатель. Автор повестей «Скрипка с лебединой шеей» («Husle s labutim krkom», 1979) и «Желто-восковое яблоко», которую мы печатаем в этом номере с небольшими сокращениями («Voskovožlté jablko». Bratislava, Smena, 1976). Полностью эта повесть войдет в сборник словацкой прозы «Кедровый бор», посвященный сорокалетию Словацкого национального восстания 1944 года, который готовит к печати издательство «Радуга».

НОВОГРУДСКАЯ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

Советский переводчик чешской и словацкой прозы. В ее переводах публиковались рассказы П. Францоуза, Я. Томечка, П. Илемницкого, И. Габая, Й. Кота, Й. Пушкана.

АРТЮР РЕМБО — ARTHUR RIMBAUD (1854—1891)

Французский поэт. Автор сборников «Последние стихотворения» («Derniers vers», 1872), «Озарения» («Les illuminations», написаны в 1872—1873, изд. в 1886), «Одно лето в аду» (« Une saison en enfer », 1873).

В русском переводе стихи Рембо печатались в антологиях, периодике и авторских сборниках многих советских поэтов. В 1960 г. переводы Рембо вышли отдельной книгой «Стихотворения». Наиболее полное собрание произведений поэта «Артюр Рембо. Стихи» в переводе М. Кудинова выпустило издательство «Наука» в серии «Литературные памятники» (1982). В приложении к этой книге даны также переводы «Пьяного корабля», выполненные Д. Бродским, Б. Лифшицем, П. Антокольским, Л. Мартыновым.

«Иностранная литература» напечатала подборку из сборника «Последние стихотворения» (1981, № 8).

Перевод Д. Самойлова осуществлен по книге «Рембо. Сочинения» (Rimbaud. «Oeuvres». Éditions Garnier Frères, 1960).

САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (род. в 1920 г.)

Советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Ближние страны», «Второй перевал», «Дни», «Волна и камень», «Весть» и др. Ему принадлежит также книга «О русской рифме» (1982) и книга переводов «Поэты-современники» (в серии «Мастера художественного перевода», 1963). Книги Д. Самойлова переведены на многие иностранные языки.

ЕРМОНСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1936 г.)

Советский журналист, критик, переводчик. Автор ряда статей по современной польской литературе.

ВОЛЬФГАНГ КИСЛИНГ — WOLFGANG KISSLING (род. в 1929 г.)

Немецкий историк и литературовед (ГДР). Автор книг «Свободная Германия» в Мексике» («Alemania libre in Mexico». Bd. 1 und 2, Berlin, 1974), «Эмиграция в Латинской Америке» («Exil in Lateinamerica», 1980; Национальная премия ГДР).
Предлагаемая публикация представляет собой новую главу для переработанного и дополненного издания тома «Эмиграция в Латинской Америке»; печатается с небольшими сокращениями по тексту журнала «Sinn und Form», 1983, № 2.

МАРЬЯН ЮРКОВИЧ — MARIJAN JURCOVIĆ (1906—1966)

Югославский критик, эссеист. Автор сборников статей «Над заветами печали и заветами надежды» («Nad porukama tuge i porukama nade», 1958), «Обзоры» («Ogledi», 1966), монографической книги «Венцеслав Новак» («Vjnceslav Novak», 1962) о классике хорватской литературы и др. Перевел на сербскохорватский произведения Салтыкова-Щедрина, Толстого, Горького.
Статья «Шолохов о судьбе человека» была напечатана в сборнике «Над заветами печали и заветами надежды».

МАЙКЛ О'РИОРДАН — MICHAEL O'RIORDAN (род. в 1917 г.)

Национальный председатель Коммунистической партии Ирландии. Известный деятель ирландского рабочего движения. В составе Интернациональной бригады участвовал в национально-революционной войне 1936—1939 гг. в Испании. Автор ряда публицистических книг, в том числе «Колонна имени Конноли» («Column Connolly», 1979). Статья «Вспоминая Брендана Биэна» перепечатывается из журнала «Айриш соушелист» («Irish Socialist», February, 1983).

ПОКРОВСКИЙ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1951 г.)

Кандидат философских наук. Область научных исследований — история зарубежной философии, современная философия в США. Автор монографии «Генри Торо» (М., «Мысль», 1983) и ряда статей.

УИЛЬЯМ САРОЯН — WILLIAM SAROYAN (1908—1981)

Американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии. Автор многочисленных рассказов, романов, пьес. На русский язык переведены романы «Человеческая комедия», «Приключения Весли Джексона», «Мама, я тебя люблю» и др., а также сборник рассказов «60 миль в час».
Рассказ «Разве сегодня не тот самый день?» взят из журнала «Harper's Magazine», март, 1973.

ХОДФРИД БОМАНС — GODFRIED BOMANS (1913—1971)

Нидерландский писатель, автор сатирических романов и рассказов. Публикуемые рассказы взяты из сборников «Страстные рассказы» («Onstuimige verhalen», Amsterdam, 1950) и «Портреты» («Kopstukken», Amsterdam, 1947).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ /зам. главного редактора/, **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** /отв. секретарь/, **К. А. ЧУГУНОВ** /зам. главного редактора/, **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественый редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.03.84. Подписано в печать 15.05.84. А03484. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. 22,4 усл п. л. 23,8 усл. кр. отт. 27,69 уч.-изд. л.

Тираж 377 000 экз. /1-й завод: 1—337 000 экз./ Зак. 1202.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Скаковые лошади. 1885.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394